УДК 32
ББК 66.0
П 78

Центр социальных научно-информационных исследований

Отдел политической науки

Редакционная коллегия:

А.И. Миллер – д-р ист. наук, главный редактор,
Д.В. Ефременко – д-р полит. наук,
О.Ю. Малинова – д-р филос. наук,
Е.Ю. Мелешкина – д-р полит. наук,
Р.А. Мнацаканян – канд. географ. наук

Ответственный за выпуск – *В.Н. Ефремова*

П 78

Прошлый век: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед., Отд. полит. науки; Ред. кол.: Миллер А.И., гл. ред., и др. – М., 2013. – Вып. 1 / Отв. за вып. Ефремова В.Н. – 446 с.
ISBN 978-5-248-00691-5

Календарный XX век ушел в прошлое. Как формируются представления о «прошлом веке» различных общественно-политических сил? Как осмысливается опыт XX в. общественными науками? Можно ли действительно считать, что XX век закончился? Эти вопросы находятся в центре внимания сборника, рассматривающего различные подходы к наследию XX в. в политической науке, философии, истории, социологии. Анализируются представления о XX в. в документах общественно-политических сил современной России, в российских учебниках истории и историографии постсоветских стран.

Для научных работников, преподавателей, студентов и аспирантов.

The calendar XX century has passed. How various social and political agencies shape the memory of the «passed century»? How social sciences look at the experience of the XX century? Can we claim that the XX century is really over? These questions are in the focus of the volume, which analyses the perspectives of political and social sciences, history and philosophy on the legacy of the XX century. Articles also discuss the presentation of the XX century in the official documents of various politica and social agencies in Russia, in Russian history text-books and in historiography of the post-Soviet states.

For researchers, teachers, students, and graduate students.

ISBN 978-5-248-00691-5

УДК 32
ББК 66.0
©ИНИОН РАН, 2013

СОДЕРЖАНИЕ

Длинный прошлый век 5

РОССИЙСКИЙ ВЗГЛЯД НА XX ВЕК

Д.В. Ефременко. Нормальная катастрофа: Еще раз об исторических развилках 1980–1990-х годов 19
Р.А. Мнацаканян. Взгляд на век XX из века XXI 47
Л.А. Кацва. Советский Союз в школьных учебниках истории XXI в. 69
М.Д. Суслов. Прошлое и будущее в историческом воображении современной Русской православной церкви 133
О.Ю. Малинова. Политическое использование символа Великой Отечественной войны в постсоветской России: Эволюция дискурса властвующей элиты 158
О.Б. Леонтьева. В чем же истинный либерализм? Российский либерализм рубежа XIX–XX вв. в зеркале отечественной историографии начала XXI в. 187
А.В. Мазаник. «Культурный поворот» и российская историческая урбанистика 223

СОВЕТСКИЙ ВЕК ГЛАЗАМИ НАШИХ СОСЕДЕЙ

Р. Чепайтене. Восприятие советской эпохи в современной Литве 241
Г.В. Касьянов. Историческая политика в Украине и Голодомор..... 277
Д.А. Аманжолова. Советское притяжение: Историческая литература Республики Казахстан о советском веке..... 338

СОВЕТСКИЙ ОПЫТ ГЛАЗАМИ ЗАПАДНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

А.А. Воронович. Противоречивые истории советского многонационального государства: Некоторые проблемы советской национальной политики в современной зарубежной историографии 367
С.И. Жук. Советское общество и культура времён «холодной войны»: новые тенденции в современной западной историографии на рубеже столетий 388
Ключевые слова и аннотации 433
Сведения об авторах 444

ДЛИННЫЙ ПРОШЛЫЙ ВЕК

Два года назад я принимал участие в семинаре британских и немецких историков под названием «Куда исчезает XIX век». Речь шла о том, как сокращается в университетах и число курсов, и число новых профессорских назначений, и число аспирантов, и число исследовательских грантов по XIX в. Причем все это в пользу XX в. Я тогда подумал, что одна из основных причин таких изменений (а насчет того, что эта тенденция устойчива, ни у кого из присутствовавших сомнений не было) состоит в магической силе понятия «прошлый век», который век XIX совсем недавно уступил веку XX. Конечно, правы те скептики, которые говорят о конце века и вообще о понятии века (или миллениума) как об условностях, журналистских клише. Но мы видим, как эти условности влияют на восприятие людей, и, как следствие, на их ожидания и действия, становясь, таким образом, значимым фактором нашей жизни.

Приглядевшись внимательнее, под впечатлением от семинара, к тенденциям последних лет, я обнаружил ряд весьма показательных изменений. Мы давно привыкли к понятию «длинный XIX век», который начинается с Великой французской революцией, отхватывая кусок у XVIII в., и продолжается до 1914 г., до начала Первой мировой войны, основательно залезая в век XX. Во многих работах, опубликованных в этой книге, авторы по-прежнему пользуются концепцией длинного XIX в. и короткого XX в., который начинается с Первой мировой войной, а заканчивается с падением коммунизма и завершением «холодной войны» на рубеже 1980–1990-х.

Между тем в последнее время все чаще приходится встречаться с понятием «длинный XX век». Его начинают в 1880-е годы, когда произошли кардинальные изменения в европейских альян-

сах, утвердились дарвинистские и расовые представления об обществе, а также началась борьба за передел колониального мира, что в совокупности можно трактовать как начало вызревания предпосылок Первой мировой войны.

А заканчивают... Распространенное недавно преставление о том, что заканчивать XX век следует на рубеже 1980–1990-х, с падением Берлинской стены, распадом советской империи и окончанием «холодной войны», теперь уже не кажется столь убедительным. Во-первых, XX век не закончился, пока бразды правления в обществе принадлежат людям, сформировавшимся в XX в. Во-вторых, история, начавшаяся с падением коммунизма, выглядит все более неопределенно. Фукуямовская идея «конца истории» вызывает лишь усмешку. Уже никто не рассуждает о «транзите», потому что все менее ясно, куда же, собственно, происходит этот «транзит». Может быть, когда-нибудь мы назовем концом XX в. 2008 г., когда система рыночного капитализма и welfare state обанкротились, хотя некоторые болезненные ощущения от этих событий отложены (и, вероятно, усугублены) вливанием огромных государственных кредитов в реанимируемую экономику? Может быть, какие-то другие события, которые потом будут прочитаны как подготовка к новому глобальному конфликту, станут считаться подлинным концом XX в.? Как бы то ни было, на смену длинному XIX в. в нашем взгляде на прошлое постепенно приходит длинный XX в.

Исследователи общества, следуя знаменитому утверждению, что сова Минервы вылетает в сумерки и, игнорируя не менее знаменитое bon mot Чжоу Энь Лая, что пока слишком рано судить о значении и последствиях Великой французской революции, принялись искать смысл и, главное, содержание этого длинного XX в.

Конечно, катастрофическое восприятие XX в. при фокусе на его первой половине вполне оправданно – две мировые войны, фашизм, нацизм, коммунизм, колониальные ужасы в Африке и Азии. В России это все особенно усугублялось – нам и в великих войнах XX в., особенно во Второй мировой, досталось больше других, и революционные потрясения у нас были особенно масштабны и разрушительны. В недавней анкете интернет-сайта гефтер. ру на вопрос о том, в какой стране история XX в. была наиболее интересной и трагичной (именно так – «интересной и трагичной»!) подавляющее большинство участников называло Россию [Гефтер, 2013]. Это, конечно, специфика восприятия, определяемая иден-

тичностью. История Китая в XX в. заведомо не менее, а, скорее, еще более трагична, чем история России. Но кто же их считает, этих китайцев… А если мерить в пропорциональном, а не абсолютном отношении, то ничто не сравнится с трагедией Камбоджи времен красных кхмеров.

Восприятие понятий «интересная» и «трагическая» как почти синонимов тоже показательно именно как представление о содержании XX в. Можно подумать, что история успешного развития не интересна. Если отказаться от этой логики, то история США в XX в., например, весьма интересна. В том числе и для нас, потому что именно Россия и США воспринимались в начале XX в. как две страны, «стоящие на выигрыш» в геополитическом соревновании. Одни свои шансы реализовали, другие (мы) – нет.

Интерес к первой половине века по-прежнему преобладает, однако теперь все больше внимания уделяется и послевоенному периоду, который совсем недавно еще не воспринимался как доступный для исторического изучения. Расширение хронологического горизонта влечет за собой и усложнение общих оценок содержания века. Это хорошо видно, например, в натянутости характерных для посткоммунистических стран попыток описать весь коммунистический период как «непрерывный кошмар и насилие». Включение второй половины XX в. в поле наших раздумий об этом времени поднимает целый ряд новых важных тем. Например, как мы можем описать советский послесталинский опыт? Ясно, что и в природе власти, и в жизни советского общества поменялось очень многое. Если через прилагательное «тоталитарный» ни природу власти, ни общество уже не опишешь, то должно ли это вести нас к отказу от понятий «тоталитаризм», «тоталитарный» вообще? Ведь природа советского авторитаризма послесталинского периода в очень большой степени определялась опытом и травмами сталинского времени, когда тоталитарные стремления режима были определяющими.

Тоталитаризм

Пожалуй, главным и при этом одним из наиболее оспариваемых понятий при обсуждении XX в. в последние десятилетия было и во многом остается понятие «тоталитаризм». На рубеже XX и XXI вв. отчетливо обозначились три подхода к этой теме.

В посткоммунистических странах доминирует подход, в котором «тоталитаризм» выполняет всеобъемлющую объясняющую функцию применительно ко всему периоду вплоть до падения коммунизма. Собственно, даже те неудачи, с которыми приходится сталкиваться уже после падения коммунизма, также объясняются тяжким наследием тоталитаризма, травмами и деформациями тоталитарного периода. Подобные интерпретации, безусловно, являются феноменом исторической политики [Историческая политика в XXI в., 2012]. Народы посткоммунистических стран представляются, прежде всего, как жертвы коммунистического тоталитарного режима [Shore, 2013]. Эта трактовка оказывается главной опорой новой национальной идентичности. Политики этих стран часто позиционируют себя как носителей незнакомого благополучной западной части континента опыта жертв тоталитаризма и с этих позиций претендуют на особую роль, особый голос в ЕС, подвергая ревизии важные элементы прежнего европейского консенсуса в отношении памяти XX в. Именно под влиянием политиков посткоммунистических стран и их союзников в Западной Европе 2 апреля 2009 г. Европейский парламент принял резолюцию о европейской совести и тоталитаризме, 10 июня 2011 г. Совет Европы принял Заключение о памяти о преступлениях, совершенных тоталитарными режимами в Европе. Вскоре министры иностранных дел стран ЕС приняли Варшавскую декларацию по случаю Европейского дня памяти жертв тоталитарных режимов, который отмечается теперь 23 августа, в день заключения пакта Молотова–Риббентропа.

Вполне логично, что в России можно обнаружить прямо противоположную позицию, согласно которой понятие «тоталитаризм» является продуктом «холодной войны» и не обладает эвристической ценностью. Она легла, например, в основу концепции печально известного учебника истории России XX в. под редакцией А.В. Филиппова и А.А. Данилова, который до недавнего времени пытались сделать если не единственным, то главным учебником в школе [Филиппов, 2007; История России, 1945–2008… 2008; История России, 1900–1945… 2012]. Впрочем, этот подход нельзя назвать доминирующим в России – в подавляющем большинстве учебников и в российской научной литературе понятие «тоталитаризм» используется довольно интенсивно. Другое дело, что зачастую без основательной рефлексии.

В среде профессиональных историков и политологов в отношении понятия «тоталитаризм» сегодня совершенно нет консенсуса. Пожалуй, наиболее яркой иллюстрацией такого положения вещей может служить редакторское введение к книге о сравнении сталинизма и нацизма, написанное известнейшими специалистами по истории этого периода Михаелем Гейером и Шейлой Фицпатрик, которые прямо признаются, что между ними нет согласия, полезно ли понятие «тоталитаризм» для понимания обсуждаемых феноменов [Beyond totalitarianism, 2009].

Именно на рубеже веков, в 2000 г., начал выходить журнал, который был задуман как форум для обсуждения этой проблематики. Его название «Тоталитарные движения и политические религии» весьма показательно. В отличие от давних концепций тоталитаризма в духе К. Фридриха и З. Бжезинского внимание авторов журнала сосредоточено на динамических аспектах, на анализе фашистских и коммунистических движений как движений революционных и тоталитарно ориентированных, а также на изучении идеологии этих движений как «политических религий» [Gentile, 2004; Griffin, 2002]. Пожалуй, преобладающую тенденцию в профессиональной среде можно на сегодня описать так: термин «тоталитаризм» скорее выходит из оборота, сохраняясь как прилагательное «тоталитарный» при описании не столько режимов, сколько движений, их идеологий и интенций.

Один из ключевых вопросов как исторической политики, так и серьезных исследований – сравнение фашизма, нацизма и коммунизма. Понятно, что в рамках исторической политики предлагаются «простые» решения: либо отстаивается тезис о совершенной идентичности этих феноменов как преступных и тоталитарных, либо выражается решительное возмущение самой идеей о возможности их сравнения [Troebst, 2006]. Частью таких сравнений являются более или менее аккуратные подсчеты числа жертв коммунистических режимов и нацизма. Первым на этом поле выступил француз Стефан Куртуа, представивший весьма тенденциозную версию таких калькуляций [Черная книга коммунизма, 1999]. Последняя заметная публикация на эту тему, намного более аккуратная и ответственная, хотя и получившая свою заслуженную порцию критики академических историков, принадлежит американцу Тиму Снайдеру. К достоинствам его книги относится то, что вместо простого сравнения он уделяет особое внимание взаимодейст-

вию сталинского и нацистского режимов в период 1932–1945 гг. [Snyder, 2010]. Главный мотив дискуссии, последовавшей вскоре после публикации книги, можно сформулировать примерно так: вполне правомерно сравнивать гитлеровский и сталинский режимы, но совершенно неприемлемо ставить между ними знак равенства.

При сравнении историографической ситуации в изучении нацизма и сталинизма следует отметить одно разительное отличие. Тема соучастия в нацистских преступлениях, на различных уровнях и в различных формах, активно исследуется начиная с 1990-х годов [см., например: Browning, 1992; Goldhagen, 1996]. Тема соучастия в сталинских репрессиях до сих пор остается практически не изученной [Viola, 2013].

Тема наследия фашизма и коммунизма находится сегодня в центре общественных и политических дискуссий о XX в. и останется ареной жестких столкновений в обозримом будущем. Причины такого положения вещей сложны и многообразны. Во-первых, почти в каждой европейской стране есть свои внутренние противоречия, прежде всего в отношении событий 1930–1940-х годов. В России это острая проблема, но и в таких странах, как Украина и Молдавия, она по крайней мере не менее острая. Во-вторых, тема советского наследия продолжает быть весьма важной для отношений России с посткоммунистическими странами. В-третьих, внутри ЕС его новые восточноевропейские участники существенно способствовали наряду с экономическим кризисом подрыву того консенсуса об истории XX в., который в 1970–1980-е годы, казалось, прочно утвердился в Европейском союзе. Дело в том, что многие борцы с советской оккупацией, имеющие в общественном мнении этих стран статус героев, сражались на стороне Гитлера и зачастую в рядах войск СС. Важно помнить, что евреи Восточной Европы были убиты не в газовых камерах концлагерей, но расстреляны во рвах, сожжены заживо в синагогах и простых сараях. Происходило это при активном участии местного населения, в том числе в таких странах ЕС, как Польша, Литва, Латвия. И эти страны отнюдь не готовы принять прежний европейский консенсус в отношении Холокоста. Там многие пытаются объяснить (и, пусть отчасти, оправдать) вражду к евреям тем энтузиазмом, с которым часть еврейского населения восприняла приход Советов в 1939–1940 гг. Наконец, политическая актуальность этих тем возрастает в связи с резким ростом по всей

Европе влияния новых крайне правых партий, которые часто прямо адресуются в своей идеологии и эстетике к межвоенному фашизму.

Геноцид

Другое понятие, которое активно используется при обсуждении истории прошлого века, это понятие «геноцид». Как и «тоталитаризм», оно возникло в XX в. для описания его опыта, только появилось оно не до Второй мировой войны, а после. В отличие от «тоталитаризма» «геноцид» имеет официальное определение, основанное на конвенции ООН о предотвращении преступлений геноцида от 1948 г. Однако мало кто сегодня проявляет желание строго следовать этому определению, предлагая различные аргументы для корректировки и расширения понятия. Так что, подобно «тоталитаризму», «геноцид» как понятие является предметом активных споров и манипуляций. После 1989 г. практически все посткоммунистические страны занялись поиском геноцида собственной нации. Для военного периода мишенью обвинений выступают нацистская Германия и СССР, для послевоенного периода в роли виновника в большинстве случаев выступает Россия. Для периода после распада СССР в «геноциде» обвиняют конфликтующих соседей. Правительства посткоммунистических стран обращаются в международные организации и к иностранным государствам с требованием признать свой народ жертвой геноцида, с этой целью организуются широкие международные кампании с привлечением диаспор, предпринимаются обращения в суды, как собственные, так и международные, с обвинением в геноциде отдельных людей и целых государств. В целом ряде стран приняты законы, определяющие те или иные события как геноцид и криминализующие оспаривание такой характеристики. Можно сказать, что за последние 20 лет понятие «геноцид» стало ключевым для описания опыта XX в. во многих национальных исторических нарративах.

Что заставляет политиков и многих политически ангажированных ученых так настаивать на характеристике преступлений против собственного народа как геноцида? Причин несколько. Во-первых, концепция геноцида как «худшего из возможных» преступлений не оставляет места для обоюдной ответственности – если «мы» жертвы геноцида, то заведомо несправедливо предъяв-

лять нам обвинения, тем более как участниками иного геноцида. Во-вторых, жертвы предполагаемого геноцида объединяются в сообщество, где этничность, кровное родство становится самодовлеющей категорией, что многим представляется полезным для формирования определенного типа национальной идентичности. Наконец, многие искатели «потерянных геноцидов» [Финкель, 2012] считают, что статус нации – жертвы геноцида дает стране существенные преимущества в международных отношениях.

Интенсивность политического использования понятия «геноцид» вызвала два рода реакций в профессиональной среде. В политической науке предпринимаются усилия по выработке четкого подхода к интерпретации понятия [Shaw, 2012; May, 2010; Herman, Peterson, 2011]. Причем главное внимание в этих исследованиях сосредоточено на событиях последних десятилетий на Балканах, в Африке, Азии или Латинской Америке, подпадающих (или не подпадающих) под определение «геноцид», а не на событиях середины XX в.

Историки же, занимающиеся преступлениями сталинского и нацистского режимов, делятся на две группы. Одни активно используют понятие «геноцид», и в центре их внимания находится именно вопрос о том, какие из преступлений тоталитарных режимов подпадают под это определение. В большинстве случаев понятия «тоталитаризм» и «геноцид» используются историками этого направления в паре [Naimark, 2010]. Другое направление историографии скорее склонно отказаться, по крайней мере на время, от использования понятия «геноцид», поскольку в случае его применения вся дискуссия неизменно сводится к уместности такого определения, а не к анализу того, что же действительно происходило в том или ином случае [Snyder, 2010].

Тема упадка и распада

В мае 2013 г. в Центрально-Европейском университете в Будапеште прошла конференция, организованная журналом «European Review of History». Ее название несколько неуклюже звучит по-русски, если переводить его буквально, но в данном случае точность важнее стиля: «Упадки и распады в европейской истории и историографии». Организаторы конференции так определили актуальность темы: «Всего через 20 лет после того, как

процесс европейской интеграции вступил в новую стадию благодаря Маастрихтскому договору, в то время как процесс расширения ЕС все еще продолжается, голоса скептиков звучат громче, чем когда-либо. Страны Европейского союза, поодиночке и как сообщество, переживают структурный кризис политических институтов, экономических и социальных отношений, культурных и моральных ценностей. Континент столкнулся со сложной системой взаимосвязанных вызовов, усиленных мировым экономическим кризизом… Панъевропейский тренд антиинтеграционных движений становится все сильнее, а ведущие политики говорят о шпенглеровском закате Запада, когда европейские государства должны искать поодиночке особые пути, чтобы найти для себя новое место в новом глобальном порядке» [Declines and falls, 2010].

Создание и постепенное расширение Европейского союза было, без сомнения, ключевым процессом послевоенной истории Европы. Развитие европейской интеграции виделось выходом из порочного круга войн и неустойчивых послевоенных урегулирований, с ней связывались успехи последних четырех десятилетий XX в., о которых можно уверенно говорить как о наиболее благополучном в экономическом отношении периоде в истории Европы. Если считать началом ЕС создание Европейского объединения угля и стали в 1951 г., то Евросоюзу исполнилось уже 60 лет. Иными словами, у ЕС уже есть своя история и даже история того, как менялось восприятие истории ЕС. До недавнего времени можно было уверенно говорить о трех главных чертах исторического образа ЕС. Во-первых, это была история успеха. Во-вторых, это была история объединения, основанного на демократических принципах и сумевшего обеспечить равноправие всех своих многочисленных членов. В-третьих, ЕС представал как организация, положившая в основу своего влияния и образа в мире «мягкую силу». Конечно, евроскептики были всегда, но они были в меньшинстве, и их аргументы казались продиктованными примитивным национальным эгоизмом. Сегодня дело обстоит иначе. История успеха явно потускнела, судьба еврозоны внушает все большие опасения, провален проект общеевропейской конституции, президенты ведущих стран ЕС призывают пересмотреть принципы функционирования Шенгенской зоны.

Теперь главный предмет спора об истории ЕС – где именно что-то пошло не так. Образ ЕС как демократической структуры

уступил место образу никем толком не избранной пухнущей брюссельской бюрократии, ускользающей от демократического контроля граждан. Казавшийся еще недавно достоянием прошлого дискурс, противопоставлявший ленивый и безответственный юг Европы ее трудолюбивому и деловитому Северу, вновь превратился в журналистскую банальность. Экономический кризис резко усилил настроения национального эгоизма как среди бедных, так и среди благополучных. В Афинах и Варшаве сегодня проходят антинемецкие демонстрации под лозунгами, напоминающими Германии о ее нацистском прошлом.

Приверженность «мягкой силе», служившая одним из главных внешнеполитических козырей ЕС, после интервенции Франции и Британии в Ливии уже не выглядит убедительно. Скорее эти события напомнили о недалеком прошлом этих стран как великих колониальных держав.

Тема упадка и развала проявляется в XX в. постоянно. Это развал континентальных империй в результате Первой мировой войны, развал морских колониальных империй после Второй мировой войны. Упадок и развал СССР стал одной из причин популярности проблематики коллапса империй у историков и политологов в конце XX в. Теперь мы обсуждаем, не пришла ли Немезида за ЕС, и эта дискуссия во многом следует прежним аналогиям с империями прошлого. Впрочем, еще до кризиса внимательные исследователи отмечали сходство ЕС со средневековыми империями [Zielonka, 2007].

Все это заставляет задуматься, насколько верным является привычное нам определение XX в. как века национальных государств. Юрген Остерхаммель в своей недавней книге «Преображение мира» убедительно показал, что не только XIX в., но и первая половина XX была еще во многом временем империй и национализма, но не эпохой национальных государств [Osterhammel, 2009]. Десять лет назад британский историк Норманн Стоун, сравнивая последствия распада Османской империи и СССР, закончил свою статью таким вопросом: «Парадокс в том, что современная Турция, при всех ее многочисленных проблемах, оказалась наиболее успешной из всех государств, возникших на развалинах Османской империи. Будет ли это верно для России?» [Stone, Podbolotov, Yasar, 2004, p. 42]. От того, как мы сможем ответить на этот вопрос, во многом зависят наше понимание распада СССР и оценка последствий этого события.

Сегодня поиск в «Гугл» по запросу «кризис национального государства» дает примерно 212 млн. позиций. Чем была вторая половина XX в.? Долгожданным триумфом национального государства или периодом поиска новых форм организации мирового порядка взамен доминировавших до середины XX в. модернизированных империй? Нам еще предстоит это выяснить. Именно в нашем веке мы видим попытки деконструкции самого понятия «nation state», в частности путем введения нового понятия «state nation», обозначающего государства, в которых живут два и более политически мобилизованных национальных сообщества [Crafting state-nations, 2010]. Россия, безусловно, принадлежит к числу именно таких государств.

Только недавно были предприняты первые попытки написать целостную историю Европы послевоенной части века [Judt, 2005]. Одно вполне очевидно – вторая половина XX в. была периодом поиска новых форм политической и экономической организации мира. Если кому-то казалось в начале 1990-х, что такие формы (американское глобальное доминирование, ЕС) найдены, то сегодня, из XXI в., мы уже отчетливо понимаем, что это представление было ошибочным. Все большее значение для понимания механизмов мирового развития приобретают события за пределами Европы и США. Мы справедливо говорим о том, что последняя треть XX в. стала временем невиданного роста благосостояния в мировом масштабе. Самым важным элементом этого успеха можно уверенно назвать тот факт, что в эти годы Китай сумел поднять из бедности более 250 млн. человек, чем поставил под вопрос либеральный тезис о демократии как необходимом условии экономического успеха. Сегодня тема сравнительной экономической эффективности демократических и авторитарных режимов является одной из ключевых. Чем дальше разворачивается кризис той экономической модели глобализации, которая работала в послевоенном мире, тем отчетливее последние десятилетия XX и начало нашего века предстают как период вызревания кризиса и послевоенной модели капитализма, и модели социального государства, и массовой демократии, и основных элементов послевоенного мирового порядка. Только опыт нового века позволит через какое-то время понять, как мы, точнее, наш потомки, будут описывать этот период – как творческий кризис или как период упадка и распада.

* * *

В первом выпуске «Прошлого века» в фокусе внимания находятся наши, советско-российские, темы и сюжеты. «Советско-российский», конечно, неуклюжий термин. Тем не менее без него не обойтись. Ведь начинаем мы XX век как Российская империя, продолжаем как Советский Союз, а завершаем как Российская Федерация, с существенно изменившейся географией. Было бы, конечно, непростительной ошибкой согласиться с той тенденцией к национализации взгляда на прошлое, которая возобладала на постсоветском пространстве. Современная Россия, в том числе и ее границы, равно как наши сегодняшние представления о том, кто такие русские, как раз и являются плодом истории XX в., и ни в коем случае не должны задавать нам рамку восприятия прошлого. Поэтому «советско-российский» XX в. обязательно должен обсуждаться с историками, политологами, социологами тех стран, которые, как и современная Россия, стали продуктом развития Российской империи и СССР. Ну, и, разумеется, важный вклад в осмысление российско-советского опыта XX в. вносит западная наука. В соответствии с этой логикой в книге три раздела.

Первый раздел открывает статья Д. Ефременко о современном социологическом взгляде на распад СССР. Р. Мнацаканян рассказывает о том, как с точки зрения эколога видится конец прошлого века. Л. Кацва анализирует все рекомендованные к использованию в школе учебники истории, чтобы оценить, как представлен в них «советский век». М. Суслов рассматривает позицию Русской православной церкви в отношении истории нашей страны в прошлом веке. Статья О. Малиновой посвящена анализу дискурса властных элит постсоветской России о Великой Отечественной войне, ключевом событии в исторической памяти современной России. О. Леонтьева пишет о том, как меняется представление о русском либерализме начала прошлого века в первые годы XXI в. А. Мазаник в своем обзоре анализирует методологические изменения в российской урбанистике, т.е. в области исследований того социального пространства, которое в прошлом веке впервые стало местом жизни большинства населения страны.

Во втором разделе Р. Чепайтене анализирует подходы к советскому прошлому в современной Литве, стране, которая первой заявила о выходе из СССР. Г. Касьянов представляет своеобразный

автореферат своей книги о Голодоморе как специфической форме культурной реальности в современной Украине. Книга вышла на украинском, и у нас практически недоступна. Д. Аманжолова анализирует развитие современной казахской историографии «советского века». Во всех трех работах темы тоталитаризма, геноцида, о которых шла речь выше, оказываются в центре внимания.

Заключительный раздел включает две работы. А. Воронович представляет дебаты о советской национальной политике межвоенного периода в современной американской историографии. С. Жук дает подробный критический анализ бурно развивающейся в последние годы западной историографии, посвященной природе советского общества и культуры в послевоенный период.

Список литературы

Гефтер М. Историческая политика – 2013: Наметки и прогнозы // ГЕФТЕР. – М., 2013. – 23 апреля. – Режим доступа: http://gefter.ru/archive/7384 (Дата посещения: 13.05.2013.)

Историческая политика в XXI в.*:* Сб. ст. / Миллер А.И., Липман М.А. (ред.). – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – 646 с.

История России, 1900–1945. 11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Под ред. А.А. Данилова, А.В. Филиппова. – М.: Просвещение, 2012. – 447 с.

История России, 1945–2008. 11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Под ред. А.А. Данилова, А.И. Уткина, А.В. Филиппова. – М.: Просвещение, 2008. – 368 с.

Филиппов А.В. Новейшая история России, 1945–2006 гг.: Книга для учителя. – М., 2007. – 494 с.

Финкель Е. В поисках «потерянных геноцидов»: Историческая политика и международная политика в Восточной Европе после 1989 г. // Историческая политика в XXI в.: Сб. ст. / Миллер А.И., Липман М.А. (ред.). – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – С. 292–327.

Черная книга коммунизма: Преступления, террор, репрессии / С. Куртуа, Н. Верт, Ж.-Л. Панне, А. Пачковский, К. Бартошек, Ж.-Л. Марголен; Пер. с фр. – М.: Три века истории, 1999. – 780 с.

Beyond totalitarianism: Stalinism and Nazism compared / M. Geyer, S. Fitzpatrick (eds.). – N.Y.: Cambridge univ. press, 2009. – 536 p.

Browning C.R. Ordinary men: Reserve Police Battalion 101 and the final solution in Poland. – N.Y.: HarperCollins, 1992. – 231 p.

Crafting state-nations: India and other multinational democracies / A. Stepan, J.J. Linz, Y. Yadav. – Baltimore: Johns Hopkins univ. press, 2010. – 308 p.

Declines and falls: Perspectives in European history and historiography // Central European university. – Budapest, 2012. – Mode of access: http://history.ceu.hu/events/2013-05-15/declines-and-falls-perspectives-in-european-history-and-historiography (Дата посещения: 13.05.2013.)

Gentile E. Fascism, totalitarianism and political religion: Definitions and critical reflections on criticism of an interpretation // Totalitarian movements and political religions. – L., 2004. – Vol. 5, N 3. – P. 326–375.

Goldhagen D.J. Hitler's willing executioners: Ordinary Germans and the Holocaust. – N.Y.: Vintage Books, 1996. – 631 p.

Griffin R. The palingenetic political community: Rethinking the legitimization of totalitarian regimes in inter-War Europe // Totalitarian movements and political religions. – L., 2002. – Vol. 3, N 3. – P. 24–43.

Herman E.S., Peterson D. The politics of genocide. – N.Y.: Monthly Review Press, 2011. – 183 p.

Judt T. Postwar: A history of Europe since 1945. – N.Y.: Penguin Press, 2005. – 878 p.

May L. Genocide: A normative account. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2010. – 310 p.

Naimark N.M. Stalin's genocides. – Princeton: Princeton univ. press, 2010. – 163 p.

Osterhammel J. Die Verwandlung der Welt: eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. – München: Beck, 2009. – 1568 S.

Shaw M. From comparative to international genocide studies: The international production of genocide in 20 th-century Europe // European journal of international relations. – L., 2012. – 18 (4). – P. 645–668.

Shore M. The taste of ashes: The afterlife of totalitarianism in Eastern Europe. – N.Y.: Crown, 2013. – 384 p.

Snyder T. Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin. – N.Y.: Basic Books, 2010. – 524 p.

Stone N., Podbolotov S., Yasar M. The Russians and the Turks: Imperialism and nationalism in the era of empires // Imperial Rule / Miller A., Rieber A. (eds.) – Budapest; N.Y.: CEU Press, 2004. – P. 25–45.

Troebst S. Jalta versus Stalingrad, GULag versus Holocaust: Konfligierende Erinnerungskulturen im größeren Europa // Medien & Zeit: Kommunikation in Vergangenheit und Gegenwart. – Wien, 2006. – Jg. 21, Nr. 1. – S. 4–19.

Viola L. The question of the perpetrator in Soviet history // Slavic review. – Urbana, 2013. – Vol. 72, N 1. – P. 1–23.

Zielonka J. Europe as empire: The nature of the enlarged European Union. – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2007. – 293 p.

А.И. Миллер

РОССИЙСКИЙ ВЗГЛЯД НА XX ВЕК

Д.В. Ефременко

НОРМАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА: ЕЩЕ РАЗ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ РАЗВИЛКАХ 1980–1990-х годов

Название этой статьи вдохновлено двумя авторами. Один из них – Владимир Путин, другой – Чарльз Перроу.

Известное путинское высказывание о том, что распад Советского Союза стал «величайшей геополитической катастрофой XX века», на Западе часто интерпретируется как прямое указание на реваншистские устремления российского лидера и его ревизионизм по отношению к существующему мировому порядку [см., например: Aron, 2008; Bremmer, 2009]. На деле такие интерпретации лишь дезориентируют тех, кто пытается разобраться в приоритетах путинской внутренней и внешней политики. Определение «величайшая», разумеется, было оценочным, адресованным миллионам жителей постсоветских государств, у которых аббревиатура «СССР» вызывает ностальгию. Термин «катастрофа» – дескриптивный. Попытка проанализировать крушение советского государства и коммунистического режима именно в качестве катастрофы может дать заслуживающие внимания результаты.

Книга Чарльза Перроу «Нормальные аварии. Жизнь с технологиями повышенного риска» [Perrow, 1984] считается едва ли не пророческой, поскольку ее автор – известный американский специалист по теории риска и социологии организаций – буквально накануне трагедий Бхопала, Чернобыля и «Челленджера» показал, что в сложных технических или организационных системах катастрофические сбои, ведущие к разрушению системы, неизбежны и одновременно непредсказуемы. Дисфункции или сбои на уровне дискретных элементов системы, по отдельности не представляю-

щие для нее серьезной опасности, в какой-то момент вступают друг с другом в резонансное взаимодействие, способное дестабилизировать систему в целом. И в этот момент решающим может стать фактор оператора, который, даже не совершая грубых ошибок (в рамках логики штатного функционирования системы) или успешно справляясь с уже известными техническими проблемами, оказывается неспособным адекватно реагировать на такого рода системные сбои. Иначе говоря, возможность катастрофического саморазрушения изначально атрибутирована любой сложной системе[1], из чего, однако, не следует, что эта возможность обязательно реализуется за предусмотренный проектом срок ее функционирования. Вместе с тем прогнозировать катастрофический системный сбой на основе традиционных методов оценки риска не представляется возможным.

Если буквально проецировать логику Ч. Перроу на советскую коммунистическую систему, то можно сказать, что возможность саморазрушения была заложена в ней точно так же, как и в любой другой сложной системе. Из этого ни в коем случае не следовало, что крах системы должен был произойти именно на рубеже 1980–1990-х годов. Вне всякого сомнения, в начале 1980-х годов советская система переживала стагнацию, но это состояние в принципе могло продолжаться неопределенно долго. Как здесь не вспомнить Э. Гиббона, чей классический труд назывался «История упадка и разрушения Римской империи», причем «упадок и разрушение», по Гиббону, охватывали период почти в полтора тысячелетия...

В начале и даже в середине 1980-х годов развитие советской системы по сценарию длительной стагнации / частичной трансформации казалось наиболее вероятным. Советский режим мог двигаться и далее от одной неудачи к другой (а иногда и добиваться

[1] Д. Фурман, имея в виду крах советской и ей подобных социально-политических систем, отмечает следующее: «Летальный кризис всегда “подкрадывается незаметно” – его неожиданность имманентна системам, в которых нет обратной связи власти и общества, где в избытке поступают сигналы об опасностях нереальных, но не поступают сигналы об опасностях реальных» [Фурман, 2010, с. 154]. Следует отметить, однако, что обратная связь власти и общества является значимым фактором устойчивости, но никак не гарантией бессмертия той или иной сложной социальной системы.

отдельных успехов даже на нисходящей фазе своего существования), но система в целом казалась слишком большой и громоздкой, чтобы всерьез можно было поверить в ее скоротечный коллапс. Консервативная логика «too big to fail» ретроспективно кажется несостоятельной в отношении СССР периода перестройки, но поведение ответственных политических лидеров (например, Дж. Буша-старшего), которые ее придерживались почти до самого конца страны Советов, представляется абсолютно обоснованным.

Начиная с 1985 г. Советский Союз на протяжении короткого отрезка времени преодолел несколько исторических развилок, причем преодолел их таким образом, что наступление разрушительного системного сбоя стало необратимым. Анализ этих развилок предполагает комплексную реконструкцию как внутрисистемных факторов будущей катастрофы, так и роли оператора. Данная статья ни в коей мере не претендует на осуществление подобной полноценной реконструкции. Скорее, речь идет об эскизном наброске нескольких аргументов для дискуссии о позднесоветских и ранних постсоветских исторических развилках.

Прелюдия

Волну массовых ожиданий больших перемен породила уже первая в 1980-х годах смена власти, когда во главе партийного и государственного руководства оказался Ю.В. Андропов. Эти ожидания едва ли можно назвать ожиданиями либерализации режима; скорее, то были разнонаправленные устремления, общим знаменателем которых была неудовлетворенность в самых разных слоях общества status-quo брежневской эпохи. Первые шаги Андропова – весьма ограниченные по масштабам чистки в среде номенклатуры, отдельные громкие отставки и кампания по «укреплению дисциплины» и «наведению порядка» – не слишком проясняли суть программы нового лидера, но, очевидно, вполне отвечали общественному настрою. Сегодня можно только гадать, была ли вообще у Андропова продуманная программа преобразований. Но он, несомненно, лучше чем кто бы то ни было в Советском Союзе начала 1980-х годов видел те узлы коммунистической системы, дисфункция которых может привести к ее крушению. Свидетельство А.И. Вольского, согласно которому Юрий Андропов вынашивал план ликвидации деления СССР на национальные республики

[Вольский, 2006], показывает, что преемник Леонида Брежнева был глубоко озабочен наличием встроенного в систему механизма ее саморазрушения. Механизм этот был далеко не единственным, но вполне логично, что казавшийся многим фиктивным принцип договорной федерации вызывал у Андропова наибольшее беспокойство. Другой вопрос, что время для попытки ликвидации деления СССР на 15 национальных республик к началу 1980-х годов, скорее всего, уже было упущено. Без радикального и долгосрочного ужесточения режима осуществление такой попытки могло бы закончиться системной катастрофой.

О понимании Андроповым многих системных угроз и о том, что у него нет глубоко проработанной программы их преодоления, свидетельствовало и беспрецедентное признание генсека на июньском (1983) пленуме ЦК: «Если говорить откровенно, мы еще до сих пор не изучили в должной мере общество, в котором живем и трудимся, не полностью раскрыли присущие ему закономерности, особенно экономические. Поэтому порой вынуждены действовать, так сказать, эмпирически, весьма нерациональным способом проб и ошибок» [Андропов, 1983, с. 245]. Судя по всему, огромный объем информации, которым обладал бывший руководитель КГБ, позволял ему реалистично оценить, насколько не соответствуют масштабам социальных и национальных проблем существующее экспертное знание и те теоретические конструкции, которыми оперируют советские обществоведы. Появившийся в апреле 1983 г. так называемый Новосибирский манифест – полузакрытый доклад Т.И. Заславской «О совершенствовании производственных отношений социализма и задачах экономической социологии» [Zaslavskaya, 1989, p. 158–184], в котором, кстати, уже присутствовало и слово «перестройка», вполне может рассматриваться как теоретический прорыв, еще более подчеркивающий, однако, ограниченность экспертного обеспечения намечавшихся преобразований. Слабая экспертная проработка и инкрементализм отличали и большинство политических решений второй половины 1980-х годов, которые в конечном счете перевели Советский Союз в режим системной катастрофы.

Прелюдия перестройки не продлилась и двух с половиной лет. За это время не было принято значимых политических решений, способных укрепить либо дестабилизировать систему, но нарастающие ожидания изменений сами по себе служили мощным фактором последующей дестабилизации. Эти ожидания лишь усилились за время пребывания у власти К.У. Черненко, которое воспринималось большинством как своеобразная необрежневизация. Сменивший Черненко Михаил Горбачёв сумел благодаря массовым ожиданиям перемен добиться высокого уровня популярности и существенно укрепить свои позиции в первые полтора-два года после избрания генеральным секретарем ЦК КПСС. Он же затем превратился в заложника этих ожиданий.

«Ускорение» и первые системные сбои

Как известно, лозунг перестройки был взят на вооружение М.С. Горбачёвым далеко не сразу. В апреле 1985 г. новый советский лидер на пленуме ЦК КПСС провозгласил курс на ускорение социального и экономического развития, т.е. сделал ставку на мобилизацию внутренних ресурсов системы, прежде всего за счет технологической модернизации и опережающих инвестиций в машиностроение. О фундаментальных реформах советской политико-экономической модели речь не шла – доминирующим был дискурс повышения эффективности и качества управления; о запуске механизмов материального стимулирования труда и ограниченной децентрализации управления Горбачёв начал говорить лишь через несколько месяцев (в частности, на XXVII съезде КПСС в феврале 1986 г.). Однако попытка вывести на новые обороты стагнирующую систему означала резкий рост внутреннего напряжения и усиление уже существовавших диспропорций. Так, в частности, инвестиционная накачка машиностроения и массированный импорт оборудования для этих отраслей привели к резкому росту бюджетного и товарного дефицита, быстрому увеличению иностранной задолженности. При этом, однако, не находило разрешения одно из фундаментальных противоречий – недостаток рабочей силы по сравнению с имеющимся количеством рабочих мест, следствием чего становились общее снижение эффективности позднесоветской экономики и затухающие темпы ее роста.

В отличие от вложений в сельскохозяйственное производство и пищевую промышленность, ставка на машиностроение не могла дать никакого краткосрочного эффекта с точки зрения массовых ожиданий. Напротив, гражданам Советского Союза следовало смириться с перспективой дальнейшего роста товарного голода.

В этом отношении ресурс массовой поддержки растрачивался Горбачёвым наименее эффективным образом.

Еще одним политическим решением, способствовавшим системной дестабилизации, стала антиалкогольная кампания, развернутая в мае 1985 г. Эта кампания дала ряд краткосрочных позитивных эффектов в социальной сфере и демографии, в частности, привела к росту продолжительности жизни мужчин, непродолжительному сокращению смертности и снижению бытовой преступности [Халтурина, Коротаев, 2006; Николаев, 2008], но уже в 1986 г. серьезно разбалансировала союзный бюджет и спровоцировала рост теневой экономики. Если учесть, что за первый год пребывания Горбачёва у власти цены на нефть упали почти вдвое, а военные расходы неуклонно увеличивались, то станет ясно, что синергия всех этих процессов создала серьезнейшую перегрузку для советской экономики[1]. Правда, в период между 1986 и 1991 гг. конъюнктура нефтяных цен несколько изменилась в более благоприятном для экспортно ориентированной экономики СССР направлении, а серия советско-американских соглашений по контролю, ограничению и сокращению ядерных и конвенциональных вооружений к началу 1990-х годов создала условия для снижения бремени военных расходов.

Поистине шоковым ударом, потребовавшим мобилизации огромных человеческих и материальных ресурсов, стала Чернобыльская катастрофа. Достаточно сказать, что в ликвидации последствий аварии на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС участвовали более 600 тыс. человек, а экономический ущерб только за годы перестройки превысил 15 млрд. долл. [Chernobyl's legacy, 2006]. Однако связь между крупнейшей техногенной катастрофой и крушением Советского Союза далеко не исчерпывается социально-экономическими эффектами Чернобыля.

Характерную оценку сути Чернобыльской катастрофы дал один из видных деятелей польской «Солидарности» Адам Михник: «Польская забастовка в августе 1980 г. была организована людьми, поляками. В Советском Союзе на наших глазах начинают бастовать неодушевленные объекты» [Доббс, 2011, с. 95]. В этом суждении есть явная политическая передержка, но несомненно

[1] По оценке Н.И. Рыжкова, общий финансовый ущерб от антиалкогольной кампании составил 67 млрд. руб. [Рыжков, 1995, с. 101].

также, что Чернобыль – это очень советская история. Чарльз Перроу показал «встроенность» катастрофического исхода в дизайн сложных социотехнических систем и, по сути, на уровне внутрисистемных связей и связей «оператор – система» описал сценарий будущей трагедии. Однако конкретные обстоятельства – начиная с конструктивных особенностей реактора РБМК-1000 и проектных характеристик ЧАЭС и заканчивая действиями управляющего персонала – отражали характерные особенности советской технической и управленческой культуры. Более того, четкое разграничение технического и социального далеко не всегда возможно или оправданно. Весь «единый народно-хозяйственный комплекс СССР» уместно рассматривать как особую техносферу, включавшую в себя наряду с техническими объектами, инфраструктурой обслуживания и персоналом также институты управления, планирования и координации, процесс принятия решений, за которыми в свою очередь стояли специфические политико-экономические интересы, идеологические и ценностные установки. Распад СССР означал не исчезновение, но дезинтеграцию и фрагментацию этой техносферы, разрыв институциональных и хозяйственных связей, необходимость крайне болезненного приспособления к новым экономическим и политическим условиям.

Ликвидация последствий Чернобыльской катастрофы стала, по сути, последним успехом советской мобилизационной социально-политической модели. Экстренная мобилизация ресурсов всей страны для ликвидации последствий Чернобыля обнаружила множество уязвимых мест, но система в целом все еще была в состоянии справляться с вызовами такого масштаба. Можно только гадать о размерах бедствия, если бы подобная авария на атомном реакторе произошла не в 1986 г., а спустя пять или шесть лет.

Социально-психологические последствия катастрофы 26 апреля 1986 г. обычно называют «чернобыльским синдромом», причем речь, как правило, идет о массовом восприятии техногогенных угроз и о реакции людей на информационные потоки, связанные с этими угрозами. Осознание просчетов в информационном сопровождении мер по ликвидации аварии на ЧАЭС, очевидно, послужило одним из стимулов к большей информационной открытости советской системы. Однако комплексные социально-политические эффекты Чернобыля еще ждут своего анализа. Один из них – до сих пор малоизученный – связан с резонансом требований эколо-

гической безопасности и подъемом национализма в ряде союзных республик. «Чернобыльский синдром» трансформировался в этих республиках в «эконационализм» [Dawson, 1996], создавший условия для появления общественных движений, которые теснейшим образом увязывали задачи охраны окружающей среды с национальными целями – достижением государственной независимости либо полноценного суверенитета в составе СССР.

В случае эконационализма следует отличать причину от повода. Нет никаких оснований утверждать, что мощный подъем сепаратизма в балтийских республиках был вызван реакцией населения на экологические последствия Чернобыля. Но еще в доперестроечные времена выступления в защиту окружающей среды наряду с движением за охрану памятников истории и культуры оставались в национальных республиках СССР одним из немногих легальных, пусть и весьма ограниченных, способов оппонирования жесткой централизации и партийному диктату. В 1986–1987 гг. демонстрация обеспокоенности угрозами «мирного атома» давала возможность подчеркнуть глубокое несоответствие между интересами местного населения и политикой союзного центра по размещению производительных сил. В Литве, например, внимание общественности, заинтересованной в экологической проблематике, было, прежде всего, сосредоточено на работе Игналинской атомной электростанции. Лидеры экологического движения указывали на то, что повторение аварии на АЭС, сопоставимой с Чернобылем, будет означать для литовцев национальную катастрофу. Общественный клуб, возглавляемый сотрудником Института физики Литовской академии наук З. Вайшвилой, предпринял исследование вопросов безопасности на АЭС, и весной – летом 1988 г. провел ряд митингов, пресс-конференций и открытых слушаний, получивших широкий общественный резонанс. Вместе с тем в эту дискуссию был привнесен национальный момент, связанный с тем, что обслуживающий персонал АЭС состоял преимущественно из нелитовцев, ранее работавших на других объектах атомной энергетики СССР. В частности, указывалось на неблагополучие в г. Снечкус, основную часть населения которого составляли работники Игналинской АЭС. Этот фактор в интерпретации некоторых представителей литовского экологического движения рассматривался как дополнительная причина для беспокойства и недоверия.

В середине 1988 г. большинство участников литовских экологических групп активно включились в работу Литовского движения за перестройку («Саюдис»), целью которого стало восстановление государственной независимости. В рамках достижения этой цели экологическая проблематика, включая вопросы функционирования Игналинской АЭС, стала одним из важных направлений активности «Саюдиса». В программном документе «Саюдиса», подготовленном к выборам депутатов в новый парламент СССР в марте 1989 г., экологические требования были сформулированы следующим образом.

«1. Экологическое положение в Литве особенно ухудшилось за последние десятилетия, когда Республика стала объектом хищнических интересов московских ведомств.

2. Расширение хозяйственной деятельности, не оправданное экономически, энергетически, демографически, с каждым годом все губительнее изменяет и отравляет природу, разрушает здоровье и жизнь народа, нарушает его генетический код.

3. Экологическое положение в Литве можно улучшить лишь с приобретением правового и политического суверенитета. Исключительной собственностью Республики необходимо объявить ее землю, недра, воды, морской шельф, леса, атмосферу, природные ресурсы.

4. При решении проблем окружающей среды необходима полная гласность.

5. Государственные природоохранные органы должны стать подведомственны не исполнительной власти, но Верховному Совету Республики.

6. Лозунг “Чистая природа – сильный Народ” должен быть претворен в жизнь» [цит. по: Ефремов, 1990, с. 294].

Следует подчеркнуть, что соединение сепаратистских устремлений с экологическими лозунгами в ретроспективе событий периода перестройки выглядит как частный эпизод, как несколько новых штрихов к картине обвала сверхдержавы. Тем не менее понятно, что феномен эконационализма стал следствием угрожающего взаимоусиления процессов, каждый из которых уже являлся вызовом для системы. Одновременно эконационализм можно рассматривать и как признак того, что дестабилизация системы достигла нового качества, что катастрофическая развязка перестает быть просто одним из возможных сценариев, и что цена усилий, необходимых для ее предотвращения, может оказаться сопоставимой с социальной, политической и экономической ценой самой катастрофы.

Открывая ящик Пандоры

Первая и решающая историческая развилка периода перестройки может быть уверенно датирована рубежом 1986–1987 гг. К этому моменту стало очевидно, что стратегия преобразований в версии «ускорения» глубоко забуксовала. Первоначальный импульс был практически исчерпан, а массовые ожидания неопределенных положительных изменений вот-вот могли трансформироваться в глубокое разочарование новым лидером и его риторикой. Михаил Горбачёв, по всей видимости, отчетливо ощущал, что номенклатурная вертикаль – не столько эффективный инструмент его политики, сколько ограничитель. В свою очередь, представители нижнего и среднего слоев партийной и государственной номенклатуры, на первых порах испытывавшие энтузиазм не столько по поводу риторики Горбачёва, сколько в связи с перспективами карьерного продвижения, за полтора года убедились, что реальные проблемы, с которыми им приходится иметь дело, накапливаются как снежный ком, а московское руководство все чаще оставляет их с этими проблемами один на один.

Понимая необходимость серьезной коррекции курса, Горбачёв и его ближайшее окружение явно недооценивали серьезность экономического положения. По оценке Е.Т. Гайдара, союзное руководство стало осознавать взаимосвязь расстройства финансовой системы, денежного обращения и нарастания дефицита товаров на потребительском рынке лишь в конце 1988 г., т.е. в тот момент, когда финансы и потребительский рынок страны были фактически развалены [Гайдар, 2006, с. 192]. Здесь, очевидно, сыграли свою роль неудовлетворительность экспертного обеспечения процесса принятия политических решений, ригидность системы и самоуверенность самого Горбачёва.

Иначе говоря, находясь перед исторической развилкой 1986–1987 гг., Михаил Горбачёв видел ее общие очертания, но явно не отдавал себе отчета в цене предстоящего политического выбора. По сути дела, это была последняя возможность перевести реформы на китайский путь. Конечно, различия в социальной структуре, уровнях индустриального развития и урбанизации, квалификации и стоимости рабочей силы не позволяли в СССР детально копировать реформы Дэн Сяопина. Однако их общий принцип – переход к рыночной экономике при сохранении жесткого политического

контроля со стороны правящей коммунистической партии – вполне мог быть реализован в конкретных исторических обстоятельствах начала 1987 г. Разумеется, в качестве первого шага следовало снизить нагрузку на экономику, связанную с инвестициями в машиностроение и антиалкогольной кампанией, т.е. дезавуировать основные меры, инициированные Горбачёвым в первые месяцы после прихода к власти. Однако сам Горбачёв едва ли был способен пойти на такой шаг. К тому же признание правильности пути, по которому идут китайские коммунисты, было маловероятным в условиях, когда межгосударственные отношения СССР / КНР и межпартийные отношения КПСС / КПК еще не были нормализованы.

С подачи А.Н. Яковлева [Яковлев, 2008, с. 63–69] Горбачёв сделал выбор в пользу первоочередности политических преобразований. Январский (1987) пленум ЦК КПСС, посвященный кадровым вопросам, зафиксировал этот выбор. Использовав в докладе на январском пленуме термин «механизм торможения», Горбачёв фактически возложил ответственность за неудачи первого этапа перестройки на партийно-советскую номенклатуру. Намеченные на пленуме перетряска кадров на всех уровнях номенклатурной иерархии, внедрение альтернативности при избрании кандидатов в партийные и советские органы, «демократизация общественной жизни» [Горбачёв, 1987] стали рассматриваться не только как шаги в сторону политических изменений, но и как инструменты решения экономических задач. При этом, стремясь рекрутировать в правящую корпорацию новых людей и повысить ее внутреннюю кадровую мобильность, Горбачёв фактически вел дело к дестабилизации опорного каркаса системы в целом. Следствием принятых решений становились снижение сплоченности номенклатуры, ее дифференциация и оформление внутрипартийных течений.

Радикализация процессов, запущенных на январском пленуме, стала возможной благодаря политике гласности. Сегодня, возвращаясь к событиям четвертьвековой давности, нельзя не признать, что достигнутая благодаря горбачёвской гласности свобода интеллектуального поиска и самовыражения является величайшим завоеванием, которое сохраняется даже в условиях консолидации во многих постсоветских государствах авторитарных и полуавторитарных режимов. Однако для прежней советской системы именно

гласность сделала катастрофическую динамику необратимой[1]. В этом смысле можно согласиться с тезисом М.Я. Геллера о том, что эпоха Горбачёва была «победой гласности и поражением перестройки» [Геллер, 1997].

В 1987–1989 гг. с каждым свежим номером «Московских новостей» или «Огонька» происходило растабуирование проблем исторического прошлого и настоящего, а миллионы читателей начинали осознавать, что происходит не просто расширение «сферы дозволенного», но что в рамках системы либо по отношению к ней становится возможной принципиально иная модель социального поведения. Эффект был поистине опустошительным: не успевали умеренные сторонники системных трансформаций выстроить оборону под лозунгом возвращения к чистоте «ленинских идеалов социализма», как информационный вал с легкостью сметал этот редут. Многие из тех, кто еще в 1987 г. верил в возможность «демократического социализма», к 1989–1990 гг. превратились в убежденных антикоммунистов. Привнесение в общественно-политический дискурс моральных категорий и их использование для оценки политического режима вели к десакрализации и демонизации «отягощенной злом» системы.

Гласность радикально ускорила структурирование публичного пространства, она выступила в качестве катализатора процессов, которые впервые начали развертываться еще во времена хрущёвской «оттепели». В 1987–1990 гг. редакции газет и журналов представляли собой подобия политических партий, а дискурсы доперестроечной диссидентской среды мультиплицировались и наполнялись новыми смыслами благодаря появлению множества возможностей формальной и неформальной коммуникации.

Политическая поляризация охватила не только интеллигенцию и тот социальный слой, который с известной долей условности можно назвать советским городским средним классом, но и (с незначительным временным лагом) правящую номенклатурную корпорацию. Серьезные разногласия в высшем руководстве отчетливо проявились накануне июньского (1987) пленума ЦК КПСС

[1] Здесь стоит привести характерное высказывание В.В. Игрунова, в тот период активно участвовавшего в развитии неформального движения в СССР: «Мне стало ясно, что катастрофа неизбежна, когда было объявлено об отмене предварительной цензуры» [Игрунов, 2012, с. 149].

[Горбачёв, 1995, с. 348–359], но моментом начала полномасштабной поляризации стал демарш Б.Н. Ельцина в октябре 1987 г. Фактически Ельцин спровоцировал внутрипартийный кризис; его незапланированное выступление на октябрьском пленуме стало первым случаем в правление Горбачёва, когда политическая повестка определялась не генсеком. Сам демарш был весьма симптоматичным: «посаженный» на Москву амбициозный провинциал за короткие два года сумел популистской риторикой и решительной кадровой перетряской привлечь к своей активности внимание не только столичных жителей; затем, однако, Ельцин отчетливо осознал невозможность добиться радикальных перемен в рамках существующей системы. Он мог пойти по пути укрепления коалиции с другими сторонниками радикальных реформ внутри партии (а они вплоть до запрета КПСС оставались недостаточно консолидированной группой), и таким образом усиливать давление на Горбачёва. Однако феноменальная политическая интуиция, которой обладал Ельцин, побудила его пойти по пути внутрисистемного бунта, сделать предельно рискованную ставку, которая, в конце концов, принесла ему баснословный выигрыш.

Политическая опала не стала для Ельцина политической смертью; довольно быстро он начал превращаться в центр притяжения как для наиболее радикальных сторонников реформ внутри партии, так и для формирующейся антикоммунистической оппозиции. Горбачёв с этого момента перестал быть фигурой, обеспечивающей консолидацию партии и общества. Он стал олицетворением центристской позиции, причем центристской не в смысле продуманной политической программы, а в смысле дистанцирования от политических крайностей. С конца 1987 г. его база поддержки и свобода политического маневра неуклонно сокращались. Однако на первых порах основные группировки внутри высшего руководства продолжали вести борьбу «за Горбачёва». Консервативная группировка ожидала, что после «казуса Ельцина» Горбачёв наконец-то «опомнится» и даст «задний ход». Когда выяснилось, что Горбачёв не решается окончательно отмежеваться от радикалов, консерваторы предприняли попытку подтолкнуть генсека к выбору ретроградного курса, организовав публикацию статьи Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами» [Андреева, 1988] и скоротечную кампанию поддержки сформулированной в этой статье программы. Горбачёв, осознавая, что для него уже

слишком поздно возглавлять кампанию свертывания им же начатых преобразований, предпочел на сей раз отмежеваться от Е. Лигачёва и других консерваторов. Ослабление позиций консерваторов продолжилось на XIX партконференции (28 июня – 1 июля 1988 г.). Но теперь каждая такая победа Горбачёва обеспечивалась тактическим маневрированием, формированием неустойчивых коалиций с представителями то одной, то другой группировки.

Сделав выбор в пользу первичности политических преобразований, Горбачёв не просто отодвинул на второй план экономическую реформу. Начиная с 1987 г. каждый новый шаг в сторону рыночной экономики оказывался осложнен необходимостью «вписываться» в быстро меняющийся политический контекст, а ожидаемый политический эффект от намечаемых экономических мероприятий поначалу побуждал Горбачёва и его окружение выбирать из возможных решений те, которые казались наименее рискованными и наиболее «проходимыми» через Политбюро и партийные пленумы. В результате экономические мероприятия даже после июньского (1987) пленума ЦК КПСС, посвященного экономической реформе, представляли собой набор паллиативных мер, осуществляемых избирательно и вне четкой последовательности. В таком виде эти меры приводили к дальнейшему усилению экономических и социальных диспропорций, к углублению общего кризиса системы. Замена директивного планирования на индикативное, расширение экономической самостоятельности союзных республик, перевод предприятий на хозрасчет и самофинансирование, выборность их директоров, снятие ограничений на рост заработной платы представляли собой набор действий, подрывающих основы функционирования командно-административной экономики, но не приводящих к запуску новой хозяйственной модели и – тем более – к достижению макроэкономической стабильности. В частности, заимствованная из опыта титовской Югославии практика выборности руководителей предприятий обернулась тем, что к руководству предприятиями стали приходить некомпетентные люди или авантюристы, сумевшие заручиться поддержкой трудового коллектива благодаря демагогии и малореалистичным обещаниям. Эти производственные руководители новой генерации, как правило, начинали свою деятельность с безудержного раздувания фонда заработной платы, под которое не было никакого дополнительного товарного обеспечения. В условиях

кадровой чехарды расшатывалась и без того невысокая производственная дисциплина. Происходившее одновременно расширение финансово-хозяйственной самостоятельности предприятий создавало условия для серьезных злоупотреблений, а в первые годы после краха СССР – для перевода активов под полный контроль директоров или стоящих за ними групп (зачастую криминальных).

В числе экономических мероприятий периода перестройки наиболее «рыночным» принято считать Закон «О кооперации», принятый 26 мая 1988 г. [см., например: Ясин, 2002, с. 208]. Однако рамочные условия для развития этой формы предпринимательства определялись не только и даже не столько данным законом, сколько ранее принятым решением о прогрессивном налогообложении кооперативов. Статистические данные о росте кооперативного движения в последние годы перестройки, безусловно, впечатляют: на 1 января 1988 г. в СССР действовало 13,9 тыс. кооперативов, а на 1 января 1990 г. – 193 тыс.; численность работников выросла со 156 тыс. человек в 1988 до 4,9 млн. человек в 1990 г.; объем продукции в годовом исчислении в ценах тех лет вырос с 350 млн. до 40,4 млрд. руб; в объеме ВНП доля кооперативов в 1988 г. составляла менее 1%, а в 1989 г. – уже 4,4% [Трудный поворот к рынку, 1990, с. 184]. Но необходимо учитывать, что 80% кооперативов были созданы при государственных предприятиях и фактически служили легальным каналом вывода ресурсов этих предприятий.

Экспансия кооперативов как никакая другая экономическая мера горбачёвского руководства способствовала разложению госсектора. В этом смысле данные о росте объема продукции кооперативов коррелируются с показателями спада производства в госсекторе, разумеется, с поправкой на схемы «оптимизации» налоговой нагрузки за счет сокрытия прибыли кооперативов. Уход от налогов, доступ к дефицитным фондам снабжения, проводка через кооперативы сбыта продукции госпредприятий становились возможными благодаря формированию коррупционного симбиоза между кооператорами, менеджментом госпредприятий, местной партийно-государственной номенклатурой, чиновниками отраслевых министерств, представителями правоохранительных органов и криминальными структурами. По сути, в нерыночной системе появилось множество квазирыночных акторов, которые начали использовать множественные ее прорехи и законодательные лакуны для достижения максимальной прибыли. Эти акторы процветали

на разложении старой, иерархически организованной командно-административной системы, но для становления новой, рыночной системы давали минимум – в лучшем случае стартовый капитал, специфический опыт и связи, необходимые для достижения прибыли в условиях распада советского государственного сектора и получения доступа к его самым лакомым кускам. Зато благодаря такого рода связям можно было обеспечить воспроизводство в качественно новых условиях связки «власть / собственность», освободив ее от политико-идеологических ограничений советской эпохи. Именно это и произошло впоследствии в результате осуществления гайдаровских реформ.

1987–1988 гг. можно считать решающими для судьбы СССР в том смысле, что в этот период были одновременно активированы несколько мощных механизмов ее разрушения: ликвидация идеологической монополии и цензуры, ослабление внутреннего единства КПСС и появление возможностей прихода в структуры власти людей, позиционирующих себя в качестве оппонентов режима, эрозия плановой экономики, подъем сепаратизма в ряде союзных республик и использование его активистами легальных способов борьбы за национальное самоопределение и независимость. Происходило взаимное усилие этих разрушительных процессов, нагрузки на систему возрастали с каждым месяцем. В то же время количество людей, социальных слоев и элитарных групп, продолжающих связывать свою судьбу со старым режимом, начало быстро сокращаться. И, напротив, множились ряды тех, кто в силу различных мотиваций – нравственных, идеологических, карьерных, националистических или материальных – был заинтересован в крахе системы. Абсолютным же было большинство людей дезориентированных, смутно осознающих угрозу гибели коммунистического государства и связанного с ним привычного образа жизни, но уже не способных встать на их защиту.

Синергия дестабилизирующих процессов, в конце концов, достигла той стадии, когда негативные последствия любой попытки спасения системы с использованием насильственных методов начали перевешивать последствия самой системной катастрофы. «Откровением» в этом смысле для очень многих в Советском Союзе и за его пределами стал I съезд народных депутатов СССР (25 мая – 9 июня 1989 г.).

Чрезвычайно усложненный дизайн новых представительных органов власти СССР, формировавшихся по смешанному принципу (территориальные округа, национально-территориальные округа и квотированное представительство общественных организаций), очевидно, был задуман для того, чтобы гарантировать контроль со стороны партийного руководства. Такой контроль был обеспечен, но с течением времени стало понятно, что двухуровневая модель «Съезд народных депутатов / Верховный Совет СССР» не столько гарантирует в быстро изменяющихся политических условиях всевластие КПСС, сколько способствует дисперсии властного ресурса. Ни Съезд, ни Верховный Совет не становились самостоятельными центрами политического влияния, но при этом они вносили вклад в ослабление КПСС как монопольного центра принятия ключевых политических решений. Двухуровневая модель законодательной власти придавала Съезду как политическому институту своеобразный ореол экстраординарности, а практика прямой теле- и радиотрансляции заседаний превращала это событие (по крайней мере I съезд народных депутатов СССР) в идеальный информационный шторм. Медийный эффект прямых трансляций I съезда многократно превзошел те ожидания, которые связывали с реформой законодательной власти ее авторы. На потрясенную аудиторию советских массмедиа прямые трансляции обрушили целый вал тем, каждая из которых по отдельности была способна спровоцировать если не политический кризис, то острейшие дебаты. Американский журналист М. Доббс метко сравнил I съезд с вавилонским столпотворением [Доббс, 2011, с. 96], имея в виду известное предвидение маркиза де Кюстина: «…народы немотствуют лишь до поры до времени. Рано или поздно они обретают язык, и начинаются яростные споры. Тогда подвергаются обсуждению все политические и религиозные вопросы. Настанет день, когда печать молчания будет сорвана с уст этого народа, и изумленному миру покажется, что наступило второе вавилонское столпотворение» [Кюстин, 1990, с. 167].

Именно на I съезде народных депутатов СССР по-настоящему «встретились» поднимающиеся националистические и сепаратистские движения союзных республик и народившаяся оппозиция коммунистическому режиму. По сути дела, между ними на съезде был заключен тактический союз, хотя народные депутаты от балтийских республик – наиболее сплоченная и организованная фрак-

ция противников единого союзного государства – подчеркнуто воздерживались от формального объединения с оппонентами режима, представлявшими «метрополию» (исключение было сделано только на индивидуальном уровне: эстонский депутат В.А. Пальм стал одним из пяти сопредседателей Межрегиональной депутатской группы наряду с Ю.Н. Афанасьевым, Б.Н. Ельциным, Г.Х. Поповым и А.Д. Сахаровым). Этот союз, влияние которого на распад СССР еще остается недооцененным, сохранялся вплоть до признания Москвой независимости Латвии, Литвы и Эстонии в сентябре 1991 г. Ясно также, что балтийская тактика борьбы за суверенитет, реализация которой предшествовала принятию Актов о восстановлении независимости балтийских государств, была с известными коррективами использована «Демократической Россией» для установления контроля над Верховным Советом РСФСР и избрания Б. Ельцина его председателем в мае 1990 г. А с принятием 12 июня 1990 г. Декларации о государственном суверенитете РСФСР была активирована последняя мина под единство союзного государства.

Coup d'état в несколько дублей

В сущности, уже в 1989 г. историческая развилка состояла в следующем: катастрофа всей системы или «редукция сложности» за счет сокращения сферы контроля. Первым шагом на пути сокращения сферы влияния СССР, получившим почти полную поддержку во всех слоях советского общества, стал вывод войск из Афганистана в 1988–1989 гг. По сути, это означало признание провала афганской авантюры брежневского Политбюро, хотя просоветский режим Наджибуллы сумел после вывода войск продержаться у власти в Кабуле еще три года. В конце 1980-х годов были сделаны решающие шаги к урегулированию региональных конфликтов в Кампучии (Камбодже) и Никарагуа; значительно сблизились позиции сверхдержав в отношении урегулирования конфликтов в Анголе и Мозамбике. Фактический отказ от советской сферы влияния в странах «третьего мира» создавал возможность сокращения нагрузки на систему, которое, впрочем, уже было не способно перекрыть совокупное действие внутренних факторов дестабилизации.

Падение Берлинской стены и «бархатные революции» в странах Восточной Европы стали для горбачёвского руководства

серьезнейшим испытанием, поскольку в этом случае речь шла об утрате основных геополитических результатов победы СССР во Второй мировой войне. Попытка силового подавления «бархатных революций» за пределами СССР автоматически привела бы к запуску сценария внутреннего переворота. Даже если бы Горбачёв решился возглавить этот переворот, он, в конце концов, неизбежно стал его жертвой. Однако и оппоненты Горбачёва в высшем руководстве, очевидно, осознавали, что у Советского Союза уже не хватит возможностей и ресурсов для удержания контроля над Восточной Европой. Они предпочли, чтобы вся ответственность за геополитическое отступление легла на незадачливого реформатора. Развитие событий в Восточной Европе продемонстрировало многообразие вариантов крушения коммунистических режимов – от польской модели «круглого стола» до кровавого антикоммунистического восстания в Румынии. Пугающая перспектива краха режима способствовала консолидации консервативных сил внутри КПСС, причем именно Горбачёв превратился в основной объект их атак (на последнем в истории пленуме ЦК КПСС в апреле 1991 г. эти атаки едва не завершились смещением Горбачёва с поста генерального секретаря).

Геополитическое отступление СССР из Восточной Европы послужило вдохновляющим примером для сепаратистских движений и антикоммунистической оппозиции. Поэтому выдвижение новых идей «редукции сложности» системы имело большой резонанс. Во всяком случае, едва ли было случайностью, что эссе А.И. Солженицына «Как нам обустроить Россию» было опубликовано 18 сентября 1990 г. тиражом 28 млн. экз. Программа Солженицына была радикальной: спасать не систему, а единство исторической России (в составе тогдашней РСФСР, Белоруссии, Украины и Казахстана), причем спасать за счет ампутации остальных 11 союзных республик: «Да уже во многих окраинных республиках центробежные силы так разогнаны, что не остановить их без насилия и крови – да и *не надо* удерживать такой ценой! Как у нас все теперь поколесилось – так все равно “Советский Социалистический” развалится, *все равно*! – и выбора настоящего у нас нет, и размышлять-то не над чем, а только – поворачиваться проворней, чтоб упредить беды, чтобы раскол прошел без лишних страданий людских, и только тот, который уже действительно неизбежен.

И так я вижу: надо безотложно, громко, четко объявить: три прибалтийских республики, три закавказских республики, четыре среднеазиатских, да и Молдавия, если ее к Румынии больше тянет, эти одиннадцать – да! – непременно и бесповоротно будут отделены» [Солженицын, 1990, с. 2].

Несмотря на активное обсуждение, программа Солженицына не обрела поддержки влиятельных политических акторов, способных противопоставить ее цепной реакции распада советского национально-государственного устройства. Для реализации программы в предложенном Солженицыным варианте не оказалось ни правовых механизмов, ни – главное – политической воли. Однако начало в апреле 1991 г. переговоров между Центром и руководством большинства союзных республик о подготовке нового союзного договора фактически могло привести к той же самой ампутации нескольких республик, лидеры и большинство избирателей которых настаивали на достижении полной независимости от Москвы. По всей видимости, такой результат мог позволить затормозить или даже остановить процесс распада основного территориального массива СССР хотя бы в силу устранения балтийского сепаратизма, который стал играть дестабилизирующую роль в масштабе, далеко выходящем за пределы Литвы, Латвии и Эстонии.

Следует подчеркнуть, что именно такое развитие событий представлялось наиболее вероятным в период между 23 апреля, когда в Ново-Огарёво было принято совместное заявление М.С. Горбачёва и глав девяти союзных республик о подготовке нового союзного договора, и 19 августа 1991 г., ознаменованным отстранением Горбачёва и провозглашением ГКЧП. Неудачная попытка государственного переворота перечеркнула всякую возможность трансформационного варианта сохранения государственного единства большинства союзных республик. Однако само выступление ГКЧП можно рассматривать как последнюю из нескольких попыток переворота, призванного остановить насильственным путем процессы катастрофического распада советской системы.

Начиная с алма-атинских событий в декабре 1986 г. горбачёвскому руководству все чаще приходилось использовать силу для подавления массовых беспорядков, вызванных подъемом национализма и межэтнической рознью. Насильственный разгон митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 г. сопровождался человеческими жертвами; изучение причин и обстоятельств этой трагедии комиссией Съезда народных депутатов СССР во главе с А.А. Собчаком стало первым случаем гражданского расследования действий армии и силовых структур. Одновременно это расследование стало прецедентом ухода от ответственности Горбачёва и других союзных руководителей, переложивших всю вину за гибель людей на армию и местные власти. С этого момента появился и начал быстро увеличиваться зазор между силовыми структурами и высшим политическим руководством.

Карабахский конфликт был ознаменован не только наиболее длительными и кровопролитными межэтническими столкновениями, но и осуществлением войсковых операций, введением различных форм особого управления территориями и чрезвычайного положения. Трагической кульминацией межэтнического конфликта в Закавказье стал бакинский «черный январь» 1990 г., когда при помощи армейских войсковых соединений, спецподразделений МВД и КГБ было осуществлено восстановление советской власти в азербайджанской столице. Несмотря на общую дестабилизирующую роль межэтнических конфликтов, союзные силовые структуры накапливали в их ходе опыт «наведения порядка», который в дальнейшем мог быть использован и для силового подавления протестов в Москве и крупных городах России. В апреле 1990 г., с принятием Закона СССР «О правовом режиме чрезвычайного положения», под этот опыт была подведена юридическая база.

Согласно имеющимся свидетельствам [см., например: Альбац 1992, с. 247–248; Бобков, 2006, с. 46–47], осенью 1990 г. центральным руководством было принято политическое решение о «наведении порядка» в вышедших из-под контроля Центра балтийских республиках. Но в отличие от Алма-Аты, Тбилиси, Баку и других зон этнополитических конфликтов, ликвидация основного очага сепаратизма уже не могла ограничиться локальной силовой акцией. Начало силового подавления движений за независимость в Балтии запускало цепную реакцию, результатом которой неизбежно становился политический переворот в общесоюзном масштабе. Однако в тот момент все замыкалось на Горбачёве.

Действия Горбачёва периода 1990–1991 гг. весьма часто приравнивают к политической агонии, соотнося его политическое поведение с итоговым результатом – отставкой с поста президента переставшей существовать сверхдержавы. Но такой взгляд представляется излишне упрощенным. Следуя инстинкту политического

выживания, Горбачёв демонстрировал виртуозное политическое маневрирование в условиях катастрофического падения личной популярности и превращения недавней опоры его власти в основную угрозу его политическому будущему.

Избрание Горбачёва президентом СССР 15 марта 1990 г. на III съезде народных депутатов СССР имело своим следствием значительный переток властного ресурса от высших партийных структур к новым структурам, связанным с институтом президентства. Вместе с тем создать президентский аналог партийной иерархии Горбачёв не успел. По отношению к КПСС генеральный секретарь ее ЦК стал осуществлять программу, позднее охарактеризованную А.Н. Яковлевым следующим образом: «У нас был единственный путь – подорвать тоталитарный режим изнутри при помощи дисциплины тоталитарной партии. Мы свое дело сделали» [Яковлев, 1998, с. 5].

После избрания Б.Н. Ельцина председателем Верховного Совета РСФСР и провозглашения 12 июня 1990 г. «Декларации о государственном суверенитете РСФСР» Горбачёв оказался между двух огней – возглавляемой руководством России группой союзных республик, все более решительно настаивавших на перераспределении властных полномочий в свою пользу, и номенклатурно-силовым конгломератом, усиливавшим давление на Горбачёва ради предотвращения распада СССР и сохранения в нем господства КПСС даже после отмены 6 статьи советской Конституции. С конца июля 1990 г. (достижение недолговечного соглашения между Горбачёвым и Ельциным о подготовке и запуске программы «500 дней») по конец апреля 1991 г. (ново-огарёвский компромисс) Горбачёв неоднократно совершал крутые политические виражи, маневрируя между двумя лагерями, но не делая окончательного выбора в пользу одного из них. С одной стороны, эта тактика еще более усиливала политическую турбулентность, но вместе с тем она сокращала шансы на успех попытки реакционного переворота. Подобная попытка в любом случае уже не могла восстановить догорбачёвский status-quo, а ее гуманитарная, экономическая и политическая цена оказалась бы в тот момент выше цены коллапса союзного государства. Фирменный политический стиль Горбачёва – стремление «заболтать» проблему, уйти от окончательного решения – нельзя считать заведомо провальным, поскольку в ряде случаев много значил сам по себе выигрыш времени, позволяющий «переждать» момент синергии наиболее опасных дестабилизирующих процессов.

Тем не менее события января 1991 г. в Вильнюсе и Риге по сути представляли собой увертюру переворота, который, однако, оказался застопоренным все из-за того же страха президента СССР принять на себя полноту политической ответственности. Сценарий переворота начинал осуществляться, но его естественный руководитель тут же нажимал на стоп-кран. Испытывая мощное давление со стороны сил реванша, Горбачёв к моменту принятия окончательного решения сталкивался с еще более сильным давлением московской улицы (самые массовые антикоммунистические демонстрации стали откликом на трагические события в Литве и Латвии) и Запада.

О роли внешнего влияния стоит сказать особо. Для множественных интерпретаций событий перестройки в духе теории заговора внешнее воздействие на ход распада советской системы является центральным. Несомненно, что к началу правления Горбачёва США сумели до предела поднять ставки в гонке вооружений; администрация Р. Рейгана также делала ставку на системную дестабилизацию Советского Союза и Восточного блока. Ситуация радикально изменилась к 1988 г., когда в западном подходе к событиям в СССР возобладала мотивация «помочь Горбачёву». Эта помощь, помимо сдержанности в отношении радикальных оппонентов советского лидера, имела и весомое материальное выражение: внешняя задолженность СССР с 1985 по 1991 г. увеличилась более чем в два раза. Политические условия получения западных кредитов стимулировали Москву смириться с геополитическими итогами «бархатных революций» в Восточной Европе и с перспективой расставания с частью союзных республик, решительно настроенных на выход из состава СССР [см.: Мэтлок, 2003, с. 291; Добрынин, 1996, с. 671]. Зависимость от западной помощи к концу эпохи перестройки достигла стадии, когда не только западные лидеры, но даже американский посол Дж. Мэтлок всерьез примеряли на себя роль арбитров в спорах между Москвой и союзными республиками [см.: Черняев, 2008, с. 889]. Вполне естественно, что решительные действия по ликвидации сепаратизма и демократического движения привели бы к блокировке западной помощи Советскому Союзу.

Вторая попытка переворота с высокой степенью вероятности должна была последовать после референдума 17 марта о сохранении союзного государства, результаты которого обеспечивали формальную легитимность подавления очагов сепаратизма. Скорее всего, решающие события на сей раз могли развернуться в Москве, где на 28 марта была намечена очередная массовая демонстрация в поддержку Ельцина и «Демократической России»[1]. Однако и в этот раз Горбачёв в последний момент нажал на тормоз, а через несколько недель он, как казалось, решился на окончательный выбор в пользу компромисса с Ельциным и другими лидерами большинства союзных республик. Во всяком случае, с момента достижения ново-огарёвских договоренностей Горбачёв перестал рассматриваться в качестве лидера, способного возглавить акцию по «наведению порядка».

Авантюра ГКЧП в отсутствие единственной легитимной фигуры, имеющей широкие полномочия в вопросах введения режима чрезвычайного положения, в ситуации, когда исполнители среднего звена по прошлому опыту знали, что в случае неудачи или чрезмерно рьяного исполнения приказов именно на них будет возложена вся ответственность, изначально имела низкие шансы на успех. Наряду с сопротивлением Ельцина и его сторонников именно позиция Горбачёва, блокировавшего более ранние попытки запуска механизма переворота, существенно подорвала способность путчистов эффективно использовать силовые структуры для достижения поставленных целей. Провал ГКЧП стал последним толчком к необратимой катастрофе советской системы и окончательной дезинтеграции Советского Союза.

Заключение

Была ли обречена советская система? Несомненно, да, если принять во внимание наличие целого ряда «встроенных» в нее механизмов саморазрушения, ее ригидную иерархическую организацию, насилие и устрашение как основные методы ее создания и функционирования. Была ли эта система и вместе с ней Советский

[1] Сама демонстрация явилась реакцией на попытку противников Б.Н. Ельцина сместить его с поста Председателя Верховного Совета РСФСР на III съезде народных депутатов РСФСР.

Союз обречена на гибель в 1991 г.? Очевидно, нет, если бы действия политического руководства не вызвали системные сбои и запуск механизмов саморазрушения. Преодоление исторических развилок периода горбачёвской перестройки прошло таким образом, что и «китайский вариант» трансформации системы, и возможность сохранения Союза в усеченном виде оказались упущенными. Фактически реализованный сценарий крушения советской системы нельзя считать предопределенным и даже наиболее вероятным сценарием. Вплоть до выступления ГКЧП наиболее высокой оставалась вероятность сохранения на договорной основе государственного единства большей части советских республик. Разумеется, это уже не был бы Советский Союз. В известном смысле такой результат можно было бы назвать катастрофой-light, или недокатастрофой. Ясно также, что готовившийся к подписанию 20 августа 1991 г. новый союзный договор не давал гарантий прекращения противостояния между союзным центром и республиками, но он по крайней мере мог уменьшить скорость деструктивных процессов, обеспечить некоторый выигрыш во времени, который позволил бы «переждать» период резонанса сил саморазрушения.

Катастрофа советской системы вовсе не завершилась в Беловежской Пуще или морозным вечером 25 декабря 1991 г., когда с кремлевского флагштока был спущен красный флаг. Гайдаровские реформы также нельзя рассматривать как преобразования, начатые с чистого листа. В них, помимо явных и скрытых намерений реформаторов, необходимо видеть и динамику финальных этапов схлопывания советизма, и даже попытку институционализации субпродуктов системного распада [см.: Kotkin, 2008, p. 113–169]. Для России и большинства постсоветских стран исторический смысл эпохи 1990-х годов по преимуществу заключался не в строительстве новой государственности, рыночно-демократическом транзите, становлении гражданского общества, а в исчерпании динамики распада и «обживании» руин советской системы. Богато насыщенный событиями, первый этап постсоветской истории оказался довольно беден в смысле оригинального внутреннего содержания. Стратегический замысел преобразований 1990-х годов, который сами реформаторы характеризовали как «обмен власти на собственность»

и «выкуп России у номенклатуры»[1], трудно считать чем-то принципиально новым по сравнению с объективной направленностью экономической политики горбачёвского руководства периода 1988–1991 гг. На деле состоялся не обмен, а модификация в рыночных условиях дуалистического единства «власти / собственности» и производного от него социального порядка. Даже изменения в составе элиты дают основания говорить, скорее, о континууме или эволюционной трансформации, но никак о революционной смене правящего слоя: «…системообразующий элемент пожертвовал Системой ради спасения себя самого» [Пивоваров, 2009, с. 54]. Однако катастрофа советской системы – нормальное событие с точки зрения динамики социотехнических систем – несомненно, относится к числу экстраординарных исторических событий, эхо которых будет слышимо и на протяжении XXI в.

Список литературы

Альбац Е.М. Мина замедленного действия: Политический портрет КГБ. – М.: Русслит, 1992. – 314 с.

Андреева Н. Не могу поступаться принципами // Советская Россия. – М., 1988. – № 60 (9611), 13 марта. – С. 3.

Андропов Ю.В. Избранные речи и статьи. – М.: Политиздат, 1983. – 320 с.

Бобков Ф.Д. Последние двадцать лет. Записки начальника политической контрразведки. – М.: Русское слово – РС, 2006. – 80 с.

Вольский А.И. Четыре генсека // Коммерсант. – М., 2006. – № 169 (3500), 12 сентября. – С. 1.

Гайдар Е.Т. Государство и эволюция – М.: Евразия, 1995. – 206 с.

Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: РОССПЭН, 2006. – 448 с.

[1] «Россию у номенклатуры нельзя, да и не нужно отнимать силой, ее можно “выкупить”. Если собственность отделяется от власти, если возникает свободный рынок, где собственность все равно будет постоянно перемещаться, подчиняясь закону конкуренции, это и есть оптимальное решение. Пусть изначально на этом рынке номенклатура занимает самые сильные позиции, это является лишь залогом преемственности прав собственности. Дальше свои позиции каждому владельцу придется подтверждать делом. В любом случае такой обмен власти на собственность означал бы шаг вперед от “империализма” к свободному, открытому рынку, от “азиатского способа производства” к европейскому, означал бы конец самой номенклатуры как стабильной, пожизненной, наследственной, не подвластной законам рынка политико-экономической элиты» [Гайдар, 1995, с. 103].

Геллер М.Я. Горбачёв. Победа гласности и поражение перестройки // Советское общество: Возникновение, развитие, исторический финал: В 2 т. – М.: Российск. гос. гуманитарный ун-т, 1997. – Т. 2: Апогей и крах сталинизма / Под общ. ред. Ю.Н. Афанасьева. – С. 546–576.

Горбачёв М.С. Жизнь и реформы. – М.: Новости, 1995. – Кн. I. – 600 с.

Горбачёв М.С. О перестройке и кадровой политике партии: Доклад Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева 27 января 1987 г. // Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС 27–28 января 1987 г. – М.: Политиздат, 1987. – С. 5–66.

Доббс М. Между Толстым и Карлейлем // Pro et Contra. – М.: Московский Центр Карнеги, 2011. – Т. 15, № 5 (53). – С. 90–97.

Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США, (1962–1986). – М.: Автор, 1996. – 688 с.

Ефремов Г.И. Мы люди друг другу. Литва: Будни свободы 1988–1989. – М.: Прогресс, 1990. – 343 с.

Игрунов В.В. Прогнозы А.А. Амальрика – сценарий для современной России // Политическая наука / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки; Росс. ассоц. полит. науки; Ред. кол.: Мелешкина Е.Ю. (гл. ред.) и др. – М., 2012. – № 1. – С. 141–159.

Кюстин, А. де. Николаевская Россия / Пер. с фр. Я. Гессена, А. Предтеченского; Предисл. С. Мироненко. – М.: Терра, 1990. – 285 с.

Мэтлок Дж. Ф. Смерть империи: Взгляд американского посла на распад Советского Союза. – М.: Рудомино, 2003. – 579 с.

Николаев А.В. Антиалкогольные кампании XX века в России // Вопросы истории. – М., 2008. – № 11. – С. 67–78.

Пивоваров Ю.С. О русских революциях. Послесловие // Труды по россиеведению: Сб. науч. тр.– М.: Центр россиеведения ИНИОН РАН, 2009. – Вып. 1 / Гл. ред. И.И. Глебова. – С. 21–67.

Рыжков Н.И. Десять лет великих потрясений. – М.: Ассоциация «Книга. Просвещение. Милосердие», 1995. – 576 с.

Солженицын А.И. Как нам обустроить Россию. Посильные соображения // Литературная газета. – М., 1990. – № 38 (5312), 18 сентября, Спец. вып. – С. 3–6.

Трудный поворот к рынку / Под ред. Л.И. Абалкина. – М.: Экономика, 1990. – 559 с.

Фурман Д.Е. Движение по спирали. Политическая система России в ряду других систем. – М.: Весь мир, 2010.–168 с.

Халтурина Д.А., Коротаев А.В. Русский крест: Факторы, механизмы и пути преодоления демографического кризиса в России. – М.: УРСС, 2006. – 127 с.

Черняев А.С. Совместный исход. Дневник двух эпох, 1972–1991 годы. – М.: РОССПЭН, 2008. – 1047 с.

Яковлев А.Н. Российских фашистов породил КГБ // Известия. – М., 1998. – № 108 (25208), 17 июня. – С. 5.

Яковлев А.Н. Перестройка: 1985–1991. Неизданное, малоизвестное, забытое. – М.: Международный фонд «Демократия», 2008. – 872 с.

Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ. – М.: Издательство ГУ–ВШЭ, 2002. – 437 с.

Aron L. The Georgia watershed // Russian outlook. – Washington, D.C.: American enterprise institute, 2008. – Fall. – P. 1–10.

Bremmer I. Revisionist Russia // Global dialogue. – Berkeley, Calif., 2009. – Vol. 11. – Mode of access: http://www.worlddialogue.org/content.php?id=447 (Дата посещения: 30.03.13.)

Chernobyl's legacy: Health, environmental and socio-economic impacts and recommendations to the governments of Belarus, the Russian Federation and Ukraine. The Chernobyl forum, 2003–2005. – 2 nd revised version. – Vienna: IAEA, 2006. – 57 p.

Dawson J.I. Eco-nationalism. Anti-nuclear activism and national identity in Russia, Lithuania, and Ukraine. – Durham; L.: Duke univ. press, 1996. – 221 p.

Kotkin S. Armageddon averted: The Soviet collapse, 1970–2000. – Oxford, N.Y.: Oxford univ. press, 2008. – 304 p.

Perrow Ch. Normal accidents: Living with high-risk technologies. – New York: Basic Books, 1984. – 386 p.

Zaslavskaya T. The Novosibirsk report // A voice of reform: Essays by Tatiana Zaslavskaya / Ed. by M. Yanovitch. – Armonk, N.Y.; L.: M.E. Sharp, 1989. – P. 158–184.

Р.А. Мнацаканян

ВЗГЛЯД НА ВЕК XX ИЗ ВЕКА XXI

В последнее время все больше и больше возникает ощущение дежавю, иными словами, многие реалии сегодняшнего дня начинают смутно напоминать ситуацию середины – конца 80-х годов прошлого века. Тогда у большинства населения нашей страны создалось устойчивое ощущение, что социалистическая система не работает. Причем не работает именно как система, а не так, что, мол, есть отдельные недостатки на каких-то направлениях, а в общем и целом мы на правильном пути. Причем было очевидно, что еще за пару десятилетий до этого, в середине 60-х, например, такие сомнения возникали у людей в гораздо меньшей степени.

В 80-х уже многие начали спрашивать себя, а что же мы строим, какое такое светлое будущее, томясь в бесконечных очередях за самыми необходимыми товарами? Хорошо было Н.С. Хрущёву в 1961 г. торжественно обещать на партсъезде, что коммунизм будет построен к 1980 г. А что должны были говорить партийные боссы, когда 1980-й уже наступил?

Было очевидно, что из социалистической системы вынут мощный идеологический стержень, в идеалы коммунизма уже мало кто верил, вместо железных «сталинских наркомов» (которые, что бы про них ни говорили, были прежде всего людьми дела) пришли бюрократы и карьеристы, и на первый план все больше и больше выходил индивидуализм, желание просто построить более-менее сносное существование для себя и своих близких. Люди стремились повысить стандарты личного потребления хотя бы в тех скромных рамках, которые им позволяла система. Впрочем, большое количество денег в то время само по себе еще не было мери-

лом успеха, ибо для приобретения целого ряда вещей и благ одних денег было недостаточно, нужно было еще чье-то милостивое разрешение их потратить на то, что тебе надо. Например, получение машин или кооперативных квартир, которое часто растягивалось на годы, было связано с постановкой на учет в какие-то бесконечные, неведомо где ведущиеся очереди. Впрочем, добыча чего-то дефицитного всегда была возможна и в обход очередей, через «левые» связи. Характерно, что в те времена редко говорили «я купил (а)», говорили чаще всего «я достал (а)». Язык, как всегда, является точным индикатором общественных процессов.

Общество тех лет принимало очень многие вещи как неизменную данность, не задумываясь, откуда что берется. Например, бесплатное образование, стипендии студентам, на которые действительно можно было прожить месяц, бесплатная медицинская помощь, бесплатные или очень дешевые санатории и курорты, летние пионерские лагеря, смешные цены на коммунальные услуги – все это не только не воспринималось как какое-то благо, просто никто даже вопроса не задавал – а как может быть иначе? В целом у общества было понимание того, что определенный уровень материальных благ и качества жизни ему должно обеспечить государство, хотя в те годы мало кто понимал разницу между государством и обществом. Мы все были МЫ, столь гениально предугаданные Евгением Замятиным еще на заре становления Советского государства. Единство партии и народа, единство партии и государства, единство народа и государства – кто там особенно вникал в эти семантические нюансы, кроме горстки диссидентов и «отдельных представителей» вечно чем-то недовольной интеллигенции? Мы жили в стране, следовательно, имели право на все эти блага, ну а откуда они в действительности берутся и почему они почти бесплатны, мало кто задумывался.

Парадоксальным образом стремление к индивидуальному потреблению, к повышению качества своей повседневной жизни здесь и сейчас, в сочетании с относительным материальным достатком большинства населения, достигнутым в эпоху «развитого социализма», привело к повышенному вниманию общества к проблемам состояния окружающей среды, особенно в тех аспектах, которые непосредственно влияли на жизнь и здоровье. И тут люди, начинавшие интересоваться этим вопросом, сталкивались прежде всего с

тем, что собственно объективную информацию о состоянии дел с окружающей средой получить было практически невозможно.

Советское государство всегда тщательно старалось контролировать всю информацию, пресекая любые попытки ее несанкционированного размножения и свободного циркулирования. Например, во всех издательствах существовал перечень сведений, запрещенных к опубликованию в открытой печати. Перечень был довольно объемный, страниц на 200, но парадокс заключался в том, что и сам по себе он являлся закрытой информацией, т.е. люди не только не должны были знать определенных вещей, но им даже и не полагалось знать, чего же собственно они не имели права знать! Важное место в списке этих секретных сведений, помимо фактов сугубо оборонного значения, занимали также исторические, политические, экономические сведения, данные о различных авариях и катастрофах, но особое место занимала информация об окружающей среде, включая карты местности подробных масштабов, а также все, что было связано с различными видами загрязнения.

Почему сложилась такая ситуация, в общем-то, понятно. Точная топографическая карта, особенно советского образца, содержала все необходимые сведения для ведения боевых действий на данной территории: данные о рельефе местности, грузоподъемности мостов, характере покрытия и ширине дорог, среднем расстоянии между деревьями в лесу и толщине стволов деревьев, характеристики бродов через реки и много чего еще. Считалось, что если противник будет знать точные координаты объектов и рельеф местности, это облегчит ему наведение ракет с боеголовками. Поэтому все карты, выпускавшиеся на территории СССР и предназначенные к открытому доступу, публиковались с искажениями системы координат. Первый разрешенный к публикации без искажений масштаб был 1:2 500 000, т.е. в 1 см 25 километров. Все, что было крупнее этого масштаба, считалось материалом «для служебного пользования». Были разработаны специальные проекции, которые искажали реальные координаты, и все карты и атласы для открытой печати (карты городов, туристические карты, автомобильные атласы и т.д.) можно было публиковать только в таких специальных проекциях.

Примерно так же обстояли дела с загрязняющими веществами. Считалось, что если публиковать данные о выбросах в воздух и воду, о концентрации загрязняющих веществ и т.д., то против-

ник сможет составить полное представление о характере и объемах промышленного производства. Поэтому все данные о реальном загрязнении были закрыты. Единственное, что можно было протащить в научную печать, но и то далеко не всегда, – это данные о загрязнении какого-нибудь мифического города N, при этом карта его рисовалась так, что невозможно было понять, что же это за город в действительности. Такого рода статьи рассматривались прежде всего как теоретический и методический материал, а понять, читая их, что же происходит в стране или в каком-то конкретном городе, было невозможно.

Вся эта система запретов, может, и имела некоторый смысл в первые послевоенные годы, когда действительно можно было, закрыв свои карты, что-то такое важное засекретить. Но уже в 70-е годы, по мере развития спутниковых фотографий и увеличения их доступности, эти ограничения начинали принимать все более абсурдный характер. Например, привозимые с Запада карты на территорию СССР немедленно секретились, как только попадали в руки наших организаций, и работать с ними было невозможно без оформления соответствующих допусков. К слову сказать, рудименты этой системы запретов существуют даже до сих пор, несмотря ни на какие Google Earth и другие общедоступные картографические ресурсы.

Становление широкого независимого экологического движения в СССР началось в середине – конце 80 х годов. Это было во многом знаменательное время, когда люди впервые получили возможность открыто высказываться по наболевшим вопросам и поднимать публично такие темы, которые раньше считались «табу», в том числе о негативных экологических последствиях хозяйственного развития, например, об уровне загрязнения воздуха, воды, почв, о связи загрязнения и заболеваемости, об истощении ресурсов в результате бездумного хозяйствования и т.д. Всё послевоенное время такая информация жестко контролировалась органами госбезопасности, и за попытки предать ее огласке ученые могли жестоко поплатиться. И вдруг стало возможно такую информацию открыто публиковать и обсуждать! Перелом этот начал происходить примерно году в 1986–1987. Тогда стали появляться многочисленные статьи в газетах и журналах, требовавшие «экологической гласности», т.е. распространения и на эту сторону

жизни официально провозглашенной на тот момент политики открытости информации.

Надо сказать, что во многом, по-видимому, такому повороту событий способствовала Чернобыльская авария и все, что с нею было связано. Непосредственно в момент аварии и сразу после нее многочисленные ведомства и властные структуры инстинктивно действовали по привычной схеме – информацию не торопились обнародовать (а с другой стороны, никто, скорее всего, поначалу толком и не понимал, что же происходило на самом деле). Но когда данные об аварии стали приходить из-за границы, то все больше и больше становилась очевидной абсурдность системы запрета на экологическую информацию в нашем маленьком мире. (Нелишне будет напомнить, что СССР официально признал факт аварии только после того, как забило тревогу шведское министерство по охране окружающей среды, чья служба мониторинга выявила аномально высокие значения фоновой радиации.) Раз уж с твоей территории сыпятся радионуклиды на головы ничего не подозревающих людей в масштабах целого континента, изволь хотя бы признать это, и сообщи, что же у тебя произошло и чего еще от тебя можно ждать в будущем. Так, примерно, рассуждали отечественные экологи, требуя от своих ведомств свободного доступа к информации.

Чернобыльская авария развеяла еще один устойчивый стереотип, доставшийся в наследство от безудержного технократического оптимизма советской эпохи – веру в безусловное благо всемогущего научно-технического прогресса (НТП). Эта аббревиатура – НТП – даже стала словом нарицательным и кочевала из статьи в статью без расшифровки. Но вершины НТП из сияющих вдруг оказались, по образному выражению А. Зиновьева, зияющими, а будущее – весьма проблемным. Этому прозрению сопутствовал некоторый общественный шок. Масштаб Чернобыльской трагедии, эвакуация сотен тысяч людей из зоны отселения, гигантский, эпический размах мер по ликвидации последствий аварии, в которые были вовлечены сотни тысяч специалистов со всей страны, – это было небывалое явление в отечественной истории, сравнимое, наверное, только с крупными военными действиями. На этом фоне требования экологической общественности о доступе к информации звучали особенно убедительно.

Так, после Чернобыльской аварии на многочисленных открытых семинарах, круглых столах и конференциях довольно быстро сформировался своего рода общественный консенсус в отношении экологической проблематики. Ключевые положения этого условного «общественного консенсуса» сводились примерно к следующему.

– Экономическое развитие в СССР превратилось, по сути, в механизм уничтожения природы, не приносящий людям особенных благ. Любой экономический проект, будь то ирригационные системы, химические заводы, атомные станции, каналы и другие подобные «проекты переброски рек» приводили к загрязнению и деградации окружающей среды, ухудшению условий обитания людей, а прямого экономического эффекта часто не было. Образнее всех этот парадокс советской экономики сформулировал экономист и эколог Михаил Лемешев, который примерно так описывал функционирование советской плановой экономики: «Мы добываем железную руду, чтобы из нее выплавлять сталь, из стали производим экскаваторы, чтобы добывать еще больше руды, а из нее выплавлять еще больше стали, чтобы делать еще большие экскаваторы, чтобы...» [Лемешев, 1991]. Получается замкнутый круг, в котором человек с его нормальными жизненными потребностями – вообще лишнее звено. Гигантский военно-промышленный комплекс, конечно, тоже поглощал огромное количество ресурсов, но проблема была в том, что и гражданская экономика работала крайне неэффективно.

– Существовало повсеместное убеждение, что экологическую информацию скрывают, а если что-то и просачивается в печать, то в искаженном или неполном виде. К формированию такого мнения, прежде всего, привело, конечно, представление официальных данных после Чернобыльской аварии, когда существовавшие в СССР ограничения на экологическую информацию стали очевидны, что называется, «стране и миру». Требование открытого доступа к данным было одним из основных в многочисленных выступлениях формирующегося экологического движения второй половины 80-х годов. При этом надо отметить, что лишь немногие представляли действительный размах и масштаб существовавшей в СССР системы мониторинга окружающей среды. Достаточно сказать, что наблюдение за качеством атмосферного воздуха с середины 60-х годов велось примерно в 660 городах и промышленных центрах страны [Ежегодник… 1990]. Также достаточно подробно проводился мониторинг поверхностных вод, почв, радиологической обстановки [Обзор… 1990]. Но поскольку все данные системы мониторинга публиковались очень незначительными тиражами (200–300 экз.), которые к тому же были только «для служебного пользования», то практически никакого воздействия на начавшиеся общественные дебаты они не оказывали. К моменту, когда секретность была снята и стало возможным открыто публиковать такие данные [Государственный доклад… 1990], накал экологических дебатов существенно ослаб в связи с начавшимся процессом развала страны, и большого общественного эффекта это долгожданное раскрытие экологических данных не возымело. Если бы это произошло раньше, многих фантастических заключений о размахе экологических проблем, которые появлялись на пике полемики и подливали масла в огонь бушевавших эмоций, возможно, удалось бы избежать.

– Еще одним важным требованием экологического движения было осуществление независимой экспертизы многочисленных проектов, реализация которых могла привести к серьезным экологическим последствиям, и создание специализированного природоохранного ведомства. Впервые в СССР попытки проведения независимой экспертизы крупного проекта были предприняты во время строительства Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, начатого в 1961 г. Тогда власти пошли на вынужденный компромисс, согласившись (едва ли не впервые в советской практике) на строительство очистных сооружений одновременно со строительством комбината. Самого высокого накала борьба за независимую экологическую экспертизу проектов достигла во время обсуждения различных вариантов переброски северных рек на юг уже в 80-е годы. Напомним, что проекты эти были весьма разнообразны. Они касались как Европейской части страны (вплоть до такого экзотического проекта, как сооружение дамбы, отсекавшей Онежский залив от Белого моря, постепенное опреснение Онежского залива за счет впадавших в него рек и перекачка пресной воды по каналам и руслам существовавших рек в бассейн Волги), так и переброски в бассейн Аральского моря воды из сибирских рек, в частности из Иртыша. Над этими колоссальными проектами десятилетиями работали многочисленные институты системы Минводхоза, они практически были готовы к реализации в середи-

не 80-х, и только начавшаяся перестройка смогла, наконец, сделать возможным общественное обсуждение. В Академии наук СССР в 1986 г. была организована знаменитая экспертная комиссия «О повышении эффективности мелиорации почв в сельском хозяйстве» под руководством академика А.Л. Яншина, которая положила начало серьезным экологическим дебатам в СССР. Проекты переброски рек удалось остановить. Правда, справедливости ради надо сказать, что в середине 80-х в стране уже банально не было ни денег, ни ресурсов на осуществление столь грандиозных проектов.

Итак, конец 80-х и начало 90-х годов – это время наибольших успехов в истории отечественного экологического движения, когда оно смогло достаточно быстро и эффективно структурироваться, провести широкие общественные кампании по целому ряду наболевших вопросов (переброска рек, строительство новых каналов, плотин, разработка месторождений полезных ископаемых, строительство новых атомных станций и т.д.) [Охрана природы России, 2003; Яницкий, 2007]. Была сформирована уникальная структура – Социально-экологический союз (СоЭС) – объединение независимых организаций из всех республик бывшего СССР, а позже и других стран. Он стал, пожалуй, одной из первых «сетевых» структур, прекрасно функционирующих без иерархического подчинения – из центральных органов был только центр координации информации, состоявший из нескольких человек и возглавлявшийся тогда С.И. Забелиным [Тридцать лет движения, 1993].

Интересно отметить, что СоЭС существует и поныне – это более 10 тыс. человек из 17 стран Европы, Азии и Северной Америки: Азербайджана, Армении, Беларуси, Великобритании, Грузии, Израиля, Испании, Казахстана, Киргизстана, Молдовы, Норвегии, Палестины, России, Соединенных Штатов Америки, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины [см.: МСоЭС – союз неравнодушных, б. г.].

Надо признать, что советское правительство в то время достаточно оперативно среагировало на вызов со стороны экологической общественности. Сначала была предоставлена трибуна для обсуждений – в прессе, на телевидении. Проходили многочисленные конференции, школы, семинары, круглые столы. Сравнительно скоро после начала объявленной «перестройки», уже в 1988 г., появился Государственный комитет по охране природы, позже ставший министерством. Госкомитет стал публиковать государст-

венные доклады по состоянию окружающей среды, с данных мониторинга был снят гриф «для служебного пользования». При Госкомитете был создан отдел по экологической экспертизе, многие спорные проекты были либо приостановлены, либо их вернули на доработку. Многие действующие предприятия были признаны опасными для окружающей среды и здоровья, их стали закрывать до принятия соответствующих мер.

Экология, по сути, стала первой областью общественной деятельности, в которой можно было официально критиковать действия властей. Еще существовала цензура на политическую или националистическую пропаганду, а экологи уже открыто говорили все что хотели. Поэтому неудивительно, что многие политически оппозиционные или откровенно националистические силы немедленно пришли и во многих случаях даже подмяли под себя экологическое движение, лидеры которого часто были весьма неискушены в политике, да и действительно радели в основном только за экологию.

Особенно отчетливо эта тенденция по политизации и «суверенизации» экологического движения проявила себя в бывших союзных республиках. В Эстонии это было движение за остановку разработки фосфоритов, в Латвии – протест против строительства Даугавпилсской ГЭС, в Литве – движение «Саюдис», протестовавшее, главным образом, против атомной станции, в Армении – движение за остановку работы химзавода «Наирит» в черте Еревана, и позже – за приостановку работы атомной станции, на Украине – многочисленные Чернобыльские группы, движение «Рух» и т.д. Аналогично ситуация развивалась в Грузии. Да и среди российских экологов тоже были люди с четко выраженным национальным сознанием, например такие, как яркий родоначальник идеи «Кедрограда» Ф.Я. Шипунов или уже упомянутый М.Я. Лемешев.

При этом ситуация в СССР в деле строительства природоохранных структур развивалась примерно так же, как и в других странах. Когда в 1988 г. создавался Госкомитет по охране природы, в него пришли на работу сотрудники из других ведомств, зачастую имевшие к экологии весьма опосредованное отношение. Возглавил Госкомитет бывший первый секретарь Полтавского обкома КПСС Ф.Т. Моргун, хороший управленец, известный тем, что в своей области он широко внедрял системы безотвальной вспашки почв, с которыми он начал экспериментировать еще в

бытность свою председателем колхоза на целине. Он оказался далеко не самым плохим руководителем, на самом деле он-то как раз был «человеком на своем месте» – смог быстро создать работающий Госкомитет и «вписать» его в существовавшие властные структуры – это была задача, в общем-то, для профессионального управленца, а не эколога. Под стать ему были и люди, пришедшие в Госкомитет из разных министерств и ведомств, далеко не все они глубоко понимали в экологии, но зато хорошо разбирались в бюрократических хитросплетениях и достаточно быстро смогли наладить эффективную по тем временам, как мы теперь понимаем, работу. Естественно, что какое-то время во вновь созданной бюрократической структуре ушло на внутренние и внешние притирки, определение границ полномочий, создание территориальной сети, определение системы сбора штрафов за загрязнение и т.д., т.е. необходимо было решать нормальные административные задачи. В конце концов, ведь политика это – искусство возможного. Но так называемой «экологической общественности» того времени казалось, что все делается не так, не то, очень медленно, что насущные вопросы не решаются, что бюрократия опять плодится, а толку мало... Автор этих строк в какой-то момент, году так в 1989, решил даже написать статью, в которой собирался сравнить первый год работы нашего Госкомприроды и первый год деятельности американского Агентства по охране окружающей среды EPA (Environmental Protection Agency), созданного в конце 1970 г. Как отмечал в своем исследовании А. Шубин, «идея всеспасительности западных форм цивилизации, доминировавшая в сознании общественно-активного населения, увлекла в тот период и экологическое движение. Пример западных стран, “справившихся” с экологическими проблемами “у себя дома”, казался убедительным доказательством экологической эффективности частной собственности и парламентской демократии» [Шубин, 2007]. Во всем, что касалось сферы экологической гласности и политики, Америка тогда представлялась многим отечественным активистам (включая и автора этих строк) эдаким «сияющим градом на холме», примером, так сказать, достойным подражания. Мне показалось, что, проанализировав американский опыт, можно будет легче критиковать наших «нерадивых советских управленцев» на этом «замечательном» примере. Я отправился в Ленинскую библиотеку, набрал разных американских журналов по экологии за 1972 г., где давался

обзор первого года деятельности EPA, уселся за столик, зажег уютную зеленую лампочку, раскрыл первый журнал... И что же я там прочитал буквально в первом же предложении? Что основные проблемы первого года работы EPA – бюрократизм, некомпетентность сотрудников, набранных из разных ведомств, трудности с определением границ полномочий нового ведомства... Примерно то же самое было и в других статьях. Помнится, я сильно повеселился, сдал все журналы и статью писать не стал. Хотя, наверное, стоило бы, но уже на другую тему – о том, что законы развития бюрократических систем, по-видимому, универсальны. Правда, об этом достаточно исчерпывающе написал еще Н. Паркинсон в 50-е годы…

Оглядываясь назад из нашего сегодняшнего времени, можно заметить, что длительное игнорирование советской властью реальных проблем и общественных запросов в области экологии привело к тому, что в конце 80-х годов, когда на эти запросы наконец-то стали всерьез на государственном уровне реагировать, обществом востребовано было все и сразу, одновременно. Многие же вещи необходимо было обкатывать годами, в условиях спокойного развития страны и ее экономики, и пытаться постепенно встраивать их в систему экономического управления. Например, в начале 1960-х, на волне борьбы против строительства Байкальского комбината, возник подходящий момент для создания системы общественной экологической экспертизы проектов. Если бы в СССР всерьез отнеслись к возникшим тогда общественным инициативам, то было достаточно времени постепенно наладить соответствующие механизмы, подготовить кадры. Строго говоря, ведь такое общественное движение как раз и начало складываться в те же самые годы: в 1958–1960 гг. в Тартуском университете, Ленинградской лесотехнической академии и на биофаке МГУ были созданы первые дружины по охране природы и началось славное движение дружин, которое быстро охватило многие вузы СССР [Тридцать лет движения, 1993]. Но в силу объективных причин, и, прежде всего, в условиях серьезных административно-правовых и идеологических ограничений, разрешенная сфера деятельности движения дружин была в основном ограничена борьбой с браконьерством и в меньшей степени – с незаконными вырубками леса. К реальным проблемам загрязнения среды, экспертизам народнохозяйственных проектов и т.д. тогдашних дружинников, конечно, никто допускать не собирался [Мухачев, 1995].

Союзное ведомство (госкомитет или министерство) по экологии в идеале должно было быть создано еще после первой Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде, которая прошла в 1972 г. В большинстве стран мира подобные министерства как раз и стали возникать после этой конференции. СССР и другие социалистические страны демонстративно не приняли в ней участия под предлогом того, что не была приглашена делегация ГДР. Тем не менее в стране были планы создания такого госкомитета. То есть в СССР всерьез рассматривалась возможность создания специализированного природоохранного ведомства, но в конечном итоге отраслевые министерства победили, и было принято решение не создавать отдельного комитета, а вместо этого учредить отделы по охране природы во всех профильных министерствах – промышленных, лесного хозяйства, водного хозяйства и т.д. По тем временам это было все равно что волкам поставить задачу беречь стадо овец. То есть опять было упущено время (как минимум 15 лет) на спокойную планомерную работу специализированного природоохранного ведомства, которое только и могло ответственно заниматься вопросами экспертизы проектов, взимания экологических штрафов, инвестирования в природоохранную деятельность и т.д. Были и другие упущенные возможности. Поэтому в конце 80-х все надо было создавать одновременно – и правительственную структуру с территориальными органами, и систему экологической экспертизы проектов, и механизмы согласования решений с резко политизированной и активной общественностью, и систему штрафов за различные виды загрязнения среды, и порядок работы фондов, куда направлялись штрафные деньги, и сведение в единые доклады данных различных систем мониторинга окружающей среды, принадлежащие разным ведомствам. Причем делать это все пришлось в условиях резко наступающего экономического и политического кризиса. Понятно, что в итоге существенного положительного воздействия на советскую экономику все эти экологические инновации оказать не могли, и скорее даже сыграли для нее деструктивную роль. Дело в том, что когда Госкомитет получил право штрафовать и даже закрывать промышленные предприятия за несоблюдение экологических норм, то этим правом начали пользоваться достаточно широко, особенно в популистских целях, чтобы успокоить взбудораженную и политизированную общественность (в основном это происходило в 1990–1991 гг.). Предприятия останавливали десятками по всему СССР, что резко усугубило ситуацию в условиях уже наступавшего экономического коллапса. Тогда, например, только в Армении по экологическим причинам закрыли атомную электростанцию и завод «Наирит» – любопытно отметить, что оба предприятия с большой помпой были вновь запущены уже в постсоветские времена. (Справедливости ради надо сказать, что правом закрытия предприятий еще в советские времена всегда наделялись санитарно-эпидемиологические станции, но это было возможно только в условиях прямой и недвусмысленной угрозы здоровью людей, и на практике применялось крайне редко, тем более что интересы промышленности всегда преобладали.) Очень многие проекты в начале 90-х были остановлены в результате широко практиковавшихся экологических референдумов, демонстраций и других протестных акций. Повсюду возникали «зеленые фронты», национальные экологические движения и т.д.

Интересно также отметить, что пик интереса к экологической тематике пришелся на конец 80-х годов, когда, с одной стороны, у людей еще была иллюзия стабильного социального устройства, гарантированных доходов, принадлежности большинства населения к «советскому среднему классу», а с другой – все еще существовали ограничения на прямое обсуждение политических, экономических, национальных, исторических проблем. Получалось, что через обсуждение экологических вопросов можно было всю эту запрещенную пока тематику озвучивать, причем в привычных для советского человека иносказательных формулировках.

Речь идет именно о пике общественного увлечения экологическими проблемами, когда о них говорили люди, ни до, ни после этого особенно экологией не интересовавшиеся. Можно даже попытаться очертить четкие временные рамки этого массового интереса: с апреля 1986 г. (Чернобыльская авария, по вполне понятным причинам вызвавшая всплеск интереса к экологической проблематике) до мая–июня 1989 г. (Первый съезд народных депутатов СССР, который окончательно снял запрет на открытое обсуждение насущных политических и экономических проблем страны.) Вот эти три года и были, пожалуй, самыми массовыми и самыми созидательными в истории отечественного экологического движения. Начинались даже какие-то разговоры про «третий путь», про то, что в нашем обновленном перестройкой обществе мы не должны копиро-

вать Запад с его культом потребления, что у нас есть шанс попробовать построить иной, экологически сбалансированный мир... Очень популярен стал в то время академик В.И. Вернадский с его очень общо сформулированной идеей «ноосферы», т.е. сферы разума, которую в конечном итоге должно создать обновленное человечество. Особенность изложения этой идеи, позволявшая весьма широкие трактовки, делала ее чрезвычайно привлекательной. Нет практически ни одной значимой публикации по экологии тех лет, где так или иначе не упоминалась бы «ноосфера» Вернадского.

Сразу нужно оговориться, что идеи о «третьем пути» и предостережения о нежелательности для нас повторения западного опыта исходили в основном от наших западных друзей. Тогда, в конце 80-х, впервые появилась возможность прямого контакта с западными коллегами – как учеными, так и представителями неправительственных экологических организаций, которые стали массово приезжать в СССР на многочисленные форумы, семинары, конференции, да и просто так. Наши люди, в свою очередь, впервые получили возможность относительно свободно ездить за рубеж. Этот факт, конечно, явился еще одним принципиальным отличием перестроечных времен от всех предшествующих этапов развития общественной деятельности в СССР. Возможность прямого контакта с ведущими иностранными экспертами, возможность путешествия за границу для обмена опытом, да и просто для того, чтобы посмотреть, как там люди живут, и при этом без обязательного прохождения партийных, комсомольских, административных и еще бог знает каких руководящих инстанций – это было явлением совершенно необычным по тем временам.

На первых порах все рассуждения западных экологов о необходимости ограничения потребления, о поисках третьего пути и т.д. несколько диковато звучали на фоне наших пустых прилавков, тотального дефицита и скудного выбора. Казалось, куда же больше ограничивать-то и без того убогое потребление? Нам представлялось, что надо просто следовать западным примерам, и оно вот-вот наступит, пресловутое счастье. Лучше всего психологию того момента передавала статья доктора экономических наук Л.И. Пияшевой, вышедшей (под псевдонимом) в популярном «Новом мире» с красноречивым названием «Где пышнее пироги?» [Попкова, 1987]. Люди старшего поколения, наверное, помнят безудержный рыночный романтизм той поры, когда казалось, что

если снять все и всяческие запреты, отказаться от марксизма-коммунизма и быстренько все приватизировать, то рынок сам по себе все устроит. Я помню, как в Барселоне, первом по-настоящему «западном» городе, в котором мне с моим коллегой удалось побывать, он, оглядывая бульвар Рамблас, полный всяческих магазинов, ресторанов, кафе, лавочек и лотков, ломящихся от разнообразной еды, напитков, сувениров, тряпок и прочих товаров, произнес: «Какой хозяйственный в этом городе первый секретарь горкома партии! Как ему хорошо удалось наладить снабжение населения!» Молодое поколение, наверное, уже и не поймет юмора той ситуации, но мы тогда хохотали почти до слез, настолько абсурдной казалась нам наша отечественная практика в сравнении с увиденными европейскими реалиями.

Некоторое протрезвление, впрочем, пришло достаточно быстро, по мере того, как поездки за границу из ошеломительного чуда стали превращаться в повседневную рутину, и мы смогли взглянуть на все уже немного другими глазами. Для меня осознание реалий начало приходить во время первого же визита в США в конце 1989 г. Принимали нас с коллегой там на достаточно высоком «экологическом» уровне, были организованы встречи в Конгрессе, Госдепе (с техническими экспертами, не с политиками), с ведущими экологическими фондами, журналистами, активистами НПО и т.д. При общении на профессиональные темы удивило, что большинство экологических споров в США удавалось решить только через долгие, иногда даже растянутые на многие годы, судебные разбирательства, для чего существовала целая армия специально подготовленных экоюристов. Они судились с корпорациями и с правительством, получая средства на жизнь из многочисленных фондов (в попытках вообразить перенос этого опыта на нашу почву невольно возникали вопросы. А нам где взять столько юристов? И где у нас такие фонды? И в каких наших законах прописаны такие суммы штрафов? И какие суды способны в этом разбираться?).

Возникали прозрения и другого рода. Помнится, в Госдепе нас привели в географический кабинет – был у них небольшой штат географов-картографов, консультировавших дипломатов. Директор этого офиса, коллега-географ, с гордостью показал нам свою компьютерную геоинформационную систему (одну из первых в мире такого рода, наверное), где были заведены данные по

всем международным территориальным спорам, существовавшим на тот момент на планете. Показывались территориальные претензии сторон в каждом конфликтном случае, на экран, помимо карт, выводились соответствующие справки, статистика, исторические документы, договора и т.д. Помнится, я поразился, когда увидел, что масса таких конфликтных зон была отмечена внутри территории СССР, вдали от тогдашних наших государственных границ – там были и Карабах, и Крым, и Приднестровье, и Эстония с Латвией, и северокавказские республики, и Средняя Азия, и Поволжье… Я спросил нашего любезного хозяина: а это вас с какого боку интересует? Это же не международные проблемы, это вопросы нашего внутреннего административно-территориального устройства? На что он, как-то неопределенно хмыкнув, ответил, что никогда, дескать, заранее не знаешь – сегодня это внутренний вопрос, а завтра уже международный, они же только информацию поставляют и должны быть заранее готовы ответить на любой вопрос начальства… Когда через несколько лет распался Союз и заполыхали разнообразные конфликты, я часто вспоминал эту встречу. Те госдеповские географы, безусловно, не зря ели свой хлеб…

Пытаясь сегодня анализировать тогдашние международные контакты и встречи, я прихожу к довольно-таки парадоксальному выводу. Я не думаю, что среди многочисленных представителей американских НПО, контактировавших тогда с нами, были в основном «шпионы», или «агенты», как теперь принято считать. Наверное, без этого все же не обходилось, но многие действительно были экологами, специалистами (это же было видно в общении), помогавшими делать такие вещи, которые наши НПО сами на тот момент делать были просто не в состоянии. Например, с помощью американских коллег удалось установить электронную почту для многих дружин охраны природы и других общественных организаций, разбросанных по всей стране, для чего потребовались компьютеры и модемы, о которых мы тогда толком и не знали ничего. Там, где на тот момент были проблемы с подключением к Интернету, были установлены факсы. Впервые наши НПО по всей стране получили возможность быстрой, оперативной связи между собой и с выходом на международные организации, что резко усилило их действенность и эффективность проведения различных кампаний. По тем временам это было сродни тому эффекту, который производят Twitter и Facebook для массовых акций сегодня.

В нашей стране на тот момент, вероятно, были люди и организации, которые осуществляли такую же информационную и техническую поддержку для государственных структур, в первую очередь связанных с безопасностью, но снисходить до нужд каких-то сомнительных экологических НПО эти серьезные организации не хотели, да скорее всего и не могли на тот момент. А международные, прежде всего американские, структуры – и хотели, и могли.

Ими было поставлено также около десятка довольно редких по тем временам и сравнительно недорогих экспресс-лабораторий для анализа качества воды, что позволило нашим НПО развернуть независимый мониторинг в ряде мест, где население страдало от плохого качества питьевой воды (как, например, в Приаралье, а также в бассейне Волги). Конечно, это была крайне незначительная деятельность по сравнению с тем, что делала наша государственная служба мониторинга, но здесь впервые такую технику получили местные экологи, врачи, журналисты, которые могли информировать население – опять-таки общественный эффект был большой при сравнительно незначительном вложении средств.

От иностранных партнеров стала поступать и соответствующая литература – технические справочники, словари, журналы, книги и т.д., что позволило наладить экологическое образование, повышая тем самым эффективность отечественных НПО. Некоторые из созданных тогда информационных центров с успехом работают и сегодня[1].

Парадокс заключался в том, что на тот момент вся эта положительная по сути своей деятельность объективно работала на углубление противостояния тогдашних властей и НПО и косвенным образом содействовала дальнейшему кризису в стране. Никаких «профессиональных цеэрушников» для этого вовсе и не требовалось. Отказавшись в свое время способствовать становлению независимого общественного экологического движения, придать ему статус, права, средства, соответствующее техническое обеспечение, небольшие деньги, в конце концов, власти в СССР вынуждены были смотреть, как структуризация наших НПО проходит за счет западных партнеров и на деньги международных фондов. Соответственно, власти были отсечены и от формулирования тогдашней повестки деятельности экологических НПО. А она зачас-

[1] См., например: АНО «Эколайн». – Режим доступа: http://www.ecoline.ru

тую носила все более и более протестный характер. Так, было остановлено сооружение атомных электростанций по всей стране, отвергнуты все проекты переброски рек, остановлено строительство Катунской ГЭС на Алтае, закрыты многие предприятия с вредными выбросами и т.д. и т.п.

К этим процессам сегодня можно относиться по-разному. Можно, конечно, отметить нереализуемость, а зачастую и просто безумие ряда тогдашних проектов (как, например, строительство нового канала Волго-Дон-2, или идеи строить атомные станции вплотную к большим городам, чтобы можно было использовать тепло для отопления домов, и т.д.), и, следовательно, благотворность той роли, которую сыграли НПО в попытках (успешных) многие из этих проектов остановить. А можно отметить и тот факт, что объективно вся эта деятельность способствовала углублению раскола между властью и обществом, показывала деятельность и социально-экономическое планирование властей в совершенно неприглядном свете (вполне, впрочем, заслуженно).

Такова была цена, которую советская власть вынуждена была заплатить за отказ от интеграции тех общественных экологических сил, которые спонтанно возникли в начале 60-х и буйным цветом расцвели во второй половине 80-х. Вернее, интегрировать-то она пыталась, но по-своему, в меру своего административного разумения, что выражалось в стремлении подчинить деятельность дружин по охране природы комсомолу в начале 70-х [Мухачев, 1995] или объединить все возникшие в 80-х годах независимые экологические союзы и ассоциации под эгидой того же комсомола уже в 1989 г. Нет нужды говорить, что эти попытки были заранее обречены на неудачу, даже если их и предпринимали такие в общем-то прогрессивные на тот момент люди, как О.М. Попцов (в конце 80-х – член ЦК ВЛКСМ и главный редактор журнала «Сельская молодежь», много писавший об экологических проблемах). Работники центрального аппарата комсомола, которым зачастую было далеко за 40 и даже за 50 (по уставу в комсомоле могли состоять люди до 28 лет, но для работников аппарата делались исключения), были мало интересны молодым, хорошо образованным и самостоятельным деятелям экологического движения. Единственное, в чем те нуждались – это в профессиональных советах и в сравнительно небольших средствах для своих организаций. Ни того ни другого комсомол в тот момент для них

обеспечить не мог. А вот у международных, в первую очередь американских, НПО и фондов «и то и другое» нашлось.

Оглядываясь назад и проводя невольные параллели с сегодняшним днем, видишь, как, с одной стороны, многое изменилось, а с другой стороны, не изменилось практически ничего, даже в чем-то стало существенно хуже. Министерство по охране природы, с таким трудом созданное в 1988 г., было закрыто в 2000 г., сразу после прихода В.В. Путина к власти. Видимо, для того чтобы оно со своими экспертизами, запретами и штрафами не путалось под ногами «встающей с колен великой сырьевой державы». Его функции перешли к Министерству природных ресурсов – казалось бы, какая разница? Но все-таки есть нюанс, как смотреть на природу – как на объект охраны или как на ресурс для развития.

В начале 2000-х годов была уничтожена также и Федеральная лесная служба, существовавшая еще со времен Петра I (Рослесхоз), – очевидно, чтобы не мешать бесконтрольной вырубке леса и частному строительству в охранных зонах. Впоследствии она частично была восстановлена, но не как независимая служба, а как часть Министерства по природным ресурсам, с существенно ограниченными функциями. Последствия этого шага мы уже увидели летом 2010 г., когда в Центральной России бушевали лесные пожары небывалых масштабов. Проведение профилактических противопожарных мероприятий всегда было одной из главных функций Федеральной лесной службы, мероприятия проводились во всех лесах независимо от их территориальной или ведомственной принадлежности, и в прошлом многие пожары удавалось либо предотвращать, либо держать под контролем на ранних стадиях их развития. Нет ничего удивительного в таких катастрофических последствиях ликвидации этой службы, которые проявились в 2010 г., и с большой степенью вероятности можно ожидать повторения мощных лесных пожаров в будущем.

Браконьерство принимает местами уже просто промышленные масштабы (как, например, вылов осетровых в бассейне Каспия, морепродуктов на Дальнем Востоке и т.д.). В условиях безработицы и резко (в связи с открытием международных рынков) возросших прибылей остановить его становится все проблематичнее, хотя в последнее время и появляются какие-то позитивные подвижки, как, например, запрет вывоза черной икры, подпадающей под действие международной конвенции по торговле исче-

зающими видами флоры и фауны, или попытки остановить хищнические вырубки коренных лесов в России.

Сановное браконьерство, с которым долго и безуспешно боролись дружинники еще в советские времена, тоже принимает совершенно неприличные формы, и тут нет вообще никакого контроля, если только дело не оборачивается очередным громким скандалом (например, таким, как крушение вертолета с гибелью сановных охотников на занесенных в красную книгу архаров на Алтае или как вскрывшееся недавно незаконное строительство дачи бывшим министром обороны в рыбоохранной зоне на Азовском море). Сколько таких же дач построено другими министрами и «новыми богатыми» в заповедниках и рыбоохранных зонах по всей стране, и сколько подобных охот завершились без крушения вертолетов, мы никогда не узнаем.

Единственная положительная сторона деятельности нашего нынешнего правительства (с точки зрения охраны окружающей среды) состоит в том, что, поскольку его финансовая политика приводит к удушению отечественной промышленности и постепенному разрушению большинства промышленных предприятий, так или иначе не связанных с добычей и первичной переработкой полезных ископаемых, то сопутствующее этому процессу уменьшение загрязнения среды возможно рассматривать как временный положительный экологический эффект. С другой стороны, при смене в недалеком будущем правительства и вероятном приходе к власти других сил, которые более ответственно будут подходить к развитию производительных сил страны, можно ожидать возобновления деятельности многих промышленных предприятий, которое неизбежно на первых порах будет сопровождаться увеличением загрязнения окружающей среды. При этом можно с большой уверенностью прогнозировать оживление деятельности неправительственных экологических организаций и групп граждан, чьи интересы будут затронуты этой новой индустриализацией. Какого рода противостояния нас могут ожидать, видно на примере борьбы за Химкинский лес – а ведь это еще сравнительно незначительный повод. Нынешние молодые люди социально очень активны, и опять практически с нуля надо будет искать пути взаимодействия и увязки интересов промышленного развития с требованиями экологической общественности – притом что навыки и опыт проведения цивилизованных общественных экологических слушаний почти забыты.

Нет сомнений, что рано или поздно придется также возрождать и Министерство по охране природы – какие-то разговоры на эту тему постоянно возникают, даже Д. Медведев что-то такое озвучивал в бытность свою президентом, но пока, правда, результатов особых не видно. Многое при вероятном возрождении министерства опять придется начинать практически с нуля (например, формирование системы экологических фондов, которые были уничтожены в 2000 г., или создание института независимой экологической экспертизы, который тоже с успехом существовал ранее и был посуществу закрыт).

Похоже, что национальный вид спорта для власть предержащих в России – это хождение по граблям. Причем все время по одним и тем же.

Список литературы

Государственный доклад «Состояние окружающей среды и природоохранная деятельность в СССР в 1989 году» / Под ред. Н.Н. Воронцова. – М.: Госкомприрода, 1990. – 279 с.

Ежегодник состояния загрязнения воздуха городов и промышленных центров Советского Союза в 1989 году / Госкомгидромет. – Л.: Главная Геофизическая обсерватория им. Воейкова, 1990. – 323 с.

Лемешев М.Я. Пока не поздно... Размышления экономиста-эколога. – М.: Молодая гвардия, 1991. – 239 с.

МСоЭС – союз неравнодушных / Международный социально-экологический союз. – Режим доступа: http://www.seu.ru/about/ (Дата посещения: 03.04.2013.)

Мухачев С. Краткие заметки к истории Движения ДОП вузов СССР: (лекция на Школе молодого дружинника 27 июля – 6 августа 1995 г.). – М., 1995. – Режим доступа: http://dop.environment.ru/docs/istdop.txt (Дата посещения: 03.04.2013.)

Обзор состояния окружающей природной среды в СССР: (По материалам наблюдений, 1988–1989 гг.) / Гос. ком. СССР по гидрометеорологии, АН СССР, Лаб. мониторинга природ. среды и климата; [Подгот. Ф.Я. Ровинским и др.]; Под ред. Ю.А. Израэля, Ф.Я. Ровинского. – М.: Гидрометеоиздат: Моск. отд-ние, 1990 a. – Т. 1. – 182 с.

Обзор состояния окружающей природной среды в СССР: (По материалам наблюдений, 1988–1989 гг.) / Гос. ком. СССР по гидрометеорологии, АН СССР, Лаб. мониторинга природ. среды и климата; [Подгот. Ф.Я. Ровинским и др.]; Под ред. Ю.А. Израэля, Ф.Я. Ровинского. – М.: Гидрометеоиздат: Моск. отд-ние, 1990 b. – Т. 2. – 200 с.

Охрана природы России: От Горбачёва до Путина / Ларин В., Мнацаканян Р., Честин И., Шварц Е. – М.: Изд-во КМК, 2003. – 416 с.

Попкова Л. Где пышнее пироги? // Новый мир. – М., 1987. – № 5. – С. 239–241.

Тридцать лет движения: Неформальное природоохранное молодежное движение в СССР: Факты и документы. 1960–1992 / Под ред. С.Г. Мухачева и С.И. Забелина. – Казань: Социально-экологический союз, 1992. – 308 с.

Шубин А. Экологическое движение в СССР и вышедших из него странах // Информационно-аналитический портал «Наследие Отечества». – М., 2007. – Режим доступа: http://old.nasledie.ru/oborg/2_8/p3.htm (Дата посещения: 03.04.2013.)

Яницкий О.Н. Фазы развития российского экологического движения // История и современность. – М., 2007. – № 2. – С. 145–152.

Л.А. Кацва

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ ИСТОРИИ XXI ВЕКА

По прошествии более двух десятилетий с момента крушения Советского Союза и более десяти лет со времени ухода в историю XX столетия представляется интересным проанализировать, как выглядит советское время в школьных учебниках нового, XXI в.

В нынешней школе, где история преподается по «концентрической» системе, требующей, чтобы вся история человечества была пройдена в 5–9 классах, а затем повторена еще раз на «более углубленном уровне» в 10–11 классах, история XX в. изучается дважды: в 9 и 11 классах. На практике, однако, учебники для 11 класса нередко используются в 9 классе и наоборот, что позволяет рассматривать их вместе. В обзоре использованы рекомендованные или допущенные Министерством образования и распространенные в настоящее время в средней школе учебники, а также две книги для учителя [История России. XX век, 2001; Волобуев, Кулешов, 2008; Данилов, Косулина, 2001; Данилов, Косулина, Брандт, 2007; История Отечества XX – начала XXI века, 2009; История России. XX век, 2009; Измозик, Рудник, 2011[1]; История России, 1900–1945… 2012; История России, 1945–2008… 2008; История России, XX – начало XXI века… 2011; Киселев, Попов, 2011; Шестаков, Горинов, Вяземский, 2007; Шестаков, 2007; Филиппов, 2007].

[1] Учебник В.С. Измозика и С.Н. Рудника охватывает не только XX и начало XXI в., но и вторую половину XIX в.

Революция и Гражданская война в учебниках

История советского периода отечественной истории начинается с прихода большевиков к власти в России. В учебниках, действовавших в СССР, рассказ о «Великом октябре» открывал не только новую главу, но и новый раздел, тем самым проводя рубеж не только между советской и царской Россией, но и между Февральской буржуазной и Великой Октябрьской социалистической революциями. В современных учебниках картина иная. Как правило, история «красного октября» рассматривается не как самостоятельная революция, а как составная часть широкого революционного процесса, начавшегося в 1917 г. и продолжавшегося до начала 20-х годов.

При этом в учебниках существует терминологическая неопределенность, вызванная, по-видимому, развернувшимся еще в 90-х годах XX в. спором о том, считать ли октябрьские события 1917 г. *революцией* или *переворотом*. В ряде учебников октябрьские события 1917 г. описываются нейтральными терминами «Установление власти большевиков» [Волобуев, Кулешов, 2008, с. 114], «Приход большевиков к власти» [История России. XX век, 2009, с. 85; История России. XX век, 2001, с. 96], «Октябрь 1917 г.» [История России, 1900–1945... 2012, с. 137], но нередко употребляются и понятия, несущие отрицательный смысл: «большевистская диктатура» [История России, XX – начало XXI века, 2011, с. 58; Киселев, 2011, с. 72], «октябрьский переворот» [Шестаков, 2007 с. 71]. Лишь в одном учебнике для 9 класса не просто присутствует подраздел «Октябрьская революция», но и говорится: «Так свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция, положившая начало глубочайшим революционным преобразованиям в России» [Шестаков, Горинов, Вяземский, 2007, с. 90].

В двух учебниках, предназначенных для 11 класса, учащимся сообщается о том, что «в современной исторической науке нет единой точки зрения на октябрьские события 1917 г.» и приводятся различные взгляды на эту проблему [История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 107–108; История России, 1900–1945… 2012, с. 148–150]. Авторы учебника под редакцией А.А. Данилова и А.В. Филиппова не просто указывают на дискуссионность вопроса «о характере октябрьских событий», но и отвергают «популярную за рубежом оценку этих событий как заговора, захвата

власти кучкой большевистских лидеров, которые навязали стране трагический путь развития» утверждая, что подобные суждения отвергнуты большинством исторического сообщества. [История России, 1900–1945… 2012, с. 148]. Они сочувственно приводят мнение Б.Н. Миронова: «Октябрьская революция носила до известной степени антимодернизационный характер, так как она прервала… дорогу создания рыночной экономики, правового государства и гражданского общества в России». Одновременно они трактуют октябрьские события как переворот, за которым «последовала подлинная революция, так как новая власть в короткий срок изменила не только политический режим, но и социальную структуру страны, преобразовала хозяйственный уклад, отношения собственности, духовную атмосферу. В этом контексте события февраля 1917 г. предстают, наоборот, переворотом, не приведшим к коренным изменениям» [История России, 1900–1945… 2012, с. 149].

Рассказывая о II съезде Советов, авторы большинства учебников указывают, что большинство на нем составляли большевики и левые эсеры, но не задаются вопросом о том, каким образом был обеспечен их перевес. Некоторые авторы, следуя известному высказыванию меньшевика Н.Н. Суханова, фактически перекладывают ответственность за срыв попыток создать единое социалистическое правительство на ушедших со съезда меньшевиков и эсеров [Данилов, Косулина, 2001, с. 117; История России, 1900–1945… 2012, с. 138; Шестаков, 2007, с. 98]. Однако возможность достижения компромисса с добившимися большинства на съезде Советов большевиками представляется крайне сомнительной, а точка зрения Суханова – весьма спорной. В отдельных случаях позиция правых социалистов фактически смешивается с кадетской: «Меньшевики и правые эсеры… потребовали от съезда начать переговоры с Временным правительством об образовании нового кабинета министров, опирающегося на все слои *населения*»[1] [Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 92]. На самом же деле правые социалисты выступали за создание правительства, опирающегося на все слои «*демократии*», т.е. нецензовой части населения, преимущественно на рабочих, крестьян и городскую бедноту.

[1] Курсив мой. – *Л.К.*

Все учебники сообщают о первых декретах советской власти, однако либо совсем не анализируют их, либо анализируют поверхностно. Практически ни в одном учебнике не говорится о том, что Декрет о мире носил тактический и пропагандистский характер, был направлен, прежде всего, на привлечение уставшего от войны населения России на сторону большевистской власти. Впрочем, в отличие от учебников советской эпохи, нынешние учебники не утверждают, что Декрет о мире «заложил основы миролюбивой советской внешней политики» и вообще почти не останавливаются на его значении.

Поверхностно излагается в большинстве учебников и Декрет о земле. Авторы, как правило, не скрывают, что декрет соответствовал эсеровской аграрной программе, важнейшие положения которой были заимствованы большевиками в тактических целях. Но отличия декрета от большевистской аграрной программы, предусматривавшей не осуществление уравнительного раздела земли, а создание «из каждого крупного имения образцового хозяйства на общественный счет», т.е. передачу конфискованной у помещиков земли в руки государства, не разбираются и остаются непонятными учащимся. Между тем здесь речь идет ни много ни мало о различном понимании социализма эсерами и большевиками.

Только в учебнике В.А. Шестакова, М.М. Горинова и Е.Е. Вяземского четко сказано: «Большевики полагали, что лучше перейти к общественной обработке земли, а не проводить ее уравнительный раздел. Однако они поддержали программу эсеров, так как та отвечала желаниям крестьян» [Шестаков, Горинов, Вяземский, 2007, с. 94]. Зато авторы не удержались от традиционного для советской литературы апологетического вывода: «Как бы ни складывались впоследствии их [большевиков. – *Л.К.*] отношения с крестьянами, последние никогда не забывали, что землю им дал Ленин».

Ни в одном учебнике не цитируется заключительная фраза Декрета о земле: «Земли рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуются». Между тем эта фраза противоречила ряду положений Наказа 242-х об уравнительном землепользовании и создавала предпосылки для последующей острой борьбы в деревне, что и проявилось весной и летом 1918 г.

Об установлении советской власти на местах современные учебники рассказывают, как правило, кратко, в ряде случаев ограничиваясь констатацией: «Победа вооруженного восстания в Петрограде и Москве предопределила успех большевиков по всей стране [Киселев, Попов, 2011, с. 74], «в крупнейших городах России переход власти к большевикам в последующие месяцы также прошел почти бескровно. Лишь в Москве развернулись тяжелые уличные бои» [История России. XX век, 2009, с. 87]. Исключением являются учебники А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной, а также В.А. Шестакова, в которых процесс установления советской власти изложен относительно подробно [Данилов, Косулина, 2001, с. 119–120; Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 93–95; Шестаков, 2007, с. 101–102]. Термин «триумфальное шествие советской власти» упоминается в учебниках лишь как название, применявшееся Лениным [История России, XX – начало XXI века, 2011, с. 59; Шестаков, 2007, с. 101]. Особенности установления советской власти в казачьих и национальных районах в ряде учебников не изложены совсем, в других это сделано кратко. Документы советской власти, посвященные решению национального вопроса («Декларация прав народов России» и «Обращение к трудящимся мусульманам России и Востока») упоминаются без привычной в советское время апологетики, но цели их принятия, как правило, не анализируются, о том, как впоследствии были реализованы декларированные принципы национальной политики, не сообщается.

В большинстве случаев учебники сообщают о таких декретах советской власти как отмена сословий, чинов и званий, введение нового календаря, создание ВЧК, но, как и в советское время, обходят молчанием Декрет о печати. Ему уделено внимание лишь в трех учебниках. Авторы применяют достаточно жесткие формулировки: «Большевики практически сразу начали наступление на гражданские и политические права и свободы» [История России, 1900–1945… 2012, с. 141], «Преследование прессы стало жестче, чем в царской России после 1905 года» [Волобуев, Кулешов, 2008, с. 96], «Мера, понятная в качестве превентивной (упреждающей), обернулась непоправимым ударом по первым росткам гражданского общества в лице прогрессивной и самостоятельной прессы» [История России. XX век, 2001, с. 105]. Правда, авторы последнего текста считают, что решающим при принятии Декрета о печати и других «временных и экстренных мер» большевистского правительства стал «фактор Гражданской войны» [История России. XX век, 2001, с. 104], т.е. отчасти оправдывают его принятие военной обстановкой. Между тем даже левые эсеры сам Декрет о печа-

ти считали одной из важнейших причин Гражданской войны. Следовало бы также отметить, что «временный характер» Декрета о печати оказался фикцией. Невнимание к данной проблеме в большинстве учебников не позволяет учащимся понять: подавление свободы слова и печати явилось не следствием сталинских «искажений», а было присуще политике большевизма изначально.

Обойден вниманием авторов учебников и большевистский Декрет о суде. Краткие упоминания о нем в почти одинаковых формулировках содержатся лишь в двух учебниках: «Уничтожалась старая судебная система. Создавались народные трибуналы, которые руководствовались не законами, а "революционным правосознанием"» [Шестаков, 2007, с. 103; Измозик, Рудник, 2011, с. 117]. Но даже в них учащимся не разъясняется, что «революционное правосознание» – это узаконенный произвол. Нет в учебниках и вопросов, ориентирующих на обсуждение данной проблемы, которое могло бы быть полезно с точки зрения правового воспитания.

Все учебники сообщают о создании ВЧК как о важной мере утверждения большевистской диктатуры, но, как правило, не останавливаются на том, в чем конкретно выразился чрезвычайный характер этого органа. Между тем не каждый учитель разъяснит школьникам, что ВЧК, объединяя в одних руках розыск, следствие, суд и приведение приговора в исполнение, обладала совершенно бесконтрольной властью, основанной на том же «революционном правосознании».

О разгоне Учредительного собрания с разной степенью подробности сообщают все ныне действующие учебники. Ни в одном из них этот акт не одобряется, все авторы пишут о нем как об антидемократической, диктаторской мере. Почти все авторы пишут о том, что в течение 1917 г. большевики поддерживали идею созыва Учредительного собрания, но пересмотрели свое отношение к нему, потерпев поражение на выборах. Между тем Ленин еще в «Апрельских тезисах» выдвигал задачу: «Не парламентарная республика, – возвращение к ней от С.Р.Д. было бы шагом назад, а республика Советов рабочих, крестьянских и батрацких депутатов по всей стране, снизу доверху». Таким образом, ученикам не объясняют, что отказ большевиков от парламентской демократии был вызван не только их неудачей на выборах, но носил доктринальный характер, а поддержка ими лозунга созыва Учредительного

собрания на протяжении большей части 1917 г. являлась лишь тактическим ходом.

В ряде учебников кратко излагается содержание важнейших статей Конституции РСФСР 1918 г., причем авторы указывают, что демократические права и свободы «существовали лишь для сторонников политики большевиков» [История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 110], отмечают неравенство избирательного права для крестьян и рабочих [Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 104], многоступенчатый порядок выборов при открытом голосовании, «что позволяло отсекать нежелательных для большевиков депутатов» [Шестаков, Горинов, Вяземский, 2007, с. 110].

В то же время два учебника, следуя советской традиции, сообщают о лишении избирательного права представителей эксплуататорских классов, но не упоминают о преимуществах, предоставленных пролетарскому меньшинству перед крестьянским большинством [Измозик, Рудник, 2011, с. 123; Киселев, Попов, 2011, с. 80]. В учебнике под редакцией А.А. Данилова и А.В. Филиппова, более чем вдвое превосходящем остальные учебники по объему[1], нашлось место лишь для упоминания: «В июне 1918 г. была принята Конституция Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (РСФСР)» [История России, 1900–1945… 2012, с. 144].

Все учебники уделяют внимание истории Брестского мира. О полемике в РСРП (б) по вопросу о мире рассказывается нейтрально, без характерного для учебников советской эпохи стремления дискредитировать идейных оппонентов Ленина. Лишь в одном учебнике «формула Троцкого» названа «ошибочной» [Измозик, Рудник, 2011, с. 118]. В некоторых учебниках внутрипартийная борьба изложена крайне сжато, так что учащиеся едва ли смогут разобраться в ее сути, а иногда даже искажается. Ни единого слова о разногласиях между большевиками по вопросу о мире не содержит самый объемный учебник под редакцией А.А. Данилова и А.В. Филиппова.

[1] В соответствии с требованиями Министерства образования РФ объем большинства учебников по истории России варьируется в пределах от 22–24 п.л. (9 класс) до 25–29 п.л. (11 класс). Но для двухтомного учебника под ред. А.А. Данилова и А.В. Филиппова было сделано исключение: его объем составляет 54,24 п.л.

Некоторые современные учебники заостряют внимание учащихся на том, какую роль сыграло заключение «похабного» мира в развертывании Гражданской войны в России [Шестаков, Горинов, Вяземский, 2007, с. 111; История России. XX век, 2009, с. 95; Измозик, Рудник, 2011, с. 119]. Советская традиция проявилась в том, что в ряде учебников в почти одинаковых выражениях сообщается о том, что в результате Брестского мира от России отторгались Польша, Литва, часть Латвии и Белоруссии [Данилов, Косулина, 2001, с. 127; Данилов, Косулина, Брандт, 2007 а, с. 100; История России. XX век, 2009, с. 95; История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 112; Шестаков, Горинов, Вяземский, 2007, с. 97–98]. При этом авторы не замечают, что «отторгнутые» от России по Брестскому миру территории провозгласили независимость еще в конце 1917 – начале 1918 г., причем большевистское правительство России признало их самостоятельными государствами. Значительно корректнее учебник под ред. А.О. Чубарьяна: «Германия одобрила решение советского правительства предоставить независимость отдельным частям Российской империи, добивавшимся ее (Польше, Украине, Финляндии, странам Прибалтики и Закавказья)… Западные границы России отодвинулись примерно к тем пределам, где они находятся в наше время после распада СССР» [История России, XX – начало XXI века, 2011, с. 63–64].

О политике большевиков в сфере экономики осенью 1917 – весной 1918 г. одни учебники сообщают вперемешку с изложением строительства государственного аппарата и внешнеполитических вопросов, другие выделяют экономические мероприятия этого периода в отдельную тему, третьи объединяют их с рассказом о «военном коммунизме». Интерпретация этой политики в разных учебниках существенно различается. В учебнике для 9 класса утверждается: «В целом первые преобразования шли в русле перемен, начавшихся в стране после февраля 1917 г. Их осуществление соответствовало программным установкам партии большевиков о необходимости завершения буржуазно-демократической революции» [История России. XX век, 2009, с. 89]. Каким образом установка на завершение буржуазно-демократических преобразований соотносится с упомянутой несколькими строками выше национализацией частных банков и крупных заводов, остается неясным.

Некоторые авторы учебников стремятся показать, что экономическое положение в стране объяснялось не политикой большевиков, а стихийными факторами. Даже сами большевики действовали, по их мнению, не столько в соответствии с марксистским учением, сколько под влиянием «наивных представлений масс о социальной справедливости» [Киселев, Попов, 2011, с. 78], а то и просто плыли по течению: «Предприниматели закрывали предприятия; рабочие, чтобы не остаться без средств к существованию, всячески препятствовали этому. И Ленин поддержал пролетариат Декретом о рабочем контроле» [Шестаков, Горинов, Вяземский, 2007, с. 96]. Правда, это плохо согласуется с тем, что декрет о рабочем контроле был принят уже 14(27) ноября 1917 г., а Ленин предложил ввести его уже в «Апрельских тезисах». Об экономических результатах политики военного коммунизма эти учебники практически ничего не сообщают, объясняя послевоенную разруху лишь тем, что в стране шла война [Киселев, Попов, 2011, с. 97], либо развалом государства: «В результате разрыва хозяйственных связей с отделившимися (или отторгнутыми) от Советской России районами снизились поставки металла, угля, нефти, хлопка. В этой ситуации не мог помочь никакой рабочий контроль. В 1918 г. произошло резкое падение производства» [Шестаков, Горинов, Вяземский, 2007, с. 98]. Таким образом, всякая ответственность за состояние экономики с большевиков снимается, а рабочий контроль предстает мерой правильной, но недостаточной. Правда, один из членов авторского коллектива в написанном в одиночку учебнике для 11 класса отстаивает принципиально иной подход. Подробно рассказывая об утопическом характере большевистских экономических преобразований и их катастрофических результатах для российской экономики, он пишет: «Именно благодаря *инициированному властями* [курсив мой. – *Л.К.*] давлению со стороны рабочих коллективов процесс экспроприации частной собственности обрел широкий размах и высокие темпы» [Шестаков, 2007, с. 113].

Не скрывают негативных результатов большевистской экономической политики и другие авторы: «Рабочие коллективы попытались немедленно разрешить свои материальные затруднения путем “проедания” финансовых фондов предприятий, не заботясь о дальнейшей судьбе производства. К весне 1918 г. эти фонды были разбазарены и началась массовая остановка предприятий, резко возросла безработица» [Волобуев, Кулешов, 2008, с. 117]; «Большевики поощряли развернувшуюся по всей стране волну конфискаций собственности у буржуазии и репрессий против специали-

стов на предприятиях. Они ожидали, что фабрично-заводские комитеты составят низшее звено общественно-государственной системы управления предприятиями. Но подобные надежды совершенно не оправдались. Началась остановка предприятий, резко выросла безработица, продовольственный кризис в городах достиг наивысшей точки» [История России, 1900–1945… 2012, с. 153]. В последнем случае, правда, оказывается, что конфискации и репрессии «развернулись» сами собой, а большевики их лишь «поощряли». Другие мероприятия большевиков (монополия внешней торговли и торгового флота, всеобщая трудовая повинность, отказ от уплаты российских долгов, национализация банков) получают в большинстве учебников значительно менее подробное освещение. Видимо, в целях упрощения материала учебники, за единственным исключением [Шестаков, 2007, с. 115], не сообщают о попытке приостановить «красногвардейскую атаку на капитал» весной 1918 г. и о написанной в связи с этим работе Ленина «Очередные задачи Советской власти». Результат – не только упрощение, но и искажение представлений о той сложной эпохе.

Политика большевиков в деревне освещается в большинстве учебников кратко и упрощенно. В некоторых случаях это достигает того предела, за которым – полная невозможность составить хоть какое-то представление о происходившем: «В условиях разворачивавшейся Гражданской войны и нехватки продуктов новая власть организовала продовольственные отряды для изъятия хлеба у крестьян. Помощь им оказывали комитеты бедноты (комбеды), созданные летом 1918 г. и выполнявшие функции органов власти в деревне. По словам В.И. Ленина, большевистская партия “внесла Гражданскую войну в деревню”» [Киселев, Попов, 2011, с. 79] и даже «Выход из кризиса Ленин видел в… продовольственной диктатуре… В деревню направлялись продовольственные отряды (продотряды), которые изымали излишки продовольствия для голодающих городов. На местах продотряды поддерживали комитеты бедноты (комбеды)» [Измозик, Рудник, 2011, с. 122–123]. Никакой оценки политика продовольственной диктатуры в этих учебниках не получает. Даже в тех учебниках, которые рассказывают об аграрной политике большевиков более подробно [Волобуев, Кулешов, 2008, с. 118–119; Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 102–103], не освещается связь решения аграрного и продовольственного вопросов. Как правило, авторы учебников сообщают о

том, что продотряды и комбеды изымали излишки хлеба у зажиточных крестьян, но не указывают, что на практике у крестьян (не только зажиточных, но и середняков) часто отбирали не только товарные запасы зерна, но не оставляли им и необходимого минимума для посева и собственного потребления. Таким образом, политика большевиков выглядит значительно более умеренной, чем на самом деле, а ее социальная направленность искажается.

В учебниках почти не сообщается, насколько экономически неэффективной оказалась политика продовольственной диктатуры. Лишь в одном учебнике, вышедшем в начале «нулевых» годов, говорится: «При сборе урожая стало ясно, что крах потерпела и продовольственная диктатура: насильственная реквизиция хлеба не прошла. В 12 губерниях удалось изъять лишь 35 млн. пудов. Поскольку общий урожай оценивался в 3 млрд. пудов, это составило сотую его часть» [История России. XX век, 2001, с. 117]. Не только ради формирования у подростков исторических знаний, но и ради воспитания экономической культуры полезно было бы обратить их внимание на то, что ни комбеды, ни продотряды, действовавшие путем голого принуждения, не оправдали возлагавшихся на них надежд и не помогли избавить города от голода.

В современных учебниках практически не встречается одностороннее одобрение красных или белых в Гражданской войне. Изменились и подходы к периодизации Гражданской войны, особенно ее начального этапа. Если советские учебники связывали начало Гражданской войны с мятежом чехословацкого корпуса в мае–июне 1918 г. или началом интервенции в марте 1918 г., то в наиболее распространенном ныне учебнике говорится: «Гражданская война охватывает период с октября 1917 г. по октябрь 1922 г., т.е. от захвата власти большевиками до завершения вооруженной борьбы на Дальнем Востоке» [Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 106]. Таким образом, начало Гражданской войны связано именно с действиями большевиков, а не их противников. Другие авторы считают началом Гражданской войны май–июнь 1918 г., но период с ноября 1917 г. называют ее прологом [Измозик, Рудник, 2011, с. 115, 131].

С проблемой хронологии тесно связан сложнейший вопрос о причинах Гражданской войны. Наиболее подробно он рассматривается в учебнике В.А. Шестакова, причем если либерально-демократические партии, по мнению автора, лишь «способствова-

ли усилению социальной напряженности», не сумев в ходе 1917 г. провести необходимые реформы, то на большевиках лежит «особая вина в перерастании напряженности в вооруженное противоборство», поскольку «сама форма прихода большевиков к власти, первые шаги пролетарской диктатуры по ликвидации “эксплуататорских классов”, использование террора для удержания власти подтолкнули часть российского общества к вооруженному противостоянию. Большевики сами создают массовую базу для сопротивления» [Шестаков, 2007, с. 120]. На большевиков возлагает основную вину за развязывание Гражданской войны в стране и учебник под редакцией А.А. Данилова и А.В. Филиппова: «Настоящая фронтовая Гражданская война стала возможна тогда, когда узкоклассовая политика большевиков в первой половине 1918 г. привела к образованию широкой социальной базы для оппозиции в городе и деревне». [История России, 1900–1945… 2012, с. 155].

В большинстве случаев учебники кратко излагают ход Гражданской войны, уделяя основное внимание не военным операциям, а социально-политическим явлениям. Практически во всех учебниках в качестве главных причин победы красных называются социальная неоднородность Белого движения и его неспособность разрешить аграрный вопрос приемлемым для крестьянства образом.

В учебниках уделяется внимание особой жестокости Гражданской войны: «В ходе Гражданской войны ее неотъемлемым элементом стал белый и красный террор… Идея насилия стала всеобщей» [Измозик, Рудник, 2011, с. 137]. В большинстве учебников преимущественное внимание уделяется красному террору, белый же террор рассматривается как ответная мера. В двух учебниках для 11 класса прямо подчеркивается (со ссылкой на С.П. Мельгунова), что красный террор представлял собой государственную политику, белый же террор проявлялся в форме эксцессов [Волобуев, Кулешов, 2008, с. 129; Шестаков, 2007, с. 126]. Нет рассказа о красном терроре только в учебнике под редакцией А.А. Данилова и А.В. Филиппова. В то же время в одном учебнике утверждается, что «белый террор был масштабнее», а в подтверждение этого приводятся данные о расстреле 8 тыс. человек за сочувствие большевикам в Архангельске после занятия его английскими войсками. Сведения о красном терроре при этом приводятся по официальным данным ВЧК (4,5 тыс. человек за вторую половину 1918 г. и 3,5 тыс. в 1919 г.) и лишь упоминается, что «по

оценке… С.П. Мельгунова, масштабы расстрелов были как минимум в три раза большими» [История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 120]. Но по сведениям эсеровской газеты «Воля народа», только в первые три месяца 1919 г. в ЧК были расстреляны 13 850 человек, а сколько было расстреляно, например, в ходе «расказачивания» на Дону, практически не поддается учету. Интересно, что те же авторы в учебнике для 9 класса сообщают о гибели 10% населения Дона и Кубани, уничтожении станиц, создании концлагерей и справедливо пишут, что «точных данных, позволяющих сравнивать масштабы белого и красного террора, нет». Правда, и здесь они указывают, что «рост масштабов красного террора в значительной мере был ответом на заговоры сторонников белого движения» [История России. XX век, 2009, с. 109].

В то же время следует отметить стремление авторов некоторых учебников представить военную интервенцию западных стран не только антибольшевистской, но и в целом антироссийской мерой, утверждают, что «под видом борьбы с большевиками бывшие союзники России готовились к ее расчленению» [Киселев, Попов, 2011, с. 89], что «на Западе существовали влиятельные силы, которые хотели воспользоваться Гражданской войной для ослабления, а то и полного уничтожения России» [Шестаков, Горинов, Вяземский, 2007, с. 113].

Особенно подробно намерения Запада по расчленению России рассматриваются в учебнике под редакцией А.А. Данилова и А.В. Филиппова: «В перспективе планировалось утверждение подконтрольного Западу либерального правительства. Такое правительство должно было согласиться на утрату некоторых окраинных территорий… Особые надежды Запад связывал с национальными государственными образованиями, возникавшими на окраинах бывшей Российской империи. Их превращение в отдельные государства должно было ослабить Россию, а сами эти государства оказались бы под полным контролем ведущих западных держав». После этого становится понятна и недостаточная помощь Антанты белым: «Антанта оказывала белым помощь прежде всего для того, чтобы не допустить слишком быстрой победы красных, поскольку те могли бы ликвидировать национальные государства на окраинах. Тем более что белые отказывались признавать национальные государственные образования. Большевики, напротив, признали в конце концов независимость ряда государств, образовавшихся на

месте западных губерний Российской империи» [История России, 1900–1945… 2012, с. 162–163].

Ведущие российские либеральные партии (кадеты и октябристы), в отличие от умеренных социалистов, действительно придерживались принципа «единой и неделимой России». Но в подобной трактовке самой «прозападной» силой в России оказываются большевики, признавшие независимость целого ряда «национальных государственных образований».

1920–1930-е годы в учебниках

Переход к нэпу в учебниках объясняется необходимостью преодоления кризиса, ставшего результатом войны и политики военного коммунизма. «Терпение населения России было исчерпано. Чрезвычайные меры, выкачивание средств из деревни, карточная система воспринимались как допустимые в условиях военного времени, но с завершением войны стали вызывать возмущение» [История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 117] – типичное объяснение причин коренной смены экономической политики. Как правило, в учебниках сообщается, что решение о переходе к нэпу было принято большевиками или большевистским руководством, но конкретные имена не называются. Лишь в одном учебнике отказ от военного коммунизма рассматривается как единоличное решение Ленина: «Ленин первым понял опасность… В марте 1921 г. на X съезде РКП (б) Ленин объявил о переходе к новой экономической политике (нэпу)» [Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 135]. На самом деле еще весной 1920 г. Ю. Ларин, а затем Л. Троцкий предлагали сократить или вовсе отменить продразверстку и разрешить крестьянам продавать хлеб по рыночной цене, но встретили жесткое неприятие прежде всего со стороны Ленина.

Новая экономическая политика в большинстве учебников оценивается однозначно положительно. Перемены в аграрной политике выглядят следующим образом: «Размер налога был почти в два раза меньше продразверстки. Основная его тяжесть падала на зажиточных хозяев. Излишки продукции, оставшиеся после уплаты налога, крестьяне могли продавать на рынке. В октябре 1922 г. селяне получили право свободного выбора форм землепользования. В ограниченных размерах разрешались аренда земли и применение наемного труда» [История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 137]; «Размер поставок по налогу был вдвое ниже, чем по разверстке… Крестьянам разрешили продавать излишки продукции, использовать наемный труд и брать землю в аренду. Свободная торговля стимулировала развитие крестьянского хозяйства. К концу 1921 г. в стране возродился рынок сельхозпродукции» [Киселев, Попов, 2011, с. 97–98]. Только в одном учебнике отмечается, что «первоначально Ленин рассчитывал на товарообмен (обмен продуктами производства по твердым ценам и только через государственные или кооперативные магазины), но к осени 1921 г. признал неизбежность товарно-денежных отношений» [Измозик, Рудник, 2011, с. 144]. Между тем на этом примере видно, что большевики до последней возможности пытались избежать возвращения к рынку.

Все учебники отмечают успешное восстановление сельскохозяйственного производства в годы нэпа, увеличение доли середняков в массе сельского населения.

Как известно, Бухарин, отстаивая весной 1925 г. курс «деревенского нэпа», писал: «У нас есть нэп в городе, у нас есть нэп в отношениях между городом и деревней, но у нас почти нет нэпа в самой деревне… Зажиточная верхушка нашего крестьянства и середняк, который стремится тоже стать зажиточным, боятся сейчас накоплять. Крестьянин боится поставить себе железную крышу, потому что боится, что его объявят кулаком». Между тем хотя в учебниках и сообщается о неравенстве налогообложения крестьянских хозяйств в зависимости от их зажиточности [История России, 1900–1945… 2012, с. 173; История России, XX – начало XXI века, 2011, с. 76; Киселев, Попов, 2011, с. 99], но лишь в одном учебнике авторы сочли необходимым обратить внимание школьников на то, что «тем самым непроизвольно поощрялось развитие паразитических, иждивенческих настроений среди части сельского населения» [Волобуев, Кулешов, 2008, с. 140].

Исключительно положительной характеристики удостоилась в большинстве учебников и новая экономическая политика в сфере промышленности, торговли и финансов. Авторы учебников пишут и о возрождении частного сектора, и о концессиях, и о переводе предприятий на хозрасчет, и о формировании хозрасчетных государственных трестов, получивших право свободной реализации на рынке, и о финансовой реформе, в результате которой появилась

твердая денежная единица – золотой червонец, котировавшийся на мировом рынке.

Учебники для 9 класса почти не обращают внимания на ограниченность и непоследовательность новой экономической политики. Только в одном учебнике об этом говорится подробно: «Тресты обладали правами весьма ограниченного хозрасчета, сохранялся диктат государственных органов, принуждавших их выполнять государственные задания и отчуждавших продукцию. Нередко ниже ее стоимости и даже бесплатно. Государство бесцеремонно вмешивалось в хозяйственные связи, административными методами перераспределяло доходы между прибыльными и убыточными трестами и т.д. Было узаконено существование планово-убыточных отраслей. Тресты, несмотря на их ориентацию на прибыль, не имели собственного интереса и не несли материальной ответственности, которая на деле была переложена на плечи государства. Они подчинялись директивам политического руководства страны по вопросам цен, развития производства, размеров капитальных затрат и т.п.» [Волобуев, Кулешов, 2008, с. 141].

В других же учебниках, даже в специально выделенных пунктах «Противоречия нэпа», речь идет большей частью о нехватке капиталов внутри страны и о провале надежды на иностранные инвестиции.

Дискуссионным является вопрос о целях нэпа. Большей частью авторы учебников считают, что первоначально нэп рассматривался большевиками как временное отступление, однако позднее Ленин пришел к пониманию нэпа как нового пути к социализму [см.: Данилов, Косулина, Брандт, 2007 а, с. 137; История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 139; Киселев, Попов, 2011, с. 100; Шестаков, Горинов, Вяземский, 2007, с. 137]. Часто в учебниках цитируется известная фраза Ленина «Мы ввели нэп всерьез и надолго», однако чаще всего без последних, имеющих принципиальное значение, слов: «но не навсегда».

Вместе с тем в ряде учебников предлагается более сложная картина: «…ленинские взгляды на новую экономическую политику не выходили за рамки системы коммунистических ценностей… Место, функции и сроки существования нэпа Ленин охарактеризовал достаточно определенно – пока не будет обеспечен перевес социалистического уклада. Носители иных социальных отношений… неизменно рассматривались как враждебные контрреволюционные элементы, которых следует использовать и терпеть до поры до времени» [Волобуев, Кулешов, 2008, с. 138]; «Представления о нэпе как временном отступлении от основополагающего курса на построение социализма или, наоборот, как самом верном пути к социализму, идеальной модели социалистической экономики… являются односторонними, не учитывают глубинной противоречивости идеологии и практики нэпа» [История России, XX – начало XXI века, 2011, с. 79].

Рассказывая об индустриализации, осуществленной в конце 20-х – начале 30-х годов, авторы учебников делают упор на достижениях: «Задания первой пятилетки выполнить не удалось, но был сделан значительный шаг вперед. Производство продукции тяжелой промышленности выросло в 2,8 раза, машиностроения – в 4 раза… В стране появились новые отрасли промышленности… Успехи машиностроения превратили СССР из страны, ввозящей промышленное оборудование, в страну, производящую оборудование… Вторая пятилетка превратила страну в индустриальную, экономически независимую державу. Производство продукции всей промышленности к концу 1937 г. выросло по сравнению с 1932 г. в 2,2 раза, по сравнению с 1928 г. в 4,5 раза… Темпы роста тяжелой промышленности в годы первых пятилеток были в 2–3 раза выше, чем в царской России перед Первой мировой войной. По абсолютным объемам промышленного производства СССР в конце 30-х гг. вышел на второе место в мире после США» [Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 171–175]. Подобная картина, представленная в самом распространенном из ныне действующих учебников, характерна для большей части учебной литературы. Правда, утверждение, что СССР уже во второй половине 30-х годов превратился в индустриальную страну, в других учебниках не встречается. Более того, в одном из них прямо говорится: «Первые пятилетки, несмотря на заявления официальных лиц, не завершили индустриализацию страны. Они лишь создали первоначальную основу для дальнейшего развития индустриализации» [История России, XX – начало XXI века, 2011, с. 97]. В части учебников сообщается о несоответствии официальных и реальных итогов пятилеток [Киселев, Попов, 2011, с. 111, 113].

В отдельных случаях изложение истории индустриализации ведется в советской тональности: «В 30-е гг. народы СССР совершили деяния, с которыми мало что может сравниться во всей ми-

ровой истории. За десять лет, без всякой помощи извне, был осуществлен индустриальный скачок, на который иным государствам потребовались столетия. Именно тогда была заложена основа Победы в Великой Отечественной войне, быстрого восстановления после войны лежащей в руинах страны и всего последующего развития – вплоть до начала XXI в.» [Шестаков, 2007, с. 146–147]. Автор данного текста[1], стремясь подчеркнуть уникальность советской индустриализации, утверждает: «Обычно индустриализация является длительным процессом… Начинают обычно с легкой промышленности, которая приносит быстрый доход… По мере накопления средств переходят к выплавке металла. Затем возрастают потребности в машинах, станках и оборудовании – и постепенно налаживается их производство. Все это длится десятилетиями. Так проходила индустриализация в Англии, во Франции, в Германии, в дореволюционной России и подавляющем большинстве других стран… Советским руководством во главе с И.В. Сталиным, которому история отпустила всего 10 лет на ликвидацию отсталости, был разработан и осуществлен иной план индустриализации… Обычный порядок индустриализации был полностью изменен: сначала развивалась тяжелая промышленность, а потом легкая» [там же, с. 150–151]. Таким образом, смешивается индустриализация в странах первого и второго эшелона модернизации. Германия, дореволюционная Россия, Япония и другие страны, реализовавшие модель «догоняющего развития», начинали индустриализацию как раз с тяжелой индустрии и железнодорожного транспорта, а отнюдь не с легкой промышленности. Особенностью советской индустриализации является не преимущественное внимание к тяжелой промышленности, а степень диспропорции между ней и другими отраслями.

Уникальность советской индустриализации, по мнению авторов, делала неизбежным огосударствление экономики: «Осуществление данного плана резко повысило роль государства в экономике. Во-первых, при крайней нехватке денежных, людских, материальных ресурсов именно государству пришлось взять на себя их распределение между строящимися и работающими предприятиями. Во-вторых, именно государство, и только оно, могло определять долгосрочную перспективу развития экономики: какие

[1] § 29, повествующий об индустриализации, написан М.М. Гориновым.

отрасли развивать и в какой последовательности» [Шестаков, 2007, с. 151]. Методы индустриализации остаются вне поля зрения авторов не только данного учебника, но и большинства других. Исключение составляет учебник В.А. Шестакова для 11 класса, в котором подробно проанализирован механизм «форсирования» индустриализации и его негативные результаты [Шестаков, Горинов, Вяземский, 2007, с. 165–168]. Другое упущение большинства учебников состоит в том, что в них недостаточно продемонстрирована связь именно такого пути осуществления индустриализации с ликвидацией нэпа и торжеством сугубо административной хозяйственной модели. Всерьез новый хозяйственный механизм проанализирован также лишь в учебнике В.А. Шестакова [там же, с. 185–188].

Если В.А. Шестаков указывает на то, что в ходе индустриализации «развитие оборонных отраслей оборачивается постепенным подчинением им всей экономики» [Шестаков, Горинов, Вяземский, 2007, с. 164], ориентированной теперь на приоритетное развитие тяжелой индустрии за счет ограничения потребления населения» [там же, с. 186], то М.М. Горинов полагает, что «на первом этапе имевшиеся в стране скудные ресурсы направлялись на развитие самых передовых отраслей: в тяжелую промышленность, в энергетику, в транспорт; затем созданные в этих отраслях-лидерах энергия, новые материалы, станки, индустриальные технологии передавались в другие секторы экономики: легкую и пищевую промышленность, сельское хозяйство и т.д.» [Шестаков, 2007, с. 150–151]. Диспропорции советской экономики по-разному выглядят и в других учебниках: от «скачок в развитии тяжелой промышленности был куплен ценой отставания других отраслей экономики, прежде всего легкой промышленности и аграрного сектора» [Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 175] до «на новой индустриальной базе постепенно развивались легкая и пищевая промышленность» [История России. XX век, 2009, с. 144].

Весьма распространенный в учебниках мотив – объяснение (и оправдание) жестоких методов индустриализации необходимостью противостоять нарастающей угрозе войны. При этом учащимся фактически внушается, что другого пути наращивания индустриальной мощи СССР не существовало: необходимость создания основ нового строя и подготовки к войне предопределила особый, мобилизационный тип развития СССР в конце 20-х – 30-е годы.

Он формируется тогда, когда «обществу в сжатые сроки предстоит решить ряд неотложных, жизненно важных задач, притом что ресурсов на это нет или их недостаточно» [История России, 1900–1945... 2012, с. 244]. То обстоятельство, что война была выиграна с опорой лишь на часть созданного в 30-х годах индустриального потенциала, а колоссальные ресурсы были растрачены впустую из-за необдуманного форсирования индустриализации, в учебниках не обсуждается.

Значительно более однородным выглядит изложение в учебниках истории коллективизации. Практически во всех учебниках говорится о ее проведении в связи со стремлением власти взять под контроль важнейший экспортный ресурс – зерно – ради получения средств, необходимых для проведения ускоренной индустриализации. В учебниках рассказывается и о методах проведения коллективизации, и о раскулачивании, и о голоде начала 30-х годов. Правда, материал о жизни в голодавших районах и спецпоселениях излагается бегло, что едва ли позволяет школьникам осознать весь ужас положения. Голод начала 30-х годов связывается с осуществлением коллективизации, раскулачиванием и ростом хлебозаготовок, однако прямо на искусственный, организованный характер голода учебники не указывают[1]. Почти не уделяется в учебниках внимания такому результату коллективизации, как абсолютная зависимость колхозов от диктата партийных и государственных органов.

Различается преимущественно оценка экономических результатов коллективизации. В одних учебниках говорится о том, что в течение 30-х годов объемы сельскохозяйственного производства почти не изменились, производство зерна несколько повысилось, а мяса немного снизилось, зато занятость в сельском хозяйстве сократилась с 55 до 35 млн. человек [История России, XX – начало XXI века, 2011, с. 99; Шестаков, Горинов, Вяземский, 2007, с. 160]. В других внимание обращается, прежде всего, на то, что в 1929–1934 гг. резко снизилось поголовье скота, упала урожайность [Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 179; История России. XX век, 2009, с. 141–142; Киселев, Попов, 2011, с. 119]. Стоит заметить, что душевое производство зерна в конце 30-х годов составило 40–

[1] Ср. «Голод 1932–1933 гг. можно определить как “организованный голод”» [Кондрашин, 2008, с. 376].

44 центнера против 47–48 в конце 20-х годов, продукция животноводства за это же время сократилась на 40%, а рост производительности труда был вызван не обобществлением производства, а широким появлением во второй половине 30-х годов новой техники. Лишь один учебник отмечает резко возросшую роль личного подсобного хозяйства: «К 1937 г. приусадебные участки давали более 50% валового производства овощей и картофеля, около 70% мяса, молока и кож» [История России. XX век, 2009, с. 143]. Эти сведения были бы еще более впечатляющими, если бы авторы отметили, что доля подсобного хозяйства в посевных площадях не превышала к тому времени 1%.

Учебники уделяют довольно много места истории повседневной жизни 30-х годов. В некоторых учебниках откровенно говорится о крайней скудости быта советских людей. «Успехи индустриализации позволили в 1935 г. отменить карточную систему (действовала в 1928–1934 гг.), но уровень жизни рабочих был невысок. За 1925–1937 гг. заработная плата рабочего выросла в 5,5 раза, а стоимость продуктов – в 8,8 раза. За одно и то же количество продуктов питания семейный рабочий должен был работать в 1925 г. 88 часов, а в 1937 г. – 151 час» [Киселев, Попов, 2011, с. 113–114]. Зато из других учебников школьник узнает о том, что «к концу 1930-х гг. наметилось значительное снижение цен на продукты питания» [История России. XX век, 2009, с. 143]. Иногда материальные трудности связываются только с начальным периодом индустриализации. «Ускоренная индустриализация при недостатке средств привела в первой половине 30-х гг. к падению уровня жизни. К началу 1929 г. во всех городах СССР вновь вводится карточная система снабжения… Дело доходило до бегства работников с предприятий, голодных демонстраций и забастовок». В дальнейшем, по мнению автора, положение резко улучшилось: «С января 1935 г. были отменены карточки на хлеб, крупу и муку; с октября того же года – на все продовольственные товары. Во второй половине 30-х горожане стали питаться намного лучше, чем в первой. Например, в 1939 г. москвичи потребляли по сравнению с 1932 г. в 4 раза больше мяса, в 6 раз – масла, в 16 раз – яиц» [Шестаков, 2007, с. 162–163]. Сравнение следовало бы вести не с гибельным 1932 г., а с предшествовавшим индустриализации и коллективизации 1928 г. Да и потребление продуктов питания в Москве менялось далеко не так, как в остальном СССР, особенно в

малых неиндустриальных городах. Наконец, если об отмене карточной системы в 1935 г. упоминают многие учебники, то о ее фактическом возрождении в 1938 г. – ни один.

Серьезно различается и описание в разных учебниках социального расслоения и отношения к нему в обществе. «Уровень реальных доходов населения сократился примерно вдвое. Однако это не вызвало массового недовольства. У людей сохранялась вера, что трудности страны носят временный характер. К тому же исчез такой источник социального раздражения, как высокие доходы нэпманов и кулаков» [История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 177]. Авторы не позволяют школьнику задуматься над тем, что «массовое недовольство» не проявлялось открыто, прежде всего, из-за прочно утвердившегося к тому времени в обществе страха. В другом учебнике картина оказывается совершенно иной: «Система репрессивно-приказного диктата, паразитируя на благородной идее всеобщего равенства, безжалостно эксплуатировала труженика… Но общество не было слепо и глухо. Люди говорили о том, что происходило, что они видели и ощущали… Людей раздражали не только житейские тяготы, но и то, что партийно-государственные функционеры превратились в избранный социальный слой номенклатурных работников» [Волобуев, Кулешов, 2008, с. 164–165]. Правда, и в этом учебнике отмечается, что «несмотря на негласные привилегии, партийно-государственная элита отнюдь не вела роскошный образ жизни» [там же, с. 162], а «с точки зрения основной части рабочих все жертвы и лишения оказались не напрасными. Достижения были у всех на виду» [там же, с. 160].

Практикуется в современных учебниках и иной подход: не скрывая серьезного социального неравенства и привилегий номенклатуры, представить такую ситуацию оправданной и по большому счету справедливой: «Государство административно регулировало уровень доходов и потребления, который зависел от степени ответственности и сферы занятости работников. Руководители высокого ранга имели высокий в сравнении с другими гражданами уровень потребления, при этом их в приказном порядке, не спрашивая, могли назначить на любую должность и перебросить в любую точку страны. “Ответственные работники” имели ненормированный рабочий день, несли строгую персональную ответственность. Невыполнение задания, подозрительное прошлое, сомнения в лояльности – все это могло быть и являлось поводом

для репрессий против руководителей и членов их семей. От этого не был застрахован ни член Политбюро, ни нарком, ни директор предприятия» [История России, 1900–1945... 2012, с. 249]. По-видимому, авторы учебника полагают, что рядовой работник был застрахован от репрессий, вызванных подозрительным прошлым или сомнениями в лояльности, и мог не страшиться невыполнения заданий. Авторы учебников по-разному подходят к освещению политической системы эпохи нэпа. Одни демонстрируют школьникам, что либерализация в экономике не сопровождалась смягчением политического режима, обращают их внимание на формирование фактически однопартийной системы и сращивание партийного аппарата с государственным, продолжение расправ большевиков со своими противниками, разгром церкви, ужесточение цензуры и контроля над духовной жизнью [Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 155–158, с. 163–169; Шестаков, Горинов, Вяземский, 2007, с. 138–144; Шестаков, 2007, с. 121], в других лишь кратко указывается на запрет внутрипартийных фракций и репрессии против оппозиции, а наиболее подробно (хотя тоже очень кратко) рассказывается о гонениях против церкви [История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 144–145; Измозик, Рудник, 2011, с. 145–146, 154–155; История России, XX – начало XXI века, 2011, с. 79–82]. В третьих политический режим 20-х годов обходится полным молчанием и лишь кратко сообщается о росте политического влияния Сталина и ликвидации партийных оппозиций [Киселев, Попов, 2011, с. 100–102].

Особую позицию заняли авторы учебника под ред. А.А. Данилова и А.В. Филиппова. Рассказывая о политической жизни 20-х годов, они ни словом не обмолвились ни о росте числа лагерей, ни о цензуре, ни о преследованиях политических оппонентов большевиков, ограничившись упоминанием о «философском пароходе», зато сделали программное заявление: «В преддверии перехода к периоду политического насилия над обществом требовалась единая воля и полная историческая ответственность за все. Утверждение единовластия явилось итогом политической эволюции советского общества в 20-е гг. и составило необходимое условие наступающих перемен. Одновременно во времена нэпа был создан мобилизационный аппарат в виде партийной структуры, который был в состоянии заставить общество форсированными темпами наверстывать упущенное время на пути индустриализации страны»

[История России, 1900–1945... 2012, с. 195–196]. В таком контексте «насилие над обществом» выглядит хотя и жестокостью, но оправданной и необходимой. Рассказывая о внутрипартийной борьбе начала 20-х годов учебник объясняет то обстоятельство, что «большинство членов партии выступили на стороне ЦК» тем, что «“назначенчество”, т.е. смена местных начальников сверху, оставалось единственным реальным способом обуздать обюрократившихся партийно-советских чиновников» [там же, с. 193]. Таким образом, наиболее бюрократическая черта советской системы превращается в средство борьбы с бюрократией.

Внутрипартийная борьба 20-х годов в учебниках разбирается, как правило, достаточно кратко, позиции сторон не всегда подробно мотивируются, но следует, по-видимому, согласиться с тем, что современному школьнику достаточно представлять ход этих дискуссий в самом общем виде.

Политический строй 30-х годов, формирование культа личности Сталина, репрессии – темы, присутствующие в каждом учебнике. Однако анализ этих явлений далеко не всегда отличается глубиной. Так, сообщив учащимся о том, что по Конституции 1936 г. «вводились всеобщие, прямые, равные, тайные выборы в Советы всех уровней», учебник как о чем-то совершенно естественном сообщает: «При выдвижении кандидатов в депутаты утвердилась практика “один кандидат – один депутат”». Такой подход к выборам объяснялся тем, что каждый кандидат представлял «блок коммунистов и беспартийных» [История России, XX – начало XXI века, 2011, с. 136]. Думается, современные школьники, привычные к тому, что в выборах, во всяком случае, участвуют несколько кандидатов, нуждаются в более подробном объяснении советской избирательной процедуры. Перечислив предоставленные права и свободы, авторы другого учебника ограничиваются замечанием: «Но подавляющее большинство этих конституционных норм имело декларативный характер» [Измозик, Рудник, 2011, с. 169].

По-разному подходят авторы учебников и к изложению вопроса о репрессиях. Одни рассказывают об этом сравнительно подробно [Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 185–188; История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 185–190; Шестаков, Горинов, Вяземский, 2007, с. 202–211; Шестаков, 2007, с. 166–171], другие делают это кратко и бегло [Волобуев, Кулешов, 2008,

с. 155–157; История России. XX век, 2009, с. 149–152; История России, 1900–1945... 2012, с. 255–257; История России, XX – начало XXI века, 2011, с. 93; Киселев, Попов, 2011, с. 137–138]. Почти не встречается в учебниках описание методов следствия и положения заключенных ГУЛАГа. С разной степенью глубины анализируются в учебниках причины репрессий. Приводятся, в том числе, и довольно сомнительные соображения: «Как это ни покажется чудовищным и странным, репрессии позволяли поддерживать хорошее настроение у народа», «путем репрессий сталинское руководство пыталось заставить работать в интересах общества партийно-государственных чиновников… Путем репрессий добивались бесперебойной и четкой работы государственного аппарата в интересах страны», «в преддверии войны власть хотела уничтожить сторонников иностранных государств, а также тех, кто мог ими быть» [Шестаков, 2007, с. 166–167]. Возможно, говоря об интересах общества, авторы имеют в виду то, как их понимали Сталин и его окружение. Но в глазах подростков, зачастую еще не осознающих ценности каждой человеческой жизни, а мыслящих категориями целесообразности, их рассуждения неизбежно превратятся в оправдание репрессий. Совсем удивительным является такое объяснение «большого террора»: «Во многом размах этих мер был вызван опасениями Сталина и его окружения в том, что на первых в истории СССР всеобщих выборах победу на местах могут одержать противники его курса» [История России, 1900–1945... 2012, с. 256–257].

Как правило, авторы учебников воздерживаются от общих выводов о характере политического режима в СССР, предлагая вместо них описания. Например, О.В. Волобуев и С.В. Кулешов пишут: «Советское общество было предельно идеологизированным и политизированным. Принципиальное отличие демократического массового общества от советского состоит в принципах организации человеческой деятельности: в первом случае личность имеет свободу выбора при определении характера своей социальной деятельности, во втором – выбор этой деятельности жестко контролируется системой» [Волобуев, Кулешов, 2008, с. 162]. В одном учебнике советский режим 30-х годов назван диктаторским [Шестаков, 2007, с. 167]. В учебнике А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной, написанном в 90-х годах XX в., имеется специальный пункт «Формирование тоталитарного режима» и сказано: «При таком режиме

государственная власть сосредотачивается в руках какой-либо одной группы (обычно политической партии), уничтожившей в стране демократические свободы и возможность появления оппозиции. Эта правящая группа полностью подчиняет жизнь общества своим интересам и сохраняет власть благодаря насилию, массовым репрессиям, духовному порабощению населения» [Данилов, Косулина, 2001, с. 227]. В учебнике тех же авторов, вышедшем в 2007 г., термин «тоталитаризм» применяется лишь в параграфе, посвященном XX съезду КПСС (см. ниже), а в предисловии к учебнику, вышедшему в 2008 г., в котором А.А. Данилов выступает в качестве одного из редакторов, говорится: «Мы являемся противниками концепции тоталитаризма. Эта доктрина, приравнивающая Советский Союз к гитлеровской Германии, являлась и является не инструментом познания, а орудием идеологической войны» [История России, 1945–2008… 2008, с. 5].

При рассмотрении образования СССР авторы учебников указывают на разногласия между Лениным и Сталиным по вопросу об автономизации, но не объясняют их причины. Чем руководствовался Ленин, выступая против вхождения республик в состав РСФСР, остается непонятным. Только в одном учебнике глухо говорится о том, что Ленин характеризовал этот план как «политическую ошибку, которая обострит межнациональные отношения» [История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 151]. Между тем без серьезного анализа «грузинского дела», без учета того обстоятельства, что национальный вопрос рассматривался Лениным в контексте вовлечения народов Востока в мировую революцию, позиция Ленина не может быть по-настоящему понята.

Характерно, что если в учебнике, вышедшем в 2001 г. и, следовательно, написанном в 90-е годы XX в., симпатии авторов в вопросе о создании СССР явно были на стороне Ленина, а Сталин подвергался критике за то, что «был противником любого самоопределения» [История России. XX век, 2001, с. 138–139], то в учебнике, изданном в 2008 г., федерализм «по-ленински» оценивается весьма критически: «Уверовав в свою полную победу и претендуя на окончательное решение национального вопроса, коммунистический режим пошел на создание республик по этническому признаку, не предполагая, что республики когда-нибудь смогут воспользоваться своим правом на отделение» [Волобуев, Кулешов, 2008, с. 132].

Еще более явно предпочитают сталинскую модель, направленную на создание «строго централизованного государства», авторы другого современного учебника. Позиция Ленина, по их мнению, вела к созданию «более рыхлого образования». В результате победы ленинской модели, по мнению авторов, «под создававшийся Союз была заложена мина замедленного действия. Пока страна безраздельно контролировалась единой для всех союзных республик компартией, СССР был фактически унитарным государством. С ослаблением же позиций коммунистов ослабли и объединявшие Советский Союз скрепы, и он распался» [Шестаков, 2007, с. 126].

В ряде учебников подвергается осуждению проводившаяся в 20-х годах политика «коренизации», или опоры на местные кадры: «Случалось, что русский народ оказывался в роли жертвы большевистской национальной политики» [Волобуев, Кулешов, 2008, с. 136]; «политика коренизации нередко оборачивалась ущемлением прав других национальностей, прежде всего русского населения» [Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 148; История России, 1900–1945... 2012, с. 188]. Лишь в некоторых случаях из учебников можно узнать о том, что «национальный вопрос решался в основном репрессивно-приказными методами, нередко резавшими “поживому” сложившийся уклад», о ломке национальных «традиций, мировоззрения и духовного бытия» национальных меньшинств, в частности, кочевых народов [Волобуев, Кулешов, 2008, с. 136].

В большинстве учебников рассказывается об антирелигиозной политике советской власти: преследовании духовенства и мирян, закрытии церквей, изъятии церковных ценностей, нарастании антирелигиозной пропаганды. Как правило, авторы не указывают, что изъятые в церквах средства пошли отнюдь не на помощь голодающим, а преимущественно на приобретение вооружения и промышленного оборудования, а также на поддержку зарубежного революционного движения. Речь в учебниках идет почти исключительно о преследованиях Русской православной церкви. Лишь немногие авторы кратко упоминают, что пострадали и представители других вероисповеданий: «Репрессивные меры проводились также против последователей буддизма, ислама, иудаизма и других конфессий» [Измозик, Рудник, 2011, с. 146]; «С 1 января по 1 июля 1930 г. … закрыты 166 православных церквей, 60 мечетей, 10 часовен, 24 синагоги и 16 монастырей» [Киселев, Попов, 2011, с. 135].

В учебнике под ред. А.А. Данилова и А.В. Филиппова утверждается, что «в отношении других религиозных конфессий политика государства в первое десятилетие советской власти была более терпимой», а «целенаправленного уничтожения неправославного духовенства в эти годы не проводилось», поскольку «ислам и буддизм рассматривались как религии угнетенных народов». И лишь «к началу 30-х гг. различия в отношении власти к бывшей государственной религии и религиям “угнетенных народов” фактически сошли на нет» [История России, 1900–1945... 2012, с. 218–219]. В подтверждение своих слов авторы приводят образование Центрального духовного управления буддистов и снятие ограничений для лиц иудейского вероисповедания. Но ликвидация правовых ограничений для евреев совершенно не исключала ожесточенного преследования иудаизма, которое развернулось отнюдь не с начала 30-х годов, а на десятилетие раньше.

Внешняя политика Советского государства в 20-х годах рассматривается в учебниках большей частью как направленная на нормализацию и укрепление отношений с другими странами и в то же время на разжигание мировой пролетарской революции. В связи с этим в нескольких учебниках говорится о «двойственности» советской внешней политики. Проводником идеи разжигания мировой революции учебники, как правило, называют Коминтерн. Однако представления о роли Коминтерна различны. Одни авторы признают, что «политика Коминтерна… определялась точкой зрения представителей ВКП (б)» [Волобуев, Кулешов, 2008, с. 177], другие полагают, что от Коминтерна исходила «наиболее сильная оппозиция попыткам нормализации отношений с пограничными с СССР странами», а «попытки руководства СССР пойти по пути нормализации отношений с государствами запада многие секции Коминтерна восприняли как предательство революционных идеалов» [История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 155]. Иногда стремление к разжиганию революции на Западе объясняется влиянием левых (Троцкого, Зиновьева) в советском руководстве и, прежде всего, в исполкоме Коминтерна [История России. XX век, 2009, с. 159; История России, 1900–1945... 2012, с. 201–202], словно это не было согласованным решением Политбюро. Даже ответственность за политику Коминтерна, направленную, в первую очередь, не против нацистов, а против социал-демократов, в ряде случаев возлагается на противников Сталина внутри Политбюро ЦК ВКП (б): «Как считают многие историки, при условии единства действий левых партий, коммунистов и социал-демократов победу фашизма в Германии можно было предотвратить. Однако с 1924 г. по инициативе Зиновьева и Троцкого Коминтерн категорически воспретил своим секциям сотрудничать с социал-демократией» [История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 202]. Но Зиновьев и Троцкий лишились преобладающего влияния в ВКП (б) уже в 1926 г., за более чем шесть лет до прихода Гитлера к власти, а Коминтерн противился созданию единого антифашистского фронта вплоть до 1934 г.

Взаимоотношения СССР со странами Востока анализируются в учебниках в контексте антиимпериалистического сотрудничества, о поддержке СССР коммунистического движения в Китае и о том, что именно этим был вызван конфликт с Гоминьданом, сообщает только один учебник [История России, 1900–1945... 2012, с. 204].

Неудача Генуэзской конференции объясняется чаще всего обоюдной неготовностью Запада и Москвы к соглашению, но действия нашей страны оцениваются в целом положительно: «Советская Россия продемонстрировала миру готовность к взаимовыгодному сотрудничеству и решимость отвергнуть любое неравноправие в отношениях с ней» [Киселев, Попов, 2011, с. 125].

Развитие отношений между СССР и странами Запада после Генуэзской конференции и до прихода нацистов к власти в Германии излагается в учебниках, как правило, бегло, основное внимание уделяется «полосе признаний СССР». В некоторых учебниках сообщается о тесном военно-экономическом сотрудничестве между СССР и Германией после Рапалло, но это никак не связывается с последующей быстрой ремилитаризацией Германии в 30-х годах.

Советскую внешнюю политику 30-х годов учебники единодушно рассматривают как направленную на создание системы коллективной безопасности. Политика «умиротворения», проводившаяся Англией и Францией, однозначно интерпретируется как попытка «направить устремления Гитлера на восток, столкнуть его с СССР» [История России, 1900–1945… 2012, с. 314, 315; Шестаков, 2007, с. 184; Киселев, Попов, 2011, с. 144]. Правда, в одном случае указывается, что «Сталин довольно прохладно относился к самой идее коллективной безопасности», а политика западных держав рассматривается более дифференцированно, с указанием

как противников, так и сторонников сотрудничества с СССР [История России, XX – начало XXI века, 2011, с. 112].

Ответственность за провал англо-франко-советских переговоров в Москве большинство учебников однозначно возлагает на западные державы и Польшу, отказавшуюся пропустить советские войска через свою территорию. В одном учебнике указывается даже, что «Советское правительство имело все основания опасаться нового Мюнхена, на этот раз прямо направленного против Советского Союза» [История России, 1900–1945... 2012, с. 317]. В результате, по мнению ряда авторов, у советского правительства «в тот момент не было другого выхода», кроме подписания пакта. [История России. XX век, 2009, с. 209; История России, 1900–1945... 2012, с. 318]. В целом преобладающая оценка пакта в учебниках сводится к тому, что он позволил СССР избавиться от угрозы войны на два фронта, предоставил СССР передышку и позволил ему лучше подготовиться к войне [Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 203; История России. XX век, 2009, с. 174; История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 210; История России, 1900–1945... 2012, с. 318; История России, XX – начало XXI века, 2011, с. 114; Шестаков, Горинов, Вяземский, 2007, с. 218; Шестаков, 2007, с. 186]. В то же время ряд авторов указывают на дискуссионность проблемы пакта в исторической литературе [История России, XX – начало XXI века, 2011, с. 114; Киселев, Попов, 2011, с. 146]. Есть в учебной литературе и такая оценка: «Что касается утверждения, что заключение советско-германского пакта о ненападении давало Сталину выигрыш некоторого времени для укрепления обороноспособности страны, то оно верно лишь отчасти. Очевидно, что и Гитлер также не напрасно потратил полученное время» [Шестаков, Горинов, Вяземский, 2007, с. 217–218].

Упоминая о секретных протоколах, авторы учебников, как правило, не дают правовой оценки этим документам, указывая, что согласно им, страны Прибалтики и часть Польши признавались «сферой интересов» СССР, что можно понять, например, как заинтересованность в развитии экономических связей с соответствующими странами. Иногда применяются следующие оправдания секретных протоколов: «Небольшие страны Восточной Европы (Польша, Литва, Латвия, Эстония) сами стремились к соглашениям с Германией на антисоветской основе и могли стать территорией, с которой германские войска напали бы на СССР» [Шестаков, 2007, с. 187].

Внешняя политика СССР после заключения пакта и до начала Великой Отечественной войны излагается в учебниках крайне осторожно. Ни в одном учебнике не применяется термин «агрессия» или «аннексия» по отношению к действиям СССР в Польше. Авторы либо просто указывают, что советские войска перешли границу и вступили в восточные районы, либо добавляют, что это было сделано «под предлогом оказания помощи украинским и белорусским братьям» [Шестаков, Горинов, Вяземский, 2007, с. 219]. О договоре «О дружбе и границе» от 28 сентября 1939 г. сообщается только то, что он изменил границы сфер влияния Германии и СССР. Совместный парад советских и германских войск в Бресте упомянут только в одном учебнике [История России. XX век, 2009, с. 174]. Схожим образом излагаются и события в Прибалтике. Например сообщается: «В сентябре-октябре 1939 г. СССР, используя политические договоренности, разместил в странах Прибалтики группировки своих войск» [Измозик, Рудник, 2011, с. 193] или «…осенью 1939 г. СССР, Эстония, Латвия и Литва заключили пакты о взаимопомощи» [Киселев, Попов, 2011, с. 147], но не указывается на вынужденный характер этих пактов. Даже если говорится, что СССР «добился» от государств Прибалтики заключения договоров о взаимопомощи [История России. XX век, 2009, с. 174, История России, XX – начало XXI века, 2011, с. 118], о методах, обеспечивших согласие, не сообщается. В большинстве учебников говорится о том, что присоединение прибалтийских стран к СССР произошло под советским давлением, но термин «аннексия» при этом не употребляется. Лишь в одном случае говорится: «14 июня 1940 г. СССР полностью оккупировал страны Прибалтики» [История России. XX век, 2009, с. 179]. Еще в одном учебнике сообщается: «Включение этих стран в состав СССР, проведение там репрессий с целью укрепления нового режима были расценены многими политиками западных стран как их захват… Вместе с тем произошло воссоединение земель бывшей Российской империи, утраченных после революции» [Шестаков, 2007, с. 189]. О возвращении утраченных территорий империи сообщает и другой учебник: «В предвоенные годы советское руководство вернуло почти все утраченные в результате острейшего кризиса 1917–1920 гг. российские территории, а также Западную Украину» [История России, 1900–1945... 2012, с. 331–332].

Следует отметить, что большинство учебников уделяет внимание расстрелу польских офицеров в Катыни и репрессиям, осуществлявшимся НКВД в Прибалтике и в западных районах Украины и Белоруссии. Однако авторы в одном из учебников постарались «уравновесить» рассказ о Катыни сообщением о польских зверствах: «Во время польского похода советскими войсками были взяты в плен 450 тыс. польских военнослужащих, в том числе 18,8 тыс. офицеров. По решению Политбюро ЦК ВКП (б) от 5 марта 1940 г. 21 857 офицеров и ряд других арестованных (служивших в полиции, спецслужбах и др.) были расстреляны. Возможно, это решение было связано с наказанием “белополяков” за зверское уничтожение пленных красноармейцев во время и после Советско-польской войны 1920 г.: тогда из 130 тыс. советских пленных погибло 60 тыс. человек. Оба преступления до сих пор являются незаживающей раной в отношениях между народами России и Польши» [История России, 1900–1945... 2012, с. 325]. Однако в реальной исторической памяти российского и польского народов гибель пленных красноармейцев 1920–1921 гг. от голода и тяжелых условий содержания и массовый расстрел военнопленных в 1940 г. занимают весьма различное место.

Сравнительно критически оценивается в учебниках политика СССР по отношению к Финляндии. Практически во всех учебниках сообщается о больших потерях Красной армии в этой войне. Авторы учебников пишут о том, что СССР начал войну с Финляндией «под предлогом» обеспечения безопасности Ленинграда [История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 212], прямо называют действия советского политического руководства ошибкой, имевшей тяжелые политические последствия [Измозик, Рудник, 2011, с. 194], указывают, что начало войны «было воспринято в мире как акт агрессии» [Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 207], а «народ Финляндии воспринял войну с СССР как справедливую» [История России. XX век, 2009, с. 175]. Есть, однако, и другие объяснения войны: «Финляндия провозгласила себя нейтральным государством и в то же время занималась строительством укреплений на Карельском перешейке, сотрудничала с Германий. В Москве опасались, что финская территория может быть использована для нападения на Советский Союз… Финляндия отвергла предложения СССР о подписании договора о взаимной помощи. Действия Советского Союза были жесткими… В апреле 1940 г. И.В. Сталин

отметил: “Война была необходима, так как мирные переговоры с Финляндией не дали результата, а безопасность Ленинграда надо было обеспечить”» [Киселев, Попов, 2011, с. 147–148]. Условия предложенного Финляндии договора о взаимопомощи при этом не упоминаются. Иногда предложенные условия называются, но так, что несговорчивость финской стороны может вызвать у ученика лишь удивление: «12 октября 1939 г. советское правительство предложило Финляндии также заключить договор о взаимной помощи. Им, в частности, предусматривалась передача Советскому Союзу ряда небольших, но важных в стратегическом отношении территорий вблизи Ленинграда или островов в Финском заливе в обмен на значительную территориальную компенсацию в Карелии. Однако руководство Финляндии отказалось от соглашения. 28 ноября 1939 г. СССР в одностороннем порядке денонсировал договор о ненападении с Финляндией от 1932 г. и утром 30 ноября 1939 г. начал боевые действия против финнов» [История России, 1900–1945... 2012, с. 326]. Правда, и авторы этого учебника не скрывают, что в политическом плане война с Финляндией нанесла серьезный ущерб международному положению Советского Союза.

В целом можно отметить, что внешняя политика СССР в 20–30-х годах освещается в учебниках значительно менее критически, нежели внутренняя политика того же периода.

Великая Отечественная война в учебниках

Проблема изложения в учебниках истории Великой Отечественной войны включает несколько сложных вопросов: проблема готовности СССР к войне, соотношение сил в начале войны и на ее различных этапах, положение на оккупированных территориях, советский тыл, роль антигитлеровской коалиции, цена Победы.

В ряде учебников говорится о мерах, которые были предприняты в 1939–1941 гг. для укрепления обороноспособности СССР: численном росте Красной армии, появлении новых видов вооружения, ужесточении трудовой дисциплины, переходе с семичасового на восьмичасовой рабочий день [История России. XX век, 2009, с. 181–182; История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 215–216; Измозик, Рудник, 2011, с. 195; История России, 1900–1945... 2012, с. 334–337; Шестаков, Горинов, Вяземский, 2007, с. 222–224; Шестаков, 2007, с. 192–193]. В других учебниках этим

вопросам внимания почти не уделяется, соответственно школьники, обучающиеся по этим учебникам, не могут разобраться в таком сложном вопросе, как соотношение военно-технических сил в начале войны. Авторы, пишущие о перестройке Красной армии, сообщают и о допущенных ошибках, и о репрессиях. Правда, практически не останавливаются на вопросе о фактическом разоружении старой границы.

В современных учебниках не встречается утверждение о полной готовности СССР к войне в 1941 г. Причины неподготовленности к отпору врагу в учебниках связываются, как правило, с репрессиями, которым подверглись в предыдущие годы командные кадры Красной армии, а также со стремлением Сталина оттянуть начало войны и не дать Гитлеру повода для нападения. Мнения историков, утверждающих, что СССР оказался не подготовлен к оборонительной войне, поскольку готовился к войне наступательной, в учебниках почти не отражены. Лишь в двух учебниках дается резко негативная оценка утверждениям, согласно которым Сталин сам планировал нападение на Германию летом 1941 г. [Волобуев, Кулешов, 2008, с. 185; История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 221–222]. В первом случае прямо назван В. Суворов (Резун), во втором речь идет о неназванных публицистах. Упоминается в учебниках и о том, что Сталин ответил отказом на предложение Г.К. Жукова нанести упреждающий удар по противнику в мае 1941 г., потому что «опасался последствий такого шага, все еще надеялся предотвратить большую войну» [История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 221] или потому что «опасался, что будет выглядеть в глазах мирового общественного мнения агрессором, что затруднило бы в дальнейшем создание… союза с Англией и США» [История России, 1900–1945... 2012, с. 337]. Последнее предположение, по-видимому, не учитывает, что Англия уже находилась в состоянии войны с Германией. Только в учебнике В.А. Шестакова говорится о том, что Сталин «при неизбежном ослабления западных стран в результате длительной войны рассчитывал прийти на помощь “голодающему пролетариату Западной Европы” и навсегда решить судьбу Европы, “сокрушая капитализм” военным путем» [Шестаков, Горинов, Вяземский, 2007, с, 224]. Версия о превентивном характере войны со стороны Германии единодушно отвергается во всех учебниках.

В современных учебниках не встречается объяснение причин неудач начального этапа войны количественным и военно-техническим превосходством вермахта. В ряде учебников приводятся данные, позволяющие сделать вывод о значительном военно-техническом превосходстве Красной армии. Правда, иногда это превосходство преуменьшается, например, путем сравнения всех сил Германии с войсками исключительно приграничных советских военных округов. Основное объяснение неудач в современных учебниках – низкий уровень подготовки красноармейцев и особенно командных кадров.

Вопрос о соотношении численности личного состава решается в учебниках, как правило, традиционно, без учета значительного превосходства советских мобилизационных возможностей. О численном превосходстве Красной армии над вермахтом говорится, начиная со Сталинградской битвы. «Альтернативные» точки зрения, согласно которым численное превосходство Красной армии было достигнуто уже в ходе битвы под Москвой, а на протяжении почти всей войны было значительно большим, чем принято считать в официальной военно-исторической литературе, в учебниках не упоминаются.

Все учебники, исключая учебник Н.В. Загладина для 9 класса, уделяют внимание положению на оккупированной территории и «новому порядку», установленному гитлеровцами. Но в учебниках по-прежнему почти не говорится о повседневной жизни населения под немецким гнетом.

В семи учебниках из проанализированных 14 указывается, что тотальному истреблению гитлеровцы подвергали евреев и цыган, термин «холокост» используется в трех учебниках, об участии местного населения в уничтожении евреев сообщается только в одном, причем в связи с характеристикой литовского националистического движения [История России, 1900–1945... 2012, с. 393–394]. Многим учебникам присуще повышенное внимание к сотрудничавшим с вермахтом национальным формированиям на Западной Украине и в Прибалтике, Крыму, на Северном Кавказе, причем нередко подчеркивается, что особенно активно они участвовали в борьбе против партизан и уничтожении мирного населения [Данилов, Косулина, 2001, с. 288–289; Измозик, Рудник, 2011, с. 221; История России, XX – начало XXI века, 2011, с. 150; Шестаков, 2007, с. 212]. Аккуратная фраза «эти действия части населе-

ния в 1944 г. послужили предлогом для массовой депортации ряда народов, обвиненных в пособничестве врагу» [История России, 1900–1945... 2012, с. 393] на практике способна в глазах школьников послужить оправданием сталинских депортаций. С другой стороны, два учебника подробно говорят об участии представителей различных народов в героическом сопротивлении гитлеровцам [Данилов, Косулина, 2001, с. 286–288; Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 237–240], в них даже выделены специальные параграфы «Народы СССР в борьбе с фашизмом».

Учебники, за редким исключением, не обходят вниманием проблему советского коллаборационизма. В ряде случаев сообщается, что в немецких вооруженных формированиях служили около 1 млн. советских граждан [Измозик, Рудник, 2011, с. 221; История России, 1900–1945... 2012, с. 394; История России, XX – начало XXI века, 2011, с. 150]. Правда, есть и утверждение, что «по мнению отечественных историков, эта цифра сильно завышена» [Шестаков, 2007, с. 212]. Согласие военнопленных служить Германии объясняется, чаще всего, крайне тяжелым положением в немецких лагерях. В редких случаях учебники связывают рост числа коллаборационистов с приказом Ставки № 270 от 16 августа 1941 г., объявившим военнопленных изменниками, подлежащими уничтожению, а их семьи – лишению гражданских прав [История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 235; Шестаков, Горинов, Вяземский, 2007, с. 239]. Одни учебники напоминают об идейных мотивах коллаборационистов, особенно из числа раскулаченных и жителей территорий, присоединенных к СССР в 1939–1941 гг. [История России, 1900–1945... 2012, с. 392; Шестаков, Горинов, Вяземский, 2007, с. 238], другие предпочитают говорить лишь о тех, «кто выдавал себя за идейных противников сталинского режима» [Киселев, Попов, 2011, с. 161].

Во всех учебниках рассказывается о партизанском движении, называют имена крупнейших партизанских командиров, героев подполья. Но о проблемах, которые возникли на начальном этапе партизанского движения в связи с тем, что подготовленные до войны партизанские базы и кадры были уничтожены в результате репрессий, в учебниках не говорится. Не поднимается в учебниках вопрос о подчас непростых взаимоотношениях партизан и местного населения.

Положение в тылу раскрывается в учебниках в целом традиционно. Основное внимание уделяется перестройке экономики на военные рельсы, эвакуации, тяжелому быту и героизму тружеников, вкладу различных групп населения и отраслей экономики в общую победу. По сравнению с советским временем добавилось раскрытие патриотической роли церкви в годы войны [Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 230–231; Измозик, Рудник, 2011, с. 217–218; История России, 1900–1945... 2012, с. 408–411; Киселев, Попов, 2011, с. 187–188; Шестаков, 2007, с. 208–209] и упоминание сталинских депортаций, в большинстве случаев краткое [Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 241–242, История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 250; История России, XX – начало XXI века, 2011, с. 150–151; Киселев, Попов, 2011, с. 189]. Ситуация в ГУЛАГе военных лет в учебниках не отражена, за исключением упоминания о направлении 150 тыс. заключенных на фронт. О сохранявшихся в годы войны социальных различиях и привилегиях учебники не сообщают, в том числе и рассказывая о Ленинградской блокаде.

Вопрос о роли антигитлеровской коалиции решается в учебниках неоднозначно. Одни авторы предпочитают делать акцент на сотрудничестве между союзниками, другие – на неисполнении союзниками своих обязательств перед СССР. В большинстве учебников по-прежнему бытует утверждение, что помощь союзников составила 4% советского военного производства, хотя и признается, что «по ряду видов промышленной продукции эта помощь была весьма существенной», а иногда указывается доля полученной по ленд-лизу продукции [См.: История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 243; Измозик, Рудник, 2011, с. 225; История России, 1900–1945... 2012, с. 422; Киселев, Попов, 2011, с. 179]. Лишь в учебнике под редакцией А.О. Чубарьяна говорится: «Во времена “холодной войны” советские идеологи старались всячески преуменьшать эту помощь, определяя ее в 4% от общего уровня советского производства… Теперь историки согласны с тем, что помощь по ленд-лизу составляла примерно до 10% от общего советского производства, что вносило немалый вклад в общую победу» [История России, XX – начало XXI века, 2011, с. 137].

В целом о действиях союзников в учебниках по истории России рассказывается очень кратко, что естественно, поскольку это проблематика учебников по новейшей истории зарубежных

стран. Но в учебнике под редакцией А.А. Данилова и А.В. Филиппова дается подробная характеристика политике союзников, причем сделано это в традициях времен «холодной войны»: «Антифашистская коалиция на всем протяжении Второй мировой войны была очень странной. Народ одного из ее участников – Советского Союза – проливал кровь на полях сражений. Другие члены коалиции (Великобритания и особенно США) до достижения решающего перелома в ходе войны ограничивались главным образом поставками вооружений, материалов и продовольствия СССР. В конце же войны они постарались воспользоваться плодами общей победы, не брезгуя даже сепаратными (односторонними) переговорами с врагом… По существу, все эти планы являлись продолжением политики «умиротворения», которую осуществляли западные державы в предвоенные годы… Лишь после победы Красной армии в грандиозной Курской битве союзники СССР стали думать о реальном открытии второго фронта в Европе. Они начали опасаться, что теперь Советский Союз сможет и в одиночку разгромить Германию, после чего установит контроль над всей Европой… В послевоенный период Черчилль особенно не скрывал, что второй фронт был, по сути, направлен не против Германии, а против России» [История России, 1900–1945... 2012, с. 424–425].

При изложении боевых действий 1944 г. в ряде учебников вновь появилось выражение «десять сталинских ударов» [Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 244, 248; Шестаков, 2007, с. 230]. Вопросы, являющиеся предметом политических разногласий между РФ и ее соседями, такие, например, как действия Красной армии в период Варшавского восстания 1944 г., учебники не затрагивают или излагают таким образом, что их политическая острота остается непонятна школьникам: «В первых числах августа 1944 г. советские части подошли к Висле… 14 сентября удалось занять правобережное предместье Варшавы и установить связь с участниками вооруженного восстания, поднятого в столице Польши. Однако оказать значительную помощь восставшим не удалось. Части Красной армии понесли большие потери и были измотаны в предшествующих боях и переходах. Вскоре восставшие капитулировали» [История России, 1900–1945... 2012, с. 359]. Лишь в одном случае о Варшавском восстании говорится сравнительно подробно, причем оценка событий следует советской традиции: «Впоследствии, в годы “холодной войны”, появилась версия, будто со-

ветское командование намеренно приостановило наступление, чтобы не дать сторонникам “лондонского” правительства утвердиться в Варшаве. Однако эта точка зрения не подтверждена фактами» [История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 251].

В современной публицистике встречаются утверждения о недопустимом пересмотре в учебниках освободительной роли Красной армии. Но ни в одном действующем российском учебнике даже не упоминается распространенная в Польше и Прибалтике позиция, согласно которой Красная армия, освободив страны Восточной Европы от гитлеровской оккупации, обрекла их на новую, советскую оккупацию.

Вопрос о цене победы так или иначе поднимается в большинстве учебников. Суммарные потери населения СССР определяются приблизительно в 27 млн. человек. Но оценки безвозвратных потерь советских вооруженных сил в разных учебниках заметно различаются: от 9,2 млн. человек [Киселев, Попов, 2011, с. 194] до 12 млн. [История России. XX век, 2009, с. 219; История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 262]. Потери вермахта на советско-германском фронте изменяются от 6,5 млн. [Киселев, Попов, 2011, с. 294] до 7,2 млн. [История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 262]. Учебники практически не ставят вопроса о причинах высоких потерь (за исключением указания на слабую подготовку личного состава в начальный период войны) и тем более не упоминают о существовании в научной литературе мнения о значительно более неблагоприятном соотношении потерь советских и германских вооруженных сил.

Послевоенные годы в учебниках

Советская внешняя политика после Второй мировой войны излагается в учебниках по-разному. В одних случаях возникновение «холодной войны» сбалансированно объясняется несовпадением интересов вчерашних союзников, в других вся ответственность возлагается на США и Великобританию, причем речь Черчилля в Фултоне рассматривается как «прямая угроза» СССР [Шестаков, 2007, с. 246]. Это проявляется в конкретных внешнеполитических вопросах. Так, авторы ряда учебников, говоря о том, что политики западных держав с опасением относились к росту советского влияния, не сообщают о конкретных действиях СССР, вызвавших

такие опасения, или ограничиваются сообщением об установлении дружественных Советскому Союзу режимов в Восточной Европе, Китае и Северной Корее. В других учебниках рассказывается и об Иранском кризисе, и о противостоянии СССР и Запада в Греции, и о претензиях СССР на установление своего контроля над черноморскими проливами [Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 270; История России. XX век, 2009, с. 227; История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 268–269]. Правда, действия Советского Союза в Иране авторы одного из этих учебников назвали «заминкой с выводом советских войск» [История России. XX век, 2009, с. 227]. Ряд принципиальных вопросов темы излагается в большинстве учебников крайне бегло. Например, о Берлинском кризисе 1948 г. говорится: «В июне 1948 г. в Бизонии и Западном Берлине была проведена денежная реформа. Сталин, рассматривавший присутствие войск союзников в германской столице как добрую волю СССР, потребовал отмены денежной реформы в Западном Берлине. За отказом последовала блокада западных секторов города – прекращение транспортного сообщения и поставок топлива. По распоряжению Трумэна западные страны наладили воздушное сообщение между Западным Берлином и Бизонией, чему СССР препятствовать не стал» [История России, 1945–2008… 2008, с. 18]. Только в одном учебнике Берлинский кризис рассмотрен сравнительно подробно [История России. XX век, 2009, с. 229–230], однако о том, что исход кризиса явился, по существу, поражением СССР, не сказано.

Политика СССР в Восточной Европе излагается в учебниках большей частью сдержанно и осторожно. Если учебники советской эпохи утверждали, что демократические революции в Восточной Европе прошли преимущественно военным путем, а социалистические осуществились мирно, то авторы современных учебников пишут: «В 1945–1948 гг. под контроль СССР попал ряд восточноевропейских стран… Все они стали именоваться странами народной демократии. Сначала в них были сформированы коалиционные правительства, где коммунистические партии имели наибольшее влияние. Затем им на смену пришли однородные по своему составу правительства, куда вошли только коммунисты» [Измозик, Рудник, 2011, с. 247]; «При активной помощи Москвы коммунистические и просоветские режимы устанавливаются в Польше, Румынии, Венгрии и Чехословакии» [Шестаков, Горинов,

Вяземский, 2007, с. 258–259]. Вопрос о путях и методах установления власти коммунистов в странах Восточной Европы, таким образом, обходится. В учебниках упоминается о советско-югославском конфликте и о том, что он был вызван стремлением И. Броз Тито проводить самостоятельную политику, но совсем не говорится о вызванных этим конфликтом репрессиях против коммунистов других стран Восточной Европы.

В учебниках рассказывается о корейской войне, причем ни в одном из них, в отличие от советского времени, не говорится о южнокорейской агрессии. Правда, и действия Северной Кореи четко названы агрессией только в одном случае [Волобуев, Кулешов, 2008, с. 222]. Чаще авторы предпочитают осторожные формулировки: «Самым острым столкновением двух сил в начале 50-х гг. стал корейский конфликт. Он показал, что “холодная война” легко может перерасти в вооруженное столкновение» [Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 273], «Наиболее крупный военный конфликт… произошел в Корее. Его участниками были Южная Корея, США и их союзники, с одной стороны, Северная Корея, КНР и СССР – с другой» [История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 273–274]. Еще в нескольких учебниках сообщается о том, что военные действия начали северокорейские войска. Лишь в одном случае авторы учебника склонны оправдывать действия Северной Кореи: «СССР, рассчитывая на популярность левых идей среди масс корейского крестьянства, заявил о полной самостоятельности КНДР и выводе своих войск. В ответ на отказ США вывести все военные силы на юге начались возглавляемые коммунистами восстания. 25 июня 1950 г. Ким Ир Сен после консультаций со Сталиным направил в Южную Корею свою армию. Гражданская война в Корее переросла в международную». Исход корейской войны, в которой США восстановили установленную в ходе освобождения Кореи демаркационную линию, авторы данного учебника интерпретируют следующим образом: «США потерпели поражение в первом “горячем” конфликте после Второй мировой войны» [История России, 1945–2008… 2008, с. 24].

Таким образом, в ныне действующих российских учебниках преобладает сдержанно-положительное изложение советской внешней политики первых послевоенных лет.

Все учебники рассказывают о восстановлении советской экономики после войны, указывают, что первоочередное внимание

уделялось развитию тяжелой промышленности, в первую очередь – военно-промышленного комплекса. В ряде учебников содержится довольно подробный рассказ об «атомном проекте». Не скрывают учебники и широкого использования принудительного труда. Правда, если одни авторы подчеркивают, что «все закрытые города выросли с помощью ГУЛАГа» [История России, XX – начало XXI века, 2011, с. 157], то другие стараются преуменьшить значение труда заключенных, замечая, что «их численность не превышала 6,4% от общего числа рабочих и служащих» [История России, 1945–2008… 2008, с. 35]. В некоторых учебниках вина за то, что советское руководство не уделяло внимания подъему уровня жизни населения, возлагается на Запад: «Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки заставила советское руководство приостановить конверсию и… направить львиную долю и без того скудных средств на создание атомного и ракетного оружия» [см.: Шестаков, Горинов, Вяземский, 2007, с. 265; Шестаков, 2007, с. 256]. Подводя итоги пятилетки, авторы большинства учебников указывают, что приводят «официальные данные», но не отмечают, что эти данные получены на основе стоимостных показателей, допускающих неоднократный учет одной и той же продукции и скрывающих инфляцию.

Большинство учебников упоминает денежную реформу 1947 г., но если в одних говорится о ее конфискационном характере, ущемлении интересов населения, особенно крестьянства [История России. XX век, 2009, с. 238; История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 276; Киселев, Попов, 2011, с. 200], то другие предпочитают писать о том, что «больше всего от денежной реформы выиграли те, кто жил от зарплаты до зарплаты – т.е. большинство городского населения» [Волобуев, Кулешов, 2008, с. 218]. Иногда, признавая, что реформа привела к снижению уровня жизни населения, учебники оправдывают ее тем, что она сыграла положительную роль в восстановлении народного хозяйства, поскольку в годы войны на руках у населения оказалось слишком много денег, «поэтому покупательная способность денег упала» [Шестаков, Горинов, Вяземский, 2007, с. 267], а также необходимостью отмены карточной системы, которая «усугубляла бедность населения и сдерживала развитие экономики» [Киселев, Попов, 2011, с. 200].

Авторы ряда учебников, рассказывая об отмене карточек в 1947 г., подчеркивают, что это было сделано раньше, чем в большинстве западноевропейских стран. Но только один учебник дает понять, что это было сделано, главным образом, из пропагандистских соображений: «Стремясь доказать мировому сообществу, что только “первое в мире социалистическое государство”, несмотря ни на что думает о благе человека, Сталин дал указание в кратчайший срок отменить карточную систему снабжения» [Измозик, Рудник, 2011, с. 250]. Не обходится вниманием в учебниках и снижение цен: «Начиная с 1949 г. государственные цены на товары первой необходимости снижались в среднем на 20%. За 1947–1952 гг. цены снизились примерно наполовину, одновременно увеличивалась заработная плата» [История России. XX век, 2009, с. 237]. Однако не всегда указывается, что снижение цен осуществлялось после их резкого повышения в 1947 г., осуществленного в связи с отменой карточек. Только в учебнике А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной и М.Ю. Брандта указано соотношение цен 1947 г. и довоенных, позволяющее понять, что снижению цен предшествовало их повышение в 2–3 раза. [Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 255]. Зато в учебнике под редакцией А.А. Данилова, А.И. Уткина и А.В. Филиппова утверждается, что после отмены карточек цены на продукты первой необходимости (хлеб, муку, крупу) были установлены на 10–12% ниже существовавших ранее [История России, 1945–2008… 2008, с. 62], хотя в первые послевоенные годы 1 кг черного хлеба по карточкам стоил 1 руб., а после отмены карточек цена на него поднялась до 3,4 руб.

Все учебники сообщают о крайне тяжелом положении послевоенной деревни, разоренной войной, страдающей от высоких налогов и вынужденной практически бесплатно сдавать продукцию государству. Но указ «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества» от 5 июня 1947 г., известный как «указ о пяти колосках», не упоминается, а об уголовной ответственности, установленной за невыполнение минимума трудодней, упоминают лишь два учебника [История России. XX век, 2001, с. 224; История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 277].

Все учебники уделяют большое внимание политической жизни СССР в 1945–1953 гг., четко указывая на репрессивный характер сталинского режима. В большинстве учебников говорится

об ужесточении идеологического курса, о борьбе с космополитизмом, о расправе с А.А. Ахматовой и М.М. Зощенко, о репрессиях против военачальников, о наиболее громких процессах, таких как дело Еврейского антифашистского комитета, «ленинградское дело», «дело врачей». Антикосмополитическая кампания в ряде случаев характеризуется как антисемитская [История России. XX век, 2009, с. 241; История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 281; Измозик, Рудник, 2011, с. 251; История России, XX – начало XXI века, 2011, с. 155; Шестаков, 2007, с. 260].

Новый виток репрессий большинство учебников связывает с возникновением после войны критических настроений, особенно в связи с массовым знакомством фронтовиков с жизнью за пределами СССР. Авторы учебников тем не менее избегают применять такие понятия, как «шовинизм» и «ксенофобия», практически не пишут о том, что идеологический поворот от интернационализма к великодержавности начал осуществляться еще за несколько лет до войны.

Только учебник под редакцией А.А. Данилова и А.В. Филиппова отмечает «поворот Сталина к “государственнической” линии вместо прежней идеологической, партийной», относя его к 1943 г. [История России, 1945–2008… 2008, с. 41]. Данный учебник заметно выделяется из общего ряда в оценке послевоенного политического режима. Авторы не отрицают репрессий и не замалчивают их, как делалось в учебниках советской эпохи. Вместо этого они внушают школьникам, что ужесточение диктатуры диктовалось обстановкой: «В условиях начавшейся “холодной войны” с Западом для сталинского руководства не могло быть и речи о демократизации внутреннего строя. Проекты смягчения режима были оставлены… Меры, принятые в предвоенной обстановке, прежде всего отказ от альтернативности при выборах в Советы, стали нормой жизни» [История России, 1945–2008… 2008, с. 40]. Получается, что если бы не пагубная роль Запада, сталинское руководство сразу же после войны осуществило бы демократические преобразования, вплоть до альтернативных выборов (отмененных, кстати, отнюдь не в предвоенные годы, а еще в начале 20-х годов). Репрессии, по мнению авторов, являлись методом отбора кадров партийно-государственной элиты: «Перед выдвинутыми на тот или иной ответственный пост молодыми работниками нередко ставились завышенные, трудные, а то и просто невыполнимые задачи. Самые сильные и энергичные шли на повышение. Те, кто

добивался хоть каких-то успехов, имели шанс продолжить работу на прежнем месте. Тех же, кто не справлялся, ждал суд. В результате подобной “ротации” бюрократия подвергалась жесткому отбору». В предпосланной учебнику «Книге для учителя» этот абзац завершался не вошедшей в учебник фразой: «В известном смысле он закалял тех, кто уцелел» [Филиппов, 2007, с. 38], а позже делался вывод: «Итогом сталинских чисток стало формирование нового управленческого класса, адекватного задачам модернизации в условиях дефицита ресурсов, – безусловно лояльного верховной власти и безупречного с точки зрения исполнительской дисциплины» [Филиппов, 2007, с. 90]. Отказ Сталина от регулярного созыва партийных съездов и пленумов ЦК и заседаний политбюро интерпретирован в учебнике не как усиление личной диктатуры, а как «ослабление партийных органов», причем, по мнению авторов, «за счет некоторого ослабления партийного всевластия укреплялись государственные органы» [История России, 1945–2008… 2008, с. 41–42].

События в Прибалтике и на Западной Украине рассматриваются в данном учебнике исключительно в плане борьбы с террористическим антисоветским подпольем, без учета репрессий, осуществлявшихся в этих районах советской властью. Уничтожение Еврейского антифашистского комитета объяснено тем, что «в условиях “холодной войны” связи ЕАК с международными еврейскими организациями казались подозрительными и опасными. Вынашиваемая руководством ЕАК идея создания новой еврейской автономии в Крыму, роль ЕАК в поддержке Израиля довершили дело» [История России, 1945–2008… 2008, с. 48]. Дискриминация национальной культуры ряда народов в учебнике не упоминается, зато в разделе «Особенности национальной политики СССР» утверждается, что РСФСР выступала «донором» для развития всех других республик, и говорится о появлении группы «привилегированных» республик, к которым отнесены Украина, Грузия и республики Прибалтики [История России, 1945–2008… 2008, с. 46–47].

Годы «оттепели» в учебниках

Авторы большинства учебников сравнительно подробно останавливаются на борьбе за власть после смерти Сталина. В отличие от советского времени и 90-х годов наиболее перспективными лидерами реформ выглядят в учебниках Л.П. Берия и Г.М. Маленков. Маленко-

ва даже называют «противником авторитарной власти», признавая, впрочем, что он «решительно возражал против гласного обсуждения ошибок прошлого», полагая, «что главное – не допускать этих ошибок вновь» [Шестаков, 2007, с. 271–272]. Иногда учебники резко противопоставляют экономическую и, в частности, аграрную политику Маленкова и Хрущёва: «Программа Маленкова была рассчитана на повышение урожайности, программа Хрущёва – на расширение посевных площадей» [Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 282; История России, 1945–2008… 2008, с. 71]. Практически отсутствует в учебниках точка зрения, согласно которой между взглядами Маленкова и Хрущёва на экономическую стратегию не было принципиальной разницы, а разногласия были вызваны скорее политическим соперничеством.

Именно в чрезмерно смелых реформаторских замыслах Маленкова авторы ряда учебников находят объяснение его поражению в противостоянии с Хрущёвым [Шестаков, Горинов, Вяземский, 2007, с. 278; Шестаков, 2007, с. 272]. Значительно реже упоминается, что одним из важнейших обвинений, выдвинутых против Маленкова, была его причастность к репрессиям, в частности к «ленинградскому делу» [Измозик, Рудник, 2011, с. 254].

XX съезд КПСС, ключевое историческое событие эпохи, естественно, рассматривается в учебниках, однако, как ни странно, ему посвящается меньший объем текста, чем противостоянию Хрущёва и Маленкова. Противостояние между Хрущёвым и противниками обсуждения на съезде вопроса о репрессиях глухо упоминается только в двух учебниках: «Из-за противодействия некоторых партийных руководителей вопрос о Сталине в Отчетном докладе съезда поставлен не был. В результате компромисса доклад Хрущёва “О культе личности и его последствиях” был зачитан на закрытом заседании» [Шестаков, Горинов, Вяземский, 2007, с. 280]; «Подготовка этого доклада осуществлялась по инициативе Хрущёва. Другие руководители партии и правительства не были заранее извещены о его содержании» [История России. XX век, 2009, с. 247–248]. Последнее утверждение противоречит фактам: доклад Хрущёва был основан на известных членам Президиума ЦК выводах комиссии Поспелова, но важнее, что школьники не получают представления о том, насколько драматичным было решение Хрущёва.

Основное внимание в большинстве учебников уделено не столько тому, какое колоссальное впечатление произвело развенчание Сталина на тогдашнее общество (это делается очень бегло), сколько слабостям доклада: отсутствию анализа советской политической системы, сведению причин репрессий к личности Сталина. В то же время критика советской системы, зазвучавшая после XX съезда «снизу», упоминается только в двух учебниках: «В ходе обсуждения доклада Н.С. Хрущёва на закрытых партийных собраниях… звучали гораздо более резкие оценки сталинизма… Представители научно-технической интеллигенции говорили о том, что партия проникнута духом рабства и приспособленчества, что власть принадлежит «кучке прохвостов», а единственной альтернативой выступает демократизация общества» [История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 291]. «Были арестованы некоторые “клеветники на советскую действительность”. От 6 до 10 лет заключения получили члены группы аспиранта МГУ Л. Краснопевцева, выпустившие листовку с призывом к борьбе со сталинской системой, за истинный социализм» [Шестаков, 2007, с. 274].

О значении XX съезда в учебниках говорится по-разному: «Решения XX съезда дали толчок демократическим переменам в стране… После съезда изменения охватили партию, науку, культуру» [Шестаков, 2007, с. 274]; «XX съезд стал символом обновления и гуманизма, дал возможность активной общественной жизни целому поколению» [История России, 1945–2008… 2008, с. 72]; «Тоталитарный политический режим лишь дал трещину и продолжал свое существование в слегка измененном виде» [Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 280]. Последнему утверждению категорично возражает другой учебник: «Даже сторонники концепции тоталитаризма признают, что она неприложима к послесталинскому СССР. Применять характеристику “тоталитарная страна” к Советскому Союзу 1960-х или 1980-х гг. – риторический прием антикоммунистического движения времен перестройки, совершенно недопустимый в педагогическом процессе» [История России, 1945–2008… 2008, с. 6][1].

В учебниках отмечается, что попытка устранения Хрущёва от власти, предпринятая в 1957 г. частью его коллег по Президиуму ЦК, была вызвана их страхом перед последствиями политики

[1] Как ни странно, под обоими утверждениями стоит подпись А.А. Данилова: первое принадлежит ему как автору, второе высказано в предисловии к учебнику, вышедшему под его редакцией.

десталинизации [Измозик, Рудник, 2011, с. 256; Шестаков, Горинов, Вяземский, 2007, с. 282–283; Шестаков, 2007, с. 274–275]. Однако встречается и мнение, согласно которому «колебания Н.С. Хрущёва использовала “сталинская гвардия” – Ворошилов, Молотов, Каганович, к которым примкнул Маленков» [История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 301]. В двух учебниках объясняется, что Хрущёв, оставшийся в меньшинстве в Президиуме ЦК, смог получить большинство на Пленуме благодаря страху большей части партийной элиты перед возвращением к сталинским порядкам [Измозик, Рудник, 2011, с. 256; История России, 1945–2008… 2008, с. 73]. Один учебник объясняет победу Хрущёва тем, что большинство участников пленума «являлись сторонниками реформ», что само по себе сомнительно, и оставляет без ответа вопрос о том, чем объясняется такой состав пленума.

В учебниках рассказывается о крупнейших достижениях советской науки и экономики конца 50-х – первой половины 60-х годов: начало освоения космоса и применения атомной энергии в мирных целях, внедрение вычислительной техники и автоматики и др. [Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 284; История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 303; Измозик, Рудник, 2011, с. 258; История России, 1945–2008… 2008, с. 84–86; История России, XX – начало XXI века, 2011, с. 162–163; Шестаков, Горинов, Вяземский, 2007, с. 291–292; Шестаков, 2007, с. 286–288]. Отмечается, что именно стремительность происходивших перемен отчасти объясняла «грандиозные и далекие от реальности планы, вынашивавшиеся Хрущёвым» [История России, XX – начало XXI века, 2011, с. 163]. Но типичны пессимистичные общие выводы: «В не связанных с “оборонкой” отраслях… старело импортированное в годы первых пятилеток промышленное оборудование, крайне медленно осваивались новые типы машин, новые технологии» [Шестаков, Горинов, Вяземский, 2007, с. 292]; «Если в капиталистическом мире разворачивалась научно-техническая революция, то в советской промышленности (за исключением военно-промышленного комплекса и космической отрасли) достижения науки и техники практически не внедрялись, поскольку не было заинтересованности в их применении [Измозик, Рудник, 2011, с. 258]. Экономические реформы Хрущёва оцениваются в учебниках преимущественно негативно. Переход от министерств к совнархозам, по мнению авторов, привел к невозможности проведения единой технической

политики и отрицательно сказался на внедрении достижений НТР [Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 285; История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 307; История России, 1945–2008… 2008, с. 90; Шестаков, 2007, с. 279]. Правда, при этом обходится вопрос о том, почему отсутствие централизованного управления экономикой не препятствовало научно-техническому прогрессу в странах Запада. Лишь в учебнике В.А. Шестакова говорится: «Реформа… не изменила самих принципов управления и планирования в народном хозяйстве, а лишь заменила его отраслевую организацию на территориальную… Это были локальные, эволюционные изменения, не предполагавшие революционной ломки всей организации структуры управления народным хозяйством» [Шестаков, Горинов, Вяземский, 2007, с. 287]. Правда, один учебник отмечает, что «Хрущёв выступал также за широкое внедрение хозрасчета в промышленности» [Киселев, Попов, 2011, с. 211]. В учебниках говорится о снижении темпов экономического роста СССР в первой половине 60-х годов по сравнению с предшествующим десятилетием, указывается на хаотичный, непродуманный характер проводившихся преобразований [см.: Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 285; История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 307].

Столь же негативно рассматривается в учебниках и аграрная политика Хрущёва: наступление на личные приусадебные хозяйства, повсеместное распространение кукурузы, принудительная скупка скота у рабочих совхозов, продажа техники МТС колхозам по высокой цене, укрупнение колхозов, ликвидация «неперспективных» деревень [см.: Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 282–283; История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 304–305; История России, 1945–2008… 2008, с. 91–93; История России, XX – начало XXI века, 2011, с. 165; Шестаков, Горинов, Вяземский, 2007, с. 284–286; Шестаков, 2007, с. 278–279]. Неоднозначные оценки даются освоению целины. В ряде учебников говорится о кризисе сельского хозяйства в начале 60-х годов [Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 283; История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 305]. В некоторых учебниках дефициту сельскохозяйственной продукции уделяется значительно больше внимания, нежели тяжелейшему голоду послевоенных лет [см., например: История России, 1945–2008… 2008, с. 92–93]. Порой делаются и весьма спорные выводы: «Несмотря на то что колхозникам выдавали теперь паспорта и выплачивали пенсии (с 1964 г.), их поло-

жение ухудшилось» [История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 304]. Между тем потребление мяса в семьях колхозников к 1958 г. выросло по сравнению с 1940 г. в 2 раза, сахара – в 6 раз. Упрекая Хрущёва в том, что его аграрная политика привела к тому, что СССР вынужден был впервые за долгие годы закупить зерно за границей, авторы учебников не разъясняют школьникам, что пойдя на такие закупки, Хрущёв отказался от традиционной сталинской политики решать государственные задачи за счет недоедания значительной части населения.

Более благожелательных оценок удостаивается в учебниках социальная политика Хрущёва, особенно массовое строительство жилья, сокращение продолжительности рабочего дня, повышение пенсий, отказ от принудительного приобретения гражданами облигаций государственных займов. Вместе с тем в учебниках говорится о низком качестве вводившегося в строй жилья, а также о повышении цен на продукты питания, обернувшемся событиями в Новочеркасске.

В целом можно сказать, что с точки зрения экономической политики эпоха оттепели оценивается в учебниках более негативно, чем послевоенный период.

Все учебники останавливаются на духовной жизни и идеологической политике периода оттепели. Почти все авторы пишут, что идеологический контроль над обществом существенно смягчился, в литературе началось обсуждение «тех сторон жизни общества, о которых ранее не принято было не только писать, но и говорить» [История России. XX век, 2009, с. 290]. Сообщается о публикации ранее запрещенных авторов (Ахматовой, Цветаевой, Зощенко), о реабилитации художников и писателей, о выходе новых фильмов, о расширении международных культурных контактов. Рассказывается в учебниках и о выходе первых произведений А.И. Солженицына, правда, далеко не всегда говорится о том, каким образом А.Т. Твардовскому удалось добиться публикации повести «Один день Ивана Денисовича».

Вместе с тем хотя в большинстве учебников и отмечается стремление властей сохранить идеологический контроль над обществом, многие важные общественно-политические вопросы излагаются крайне бегло. Например, «делу Пастернака» учебники уделяют лишь по абзацу: «Одним из ярких примеров допустимых пределов “оттепели” стало “дело Пастернака”. Публикация на Западе его запрещенного романа “Доктор Живаго” и присуждение ему Нобелевской премии поставили писателя буквально вне закона. В октябре 1958 г. он был исключен из Союза писателей и отказался от Нобелевской премии, чтобы избежать высылки из страны» [Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 289]. Даже в учебнике, предназначенном для 11 класса и, очевидно, рассчитанном на углубленное изучение истории, о «деле Пастернака» сообщается лишь следующее: «За публикацию за рубежом романа “Доктор Живаго”, удостоенного в 1958 г. Нобелевской премии в области литературы, Б.Л. Пастернак был подвергнут осуждению и травле и несправедливо исключен из Союза писателей СССР (в 1987 г. посмертно восстановлен)». Большее внимание «делу Пастернака» уделено лишь в двухтомном учебнике под редакцией А.А. Данилова и А.В. Филиппова [История России, 1945–2008… 2008, с. 115–116].

Почти не находят отражения в учебниках феномен «поэзии на площадях», история «Манежной выставки». Только в одном учебнике присутствует информация об острой журнальной полемике тех лет и содержится указание на важную особенность жизни советского общества: «Литературная трибуна в СССР во многом заменяла свободную политическую полемику, и в условиях отсутствия свободы слова литературные произведения оказывались в центре острых общественных дискуссий» [История России, 1945–2008… 2008, с. 113].

Развитие «альтернативной культуры» в годы оттепели не получило большого отражения в учебниках. Например, об авторской песне или не говорится вовсе, или кратко сообщается: «Большую популярность получила авторская песня. Ее исполнителей, поэтов-певцов называли бардами. Песни Ю.И. Визбора, Ю.Ч. Кима, А.А. Галича, Н. Матвеевой, М. Анчарова, Б.Ш. Окуджавы пела вся страна» [Киселев, Попов, 2011, с. 228]. Анализа авторской песни как общественного явления не предлагает ни один учебник.

Внешняя политика СССР периода оттепели в большинстве учебников рассматривается сбалансированно. Авторы отмечают, что переход к концепции мирного сосуществования государств с различным общественным строем был вызван необходимостью избежать опасности ядерной войны [Шестаков, 2007, с. 282]. Вместе с тем отмечается, что многие советские внешнеполитические акции носили пропагандистский характер, а сама идея мирного сосуществования «расценивалась не иначе как специфическая

форма классовой борьбы» [Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 293]. В отличие от советского времени авторы учебников не характеризуют внешнюю политику Запада как агрессивную, а указывают, что так ее расценивали советские лидеры [История России. XX век, 2009, с. 251].

Советское вторжение в Венгрию рассматривается в учебниках кратко. События в Венгрии оцениваются либо как «демократическая, антикоммунистическая революция» [История России. XX век, 2009, с. 252], либо как «кризис» или «массовые выступления населения» [Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 295; Шестаков, 2007, с. 282]. Авторы учебников предпочитают нейтральные оценки: «Увидев главную причину венгерского кризиса в происках западных спецслужб и деятельности “внутренних врагов венгерского народа”, советское руководство ввело на территорию Венгрии свои войска и подавило выступление против коммунистического режима» [Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 295]. Таким образом, авторы не навязывают учащимся тех или иных выводов, но, к сожалению, снабжают их слишком скудными знаниями для того, чтобы те могли сделать вывод самостоятельно.

О Берлинском кризисе 1960 г. учебники рассказывают сравнительно нейтрально, в основном излагая канву событий. Учащимся сообщается, что строительство Берлинской стены «дало возможность правительству ГДР предотвратить бегство своих граждан в ФРГ и укрепить положение немецкого социалистического государства» [Шестаков, 2007, с. 291], но не объясняется, чем было вызвано бегство и не рассказывается о том, какими методами власти ГДР в реальности его пресекали.

Рассказывая о Карибском кризисе, все авторы учебников делают акцент на подрывной деятельности США против Кубы, но размещение советских ракет на острове одни объясняют стремлением «предотвратить американское вторжение на Кубу крупными силами» [История Отечества XX – начала XXI века, 2009, с. 300], а другие – расчетом «создать в 160 км от берегов США ядерный кулак и заставить своего главного соперника разговаривать на равных» [Шестаков, 2007, с. 291].

Разноречивой оценки заслужила в учебниках политика СССР в развивающихся странах. В одних учебниках она излагается как череда достижений [Киселев, Попов, 2011, с. 220], в других подчеркивается, что расчеты «за счет помощи бывшим колониальным и зависимым странам подтолкнуть их на путь социалистического развития» себя не оправдали, а впоследствии «большая часть получивших помощь режимов вошли в орбиту влияния развитых стран Запада» [История России. XX век, 2009, с. 254–255]. Однако большинство авторов сходятся в том, что помощь странам «третьего мира» оказалась чрезмерно обременительной для советской экономики и вела «к расточению ресурсов СССР».

Эпоха застоя в учебниках

Все учебники достаточно критично оценивают экономическое развитие страны эпохи застоя, хотя и останавливаются на положительных изменениях в быту и повышении жизненного уровня населения, происшедших в эти годы. Отмечается медленное внедрение достижений научно-технического прогресса, увлечение крупными и малоэффективными хозяйственными проектами, перекос экономического развития в сторону тяжелой, особенно оборонной промышленности, чрезмерная централизация управления экономикой. Однако рассказ о сравнительно недавнем периоде, который еще помнят многие родители нынешних школьников, ведется, как правило, скороговоркой, бытовые подробности не приводятся, что значительно обедняет изложение. 15-кратный рост накоплений населения в сберегательных кассах за десятилетний период с 1970 по 1980 г. авторы учебника рассматривают как свидетельство повышения благосостояния, а не как свидетельство нарастающего товарного дефицита [История России. XX век, 2009, с. 273]. Наиболее благожелательно говорится в учебниках о «косыгинской» хозяйственной реформе второй половины 60-х годов. Однако содержание реформы излагается крайне бегло. Речь практически не заходит о неизбежной ограниченности реформы в условиях сохранения монополии государственной собственности. Анализ причин кризиса советской экономики чаще всего неглубок. Очевидные недостатки связываются не с характером советской государственной системы, не с отсутствием частной собственности и рыночных отношений, а с отдельными ошибками управления, а также с ситуацией на международной арене, которая «дала дополнительные аргументы в пользу наращивания военной мощи СССР».

Политическое развитие СССР эпохи застоя в учебниках излагается очень сжато. О кампании, направленной на формирование

нового культа личности, говорится в лучшем случае в трех строках: «С конца 60-х гг. начинается и усиливается кампания по возвеличению самого Брежнева. Укрепление его позиций в руководстве сопровождалось безмерным восхвалением его личности в органах массовой пропаганды, вызывая ответную негативную реакцию населения» [Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 298]. Авторы другого учебника поставили в упрек Генеральному секретарю ЦК КПСС лишь его «неспособность остановить поток похвал в свой адрес» и упомянули о его превращении «в объект многочисленных анекдотов и злых шуток» [История России. XX век, 2009, с. 274], а в третьем только и сообщается, что «современники отзывались о Л.И. Брежневе как о жизнелюбивом, обаятельном человеке» [Киселев, Попов, 2011, с. 236]. Встречаются, однако, в учебниках и более развернутые и яркие характеристики Брежнева [Измозик, Рудник, 2011, с. 275]. Наиболее подробная характеристика Брежневу дается, однако, не в учебнике, а в книге для учителя [Филиппов, 2007, с. 184, 187, 271–272, 276]. А.В. Филиппов признает отсутствие у Брежнева ярких государственных способностей и серьезной теоретической подготовки, его заурядность, пассивность. Но Брежнев в его интерпретации оказывается «носителем достойных человеческих качеств» и выглядит едва ли не либералом. Даже «дело Синявского и Даниэля» выглядит не столько свидетельством консервативного поворота во внутренней политике, сколько вызовом Брежневу со стороны сталинистской группировки внутри партийной верхушки.

В большинстве учебников упоминается Конституция 1977 г. и теория «развитого социализма». Развернутый анализ последнего понятия, за редким исключением, отсутствует, а отношение к нему авторы учебников демонстрируют различное: одни отмечают разрыв декларируемых черт «развитого социализма» с реальным общественным развитием [Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 300], другие, как представляется, без серьезных оснований видят в этой теории попытку «критически осмыслить особенности предшествующих этапов развития, ориентировать общество на научно-техническую модернизацию, демократическое развитие» [Шестаков, 2007, с. 306]. Интерпретацию теории развитого социализма предлагает только учебник под ред. А.А. Данилова и А.В. Филиппова, объясняющий ее стремлением примирить марксистско-ленинскую теорию «со сложившимися реалиями социализма» и обосновать

отход от прежних грандиозных проектов [История России, 1945–2008… 2008, с. 135]. Однако среди «грандиозных проектов» почему-то называется не построение материально-технической базы коммунизма к 1980 г., а «косыгинская» экономическая реформа 1965 г.

Учебники отмечают начавшийся в годы застоя отказ от критики Сталина, но делают это очень осторожно и кратко: «Руководство КПСС свертывало критику И.В. Сталина под предлогом недопустимости “развенчания истории нашей партии и нашего народа”» [Киселев, Попов, 2011, с. 237]; «Прекратилась критика “культа личности Сталина”, из печати почти исчезли упоминания о репрессиях. Со временем в народе восстанавливается открытое положительное отношение к Сталину» [Шестаков, 2007, с. 298]. Практически не упоминается о протестах интеллигенции против попыток ресталинизации. В учебнике под ред. А.А. Данилова и А.В. Филиппова проводится точка зрения, согласно которой курс на ресталинизацию не был осуществлен в полной мере потому, что «инстинкт самосохранения требовал от Брежнева удаления сталинистов из руководства страны» [История России, 1945–2008… 2008, с. 133]. По мнению авторов, «неопределенность настроений в правящей верхушке отражала противоречивость ожиданий всего советского общества. Большинство верило, что развитие Советского Союза происходило беспрецедентно успешно, и мечтало, чтобы эти успехи преумножились. Но одновременно все понимали, что платой за эти успехи была предельная мобилизация всех сил. А новых тягот советские люди не желали. Начало брежневского правления как раз и было отмечено поисками такой стратегии, которая позволила бы ослабить напряжение от неимоверных усилий. Основная идея… была проста: развиваться на уже сформированной основе, ничего не меняя» [История России, 1945–2008… 2008, с. 133]. Вряд ли, однако, во второй половине 60-х большинство советских граждан все еще верило в «беспрецедентную успешность» развития СССР, да и идея ничего не менять, полностью устраивавшая номенклатуру, никак не являлась выбором «всего советского общества».

Учебники позволяют школьникам узнать об ужесточении контроля над духовной жизнью: ужесточении цензуры, глушении иностранных радиопередач, репрессиях против писателей. Однако обо всем этом говорится очень кратко.

Обострение национального вопроса в «застойные» годы авторами большинства учебников обходится стороной. Лишь в одном учебнике данный вопрос разбирается подробно. Указывая на отдельные случаи дискриминации (неразрешенные проблемы ряда репрессированных народов, нарастание антисемитизма), авторы уделяют основное внимание «донорству» русского народа, которому пришлось «взять на себя ответственность за развитие всех наций Советского Союза, платя за это особо большую цену» [История России, 1945–2008… 2008, с. 139–140]. Утверждается даже, что русским в национальных республиках становилось настолько неуютно, что «при любой возможности они стремились возвратиться в Россию» [там же, с. 141]. Думается, в последнем случае авторы перенесли на период застоя реалии более поздних лет. В то же время о русификации учебник упоминает только в связи с ростом русского населения в отдельных республиках, но не в связи с проводимой властями СССР политикой.

Идеологические проблемы развития советского общества в учебниках рассматриваются вместе с процессами в области культуры. Однако стремление рассказать «обо всем» вынуждает многих авторов, вместо того, чтобы сосредоточиться на важнейших явлениях, идти по пути перечисления авторов и произведений, что лишает изложение малейшей смысловой нагрузки. Так, об остросоциальном творчестве братьев Стругацких говорится: «Широкое признание завоевали советские писатели-фантасты. Среди них особую известность приобрели братья А.Н. Стругацкий (1925–1991) и Б.Н. Стругацкий (1933–2012)». О Б. Окуджаве и В. Высоцком школьники узнают только, что их «песни тиражировались на аудиокассетах и находили своего слушателя», «хотя многие из них не одобрялись властями» [История России. XX век, 2009, с. 296]. Не более информативен и другой учебник: «О проблемах нравственности писали Б. Васильев, Ю. Трифонов, Ю. Бондарев. Свой взгляд на смысл жизни и роль интеллигенции предлагали режиссеры Г. Товстоногов, А. Эфрос, М. Захаров, О. Ефремов, Г. Волчек, Т. Абуладзе, А. Герман, А. Аскольдов и др.» [Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 311]. Даже когда говорится о складывании двух направлений в отечественной культуре – «официально-охранительного и демократического», предлагаемый учащимся конкретно-исторический материал не позволяет подтвердить этот тезис [Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 311].

О диссидентском движении в учебниках сообщается в целом сочувственно, указывается, что диссиденты высказывали мысли, которые были популярны в обществе. В большинстве учебников называются имена ведущих диссидентов, некоторые диссидентские организации. Однако типология инакомыслия не проводится, требования диссидентов практически не разбираются. Лишь в одном учебнике указывается на расхождение в предлагаемых «способах исцеления страны» между А.И. Солженицыным и А.Д. Сахаровым, но сделано это так, что школьники едва ли сумеют разобраться в проблеме [Киселев, Попов, 2011, с. 257].

Внешняя политика СССР в конце 60-х – начале 80-х годов излагается в учебниках в основном в виде перечисления фактов. Основное внимание уделяется политике разрядки напряженности и ее неудаче, советско-китайским отношениям, политике по отношению к социалистическим странам. Меньшее внимание уделяется участию СССР в Ближневосточном кризисе и событиям во Вьетнаме. Участие Советского Союза в локальных конфликтах рассматривается главным образом с точки зрения противостояния с США. Оценка действиям СССР и его оппонентов почти не дается, сохраняется в основном нейтральный тон. Только ввод войск в Чехословакию и в Афганистан практически единодушно признаются ошибочными решениями.

Перестройка и распад СССР в учебниках

О правлении преемников Брежнева в учебниках говорится кратко. Иногда вся информация укладывается в одну фразу: «Ему [*Андропову. – Л.К.*] на смену на короткий срок пришел К.У. Черненко, скончавшийся в марте 1985 г.» [Киселев, Попов, 2011, с. 242]. О Ю.В. Андропове авторы этого учебника сообщают, что он «проводил политику по замене старых кадров более молодыми, способными осуществить необходимые реформы», «развернул борьбу с коррупцией, нетрудовыми доходами и спекуляцией». Другие учебники более информативны. В них говорится, что Андропов, предпринимая меры по наведению порядка и искоренению коррупции, выступал за сохранение системы, что устраивало номенклатуру [Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 319], что у него не было стратегии вывода страны из тупика [Шестаков, 2007, с. 318], что он ужесточил борьбу с инакомыслящими и пытался

убедить советских граждан, что источником проблем в обществе являются внешние враждебные силы, прежде всего США [История России. XX век, 2009, с. 306]. Есть и пример идеализации Андропова: по мнению авторов учебника, борьба с коррупцией являлась для него лишь начальным этапом преобразований, которые не удалось провести лишь из-за краткости срока, отпущенного Андропову судьбой. Правда, и в этом учебнике признается, что образованность и аскетизм сочетались у Андропова с авторитарностью и нетерпимостью к инакомыслию [История России, 1945–2008… 2008, с. 142–143].

Деятельность К.У. Черненко в учебниках неожиданно оценивается неоднозначно: в одних учебниках отмечается, что он был полной противоположностью Андропову и устраивал мечтавшую о спокойном существовании бюрократию [История России, 1945–2008… 2008, с. 143], что проводившаяся при нем политика «во многом напоминала политику последних лет правления Л.И. Брежнева» [Шестаков, 2007, с. 319], кампания борьбы за усиление трудовой дисциплины и повышение требовательности к руководителям была свернута [История России. XX век, 2009, с. 306], а в других утверждается, что Черненко «в целом продолжил курс Андропова на очищение и спасение системы, но успеха не достиг» [Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 319].

Политика первых лет правления М.С. Горбачёва в учебниках оценивается в основном критически. Отмечается, что он не располагал четким планом действий [Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 319; Шестаков, 2007, с. 319], а его первые шаги находились в русле мер, предложенных Андроповым [История России. XX век, 2009, с. 308]. В учебниках сравнительно мало говорится о конкретных административных мерах первых лет эпохи Горбачёва. Например, практически не упоминается печально известное постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами». Мельком, да и то лишь в некоторых учебниках говорится о госприемке. Лишь об антиалкогольной кампании говорится в большинстве учебников, но ее последствия для экономики раскрываются, как правило, далеко не полностью. В учебниках отмечается, что политика «ускорения» не привела к успеху, более того, ее результаты оказались печальны, так как привели к росту аварийности. По контексту получается, что даже Чернобыльская авария явилась следствием ускорения, требовав-

шего усиленной эксплуатации оборудования [Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 326–327; История России. XX век, 2009, с. 308–309]. Переход к перестройке и глубокой экономической реформе объясняется в учебниках, как правило, тем, что «экономическая отдача от ускорения оказалась минимальной» [История России. XX век, 2009, с. 308; История России, 1945–2008… 2008, с. 196; Шестаков, 2007, с. 322].

Сама перестройка в учебниках определена как «комплекс мер, направленных на ускорение развития страны на основе обновления социалистических идей» [История России. XX век, 2009, с. 309], либо как «попытка части правящей верхушки реформировать советскую систему, соединив “социализм и демократию”» [Шестаков, 2007, с. 320].

Экономические преобразования конца 80-х годов рассматриваются в учебниках как направленные на создание рыночной экономики или ее элементов, но ограниченные и непоследовательные. Отмечается, что как избранные трудовыми коллективами руководители государственных предприятий, так и владельцы частных и кооперативных предприятий нередко занимались противозаконной деятельностью, предпочитали производству торгово-посредническое занятия. Авторы учебников отмечают продолжавшееся падение производства, но почти не приводят документальных свидетельств резкого обострения дефицита, без чего объяснить современным школьникам весь драматизм экономической ситуации рубежа 80–90-х годов XX в. совершенно невозможно. Крайне бегло сообщается в учебниках и о борьбе экономических стратегий, о столкновении программ правительства Н.И. Рыжкова и группы С.С. Шаталина и Г.А. Явлинского, о действиях кабинета В.С. Павлова. В результате глубина экономической катастрофы, разразившейся в стране к 1991 г., оказывается неясна учащимся.

Провозглашение политики гласности и реформы политической системы в учебниках объясняется стремлением Горбачёва преодолеть сопротивление противников реформ в государственном аппарате. Нарастание гласности, драматические столкновения мнений, ожесточенная борьба на XIX партийной конференции и Съезде народных депутатов продемонстрированы очень бегло, речь идет в основном о достигнутых результатах: отмене 6-й статьи Конституции, выборах Президента СССР. Но то, насколько упорной была борьба по основным политическим вопросам, по-

нять из учебников школьникам будет непросто, о самой поляризации общественного мнения и о постепенном переходе к многопартийности лишь упоминается. Имена публицистов и политиков как либерального, так и консервативного направления либо не называются вообще, либо перечисляются без анализа их взглядов. Недостаточное внимание уделяется и борьбе союзного центра и нового российского руководства. Исключение – чрезвычайно подробное изложение событий в учебнике под ред. А.А. Данилова и А.В. Филиппова.

Большое внимание уделяется в учебниках нарастанию национальных конфликтов в период перестройки. Но их причины излагаются нередко поверхностно. «Демократизация общества, политика “гласности” сделали неизбежным обострение, казалось, давно “решенного” национального вопроса. Из заключения и ссылок возвращались видные активисты национально-освободительных движений. Некоторые из них сочли текущий момент наиболее подходящим для начала активной борьбы за самоопределение… Жизнь требовала немедленного изменения национальной политики, однако центр не торопился делать это» [Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 324]. Таким образом, обострение национальных противоречий учебник связывает не с ухудшением экономического положения, не с пороками прежней национальной политики, а с действиями вышедших из тюрем участников национальных движений и с гласностью. Действия ГКЧП в учебниках рассматриваются как попытка антиконституционного переворота, предпринятого консервативными силами, отмечается, что путч сыграл серьезную роль в окончательном распаде СССР [Данилов, Косулина, Брандт, 2007, с. 324–325; История России. XX век, 2009, с. 330–332].

Общие итоги перестройки оцениваются чаще нейтрально или негативно: «Результат перестройки оказался вовсе не таким, на который рассчитывали М.С. Горбачёв и его единомышленники. Им не удалось ни вывести СССР на мировые рубежи… ни перестроить советскую систему управления, ни создать новую модель социализм. Имя Горбачёва в массовом сознании прочно связывается с крушением привычного жизненного уклада, со всеми невзгодами и потрясениями, обрушившимися на страну в конце 80-х – начале 90-х гг.» [Шестаков, 2007, с. 340]. Особенно критичен по отношению к перестройке и ее лидеру автор пособия для учителей: «Вместо ускорения социально-экономического развития

непоследовательная и непродуманная экономическая политика Горбачёва привела к падению производства, снижению уровня жизни населения и его массовому недовольству руководством партии» [Филиппов, 2007, с. 291]. Горбачёву ставится в вину то, что его политика «привела страну к самым низким темпам экономического роста за всю историю XX в.» [Филиппов, 2007, с. 301]. Автор, правда, признает и положительный итог перестройки: «Главным делом М.С. Горбачёва была глубокая демократизация страны. Именно он отменил цензуру, ввел конкурентные выборы, сделал реальными существовавшие ранее лишь на бумаге права и свободы граждан. Не будет преувеличением сказать, что М.С. Горбачёв дал советскому народу свободу». Однако эта констатация немедленно обесценивается следующей фразой: «Цена оказалась велика» [Филиппов, 2007, с. 363].

Авторы учебников, как правило, избегают давать определенный ответ на вопрос о возможности сохранения Советского Союза, предпочитая оставлять этот вопрос для обсуждения в классе. А вот в пособии, предназначенном для того чтобы ориентировать учителей, позиции высказаны более откровенно: автор отвергает утверждения «радикальных оппонентов советского строя» о нереформируемости советской системы и о неизбежности распада СССР, ссылаясь при этом на опыт КНР [Филиппов, 2007, с. 362–363].

Внешняя политика перестройки в учебниках рассматривается неоднозначно. Одни авторы полагают, что она «не позволила до конца воспользоваться благоприятной обстановкой, мешала СССР получить справедливую цену за его уступки на международной арене», а итоги внешнеполитических усилий Горбачёва называют плачевными, дающими «основания противникам обвинять его в ослаблении и изоляции страны, “потере” Восточной Европы и даже в перечеркивании неразумными действиями итогов Второй мировой войны» [Шестаков, 2007, с. 331, 333]. Другие критикуют мнение, согласно которому «Советский Союз, отказавшись от своих позиций в Восточной Европе, мог “выторговать” за это у Запада намного большую “цену”» и указывают, что «противники курса Горбачёва забывали, что речь шла о суверенных государствах, а не о сферах влияния Советского Союза. Их народы были вправе самостоятельно определить свою судьбу и предъявить СССР серьезные претензии» [История России. XX век, 2009, с. 326].

Заключение

Большей частью авторы учебников исходят из принципа преемственности между СССР и современной Россией. В отличие от Германии, где послевоенная история изучается во многом как история освобождения от наследия эпохи гитлеризма, в российских учебниках такого принципиального противопоставления нет. В большинстве современных учебников не содержится ни апологии советской действительности, тем более в сталинский период, ни ее безудержного «очернения». Практически невозможно четко определить тот или иной учебник как «государственнический» или «либеральный», поскольку некоторые темы излагаются с более либеральных позиций в одних учебниках, некоторые – в других. В целом, однако, государственнический подход преобладает. Он выражается, в частности, в сравнительно малом внимании, уделяемом истории быта и повседневности, особенно ближайших к нашему времени эпох. Но то, что для авторов учебников является недавним прошлым, не нуждающимся в изложении на страницах учебника, для нынешних школьников – прошлое далекое и зачастую им совершенно непонятное. Между тем именно история быта позволила бы сделать изложение ярким, запоминающимся, приблизить его к жизненному опыту учащихся.

Тот же государственнический подход проявляется в чрезмерной краткости материала, посвященного репрессиям, и практическом отсутствии сведений о жизни в ГУЛАГе, где находились миллионы невиновных людей. При таком изложении репрессии оказываются на периферии внимания школьников, что позволяет рассматривать их как второстепенные издержки поступательного развития и оказывает принципиальное влияние на общее понимание советской истории.

Ни малейшей попытки обесценить подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны, о чем так часто беспокоятся представители власти и ветеранских организаций, в учебниках нет. Особенно сдержанны авторы в изложении истории внешней политики СССР. Ни один современный учебник нельзя обвинить в фальсификации истории, все рассуждения на эту тему в СМИ и в Интернете следует признать совершенно беспочвенными.

По многим спорным вопросам авторы предпочитают избегать крайних мнений. (Это относится и к учебнику под ред. А.А. Данилова и А.В. Филиппова, который претерпел серьезные изменения по сравнению с предпосланной ему одиозной «Книгой для учителя», хотя и сохранил некоторые «родовые черты», например, резко полемическое отрицание тоталитарного характера советского строя и тенденциозное изложение ряда внешнеполитических сюжетов.)[1]

Серьезные замечания можно предъявить к изложению в учебниках истории культуры. Очевидно, учебник истории не может подменить собой курсы литературы и искусствоведения. Но он может и должен дать представление о развитии общественной мысли и литературной полемике, о важнейших тенденциях в развитии культуры в связи с развитием общества и государства, о взаимовлиянии общественно-политической ситуации и искусства. Вместо этого большинство учебников предпочитают перечисление научных достижений и произведений искусства, оставляющее школьников равнодушными. В результате школьники не получают сведений о важных сторонах жизни советского общества, в частности об идеологическом противостоянии в подцензурных советских условиях.

Важнейшие претензии, которые можно предъявить к современным учебникам, носят не идеологический, а методический характер. Многие авторы учебников, скованные жестким ограничением объема, предпочитают жертвовать не только образностью изложения, но и его аналитическим характером. В тексте исчезают объяснения, логические связи и последовательности, в нем царствует фрагментарность. Изложение материала оставляет без ответа многие вопросы и даже не побуждает учащихся ставить их, так как для анализа и обобщения не хватает исходных данных. Нередко учебники сбиваются на механическое перечисление фактов, стремясь рассказать, хотя бы и бегло, «обо всем», вместо того чтобы сосредоточиться на ключевых проблемах общественного развития. В результате учебники оказываются не ориентированными на развитие навыков критического анализа и понимание истории.

[1] В данном случае речь идет именно об анализе в учебниках советской действительности, а не России 90-х годов и тем более начала XXI в.

Список литературы

Волобуев О.В., Кулешов С.В. История России XX – начало XXI века. 11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень). – М.: Мнемозина, 2008. – 335 с.

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История государства и народов России. XX век: Учебник для 9 класса общеобразовательных учебных заведений. – М.: Новый учебник, 2001. – 464 с.

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России. XX – начало XXI века: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2007. – 383 с.

Измозик В.С., Рудник С.Н. История России. 11 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011. – 384 с.

История Отечества XX – начала XXI века: Учебник для 11 класса средних общеобразовательных учреждений / Загладин Н.В., Минаков С.Т., Козленко С.И., Петров Ю.А. – М.: Русское слово, 2009 а. – 480 с.

История России, XX – начало XXI века. 11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. Профильный и базовый уровни / Под ред. А.О. Чубарьяна. – М.: Просвещение, 2011. – 302 с.

История России, 1900–1945. 11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Под ред. А.А. Данилова, А.В. Филиппова. – М.: Просвещение, 2012. – 447 с.

История России, 1945–2008. 11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Под ред. А.А. Данилова, А.И. Уткина, А.В. Филиппова. – М.: Просвещение, 2008. – 368 с.

История России. XX век: Учебник для 9 класса общеобразовательных учебных заведений / Волобуев О.В., Журавлев В.В., Ненароков А.П., Степанищев А.Т. – М.: Дрофа, 2001. – 352 с.

История России. XX век: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / Загладин Н.В., Минаков С.Т., Козленко С.И., Петров Ю.А. – М.: Русское слово, 2009. – 400 с.

Киселев А.Ф., Попов В.П. История России. XX – начало XXI века. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2011. – 304 с.

Кондрашин В.В. Голод 1932–1933 годов: Трагедия российской деревни. – М.: РОССПЭН: Фонд Первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2008. – 519 с.

Филиппов А.В. Новейшая История России, 1945–2006 гг.: Книга для учителя. – М., 2007. – 494 с.

Шестаков В.А. История России. XX – начало XXI века: Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2007. – 399 с.

Шестаков В.А., Горинов М.М., Вяземский Е.Е. История России. XX – начало XXI века: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2007. – 384 с.

М.Д. Суслов

ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ В ИСТОРИЧЕСКОМ ВООБРАЖЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ[1]

Представления о времени и об истории создают концептуальные рамки, внутри которых существует политическое воображение. Успешное воображение нового, воображение социально-политической альтернативы требует реформирования преобладающей темпоральной чувствительности и господствующей историософии. Темпоральность постсоциалистических обществ, в отличие от постколониальных, обусловлена разрушением советского модерного проекта будущего. Поэтому, как показывает Б. Гройс, линия времени в современной России направлена назад, из социалистического будущего в постмодернистское настоящее [Groys, 2003, p. 327]. Нестабильность интерпретаций российской истории, а также крах больших историософских, идеологических проектов вызывает некоторую спутанность исторического сознания, отсутствие временно́й перспективы, или, по словам Л. Альтюссера, «время без длительности» [цит. по: Bhabha, 1995, p. 142]. Эпоха «презентизма», которую диагностируют в российской современности ряд исследователей [Копосов, 2011; Prozorov, 2008], может быть концептуализирована в терминах Дж. Агамбена как «мессианское время»: не конец времени, а «время конца» – время, кото-

[1] Автор выражает благодарность Центрально-Европейскому университету (CEU, Будапешт), Упсальскому центру по изучению России и Евразии (UCRS, Uppsala) и Шведскому институту (SI) за финансирование, а также А.И. Миллеру и Е. Намли за комментарии.

рое «нужно времени, чтобы кончиться» [Agamben, 2005, p. 67], которое исключает саму возможность цели и смысла перемен.

Современная Русская православная церковь (РПЦ) является активным участником и политических, и идеологических процессов. Несмотря на экономическую и административную зависимость РПЦ от государства [Митрохин, 2004, с. 121–173] и риторика иерархов, и официальные документы очерчивают достаточно широкий горизонт для религиозно мотивированного несогласия и оппозиционного поведения [Кирилл (Гундяев), 2012 b; Основы… 2005]. Вокруг РПЦ, с ее развитой структурой, разнообразной мифологией, обширной традицией историософии и теологии концентрируется особая культура понимания истории и памяти и особая темпоральная чувствительность, которая может отличаться и даже противоречить официальному дискурсу. Вопрос заключается в том, способна ли церковь как большое политическое «тело» изменить преобладающую темпоральность, восстановить прошлое и будущее и привнести новое политическое воображение в российское идеологическое пространство?

В фокусе внимания находится то, как православные интеллектуалы, и прежде всего Патриарх Кирилл (Гундяев) концептуализируют понятия времени и истории. Формулировка задачи накладывает ограничения на круг источников: это официальные документы РПЦ и высказывания Патриарха и его ближайшего окружения по основным социально-политическим вопросам. РПЦ – это, конечно, не только иерархическая система, но и сеть неформальных взаимоотношений, в которой реальное влияние и идеологический авторитет той или иной фигуры или группировки может не совпадать с ее официальным положением. Восприятие времени и истории церковными «либералами» или «фундаменталистами» рассматривается только как возможный источник влияния на официальную «линию» Московской Патриархии, которая, демонстрируя известную историческую параллель, по мнению и исследователей, и деятелей РПЦ, проходит между этими двумя «крайностями» [Papkova, 2011, с. 43–70; Костюк, 2002; Kostjuk, 2005, S. 122–131; Церковь открыта для каждого, 2011, с. 33–34].

Еще одно аналитическое ограничение заключается в том, что патриарх Кирилл не философ и не богослов (вопреки мнению его панегиристов), а в первую очередь – публичная и политическая фигура. Его высказывания не выстраиваются в логичную идеологическую или теологическую схему, они часто противоречивы, контекстуально обусловлены. Это позволяет Кириллу гибко интерпретировать исторические события, конструируя историософию РПЦ так, чтобы она была удобна и привлекательна для каждой конкретной аудитории и политического момента. Поэтому внутренняя структура историософии Кирилла держится не столько на формально-логических категориях, сколько на метафорах, подчиняясь скорее законам жанра беллетристики или, точнее, – литературной утопии. РПЦ, претендуя на идеологическое господство в современной России, пишет историю – «национальный роман», кульминация которого приходится на XX в. Интерпретации революции 1917 г., периода сталинизма и Великой Отечественной войны являются основополагающими для формирования идентичности как современного российского общества в целом, так и РПЦ, которая в современном виде образовалась как раз в 1940-е годы. На сегодня в церкви сложилось два исторических метанарратива, в которые «встраиваются» события XX в.: это историософия мессианства и философия культурной аутентичности. Мессианский метанарратив имеет много точек соприкосновения с концепцией «множественной модернизации» [Stoeckl, 2011]; он предлагает инклюзивный христианский транснационализм и исторический оптимизм, в то время как «философия аутентичности» является церковной проекцией цивилизационного подхода, с его пространственно-временной ограниченностью. Логическая несовместимость этих двух проектов сообщает внутренний драматизм «национальному роману» российской истории.

Основные историософские концепции патриарха Кирилла

Поездка Кирилла на Украину летом 2009 г. актуализировала проблематику истоков «Святой Руси» и вывела на первый план фигуру ее основателя – князя Владимира Святославича (ок. 960–1015), крестителя восточнославянских племен. В проповеди в Киево-Печерской лавре 28 июля 2009 г. Кирилл, как и прежде патриарх Алексий II, указал на него как на основателя и родоначальника «Святой Руси», как на ее идеал и образец для всего современного человечества. По мнению патриарха, превратившись из языческого вождя в православного святого, князь Владимир «дал нам вели-

кий завет любви и единства» [Кирилл (Гундяев), 2010 a, с. 105; Кирилл (Гундяев), 2010 b, с. 108; Алексий II (Ридигер), 2008].

«Святая Русь» – центральная метафора в речах Кирилла, вокруг которой строятся все его историософские концепции. Имея вполне определенные пространственные координаты, «Святая Русь» имеет также и четко обозначенное начало – это момент крещения Руси в 988 г., когда Русь получила «завет» – заключила особый договор с Богом, в котором была определена ее духовная «конституция». Если отфильтровать все многочисленные высказывания Кирилла по этому вопросу, то основное содержание «завета» можно сформулировать в трех принципах: духовные цели, стремление к святости должно быть выше материальных интересов, духовные цели выражают нравственность, и наконец, идеал нравственности заложен христианством [см., например: Кирилл (Гундяев), 2009 b, с. 238].

Такая интерпретация укладывает метанарратив российской истории в канву мессианства «завета» [Smith, 2003, p. 49]. Мессианство «завета» обращено в прошлое, когда были приняты изначальные, фундаментальные условия договора с Богом. Таким образом, хронологическая структура мессианства «завета» предполагает стремление к постоянному возврату к изначальному договору, к моменту, когда он был заключен, и к «пророку», его заключившему. Следуя этой логике, Кирилл отмечает, что Владимир Святой – это не только историческое прошлое России; это фигура, которая будет определять «наше будущее»; и именно здесь – «на Киевских холмах» – будет решаться история России [Кирилл (Гундяев), 2009 b, с. 214]. Из речей патриарха можно сделать вывод, что он видит свою миссию в возврате к этому завету, а самого себя – некоей «реинкарнацией» князя; крещенный Владимиром, патриарх специально отмечает свою близость к этому святому, а также тот факт, что, получив посох митрополита Киевского Петра, который перенес кафедру из Киева в Москву, он почувствовал себя «сопричастным великой истории» [Кирилл (Гундяев), 2009 b, 214]. По его мнению, цель настоящего и проект развития в будущем заключаются в возврате к историческому прошлому России, в очищении идеала «Святой Руси» от ложных наслоений и в строительстве на этом фундаменте современного, технически оснащенного общества.

Метафора возврата к истокам согласуется с широкой социально-исторической трактовкой концепции неопатристического синтеза, которую поддерживают Кирилл и его правая рука – председатель Отдела по внешним церковным сношениям митрополит Иларион. Неопатристический синтез, концепция которого развивалась Г. Флоровским и В. Лосским, и к концу 1940-х годов заняла ведущее положение в кругах эмигрантского богословия, означает, что православие должно вернуться «к отцам», т.е. к богословам христианского Востока первых столетий новой эры. Соединив («синтезировав») учение «отцов» с требованиями современности, можно добиться модернизации церкви и богословия [см., напр.: Valliere, 2000; Stoeckl, 2006]. В широкой трактовке такой подход подчеркивает, что любое обновление лежит через возврат к чистоте своей веры, к ее фундаменту. Кирилл интерпретирует концепцию неопатристического синтеза максимально широко, как план всемирной истории; для него это «мечта о рехристианизации обезбоженной европейской культуры… Это надежда на духовное и нравственное возрождение России» и преодоление глобального кризиса западной цивилизации [Иларион (Алфеев), 2010 b, с. 373; «Неизвестный» Патриарх Кирилл, 2009, с. 115].

Возвращение к истокам – это основное представление о темпоральности в мифах [Eliade, 1972], которое прослеживается в структуре многих, если не большинства проповедей Кирилла, которые начинаются со слов «сегодня мы вспоминаем…», и далее следует поучительное описание какого-либо исторического события или персонажа с обязательным указанием на релевантность его сопоставления с настоящим моментом [Кирилл (Гундяев), 2010 a, с. 13]: «наша сила – в единстве с прошлым», – проповедовал Кирилл в 2009 г. [Кирилл (Гундяев), 2010 a, с. 53]. Тем не менее, если темпоральность мифа предполагает циклическое возвращение к прошлому (ср. «звонячи в прадеднюю славу» *Слова о полку Игореве* [Лотман, 2000, с. 356–57]), то восприятие времени Кириллом ориентировано в будущее; смысл истории для него заключается в обновлении через возврат к истокам, где ключевыми словами являются «обновление», «возрождение». Таким образом, мессианство «завета» в трактовке Кирилла приобретает черты экспансионистского, инклюзивного мессианства «мессии», готового «осчастливить» своим откровением все человечество.

Интерпретация концепции «Москва – Третий Рим» подтверждает это наблюдение. Патриарх Алексий II отмечал, что эта теория означает, что люди Средневековья видели в своей стране «твердыню православия» [Алексий II (Ридигер), 1997; Синицына, 1998; Кириллов, 1966]. Кирилл переставляет акценты, настаивая на том, что эта средневековая теория означала не стремление к политическому господству Римской империи, не тяготение к истоку, к «первому» Риму, а наоборот, – «Москва – Третий Рим» – это проект будущего воплощения христианского идеала на земле: «Москва желала стать не политической столицей христианского мира, но столицей духовной, сияющей святостью, правдой, красотой и хранящей верность Православию» [Кирилл (Гундяев), 2010 a, с. 64–65]. Таким образом, для Кирилла эта теория направлена не в прошлое и не в настоящее, а в будущее.

Воплощением второй, «цивилизационной», парадигмы в историософии РПЦ является князь Александр Ярославич Невский (1221–1263). Еще в качестве митрополита Кирилл получил национальную известность благодаря участию в телепроекте «Имя России», в котором он защищал «кандидатуру» Александра Невского среди таких имен, как Столыпин, Ленин, Ломоносов, Сталин и т.д., и вышел победителем. Постфактум Кирилл подчеркивал, что несмотря на игровой характер, этот проект, в котором приняло участие около 40 миллионов телезрителей, выражает мнение и настроения всей России. Князь Невский, по его мнению, это единственная историческая фигура, которая представляет не партикулярную точку зрения, а интересы всех социальных групп и институтов [Кирилл (Гундяев), 2009, с. 221–222; Кирилл (Гундяев), 2010 a, с. 550–551]. Во-первых, князь новгородский не вызывает сомнения в своей великорусской генеалогии, в отличие от «украинского» Владимира Святого. Во-вторых, известный своей борьбой со шведами и рыцарями немецкого Ливонского ордена, он выступает парадигматическим борцом за русскую национальную аутентичность против западноевропейской культурной и политической гегемонии. В-третьих, Невский шел на сотрудничество с Золотой Ордой, становясь тем самым у истоков евразийской империи – многонационального и многоконфессионального сообщества, в культурном «коде» которого заложено господство над пространствами Евразии. Митрополит Иларион интерпретирует позицию Кирилла по этому вопросу: «Александр Невский почувствовал не политические, а цивилизационные опасности для России. Он боролся не с конкретными врагами, не с Востоком или Западом. Он боролся за национальную идентичность, за национальное самопонимание» [Иларион (Алфеев), 2010 b, с. 230–231]. Александр Невский – это герой уже другой «главы» национального романа, которая явно пишется в соавторстве с российским государством на почве «патриотического консенсуса» [Шенк, 2007, с. 479–499] и в которой повествуется о возникновении уникальной российской цивилизации, о ее борьбе с чужими влияниями, порабощении и последующем освобождении.

Фигура Александра Невского выражает историософскую модель, которую условно можно назвать славянофильской. Она связана с «философией аутентичности» ранних славянофилов и концепцией множественности цивилизаций Н.Я. Данилевского [Данилевский, 1995]. История человечества представляется в виде истории автономных цивилизаций, развитие которых заключается в «разворачивании» своего внутреннего плана, раскрытии возможностей, содержащихся в аутентичной культуре. Центральной метафорой такой темпоральной схемы является представление о «порабощении» и последующем «освобождении» от внешних влияний, форм и идей, словом, от культурной гегемонии Запада.

Согласно историософии Кирилла, своего высшего расцвета «Святая Русь» как русская цивилизация достигла в эпоху Московской Руси. В это время простые люди были благочестивыми, а князья «меняли порфиру на схиму и ратное поле на монастырь», и в целом весь русский народ руководствовался христианским идеалом «и в личной, и общественной, и в государственной жизни»; в то же время на Руси тогда «не было слепого преклонения перед чужим опытом, идеализации этого опыта. Но не было и косности, изолированности… Русь… всегда заботилась о своей духовной подлинности, духовной идентичности» [Кирилл (Гундяев), 2010 a, с. 65–66]. В это же время сложились отношения государства и церкви, близкие к идеалу «симфонии» [Кирилл (Гундяев), 2010 a, с. 251]. Идеализация допетровской Руси в этом фрагменте следует логике славянофильского восхваления аутентичности, но идет гораздо дальше: славянофилы критиковали Московскую Русь за косность и изоляцию. Вместе с тем историософия Кирилла отличается от историософии «фундаменталистов» тем, что последние восхваляют допетровскую Русь (достигшую акме при царе Иване

Грозном, предложения по канонизации которого регулярно поступают от церковных правых) как раз за ее «закрытость» для западных влияний [Иоанн (Снычев), 1998; Митрохин, 2004, с. 209].

В «национальном романе» российской истории должен быть свой антигерой, который привел к «порабощению» – Петр I. Он отходит «от идеала Святой Руси» [Кирилл (Гундяев), 2010 a, с. 66], «цивилизационно сдает Россию. Он отказывается от нашего цивилизационного кода, от нашей системы ценностей, и Россия становится идеологическим, духовным придатком Запада» [Иларион (Алфеев), 2010 b, с. 238]. Критика Петра привносит славянофильский дискурс в идеологические построения Кирилла, особенно развитые в выступлении 1995 г. «Через духовное обновление русского народа – к его национальному возрождению» на II Всемирном Русском народном соборе. Впоследствии Кирилл смягчил свои оценки, хотя и продолжал порицать первого российского императора за упразднение патриаршества и подчинение церкви государству [Кирилл (Гундяев), 2010 a, с. 544–545; Кирилл (Гундяев), 2010 b, с. 95–96]. Лишенная интеллектуальной тонкости славянофилов, критика «петербургского периода» российской истории продолжается в работах митрополита Илариона, который предостерегает от восприятия дореволюционной России как «золотого века» и утверждает, что «если бы все было хорошо в дореволюционной церкви, не было бы массового отхода от нее в революционный и постреволюционный период» [Иларион (Алфеев), 2010 a, с. 141; Иларион (Алфеев), 2010 b, с. 375].

Славянофильская историософия представляет историю народа с помощью серии органицистских метафор – в виде развития живого организма по заранее заложенному в него плану. Чужая высокая культура, перенесенная на иную почву, не только осуждена на гибель без своих «корней», но и блокирует развитие локальной культуры, искажает правильное развитие народа [Киреевский, т. 2, с. 27–33]. Помещая тему культурной аутентичности в центр своих теоретических конструкций, славянофилы предложили один из ранних вариантов антиколониальной критики [Etkind, 2011, p. 17, 140], органически подхваченной евразийцами начала XX в., а также своеобразно преломленной в историческом сознании иерархов православной церкви последних десятилетий, из которых выделяется митрополит Никодим (Ротов). Председатель Отдела внешних церковных связей в 1960–1978 гг., он был духовным наставником Кирилла и оказал на него решающее интеллектуальное воздействие. Основные взгляды Кирилла в сжатом виде можно обнаружить в статьях и выступлениях Никодима. В частности, продолжая риторику и политику советского руководства в странах Азии и Африки, «Журнал Московской Патриархии» под руководством Никодима активно выступал с антиколониальных и антиимпериалистических позиций, утверждая, что колониальное господство «нарушает волю Бога», так как вместо созидания оно несет с собой разрушение локальных культур [Соколовский, 1966, с. 33–37]. Роль христианской миссии в странах «третьего мира» должна, по его мнению, заключаться в утверждении «творческого плюрализма», который предполагает приспособление христианства к местной культуре без искажения догматических основ [Обращение Всемирной конференции… 1966, с. 60–64]. Со второй половины 1990-х годов Кирилл выступил с тех же позиций по отношению к западному миссионерству в самой России, настаивая на необходимости «избавиться от колониальных практик… от порабощения людей» и призывая к «сокрушению колониальной идеологии» [Кирилл (Гундяев), 1996, с. 33; Кирилл (Гундяев), 2002, с. 31], повторяя аргументацию фундаменталиста митрополита Иоанна (Снычева), который считал историю России «историей попыток поработить ее Западом» [Иоанн (Снычев), 1994]. Другим вероятным источником интеллектуального влияния на критику западной гегемонии [Laruelle, 2008, p. 31–40; Глебов, 2003, с. 270–275] Кириллом можно назвать рост евразийской идеологии, с которой он мог быть знаком посредством личных связей с Л. Гумилёвым [Иларион (Алфеев), 2010 b, с. 392].

Философия национальной аутентичности, органицистская историософия и антиколониальная риторика пользовались особой популярностью в церковных кругах на волне антисектантской истерии середины 1990-х и подготовки закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997). Такое понимание истории позволяло «нормализовать» советский период, встроить его в привычный дискурс о «порабощении» и колониальном господстве чужой культуры. «Негативная нормализация» советского режима схожа с позицией фундаменталистов. Так, митрополит Иоанн (Снычев) полагал, что и красные, и белые были одинаково далеки от идеала «Святой Руси»: «христоборческий коммунизм» и запад-

ноевропейский либерализм – это «две головы одного дракона» [Иоанн (Снычев), 1998, с. 457–458].

Философия истории, в центре которой стоит утверждение национальной аутентичности, давала также аналитический инструментарий для если не понимания, то по крайней мере для постановки вопроса о причинно-следственной связи в истории. Например, Иларион объяснял крах монархии в 1917 г. как результат несоответствия «нравственного состояния народа… монархическому принципу государственного устроения» [Иларион (Алфеев), 2010 b, с. 377]. В другом месте он теоретизирует на тему ошибочности однозначных оценок исторических событий, поскольку каждое событие «уходит в прошлое вслед за теми историческими причинами, которые их породили» [Церковь открыта для каждого, 2011, с. 127].

Славянофильская и евразийская интерпретация истории соответствует тезису о существовании автономных цивилизаций, развивающихся каждая по своему уникальному историческому плану [Кирилл (Гундяев), 2002, с. 11–14]. Эта концепция легла в основу критики либеральной демократии, которая была разработана Кириллом в конце 1990-х годов и отразилась в базовых документах РПЦ – «Основах социальной концепции» (2000) и «Основах учения РПЦ о достоинстве, свободе и правах человека» (2008), подготовленных под его руководством. В сжатом виде мысль Кирилла заключается в том, что либеральное учение о правах и свободах человека является продуктом одной определенной цивилизации – западноевропейской, и навязывание этого учения в качестве общемирового стандарта ошибочно, ведет к конфликтам, к «столкновению цивилизаций». Как отмечал Кирилл, чтобы избежать конфронтаций, каждый народ должен получить возможность «свободно развиваться в рамках собственной культурно-исторической и религиозной традиции»; попытки навязать единую универсальную модель для всех цивилизаций – это и есть проявление западного колониального господства [Иларион (Алфеев), 2010 b, с. 216–17; Agadjanian, Rousselet, 2006, p. 32–35].

Идея автономных цивилизаций может быть эффективным инструментом борьбы с «либеральным стандартом», но как таковая она лишена христианского универсализма, поэтому плохо «монтируется» с мессианской историософией. Кирилл пытается соединить

то и другое с помощью концепции мистической жертвы, которая придает глобальную значимость «православной цивилизации».

Апостасия, сакральная жертва и прощение: История России XX в.

Историософия «автономных цивилизаций» не могла ни быть принята интеллектуалами справа, ни понята большинством верующих, особенно в 1990-е годы, когда их костяк по-прежнему составляли «бабушки», идеализировавшие дореволюционную Россию и связывавшие власть большевиков с наступлением царства Антихриста [Chistiakov, 2005, p. 55; Ramet, 2006, p. 151]. Под давлением праворадикальных интеллектуалов из Русской православной церкви Заграницей юбилейный Архиерейский собор РПЦ принял решение о канонизации семьи царя Николая II в качестве «святых царственных страстотерпцев» в числе «собора новомучеников и исповедников Российских». В то же время предложения 2002 г. по канонизации Григория Распутина не были одобрены высшими церковными властями.

Таким образом, параллельно с высказываниями о единстве и преемственности царской России, Советского Союза и Российской Федерации, революция 1917 г. начинает приобретать в церковных дискурсах внеисторический, сакральный смысл как некий радикальный водораздел всемирного значения, так как революция воспринимается как «катастрофа», которая разрушила мировой оплот христианской веры, толкнув и другие страны на путь апостасии («отступничества») [Кирилл (Гундяев), 2010 b, с. 76]. Если статья Кирилла 1995 г. трактует события 1917 г. как стадию длительной болезни национального организма, то его же проповедь 2009 г. придает ей зловещий смысл предательства «завета», отказа от договора с Богом, заключенного в 988 г. Эти две версии на практике могут взаимно переплетаться; в современной трактовке апостасия 1917 г. подготовлена длительным периодом отказа от своей аутентичности [Иларион (Алфеев), 2010 a, с. 141; Кирилл (Гундяев), 2010 a, с. 70]. Но по сути они принадлежат двум разным историческим метанарративам: цивилизационному и мессианскому.

Мессианская трактовка революции 1917 г. не была ни новой, ни оригинальной, но она создавала нужный контекст и концептуальные рамки для почитания канонизированных новомучеников в

качестве искупительной жертвы за «богоотступничество» и для легитимации дореволюционной империи [Алексий II (Ридигер), 1991, 1998]. Так, во многих выступлениях Кирилла последних нескольких лет проводится мысль о ценности опыта дореволюционного решения национальных проблем в рамках империи Романовых [Кирилл (Гундяев), 2011]; постоянно подчеркивается необходимость восстановления «разорванной связи времен и традиций», под чем подразумевается, очевидно, частичный возврат к дореволюционным порядкам [Иларион (Алфеев), 2010 b, с. 222; Вера… 1998, с. 17].

Первая в истории России поездка патриарха РПЦ в Польшу 16–19 августа 2012 г., а также празднование сразу трех знаменательных дат: 400-летия изгнания поляков из Москвы, 200-летия Бородинской битвы и 70-летия Сталинградской битвы послужили поводом для уточнения историософских взглядов Кирилла. В то же время внутренняя противоречивость его концепции, разрывающейся между цивилизационной и мессианской парадигмой, сохранилась. С одной стороны, Кирилл подчеркивает, что борьба России с внешним врагом всегда носила характер борьбы за свою цивилизационную аутентичность против Запада: в 1612 г. русские отстояли свою веру, в 1812 – культуру, в 1942 г. – само право на существование [Кирилл (Гундяев), 2012 c]. С другой стороны, связывая баталии прошлого с войной за духовные рубежи России, которая идет сейчас, Кирилл намечает параметры сотрудничества с Западом в рамках христианского транснационализма.

С долей скептицизма ссылаясь на концепцию автономных цивилизаций, он утверждает, что «православная» и «западноевропейская» цивилизации очень близки друг к другу; их единство в первое тысячеление христианства служит залогом их единства в борьбе с силами секуляризма в будущем. Пафос выступления Кирилла в Польше заключается в том, что на почве Евангельских заповедей, которые едины для двух народов, нужно простить друг друга и перевернуть страницу истории, с тем чтобы в XXI в. выступить единым фронтом против «анти-Христианских» сил [Кирилл (Гундяев), 2012 c; Кирилл (Гундяев), патриарх, 2012 a; Кирилл (Гундяев), 2012 d, с. 25–26; Совместное послание… 2012]. Между признанием Запада как главной угрозы цивилизационной аутентичности России в прошлом и взглядом на Запад как на стратегического союзника в будущем лежит неустранимо большой ло-

гический зазор, который Кирилл заполняет мистической концепцией сакральной жертвы. Концепция апостасии вписывается в идеологию «Святой Руси» как отход от изначального «завета» с последующим наказанием и прощением. Высказывания Кирилла в мае 2009 г. по поводу людских потерь СССР в годы Великой Отечественной войны вызвали большой публичный резонанс, поскольку они нарушили канон почитания убитых в качестве безвинных жертв. В тот раз Кирилл высказался определенно: это были не невинные жертвы, так как война 1941–1945 гг. – это наказание, наложенное Богом на народ за богоотступничество [Кирилл (Гундяев), 2010 a, с. 57]. Но вместе с тем «всякая жертва есть жертва Богу. И всякая жертва несет в себе колоссальный потенциал духовного воздействия на людей» [Кирилл (Гундяев), 2010 a, с. 174]. Таким образом, Кирилл связывает в единую смысловую цепочку революцию 1917 г., убийство царя Николая II, гонения на церковь, сталинский террор и войну 1941–1945 гг., делая вывод, что «жертва», великое страдание народа от фашизма, а новомучеников от сталинского террора, уже искупила грех «исторической Руси», народ уже прощен и перед ним открываются широкие перспективы исторического творчества [Кирилл (Гундяев), 2010 b, с. 77; Кирилл (Гундяев), 2005; Иларион (Алфеев), 2010 b, 94]. Такая интерпретация вносит существенную новизну в историософию патриарха Алексия II и церковных интеллектуалов правого спектра, по мнению которых, «грех цареубийства» еще не раскаян, он лежит грузом на душе народа [Алексий II (Ридигер), 1998, с. 80; Иоанн (Снычев), 1994, с. 28]. Тема страданий, жертвенности и утраты может стать основой для кристаллизации новой социальности [Ushakin, 2009]. На уровне отдельных приходов или монастырей такая консолидация через травму вполне возможна и, видимо, успешно осуществляется посредством коммеморации жертв большевистского и сталинского террора, особенно в местах, связанных с массовыми казнями или лагерями [Burgess, 2011, p. 232–234]. Но для Кирилла жертва имеет не столько коммеморативный, сколько мессианский смысл.

За месяц до поездки в Польшу в августе 2012 г. патриарх посетил Катынский мемориал, где предложил свое понимание события как «общей трагедии и общей единой жертвы» русских и поляков [Катынь, 2012, с. 22]. Но если переживание общей утраты объединяет два народа, то сакральная жертва «для другого» объе-

диняет все человечество, вызывая в церковном мире параллель с жертвой Христа. Именно так Кирилл интерпретирует войны России, невольно повторяя польское мессианство XIX в., которое сопоставляло разделенную Польшу с распятым Христом [Мицкевич, 1917, с. 22–23; Walicki, 1982]. Если в 1612 г. Россия пострадала за все православные народы, то в 1812 г. «Россия создала благоприятные условия для национально-культурного разнообразия самой Западной Европы», а в 1942 г. в Сталинграде Советский Союз спас все человечество, сам принцип гуманизма, т.е. право считать другого «братом», а не «недочеловеком» [Кирилл (Гундяев), 2012 c]. Жертвенность русского народа, страдания, через которые прошла страна в XX в. [Кирилл (Гундяев), патриарх, 2011], приобретают всемирное значение как «предостережение для человечества, которое отказывается от христианских ценностей» [Иларион (Алфеев), 2010 b, с. 488; Кирилл (Гундяев), 2010 a, с. 147, 161, 169, 172].

Подобная интерпретация подготавливает восприятие Великой Отечественной войны как жертвенное искупление не только своего греха, но и всего человечества, и тем самым ставит Россию в отношение ко всем народам мира, выводя ее из пространственно-временных границ своей «автономной цивилизации» и открывая возможность для оптимистического понимания современности как эпохи «возрождения». В этой точке мессианство «завета» возвращается к канону мессианства «миссии», а советское прошлое переосмысливается как возможное будущее – урок для настоящего, готовящий людей к мученичеству и исповедничеству в «безбожном» современном мире.

В то же время виктимизация России, русского народа и РПЦ не вызывает параллельного осуждения виновников по причине их почти полного отсутствия в церковных дискурсах. «Другой» как фактор самоидентификации существует в основном в виде риторических оборотов вроде «безбожный режим», а не конкретных имен и названий. Митрополит Иларион, очень важное, но все же не первое лицо в церкви, определенно высказывался на этот счет, называя Сталина преступником [Иларион (Алфеев), 2010 a, с. 143], но патриарх Кирилл, хотя и подчеркивает, что не является сталинистом (сама необходимость этой ремарки поучительна), но оговаривается, что необходимо различать сталинский и гитлеровский режимы: если первый был репрессивным, но основывался на высоких идеалах, то второй – человеконенавистническим, царством

Антихриста [Кирилл (Гундяев), 2010 a, с. 554]. В документе «О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших», принятом 2 февраля 2011 г. на Архиерейском соборе, сказано, что «подвиг новомучеников и исповедников свидетельствует об их противостоянии богоборчеству, а не государству как таковому», также в нем нет указаний на виновников, кроме самого общего понятия «богоборец» [О мерах… 2011].

Таким образом, советское государство в целом и сталинское руководство в частности не воспринимаются в качестве Другого, по отношению к которому можно выстраивать собственную идентичность. Такое понимание истории частично снимает вину с преступников, изображая их в качестве орудия божественного промысла. Причины очевидны: это не только сращивание церковной и государственной структур в послевоенном Советском Союзе (попытки объяснить сотрудничество с властью, в частности с органами госбезопасности, разумным расчетом разбиваются о саму же христианскую моральную норму, согласно которой предательство – «Иудин грех» – занимает очень высокую позицию в иерархии богомерзких поступков), но и давление справа, из среды фундаменталистов, настаивающих на преемственности царской России и СССР. Подобная трактовка совмещает фигуру убийцы и палача в одном лице; преступление и наказание в одном действии: сталинский террор – это одновременно и акт апостасии, и наказание за нее.

Логическая слабость подобной конструкции требует объяснения с точки зрения некоей мистической целесообразности. В мессианской интерпретации Кирилла гибель людей не является просто «потерей» нескольких миллионов человеческих жизней, исторических традиций, десятилетий бессмысленного существования и т.п. Эти «потери» получают смысл и вселенскую цель – они открывают путь к «возрождению» и служат для «назидания» в настоящем. Хотя Кирилл и призывает к тому, чтобы память о прошлых трагедиях оставалась переживанием настоящего момента, на деле его историософская концепция инкапсулирует память о жертвах в мистико-религиозный нарратив о «завете», апостасии, наказании и прощении. Поэтому ощущения травмы и потери выводятся из поля креативности [ср.: Ушакин, 2007] и трансформируются в назидательный «урок».

Например, Бутовский полигон, на котором в 1937–1938 гг. было расстреляно около 20 тыс. человек, включая много священников, возникает в современном церковном дискурсе как центральное «место памяти», «русская Голгофа». Сопоставляя историю России с новозаветной историей, Кирилл подчеркивает, что события на Бутовском полигоне не принадлежат только прошлому, они входят в нашу современную жизнь как «смысловая скрепа, соединяющая прошлое и будущее», как пример «подвига исповедничества», столь же актуального в современном секулярном мире, как и в годы сталинского террора [Кирилл (Гундяев), 2010 a, с. 227; Кирилл (Гундяев), 2010 b, с. 48–51]. Но в то же время концепция апостасии и отсутствие темы виновности конкретных лиц и институций не позволяют пережить и преодолеть травму, а превращают опыт массовых репрессий в мистико-исторический нарратив, одна из функций которого – создание транснационального христианского сообщества «жертвы».

Возрождение и кризис: Обстоятельства постсоветского времени

Метафора «возрождения» сплавляет темпоральные схемы «возврата к основам», мессианства «завета» и «освобождения» от иноземного ига, поэтому ее влияние на историческое мироощущение высших церковных иерархов значительно, она находится в центре историософии и Кирилла, и Алексия II. В своей интронизационной речи 1 февраля 2009 г. Кирилл цитировал предыдущего патриарха: «Восстанет, как уже не раз бывало, из пепла и из бездны греховной новая Русь… Русь Святая» [Кирилл (Гундяев), 2010 a, с. 6].

Начало возрождения России Кирилл не связывает с распадом СССР – это событие он оценивал неоднократно и по-разному, но в неизменно негативном спектре, отмечая, что трансформация СССР была возможна и могла бы быть более правильным исходом, чем его коллапс [Иларион (Алфеев), 2010 b, с. 71; Кирилл (Гундяев), 2010 a, с. 279]. В другом месте он пишет, что хотя закат СССР был неизбежным, но его «драматический распад – историческая катастрофа» [Иларион (Алфеев), 2010 b, с. 90], поддерживая тем самым мнение, высказанное президентом Путиным. Иларион высказывается более обтекаемо: «Духовное единство народов СНГ создавалось тысячу лет; распад СССР не должен

привести к разрушению этого духовного единства», – но мысль тоже четкая: распад СССР – это распад духовного единства «исторической Руси» [Церковь открыта для каждого, 2011, с. 39].

Подлинное мессианское событие для церковных иерархов – это тысячелетие Крещения Руси, которое праздновалось в 1988 г. и вызвало волну популярности православия. Последующие два десятилетия представляют собой историю возрождения церкви, причем эта метафора метонимически выражает идею о возрождении России в целом. Так, популярная брошюра *«Неизвестный» Патриарх Кирилл* (2009) в подзаголовке «О возрождении нации» помещает высказывание Кирилла о росте численности людей, посещающих пасхальную службу, хотя ни одного слова о «нации» или России в этом отрывке нет [«Неизвестный» Патриарх Кирилл, 2009, с. 116]. Модель «возрождения» ретроспективно преодолевает «безвременье» 1990-х, встраивает этот период в общий нарратив, тем самым придавая смысл и легитимизируя государственную политику, которая теперь определяется не тревожным и оценочно нейтральным термином «переходный период», а позитивно окрашенным понятием «возрождение». Признавая, что 90-е годы были трудным временем, лидеры РПЦ подчеркивают, что это было тем испытанием для страны и церкви, которое они благополучно перенесли и закалились [Кирилл (Гундяев), 2010 a, с. 187; Алексий (Ридигер), 1998, с. 14]. Символ возрождения церкви и «Святой Руси» – восстановление храма Христа Спасителя в Москве, который вписывается и в парадигму восстановления национальной идентичности, и в историософию коллективного отпущения греха апостасии.

Основное мессианское событие – празднование тысячелетия Крещения Руси и массовый приход людей в церкви – начинает мессианское время, время «возрождения», основные характеристики которого повторяют модерный проект темпоральности советского образца. Кирилл поучает, что не надо «ни идеализировать, ни демонизировать прошлое», а «бодро идти вперед» [Кирилл (Гундяев), 2005], исторические традиции должны быть «не столько воспоминанием о прошлом, сколько деятельным, мобилизующим началом построения лучшего будущего» [Кирилл, 2010 d, с. 35]. Задача, которая стоит сейчас перед Россией, заключается в том, что менее осторожные сподвижники Кирилла называют «православной революцией» [У России есть 50 лет… 2011], т.е. в полном «переформатировании» общества на церковный лад.

Эта задача, аналогичная задаче пришедших к власти большевиков, состоит не просто в смене власти и политического курса, а в глубоком общественном перевороте, в воцерковлении людей, при котором церковь выходит из «гетто» и становится движущей и направляющей силой повседневности [Кирилл (Гундяев), 2010 a, с. 316]. Такой переворот под силу только мощному и всеохватывающему социальному институту, которым Кирилл считает церковный приход – «наибольшая драгоценность» РПЦ [Кирилл (Гундяев), 2010 c, с. 23]. Другая задача – воссоединение христианских церквей через возврат к догматам первых Вселенских соборов, к состоянию до великой схизмы 1054 г. Дискурс о воссоединении имеет обширную генеалогию в российской истории, но современные лидеры российского православия ссылаются преимущественно на традиции экуменистических контактов 1960–1980-х годов. По их мнению, эти традиции не должны пропасть, и хотя на скорое воссоединение надеяться не стоит, в этом вопросе наблюдается постепенное, прогрессивное движение вперед [Церковь открыта для каждого, 2011, с. 54].

Переходя от истории России ко всемирной истории, Кирилл использует другой историософский репертуар – метафора последней решающей битвы добра и зла. Если патриарх Алексий II был более склонен к апокалипсической интерпретации «приближающихся последних времен» [Ежегодное епархиальное собрание… 2008, с. 46; Верховский, 2003, с. 34, 66], то Кирилл хотя и отмечает «грозные знаки серьезного кризиса… [какого] в истории еще не бывало» [«Неизвестный…» 2009, с. 92; Кирилл, 2010 a, с. 187, 495; Иларион (Алфеев**)**, 2010 a, с. 323], но ставит акценты по-другому и порицает чрезмерную увлеченность эсхатологическими толкованиями [Верховский, 2003, с. 65; Кирилл (Гундяев), 2000]. Критичность, драматичность настоящего момента заключается в том, что силы распада на Западе уравновешены силами «возрождения» в России [Церковь открыта для каждого, 2011, с. 22, 78]. Так что теперь все зависит от самого человека и его выбора [Кирилл (Гундяев), 2010 b, с. 54]. Изображая «возрождающуюся Россию» и упадочную «западную цивилизацию», Кирилл вносит в свои идеологические построения элемент борьбы – эпохального или даже апокалипсического противостояния сил зла и добра, исход которого решается здесь и сейчас, а его значение будет иметь глобальное значение для всего человечества: «У нас нет права проиграть ис-

торическую битву за Россию, – заявил он, – поскольку, борясь за сохранение Святой Руси, мы боремся за сохранение человеческих душ» [«Неизвестный» Патриарх Кирилл, 2009, с. 126; Кирилл (Гундяев), 2010 a, с. 497].

Для Кирилла и его сподвижников кризис Запада связан с торжеством секуляризма и либеральной идеологии, которая, по мнению церковных деятелей, во главу угла ставит человека, релятивизирует нравственность, открывает двери низменным инстинктам. Так, митрополит Иларион утверждает, что современный либерализм еще хуже безбожного марксизма, так как он не просто искажает христианские идеалы, но вообще изгоняет понятие идеала, истины и любви из жизни человека [Церковь открыта для каждого, 2011, с. 168], хотя в принципе и советский режим, и немецкий фашизм, и современный гуманизм – это варианты одного и того же «безбожного» проекта европейского Просвещения. Можно сопоставить это высказывание с аналогичными мыслями Кирилла, который неоднократно утверждал, что советский режим не противоречил «базовым ценностям» «Святой Руси», а либерализм им противоречит [Кирилл (Гундяев), 2010 a, с. 75, 315–316]. Подобно американским и западноевропейским неоконсерваторам, с трудами которых Иларион хорошо знаком [Иларион (Алфеев), 2010 a, с. 327; Иларион (Алфеев), 2010 b, с. 453], он связывает «закат великой христианской цивилизации» Запада с либерализацией морали 1960-х годов [Иларион (Алфеев), 2010 a, с. 303, 317, 321–322]. Околоцерковные интеллектуалы, связанные с европейскими «новыми правыми» и «евроскептиками», подхватывают эту мысль в том аспекте, что коммунизм «подморозил» нравственный распад в России, которая теперь является последним бастионом традиции и морали в Европе [Нарочницкая, 2008, с. 48, 58].

Поддерживая большой телеологический проект времени, ориентированный в будущее, Кирилл и его ближайшие сотрудники восстанавливают модель времени, господствовавшую в Советском Союзе, и возвращают советский мессианизм к его религиозным истокам: «Святая Русь» стоит в авангарде человечества, показывает дорогу, по которой должны пойти остальные народы [Церковь открыта для каждого, 2011, с. 21]. Вместе с тем в отличие от инклюзивной модели советской историософии, концепция автономных цивилизаций и мессианство «завета» предполагают наличие того, что Кирилл называет «нашим правом первородст-

ва», особым, уникальным статусом России во всемирной и трансцендентной истории. Кроме того, в отличие от безусловного оптимизма марксистско-ленинской историософии, Кирилл допускает близость и неизбежность конца света. Иларион предлагает более оптимистическое объяснение. История, по его мнению, является постоянным поиском потерянного рая. Крах всех попыток построить «Царство Божье на земле» связан с тем, что в основу люди клали не христианские заветы, а ложные ценности. Из этих слов следует, что создание «Царства Божьего» зависит от самого человека; принципиальных запретов на такой исход мировой истории нет. Более того, можно предположить, что Иларион допускает создание описанного в «Откровении» тысячелетнего «Царства Божьего» на земле без предшествующего ему Апокалипсиса [Церковь открыта для каждого, 2011, с. 270], что радикально модернизирует традиционную историософию церкви.

Таким образом, хотя концепция «возрождения» в постсоветской России тесно связана с цикличной хронологией цивилизационной парадигмы, в интерпретации церковных интеллектуалов она приобретает линеарность и исторический оптимизм.

Заключение

Можно ли говорить, что историософский проект патриарха Кирилла преодолевает презентизм и восстанавливает будущее, придавая государственной политике смысл, цель и чувство миссии?

Церковные интеллектуалы в качестве альтернативы постмодернистской темпоральности выдвигают историософскую модель, схожую с представлением о времени и истории в Советском Союзе. По представлению Кирилла и его соратников, историческое время, или «исторический процесс» [Кирилл (Гундяев), 2010 a, с. 150], поступательно и прогрессивно идет вперед, открывая множественные возможности развития общества в будущем. Повторяя мантру диалектического материализма – цель жизни человека в том, чтобы преобразовывать себя и окружающий мир [Кирилл (Гундяев), 2009 d, с. 44], – лидеры РПЦ утверждают важность события, социальной реформы, трансформации государства. Возвышая ценность отдельных моментов истории России до общечеловеческих и метафизических высот, они подтверждают значимость исторических перемен. Их воображение воспроизводит не ателеологическое

«мессианское время» (по Агамбену) снятых возможностей, а, напротив и вопреки утверждениям самого Кирилла, – эсхатологическое время апокалипсиса, когда все зависит от конкретно-исторического выбора «здесь и сейчас». Однако успешность этого последнего выбора, по их представлениям, напрямую зависит от его обращенности в прошлое, к истокам, к «завету». Это время не похоже на «пустое, гомогенное время», в котором возможно воображение нации [Андерсон, 2001, с. 61]; напротив, в сознании Кирилла время наполнено разными «гравитационными полями» и сквозными ходами. Так, в «возрождении» «Святой Руси» настоящего момента повторяются и «завет» князя Владимира, и искупительные страдания эпохи «апостасии». Возвращаясь к формуле Б. Гройса, можно заметить, что временно́е воображение Кирилла и его сподвижников направлено из советского будущего в домодерное прошлое, в котором преступления, подобные Холокосту, не воспринимаются как коллективная травма, структурирующая наше представление о современности, а «жертва Богу», вписанная в телеологическую историософию ожидания парусии – второго пришествия. Эта историософия преодолевает партикулярность «цивилизационной» трактовки и придает ей универсализм христианского учения и оптимизм исторического прогрессизма. Как альтернатива цивилизационному подходу, историософия Кирилла имеет большой потенциал в «восстановлении будущего». Проблема заключается в том, что этот вариант мессианства не имеет достаточно инструментов для социальной консолидации. Желая создать универсальную историческую концепцию, Кирилл и его сподвижники уже нашли своего Другого – либеральную, секулярную культуру современности, но испытывают трудности в осознании себя как транснационального консервативного «интертрадиционала».

Список литературы

«Вера – Знание – Действие»: Итоговый документ Соборных слушаний Всемирного Русского народного собора 18–20 марта 1998 // Церковь и время. – М., 1998. – № 2 (5). – С. 16–19.

«Неизвестный» Патриарх Кирилл / Добросоцких А. (ред.). – М.: Даниловский благовестник, 2009. – 192 с.

Алексий II (Ридигер), патриарх. О миссии РПЦ в современном мире // Церковь и время. – М., 1998 a. – № 1 (4). – С. 8–14.

Алексий II (Ридигер), патриарх. Послание Патриарха Алексия II пастырям и пасомым в связи с 850-летием стольного града Москвы, 8 сентября 1997 г. // Русская Православная Церковь. – М., 1997. – 9 сентября. – Режим доступа: http://www.mospat.ru/archive/nr080971.htm (Дата посещения: 31.03.2013.)

Алексий II (Ридигер), патриарх. Приветствие Патриарха Московского и всея Руси Алексия участникам и организаторам круглого стола «Крещение Руси в судьбах России, Украины и Беларуси» // Церковный Вестник. – М., 2008. – № 21 (394). – Режим доступа: http://www.tserkov.info/numbers/greetings/?ID=2812 (Дата посещения: 14.05.2012.)

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. – М.: «КАНОН-ПРЕСС-Ц»: «Кучково поле», 2001. – 288 с.

Верховский А. Политическое православие. Русские патриоты и фундаменталисты, 1995–2001. – М.: Центр «Сова», 2003. – 316 с.

Глебов С. Границы империи как границы модерна. Антиколониальная риторика и теория культурных типов в евразийстве // Ab Imperio. – Казань, 2003. – № 2. – С. 267–291.

Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. – СПб.: Издательство С.-Петербургского университета: Издательство «Глаголъ», 1995. – 552 с.

Ежегодное епархиальное собрание города Москвы // Журнал Московской Патриархии. – М., 2008. – № 2. – С. 36.

Иларион (Алфеев), митрополит. Беседы с митрополитом Иларионом. – М.: ЭКСМО, 2010 a. – 384 с.

Иларион (Алфеев), митрополит. Патриарх Кирилл: Жизнь и миросозерцание. – М.: ЭКСМО, 2010 b. – 560 с.

Иларион (Алфеев), митрополит. Церковь открыта для каждого. Выступления и интервью митрополита Илариона (Алфеева), председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. – Минск: Белорусская Православная Церковь, 2011. – 383 с.

Иоанн (Снычев), митрополит. Голос вечности. Проповеди и поучения. – СПб.: Царское Дело, 1994. – 294 с.

Иоанн (Снычев), митрополит. Русская симфония. Очерки русской историософии. – СПб.: Царское Дело, 1998. – 493 с.

Катынь – рождение новой эпохи // Журнал Московской Патриархии. – М., 2012. – № 8. – С. 22–23.

Киреевский И. Обозрение современного состояния литературы // *И. Киреевский*. Полное собрание сочинений. – М.: Типография П. Бахметева, 1861. – Т. 2. – С. 2–3.

Кирилл (Гундяев), патриарх. Быть верным Богу. Книга бесед со Святейшим Патриархом Кириллом / Сост. А.В. Велько. – Минск: Белорусская Православная Церковь, 2010 a. – 591 с.

Кирилл (Гундяев), патриарх. Благовестие и культура: Доклад на Всемирной миссионерской конференции. Сальвадор, Бразилия. 24 ноября – 3 декабря 1996 г. // Церковь и время. – М., 1998. – № 1 (4). – С. 15–34.

Кирилл (Гундяев), патриарх. Вызовы современной цивилизации. Как отвечает на них Православная Церковь? – М.: Даниловский благовестник, 2002. – 141 с.

Кирилл (Гундяев), патриарх. Доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на Архиерейском Соборе 2000 года. – 2008. – 9 июня. – Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/421863.html (Дата посещения: 14.05.2012.)

Кирилл (Гундяев), патриарх. Интервью Предстоятеля Русской Православной Церкви телеканалу «Россия» // Русская Православная Церковь. – М., 2012 a. – 9 сентября. – Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/2457657.html (Дата посещения: 30.11.2012.)

Кирилл (Гундяев), патриарх. Интервью Предстоятеля Русской Церкви телеканалу «Интер» (Украина) // Русская Православная Церковь. – М., 2011. – 25 апреля. – Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/1461440.html (Дата посещения: 14.05.2012.)

Кирилл (Гундяев), патриарх. Слово пастыря. – М., 2005. – 4 июня. – Режим доступа: http://predanie.ru/popup/new.php?flv=/flv/Slovo_pastyrja/2005/Mitr._Kirill._Slovo_pastyirya__ORT_2005-06-04_.flv (Дата посещения: 01.04.2013.)

Кирилл (Гундяев), патриарх. Слово пастыря. – 3-е изд. – М.: Изд-во Московской Патриархии, 2008. – 424 с.

Кирилл (Гундяев), патриарх. «Семья народов» (из выступления на IV ассамблее «Русского мира» 2–4 ноября 2010 г.) // Журнал Московской Патриархии. – М., 2010 d. – № 12. – С. 34.

Кирилл (Гундяев), патриарх. Миссия должна быть делом всей церкви // Журнал Московской Патриархии. – М., 2010 c. – № 12. – С. 23–27.

Кирилл (Гундяев), патриарх. Общество без солидарности не жизнеспособно // Журнал Московской Патриархии. – М., 2009 d. – № 10. – С. 34–41.

Кирилл (Гундяев), патриарх. Патриарх и молодежь: Разговор без дипломатии. – М.: Даниловский благовестник, 2009 a. – 208 с.

Кирилл (Гундяев), патриарх. Проповеди, 2009–2010. – Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2010 b. – 560 с.

Кирилл (Гундяев), патриарх. Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла. – М., 2012 b. – 9 января. – Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/1932241.html (Дата посещения: 14.05.2012.)

Кирилл (Гундяев), патриарх. Русская история требует защиты // Православие и мир. – М., 2012 c. – 1 октября. – Режим доступа: http://www.pravmir.ru/patriarx-kirill-russkaya-istorya-trebuet-zashhity/ (Дата посещения: 30.11.2012).

Кирилл (Гундяев), патриарх. Святая Русь – вместе или врозь? Патриарх Кирилл на Украине. – М.: Даниловский благовестник, 2009 b. – 256 с.

Кирилл (Гундяев), патриарх. Слова. Проповеди. Выступления. – Киев: Издательство Киево-Печерской лавры, 2009 c. – 104 с.

Кирилл (Гундяев), патриарх. Слово пастыря // Русская Православная Церковь. – М., 2011. – 5 ноября. – Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/1673090.html (Дата посещения: 07.04.2013.)

Кирилл (Гундяев), патриарх. У христиан нет времени на раздумья и промедление // Журнал Московской Патриархии. – М., 2012 d. – № 9. – С. 24–28.

Кириллов И.А. Третий Рим. Очерк исторического развития идеи русского мессианизма. – М.: Ладомир, 1996. – 112 с.

Копосов Н. Память строгого режима. История и политика в России. – М.: Новое литературное обозрение, 2011. – 320 с.

Костюк К. Три портрета: Социально-этические воззрения в Русской Православной Церкви конца XX века // Континент. – М., 2002. – № 113. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/continent/2002/113/kost.html (Дата посещения: 14.05.2012.)

Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб.: Искусство-СПб, 2000. – 704 с.

Митрохин Н. Русская православная церковь: Современное состояние и актуальные проблемы. – М.: Новое литературное обозрение, 2004. – 650 с.

Мицкевич А. Книги народа польского и польского пилигримства / Пер. А. Виноградова. – М., 1917. – 70 с.

Нарочницкая Н. Русский мир. – СПб.: Алетейя, 2008. – 302 с.

О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших. – М., 2011. – Режим доступа: http://www.ispovedniki.ru/news/events/430/?b_month=03&b_year=2013&c_month=02&c_year=2013 (Дата посещения: 07.04.2013.)

Обращение Всемирной конференции «Церковь и общество» (Женева, 12–25 июля 1966 г.) // Журнал Московской Патриархии. – М., 1966. – № 10. – С. 46–48.

Основы социальной концепции Русской Православной церкви. – М., 2000. – Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html (Дата посещения: 14.05.2012.)

Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире. – М.: Алгоритм, 2002. – 492 с.

Синицына Н.В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV–XVI вв.) / Ин-т российской истории РАН. Международный семинар «Da Roma alla Terza Roma». – М.: Индрик, 1998. – 416 с.

Совместное послание народам России и Польши Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Председателя Епископской Конференции Польши Архиепископа Юзефа Михалика, митрополита Перемышльского / Русская Православная Церковь. – М., 2012. – 17 августа. – Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/2411498.html (Дата посещения: 30.11.2012.)

Соколовский П.С. Ответственность за мир в африканском богословском мышлении // Журнал Московской Патриархии. – М., 1966. – № 3. – С. 33–37.

Ушакин С.А. Поле пола. – Вильнюс: ЕГУ – М.: ООО «Вариант», 2007. – 320 с.

У России есть 50 лет, чтобы предотвратить свою гибель, считает протоиерей Всеволод Чаплин // Интерфакс. – М., 2011. – 3 октября. – Режим доступа: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=42465 (Дата посещения: 14.05.2012.)

Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Пер. с англ. М.Б. Левина. – М.: ООО «Издательство АСТ: ЗАО НПП «Ермак», 2004. – 588 с.

Шенк Ф.Б. Александр Невский в русской культурной памяти / Авториз. пер. с нем. Е. Земсковой, М. Лавринович. – М.: Новое литературное обозрение, 2007. – 592 с.

Agadjanian A., Rousselet K. Globalization and identity discourse in Russian Orthodoxy // Eastern Orthodoxy in a global age: Tradition faces the twenty-first century / Roudometof V., Agadjanian A., Pankhurst J. (eds.). – Walnut Creek, CA: AltaMira Press, 2006. – P. 29–57.

Agamben G. The time that remains. A commentary on the letter to the Romans. – Stanford, Calif.: Stanford univ. press, 2005. – 197 p.

Bhabha H. The location of culture. – L.; N.Y.: Routledge, 1995. – 286 p.

Burgess J.P. Monasticism as a force for religious and cultural renewal in post-Communist Russia // Journal of religion in Europe. – L., 2011. – Vol. 4, N 2. – P. 225–244.

Chistiakov G. In search of the «Russian idea»: A view from inside the Russian Orthodoxs Church // Religion and identity in modern Russia: The revival of Orthodoxy and Islam / Forest B., Johnson J., Stepaniants M.T. (eds.). – Aldershot, Hants, England; Burlington, VT: Ashgate Pub. Co., 2005. – 149 p.

Eliade M. Myths, dreams and mysteries. The encounter between contemporary faiths and archaic reality. – L.; Glasgow: Collins, 1972. – 256 p.

Etkind A. Internal colonization: Russia's imperial experience. – Cambridge, UK; Malden, MA: Polity Press, 2011. – 264 p.

Groys B. Back from the future // Third Text. – L., 2003. – Vol. 17, Is. 4. – P. 323–331.

Kostjuk K. Der Begriff des Politischen in der russisch-orthodoxen Tradition: Zum Verhältnis von Kirche, Staat und Gesellschaft in Russland. – München: Schöningh, 2005. – 407 S.

Laruelle M. Russian eurasianism: An ideology of empire. – Washington, DC; Baltimore, MD: Johns Hopkins univ. press, 2008. – 276 p.

Miller T. Introduction // Given world and time: Temporalities in context / Miller T. (ed.). – Budapest: CEU Press, 2008. – P. 1–11.

Papkova I. The Orthodox Church and Russian politics. – Washington, DC; Oxford: Oxford univ. press, 2011. – 265 p.

Prozorov S. Russian postcommunism and the end of history // Studies in East European thought. – Hingham, MA, 2008. – Vol. 60. – P. 207–230.

Ramet S. The way we were – and should be again? European Orthodox Churches and the «idyllic past» // Religion in an expanding Europe / Byrnes T.A. and Katzenstein P.J. (eds.). – Cambridge, UK: Cambridge univ. press, 2006. – 352 p.

Smith A.D. Chosen peoples: Sacred sources of national identity. – Oxford: Oxford univ. press, 2008. – 350 p.

Stoeckl K. European integration and Russian Orthodoxy: Two multiple modernities perspectives // European journal of social theory. – Falmer, 2011. – Vol. 14 (2). – P. 217–233.

Stoeckl K. Modern trajectories in Eastern European Orthodoxy: Responses to the post-totalitarian and post-Cold War constellation // Domains and divisions of European history / Arnason J.P., Doyle N.J. (eds.). – Liverpool: Liverpool univ. press, 2010. – 244 p.

Stoeckl K. Modernity and its critique in 20 th century Russian Orthodox thought // Studies of East European thought. – Fribourg, 2006. – Vol. 58. – P. 243–269.

Ushakin S. Patriotism of despair: Nation, war and loss in Russia. – Ithaca: Cornell univ. press, 2009. – 299 p.

Valliere P. Modern Russian theology: Bukharev, Soloviev, Bulgakov: Orthodox theology in a new key. – Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2000. – 443 p.

Walicki A. Philosophy and romantic nationalism: The case of Poland. – Oxford: Clarendon Press, 1982. – 415 p.

О.Ю. Малинова

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМВОЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ: ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКУРСА ВЛАСТВУЮЩЕЙ ЭЛИТЫ[1]

«Общепринятые» представления о прошлом служат одной из главных опор идентичности современных политических сообществ. Отчасти в силу этого, а отчасти – по причине того, что идея истории является фундаментальным принципом воображения социального порядка в эпоху Модерна, апелляция к истории оказывается неотъемлемым атрибутом политической риторики. На «коллективную память» полагается опираться, когда речь идет о легитимации и делегитимации существующего режима, обосновании целей политического курса, мобилизации поддержки, критике оппонентов и прочих задачах, составляющих предмет постоянной заботы политиков. Обращаясь к истории, они объективно участвуют в символической борьбе за ее интерпретацию и вносят лепту в конструирование коллективной идентичности. Однако «работа над прошлым» далеко не всегда ведется целенаправленно и воспринимается в качестве самостоятельной задачи. Поэтому политическое использование истории – категория более широкая, чем «историческая политика»[2]. Согласно определению финского историка М. Кангаспуро, под эту категорию попадают случаи «осознанного и преднамеренного использования истории в качестве инструмента политической аргументации», а также «попытки обрести власть над историей, добиваясь гегемонии определенной ее интерпретации» [Kangaspuro, 2011, p. 295].

[1] Исследование проводится при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант № 11-03-00202 а.

[2] Под этим термином предлагается понимать особую конфигурацию методов, практикуемых политическими элитами некоторых европейских стран, общим для которых является «использование государственных административных и финансовых ресурсов в сфере истории и политики памяти в интересах правящей элиты» [Миллер, 2012 а, с. 19]. Авторы, работающие с этим понятием, подчеркивают активную и сознательную природу исторической политики, использующей прошлое под углом политических интересов и целей настоящего [Torsti, 2008, p. 24].

Очевидно, что «пригодность» прошлого определяется не только соответствием конкретных событий, фигур или символов актуальным политическим целям. Она зависит и от наличного набора массовых представлений, которые, в свою очередь, основываются на различных интерпретациях прошлого, циркулирующих в публичном пространстве. Можно предположить, что опорой макрополитической идентичности[1] могут выступать события, образы, символы, мифы прошлого, которые: а) закреплены в массовом сознании, б) позволяют конструировать положительно окрашенный образ Нас, что определяется их соответствием системам культурных представлений, задающим оценочные шкалы, в) не являются предметом противоположных оценок, конкуренция которых воспринимается по принципу игры с нулевой суммой.

Если эти предположения верны, «тысячелетняя история» России – хотя и богатый, но трудный ресурс для политических антрепренеров, занятых конструированием макрополитической идентичности. Прошлый век оставил им нелегкое наследие: многие события, память о которых настойчиво культивировалась в советский период, затем подверглись переоценке. В то же время многое из того, что служило опорой идентичности до революции, в СССР оказалось «репрессировано» и предано забвению. Что не менее существенно – утратил былую несомненность метанарратив прогресса, обеспечивавший смысловую рамку для интерпретации истории XX в. В этом контексте память о Великой Отечественной войне оказывается особенно ценным символическим ресурсом:

[1] Макрополитическая идентичность – это аналитическая категория, указывающая на всю совокупность различных способов идентификации с сообществом, которое ассоциируется с современным государством [Политическая идентичность… 2012, с. 76].

будучи основательно институционализирована в предыдущие периоды, она транслируется через разные каналы социализации, благодаря чему отличается уникальной органичностью. Кроме того, она может быть вписана в широкий спектр культурно укорененных фреймов[1], начиная с вариаций на тему героизма и национальной славы («защитники свободы», «спасители цивилизации» и т.п.) и заканчивая дискурсом жертвы, чьи страдания требуют моральной компенсации. В силу этого символ войны содержит широкие возможности для конструирования положительно окрашенного образа Нас в разных контекстах. Наконец, хотя память о Великой Победе с течением времени неизбежно подвергается реинтерпретации, в России никто всерьез не ставит под сомнение значение данного события – в отличие, например, от Украины, где оценка событий Второй мировой войны является предметом острых споров [см.: Shevel, 2011; Журженко, 2013]. Неудивительно, что символ Великой Отечественной войны стал главной опорной конструкцией современной российской идентичности. Однако, как мы попытаемся продемонстрировать, это произошло не сразу.

В настоящей статье на основе изучения риторики президентов РФ, публичных выступлений политиков, занимавших ключевые позиции в федеральной исполнительной власти, а также материалов, напечатанных в официальном органе Правительства РФ – «Российской газете»[2], мы попытаемся проследить, как менялись практики политического использования символа Великой Отечественной войны властвующей политической элитой в 1990–2010-х годах.

[1] Под фреймами здесь понимаются устойчивые когнитивные структуры, которые обеспечивают метакоммуникативное определение ситуации, задавая таким образом смысловые рамки для ее репрезентации и понимания.

[2] Этот статус «РГ» обусловлен функцией официального публикатора Указов Президента, постановлений и распоряжений Правительства, а также нормативных актов министерств и ведомств. Тем не менее представляется возможным рассматривать эту газету в качестве источника, наиболее полно отражающего спектр мнений *властвующей* элиты, поскольку, печатая новости о готовящихся и принятых решениях, репортажи и интервью государственных деятелей, она также обеспечивает информационное сопровождение принимаемых решений.

1990-е годы: В поисках новых подходов к политическому использованию памяти о войне

В первые годы существования нового Российского государства интерпретация национального прошлого в публичной риторике властвующей элиты была подчинена главной политической задаче – оправданию курса на радикальную трансформацию советского «тоталитарного» порядка. Цели реформ, начавшихся в 1992 г., формулировались в духе неозападнического дискурса, который сложился еще в годы перестройки [см.: Малинова, 2009, с. 95–108]. Казалось, что победа «демократов» в августе 1991 г. открывает перед Россией перспективу превращения в «нормальную» демократическую страну с рыночной экономикой. По образному выражению министра иностранных дел в правительстве Ельцина – Гайдара А.В. Козырева, *«наша "сверхзадача" – буквально за волосы себя втащить... в клуб наиболее развитых демократических держав. Только на этом пути Россия обретет столь необходимое ей национальное самосознание и самоуважение, встанет на твердую почву»* [Козырев, 1994, с. 22]. Эта «сверхзадача» воспринималась как радикальное изменение сложившейся траектории исторического развития. Примечательно, что многие «демократы», рассуждая о необходимости перемен, использовали метафоры, указывающие на волевой и даже насильственный характер предстоящего прорыва[1]. Отталкиваясь от идеологических оппозиций времен «холодной войны», правящая элита начала 1990-х годов интерпретировала постсоветский транзит в логике историцистской схемы, побуждавшей к тотальному отрицанию советских принципов.

Разумеется, память о советском периоде нельзя было стереть – ее надлежало переосмыслить, вписав в новые нарративы.

[1] Ср. «мюнхгаузеновский» образ Козырева («втащить себя за волосы») с рассуждениями оппозиционера Ю. Афанасьева (*«Необычность… нынешней ситуации… в том, что на эти коренные реформы, на превращение, на прорыв в цивилизацию должны найти в себе силы мы сами – такие, какие мы есть…»* [Афанасьев, 1992, с. 11]. В терминах выбора между двумя стратегиями модернизации – традиционным (*«перенимать не экономические структуры, а результаты, обеспечивать рост, выжимая из общества все ресурсы»*) и новым (*«взрастить на российской почве институты, подобные западным», «укоротить» государство*) – описывал позднее миссию своего правительства и Е. Гайдар [Гайдар, 1994, с. 143–144].

Этот процесс приобретал разные формы, что отчетливо видно на примерах двух событий истории XX в., игравших центральную роль в конструировании советской идентичности – Великой Октябрьской революции и Великой Отечественной войны.

Значение революции в официальном дискурсе 1990-х годов было подвергнуто радикальной переоценке. То, что в советское время интерпретировалось как исторический рывок, позволивший России стать лидером прогресса (по коммунистической версии), стало рассматриваться как катастрофа, прервавшая «нормальный» путь развития страны. По словам Б.Н. Ельцина, именно *«разрушительным радикализмом»*, предопределившим *«стремительный срыв от Февраля к Октябрю»*, объясняется *«тот факт, что в ходе ломки прежних устоев оказалось утрачено многое из достижений дореволюционной России в сфере культуры, экономики, права, общественно-политического развития»* [Ельцин, 1996]. Однако в дискурсе набиравшей влияние лево-патриотической оппозиции переосмысление революции происходило с противоположным знаком: ее стали представлять не только как классовую победу, но и как триумф национального духа, обогатившего коммунистическую идею «истинно русскими» принципами коллективизма, соборности и общинности. Таким образом, попытки власти представить революцию как трагедию наталкивались на стремление лево-патриотической оппозиции превратить ее в несущую опору национальной идентичности. При этом коммунисты и их союзники с успехом использовали богатый ресурс коллективной памяти, закрепленной в праздничных ритуалах, литературе, искусстве, кинематографе, песнях и даже анекдотах. Неудивительно, что данное историческое событие стало предметом перманентной борьбы, ежегодно обострявшейся накануне 7 ноября (этот день оставался официальным праздником до 2004 г.). Переоценка Октябрьской революции происходила по принципу игры с нулевой суммой, поэтому запоздалая попытка власти перехватить инициативу с помощью переопределения праздника 7 ноября (с 1996 г. он стал называться Днем согласия и примирения) едва ли могла принести быстрые плоды[1].

[1] Во всяком случае, было бы наивно полагать, что переименование решит проблему. Как справедливо пишет К. Смит – автор обстоятельного исследования практики политического использования прошлого в ельцинской России, «переработка прошлого в форме примитивного переименования старого праздника не меняет содержания празднования. Чтобы стать эффективными средствами коммуникации, общественные праздники нуждаются в сценариях и ритуалах» [Smith, 2002, p. 99]. Однако никаких систематических усилий в этом направлении предпринято не было.

Иначе обстояло дело с Великой Отечественной войной: ни одна серьезная политическая сила в постсоветской России не подвергала сомнению значение Победы. Тем не менее нарратив о войне менялся – привычные образы приходилось корректировать с учетом нового негативного знания о советском прошлом, и этот процесс происходил не без борьбы. Сознавая ценность памяти о войне, правящая элита настойчиво искала новые способы политического использования этого богатого ресурса. Это проявлялось и в ревизии сложившихся ритуалов празднования, и в изобретении новых символов, и в новациях в официальной риторике 1990-х годов. Власть стремилась представить войну как подвиг народа, а не государства и политической партии. При этом в какой-то мере был использован советский опыт «исправления» официального нарратива после XX съезда КПСС [Копосов, 2011, с. 98–100]. В то же время в постсоветской версии военного нарратива более заметное место заняла тема страданий советского народа, ставшего жертвой не только жестокого врага, но и бесчеловечного режима[1].

Стремление найти новые формы репрезентации памяти о войне отчетливо проявилось в ревизии сложившихся практик празднования Дня Победы. Центральным элементом позднесоветского канона был военный парад на Красной площади с участием высшего советского и партийного руководства, стоящего на трибуне мавзолея В.И. Ленина. Эта традиция не только отсылала к истории парадов военного периода (ноябрьскому 1941 г., прохо-

[1] В 1990-х годах активно практиковалась реабилитация того, что в советский период по политическим или идеологическим соображениям порицалось или было предано забвению. Это давало возможность формировать репертуар позитивных символов, не отступая от доминирующего принципа отрицания «тоталитарного прошлого». В качестве одного из примеров такой практики можно рассматривать попытки «канонизации» фигуры опального маршала Г.К. Жукова (в 1994 г. были изданы указы президента о сооружении памятника выдающемуся военачальнику на Красной площади и учреждении медали и ордена Жукова). Вместе с тем за этими решениями нетрудно усмотреть стремление создать «альтернативу» зловещей фигуре Сталина.

дившему в осажденной фашистами Москве, и Параду Победы 1945 г.), но и подчеркивала связь между победой над нацистской Германией и Великой Октябрьской революцией, празднование которой тоже происходило на Красной площади. Эта традиция оказалась прервана незадолго до распада СССР в силу скорее экономических, нежели идеологических причин (последний советский парад имел место в 1990 г., когда отмечалась 45-я годовщина Победы). С 1993 г. празднества в честь Дня Победы попытались перенести в новый мемориальный комплекс на Поклонной горе, строительство которого было начато еще в 1984 г.; в 1993–1995 гг. он поэтапно вводился в строй. В 1993 и 1994 гг. торжества по случаю Дня Победы проходили именно на Поклонной горе, а в 1995 г. их «историческая» часть – парад с участием ветеранов – проходила на Красной площади, а «современная», включавшая демонстрацию военной техники, – на Поклонной горе. Еще более неординарное решение вопроса о локализации официальных торжеств по случаю Дня Победы было найдено в 1996 г., в разгар президентской избирательной кампании, когда после парада на Красной площади Б.Н. Ельцин полетел в Волгоград, чтобы приветствовать ветеранов войны на Мамаевом кургане.

Поворотной точкой в этих экспериментах, видимо, нужно считать празднование 50-летия Победы в 1995 г. Торжества имели место в разгар военной кампании в Чечне и в канун думской избирательной кампании. И то, и другое существенно затрудняло демонстрацию подобающего для столь важного события единства[1]. Кроме того, бурная реакция на данное Б.Н. Ельциным в конце 1994 г. обещание вернуть Германии трофейные культурные ценности [Smith, 2002, ch. 4] показала, что значительная часть общества не разделяет стремления властвующей элиты «десоветизировать» память о войне и частично отказаться от ее моральных и материальных «результатов» только потому, что они были получены не вполне «праведными» методами. В этих условиях правящая элита была вынуждена отступить от прежних принципов, вернув некоторые элементы советского ритуала – «исторический» парад на Красной площади, речь президента с трибуны мавзолея и Красное Знамя Победы, участвовавшее в торжествах наряду с триколором. Этот символический жест многими был воспринят как свидетельство того, что *«волна отрицания собственной великой истории схлынула», и «понятие патриотизма, преданное было поруганию и лжи», «вновь стало наполняться сокровенным значением»* [Яшманов, 1996]. Ельцину пришлось опровергать версию о том, что власть поддержала настроение «ностальгии по тому общественному строю, который победил». В интервью ОРТ он парировал прямой вопрос корреспондента на этот счет словами: *«Не согласен с этим. Категорически не согласен!.. А при каком строе победил народ при Александре Невском на Чудском озере, а при каком строе Дмитрий Донской победил? А при каком строе Наполеона разбили? При крепостном строе. Так что, выходит, крепостной строй тогда решил победу народа и нашей страны? И сейчас то же самое. Нет, не строй, а народ, наш народ, его характер… – вот что решило»* [Ельцин, 1995 а]. Вместе с тем даже столь явные уступки советской атрибутике не смогли предотвратить «параллельные» мероприятия оппозиции: по инициативе оппозиционных организаций от Белорусского вокзала к Лубянской площади прошел «марш обиженных ветеранов», в котором, по разным оценкам, приняли участие от 35 до 500 тыс. человек [Красников, 1995]. Разумеется, эта ситуация должна была вызывать у правящей элиты тревогу – особенно в преддверии парламентских и президентских выборов. Дальнейшая эскалация «войны символов» могла обернуться серьезными проблемами.

После 1995 г. Ельцин и его окружение стали уделять более систематическое внимание работе над переопределением прошлого. Она стала центральной темой ежегодного послания Федеральному собранию 1996 г., зачитанного 23 февраля, в рамках фактически начавшейся президентской избирательной кампании. Призывая соотечественников найти верную шкалу для оценки трудного периода начала 1990-х годов, первый президент РФ доказывал, что *«мы остро нуждаемся в историческом понимании происходящего»*,

[1] О том, каким диссонансом чеченская война вторгалась в торжественную подготовку праздника, свидетельствует красноречивая зарисовка журналиста С. Кондрашова о телерепортажах с двух войн, соседствовавших в выпусках новостей «Останкино»: *«Одни кадры были черно-белые, другие – цветные.*

На первых наши войска все ближе подходили к Берлину, сокрушая сопротивление немцев. На вторых внуки победителей штурмовали российский город Грозный. В год пятидесятилетия Великой Победы вдруг ворвалась в программу празднования война на собственной территории, бросая бесславный отсвет на сегодняшний день, на минувшие полвека, и на весь трагический советско-российский век» [Кондрашов, 1995].

ибо *«будущее есть только у такого общества, которое уважает собственную историю, понимает свое настоящее и видит пути дальнейшего развития»* [Ельцин, 1996]. Представленная им концепция национального прошлого была весьма критической, особенно по отношению к советскому периоду: ведь именно необходимостью выживания после краха коммунистического проекта, «не выдержавшего испытания на большой исторической дистанции», можно было оправдать тяготы современных реформ[1]. Ельцин всячески подчеркивал беспрецедентность реформ как «первых в истории России преобразований такого масштаба, осуществляемых без подавления и уничтожения политических противников» [там же].

Примечательно, что, сосредоточившись на «трагических последствиях коммунистического эксперимента», он полностью обошел вниманием тему Великой Победы, которая в советском нарративе рассматривалась как подтверждение «правоты» и косвенное оправдание «перегибов» коммунистического режима. В пространном тексте послания имелось лишь одно упоминание о войне, и оно относилось к людям, а не к государству и строю. Заканчивая выступление, Ельцин говорил: *«Верю в свое поколение, мужавшее в годы войны и тяжелой мирной жизни, которое не сломить под грузом нынешних проблем»* [там же]. Хотя патриотический мотив веры «в наше государство с его нелегкой, но великой тысячелетней историей» рефреном проходил через текст послания, его авторы настойчиво стремились подчеркнуть, что все достижения (в том числе и советского периода) – это *«заслуга народа, сумевшего сохранить, несмотря ни на что, свои лучшие национальные черты и качества…»* [там же]. Возвращая элементы советской символики празднования 9 Мая, властвующая элита не отказывалась от «критического компонента» [Smith, 2002, p. 99] новой версии военного нарратива.

[1] Хотя комментаторы справедливо подчеркивают, что выбор в пользу «антикоммунистической» стратегии в президентской избирательной кампании 1996 г. был сделан не сразу [см.: Smith, 2002, p. 142–146], а лишь после прихода к руководству кампанией А.Б. Чубайса, содержание озвученного еще в феврале послания показывает, что если не на уровне избирательных технологий, то на уровне выработки легитимирующего нарратива оправдание действий власти в начале 1990-х по принципу контраста с предшествующими периодами изначально играло ключевую роль.

После президентских выборов 1996 г., продемонстрировавших готовность значительной части избирателей поддержать кандидата от КПРФ, в курсе символической политики произошли некоторые перемены. Они определялись, с одной стороны, новым раскладом сил, а с другой – потребностью в консолидации расколотого политического класса и «стабилизации» конфликтов, которые во время избирательной кампании намеренно обострялись. 7 ноября 1996 г., за год до 80-летия Октябрьской революции Б.Н. Ельцин издал указ, вводивший новую формулу праздника, оставшегося в наследство от советской власти: День согласия и примирения. Можно предположить, что это решение было принято не без борьбы[1], однако Ельцин и его окружение решили не играть на обострение. Не случайно использованное для переопределения праздника слово «согласие» заняло центральное место в риторике президента. Государство перешло от квазиневмешательства в «свободный рынок» идей к продвижению принципа национального консенсуса. Проявлением этих перемен стал не только известный призыв к разработке новой «национальной идеи», озвученный Ельциным через месяц после выборов, но и подписанный в апреле 1996 г. президентский указ, утверждавший использование Красного Знамени Победы наряду с государственным флагом РФ по случаям государственных праздников, в дни воинской славы и при проведении воинских, а также массовых мероприятий, связанных с боевыми победами российского народа [Указ… 1996]. Таким образом, уже в 1996 г. советский символ, возрожденный «по случаю» 50-летия Победы, занял полноправное место в новом российском арсенале (в 2000 г. его статус был закреплен в федеральном конституционном законе). Таким образом, уже в середине 1990-х годов правящая элита вынуждена была пойти на уступки, частично вернув советские практики коммеморации Великой Отечественной

[1] Во всяком случае, некоторые представители прежней властвующей элиты и после победы Ельцина пытались представить ситуацию в терминах «столетней гражданской войны», обвиняя «современных большевиков» в эскалации агрессии. За три недели до ельцинского указа А.Н. Яковлев опубликовал в «Российской газете» статью «Если большевизм не сдается», в которой доказывал, что *«путь к торжеству свободы в России может быть прерван в любой день, если не поставить вне закона большевистскую идеологию человеконенавистничества»* [Яковлев, 1996].

войны. В условиях отсутствия внутриэлитного консенсуса относительно модели новой коллективной идентичности и слабости государства оказалось, что продолжать линию на радикальную переоценку коллективного прошлого невозможно.

Вместе с тем это не означало, что Ельцин и его окружение отказались от идеи «переформатирования» наиболее «политически пригодного» символа истории XX в. Официальное введение новой памятной даты – Дня памяти и скорби, 22 июня[1], дня начала Великой Отечественной войны, – можно рассматривать как попытку создать дополнительный «повод» для политического использования памяти о войне, не столь обремененный советским идеологическим наследием, как 9 мая. Мероприятия и риторика этого дня в меньшей степени связаны с темой национальной славы и в большей – с памятью о жертвах и страданиях народа. Кроме того, годовщина «вероломного нападения гитлеровской Германии на Советский Союз» отмечается также в Белоруссии и Украине, что делает День памяти и скорби удобным поводом для демонстрации «единства» трех народов.

Начиная с 1995 г. Б.Н. Ельцин и его спичрайтеры пытались найти новый ракурс интерпретации Великой Победы, стремясь использовать огромный символический потенциал этого события и вместе с тем – не отступить от принципа «отрицания тоталитарного прошлого». Анализ выступлений президента по случаю Дня Победы показывает, что Ельцин неизменно интерпретировал это событие как «символ мужества, патриотизма, самоотверженности» людей, но не заслугу государства и «советского строя» – в отличие от В.В. Путина, который стал говорить о Великой Победе (как и о некоторых других аспектах советского наследия) с точки зрения преемственности советской и российской государственности. Вместе с тем Ельцин охотно использовал символ Великой Победы, чтобы подчеркнуть единство бывших союзных республик, напомнить Западу о былом сотрудничестве союзников по антигитлеровской коалиции и указать на необходимость преодоления «взаимного недоверия и страха», порожденного эпохой «холодной войны» [Ельцин, 1995 b], а также чтобы призвать к «национальному согласию и единству» «независимо от убеждений и политических пристрастий» [Ельцин, 1999 a]. Таким образом, именно при Ельцине были

[1] Введен Указом Б.Н. Ельцина от 8 июня 1996 г.

заложены основы современной практики политического использования богатейшего символического потенциала памяти о Великой Отечественной войне, успешно продолженной его преемниками.

2000-е годы: Великая Отечественная война как «наше все»

С приходом к власти президента В.В. Путина векторы символической политики очевидно изменились. В новом официальном дискурсе центральное место заняла идея преемственности «тысячелетней» российской государственности вне зависимости от оценок политики, проводившейся на том или ином этапе. Наиболее ярко принцип «сильного государства» как основы прошлого и будущего величия России был выражен в президентском послании Федеральному собранию РФ в 2003 г., когда Путин назвал *«историческим подвигом России и ее граждан» «удержание государства на обширном пространстве, сохранение уникального сообщества народов при сильных позициях страны в мире»* [Путин, 2003 b].

Нужная формулировка была найдена не сразу. Однако первые подвижки обозначились уже в 2000 г. Не будучи, в отличие от своего предшественника, связан принадлежностью к политико-идеологическим лагерям 1990-х годов, Путин мог себе позволить использовать идеи и символы из репертуара «народно-патриотической оппозиции», казавшиеся абсолютно неприемлемыми «демократам». Первым шагом в этом направлении стало принятие в 2000 г. федеральных конституционных законов о государственных символах России, утвердивших трехцветный флаг, который был взят на вооружение «демократическими» силами в дни августовского путча 1991 г., герб с двуглавым орлом – символ империи Романовых, и гимн с новыми словами, положенными на «старую» советскую мелодию. Аргументируя этот компромисс, Путин критиковал тех, кто «предельно идеологизирует» эти символы государства и связывает с ними исключительно «мрачные стороны в нашей истории». По словам президента, *«если мы будем руководствоваться только этой логикой, тогда мы должны забыть и достижения нашего народа на протяжении веков. Куда мы с вами тогда поместим достижения русской культуры? Куда мы денем Пушкина, Достоевского, Толстого, Чайковского? Куда мы денем достижения русской науки – Менделеева, Лобачевского и многих, многих других? А их имена, их достижения тоже были связаны с этими*

символами. И неужели за советский период существования нашей страны нам нечего вспомнить, кроме сталинских лагерей и репрессий? Куда мы тогда с вами денем Дунаевского, Шолохова, Шостаковича, Королёва и достижения в области космоса? Куда мы денем полет Юрия Гагарина? А как же блестящие победы русского оружия со времен Румянцева, Суворова и Кутузова? А как же победа весной 1945 года? Я думаю, что если мы подумаем обо всем этом, то мы признаем, что мы не только можем, но и должны использовать сегодня все основные символы нашего государства» [Путин, 2000]. Список национальных достижений, которые не должны быть забыты, отчетливо распадался на три категории: а) заслуги великих соотечественников на почве культуры и науки, получившие мировое признание, б) военные победы прошлого, в ряду которых центральное место занимает Великая Отечественная война, в) достижения в области освоения космоса. Хотя позиции, включенные в этот список, несомненно, могли быть полезны для конструирования положительного образа Нас, им явно недоставало «связующего начала». Таким началом, позволяющим объединить разрозненные элементы признанного «политически пригодным» прошлого, и стала идея великодержавности, проецируемая на всю «тысячелетнюю историю» России.

Вместе с тем ключевой проблемой данного подхода к конструированию российской идентичности остается скудость репертуара актуализированных в массовом сознании символов прошлого, на которые могли бы опираться политики. В результате именно события XX в. чаще всего упоминаются в официальной риторике; более отдаленные периоды «тысячелетней истории» слабо конкретизированы и потому скорее выступают фоном, на котором разворачиваются символические битвы за интерпретацию недавнего прошлого[1].

Естественным следствием изменений в поддерживаемой властью модели коллективной идентичности стала переоценка советского наследия. Путин впервые затронул эту тему, еще будучи кандидатом в президенты. В 1999 г. в программной статье «Россия на рубеже тысячелетий» он написал: *«Было бы ошибкой не видеть, а тем более отрицать несомненные достижения того времени»*, – а ниже в духе «демократического» дискурса 1990-х годов добавил: *«Как ни горько признаваться в этом, но почти семь десятилетий мы двигались по тупиковому маршруту движения, который проходил в стороне от столбовой дороги цивилизации»* [Путин, 1999]. Эта амбивалентность оценок советского опыта сохранилась и в последующих выступлениях нового президента РФ.

Более решительный поворот в этом аспекте символической политики обозначился лишь в начале второго президентского срока Путина, когда в 2005 г. в послание Федеральному собранию были включены известные слова о распаде СССР как *«крупнейшей геополитической катастрофе века»* [Путин, 2005 a], которые явно противоречили оценке, многократно озвученной Ельциным (ср.: *«Советский Союз рухнул под тяжестью всеобъемлющего кризиса, разодранный на куски экономическими, политическими и социальными противоречиями»* [Ельцин, 199 b]). Вместе с тем интерпретация распада СССР (который де-факто был актом рождения нового Российского государства) как случайной катастрофы, спровоцированной действиями плохих политиков, прекрасно вписывалась в концепцию «тысячелетней» великой державы.

«Реабилитация» советского прошлого в официальной символической политике происходила избирательно: наиболее одиозные моменты были исключены из репертуара «используемого» прошлого. Примечательно, что именно при Путине в 2004 г. был отменен государственный праздник, ежегодно вызывавший острые споры, – годовщина Октябрьской революции. 7 ноября осталось «памятным днем» календаря в формулировке, введенной Ельциным – как День согласия и примирения. «Вместо него» появился новый государственный праздник – День народного единства 4 ноября, весьма условно приуроченный к дате освобождения Китай-города народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 г. [Назаров, 2004]. Однако творцам нового праздника так и не удалось укоренить его в практиках и ритуалах, способных вызвать общественный резонанс; его смысл остается непонятным и для элит, и для широкой публики [см.: Ефремова, 2012]. Правда, оставшийся «ничейным» праздник

[1] В общей массе упоминаний о прошлом, обнаруженных нами в ежегодных президентских посланиях Федеральному собранию РФ с 1994 по 2012 г., лишь 4% составляют события и явления дореволюционной истории, 17 – ссылки на имена деятелей отечественной культуры, 23 – оценки постсоветского периода, 26 – воспоминания о советской эпохе и 30% – рассуждения общего характера [Малинова, 2011; Малинова, 2013].

оказался успешно «освоен» организаторами традиционно проходящих в этот день «Русских маршей», но это едва ли входило в планы его «авторов».

В выступлениях Путина разных лет можно обнаружить немало критических замечаний по поводу советского прошлого; описываемые изменения в символической политике не означали его тотальной апологии[1]. История СССР оказалась «политически пригодной» прежде всего как история великой державы, которая, несмотря на все трудности, была способна осуществить (пусть и не вполне совершенную) модернизацию и превратиться в ведущего актора мировой политики. Тоталитарные практики и репрессии были «вынесены за скобки». Примечательно, что сходная редукция «актуальной» памяти имела место в массовом сознании. Согласно исследованиям Левада-Центра, «символическое примирение» с советским прошлым в конце 1990-х – начале 2000-х годов сопровождалось «декоммунизацией» советских символов, которые «теперь связаны в общественном сознании не с коммунистической партией, ее руководством, тоталитарной пропагандой и т.п., а с идеализированным образом коллективного существования “всего народа”» [Дубин, 2011, с. 18–19].

В этом контексте память о Великой Отечественной войне оказалась наиболее «удобным» элементом репертуара «политически пригодного» прошлого именно потому, что, будучи основательно институционализирована в предыдущие периоды, в постсоветской России она не стала объектом переопределения по принципу игры с нулевой суммой. У конкурирующих историй о войне есть несомненный общий знаменатель – признание величия подвига, совершенного народом, и исторического значения победы для нашей страны и всего мира. Курс на частичную «реабилитацию» советского наследия в логике «тысячелетней истории» открывал более широкие возможности для использования символа победы по сравнению с ельцинской формулой «заслуги нашего народа, но не советского строя».

[1] Советское прошлое нередко оказывается объектом критики в нейтрально-обезличенной форме. См. напр. в последнем по времени послании президента В.В. Путина Федеральному собранию: *«Попытки государства вторгаться в сферу убеждений и взглядов людей – это, безусловно, проявление тоталитаризма. Это для нас абсолютно неприемлемо»* [Путин, 2012 b].

Не случайно в 2000-х годах символ Великой Отечественной войны стал широко использоваться в различных политических контекстах, обрастая новыми интерпретациями. Контент-анализ официальных выступлений президентов В.В. Путина и Д.А. Медведева по случаю Дня Победы, доступных на сайтах[1], наглядно демонстрирует последовательную диверсификацию символической нагрузки данного события (см. табл.). Объектами изучения стали речи, произнесенные во время парадов на Красной площади, а также на торжественных приемах в Кремле. Мы попытались выделить основные фреймы, использовавшиеся для репрезентации памяти о войне. Целью анализа было зафиксировать факты использования тех или иных фреймов и таким образом проследить динамику смыслового репертуара; задача подсчета частоты высказываний не ставилась.

Как видно из таблицы, есть четыре темы, которые неизменно находят отражение в официальных речах по случаю Дня Победы: это дань памяти жертв войны и пережитых страданий (фрейм 1), благодарность ветеранам, нередко подкрепляемая заявлениями о мерах материальной поддержки (фрейм 2), рассуждения о преемственности поколений (фрейм 3) и констатация политических уроков войны (фрейм 14). Все эти фреймы с некоторыми вариациями продолжают традиции выступлений советского руководства. Преемственность особенно очевидна в случае «уроков войны»: хотя соответствующий раздел речи первого лица каждый раз пишется применительно к контексту, его основной идеей является подтверждение значимости неких международных принципов, ратуя за которые, Россия предстает в роли хранительницы некоего исторического опыта, выстраданного в годы войны[2].

Что действительно является новым в речах путинско-медведевского периода, так это настойчивое стремление использо-

[1] http://www.kremlin.ru и http://archive.kremlin.ru

[2] Это могут быть рассуждения о важности поддержания мира, отхода от «идеологии конфронтации и экстремизма» или о необходимости «строгого соблюдения международных норм» и «уважения государственного суверенитета». Существенно в данном случае то, что «у нас есть великое моральное право – принципиально и настойчиво отстаивать свои позиции, потому что именно наша страна приняла на себя главный удар нацизма, встретила его героическим сопротивлением, прошла через тяжелейшие испытания, определила сам исход той войны, сокрушила врага и принесла освобождение народам всего мира» [Путин, 2012 a].

вать память о Великой Отечественной войне для конструирования идентичности сообщества, стоящего за новым Российским государством. Тенденция к «национализации» памяти о войне[1] отчетливо прослеживается на примерах позиций (фреймы 4–7) в нашей таблице: удачные находки настойчиво тиражируются, выливаясь в устойчивые риторические формулы. И Путин, и Медведев продолжили ельцинскую тему Дня Победы как праздника *национального единства*, сплачивающего *россиян* независимо от поколенческих и идеологических различий (фрейм 4)[2]. Вместе с тем интерпретация символа Великой Отечественной войны в контексте «тысячелетней истории» открывала широкие возможности и для его использования в рамках двух других лейтмотивов национализма, выделенных Э. Смитом, – *национальной идентичности* и *национальной автономии* [Смит, 2004, с. 343]. В речах Путина и Медведева война стала представляться как триумф национального характера. Так, 9 мая 2000 г. В.В. Путин говорил: *«Дорогие фронтовики, с вами мы привыкли побеждать. Эта привычка вошла нам в кровь, стала залогом не только военных побед. Еще не раз она выручит в мирной жизни, поможет нашему поколению выстроить сильную, процветающую страну, высоко поднимет российское знамя демократии и свободы…»* [Путин, 2000 b]. В этом контексте призыв к «реабилитации» советского наследия звучал по-человечески органично: *«Тот, кто пытается отнять у нас память о большой и могучей стране, тот пытается отнять у ветеранов их весну и их молодость, полную жизненных планов и надежд. Для них это была эпоха послевоенного обретения себя... Это действительно была эпоха нашего возрождения»* [Путин, 2000 c]. Освобожденная от бремени коммунистического наследия и представленная под сугубо «человеческим» углом, память о войне становилась ценнейшим материалом для конструирования национальной идентичности в новых геополитических границах[1], но на основе «тысячелетней» преемственности.

С разными вариациями тема Победы как проявления российского национального характера и в дальнейшем звучала в официальных речах Путина и Медведева. *«До сих пор мы удивляем мир силами нашей Родины, удивляем своей стойкостью и мощью*, – говорил второй президент РФ, связывая тему войны с идеей "сильного государства". – *Но, собственно говоря, в этом нет ничего удивительного... Этот дух, эта вера достались нам от вас, дорогие наши ветераны. Ваша судьба и ваши подвиги – ...пример для тех, кто поднимает наше новое сильное государство. Россия испокон веку была страной-победительницей. Страной мирной, но уважающей и себя, и свое национальное достоинство. Такой она останется и впредь»* [Путин, 2000 c][2]. 9 Мая представлялось как *«вершина нашей славы»* [Путин, 2004], день, *«который объединяет сейчас всех граждан России»* [Путин, 2012 a], а война – как событие, которое *«сделало нас сильной нацией»* [Медведев, 2010 a].

Война стала рассматриваться как кульминационная точка нарратива о национальном прошлом (фрейм 6). В разные годы, стоя на трибуне мавзолея, Путин и Медведев рассуждали о том, что парад происходит *«на исторической Красной площади… исхоженной ратниками разных времен…»* [Путин, 2000]; что *«эта война сделала нас сильной нацией»* [Медведев, 2010 a]; что «*люди, прошедшие войну, за короткое время подняли страну из руин… первыми прорвались в космос…»* [Медведев, 2011 b]; что ветераны Великой Отечественной *«черпали силы в славных традициях русского воинства»* [Путин, 2012 a] и др.

Любопытно, что, конструируя новую идентичность по лекалам политкорректности, заданным советской национальной поли-

[1] По определению Т. Журженко, «национализация памяти связана с реинтерпретацией советского нарратива о Великой Отечественной войне, переоценкой ее основных событий, действующих лиц и основных итогов в процессе конструирования постсоветскими элитами новых национальных идентичностей и национальных "культур памяти"» [Журженко, 2013, с. 94].

[2] Ср.: «…сегодня праздник Победы объединяет россиян независимо от убеждений и политических пристрастий» [Ельцин, 1999]; «Сегодня мы отмечаем самый народный праздник. И гордимся тем, что у нас есть такой день, день нашего национального единения» [Путин, 2004]; праздник, «который уже навеки стал символом нашего национального единства» [Медведев, 2008].

[1] «Человеческое» измерение Победы служило удобным мостиком и к теме «национальной автономии». См. напр. ее развитие в речи Д.А. Медведева: «Есть вещи, которыми нельзя поступаться ни при каких обстоятельствах, – это свобода людей, достоинство страны и покой родного дома. Это дорого каждому и делает нас единой, сильной нацией» [Медведев, 2011 б].

[2] Ср. аргументацию Д.А. Медведева в программной статье «Россия, вперед!»: «Народ, победивший жестокого и очень сильного врага в те далекие дни, должен, обязан сегодня победить коррупцию и отсталость. Сделать нашу страну современной и благоустроенной» [Медведев, 2009 a].

тикой, спичрайтеры президентов РФ время от времени использовали традиционную формулу «победы как общего достояния братских народов СССР» (которая теперь служила одним из постоянных элементов «внешнеполитических» разделов выступлений (фрейм 8)), чтобы подчеркнуть «многонациональность» российского народа. 9 Мая рассматривается теперь как «общий праздник народов России и стран Содружества Независимых Государств» [Путин, 2004]. Вновь и вновь подчеркивается, что «в те грозные годы плечом к плечу сражались с врагом люди самых разных национальностей» [Медведев, 2008], что «война лишила жизни десятки миллионов людей, граждан многих возрастов, многих стран, национальностей, вероисповеданий» [Медведев, 2010 a]. Судьба ветеранов представляется как «пример для всех поколений нашей большой, многонациональной страны» [Путин, 2012].

Переформатирование коснулось также внешнеполитических проекций темы Великой Отечественной войны. День Победы традиционно использовался как повод напомнить о символических границах, объединяющих или разделяющих Нас и Других. После распада СССР бывшие союзные республики оказались в числе последних, и в праздничных президентских речах неизменно упоминалось о нерушимости их «братства и сотрудничества», скрепленного общей памятью о войне (фрейм 8). При этом спичрайтеры виртуозно жонглировали идеей «единства памяти», применяя ее то ко всему Советскому Союзу, то лишь к Содружеству Независимых Государств, чтобы «застолбить» границы так, как это представлялось политически целесообразным. Например, в год празднования 60-летия Победы, омраченного международными скандалами в связи с отказом глав прибалтийских государств участвовать в торжествах, Путин, рассуждая о тяжести потерь, понесенных «всеми народами и республиками *Советского Союза*», заключал: «И потому 9 Мая – священная дата для всех стран *Содружества Независимых Государств*». Таким образом, очерчивая круг тех, с кем у нас «единая скорбь, единая память и единый долг перед грядущими поколениями», он демонстративно исключал из него прибалтийские государства [Путин, 2005 b]. Нужно отметить, что традиция представлять память о Победе как общее достояние, сплачивающее страны СНГ, была заложена еще Ельциным. Например, в 1995 г. в День Победы он поздравлял *«фронтовиков, живущих во всех странах Содружества Независимых Государств*

и за их пределами» [Ельцин, 1995 b]. Однако различие между двумя юбилейными речами очевидно. Слова первого президента России обращены к *людям*, разделенным государственными границами, но объединенным общей памятью. Путинская же формулировка относится к *странам*, которые общая память побуждает укреплять символические границы, передавая потомкам «дух нашего исторического родства» [Путин, 2005 b]. Прибалтийские государства, настаивающие на собственной интерпретации событий Второй мировой войны, кардинально не совпадающей с нарративом, преобладающим в России, оказывались в числе Других, которые демонстративно не подлежат упоминанию в торжественный момент праздника.

Стоит отметить, что та же формула умолчания использовалась применительно к другим посткоммунистическим странам. Обязательные для речей советского времени упоминания об успехах народной демократии как одном из благотворных последствий победы Красной армии над фашизмом по понятным причинам стали неактуальны. Однако и переработки данного аспекта официальной версии нарратива о войне не произошло. Поэтому тема памяти о войне применительно к Восточной Европе скрыта за общими упоминаниями об освобожденных народах Европы» и «подвигах антифашистского сопротивления»[1].

Зато, также следуя давней традиции, в своих обращениях 9 Мая президенты России систематически вспоминали о союзниках по антигитлеровской коалиции, используя эту возможность не только для того, чтобы подтвердить приверженность традициям сотрудничества и обозначить новые проблемы, требующие совместного решения (фрейм 11)[2], но и для того, чтобы покритиковать западных партнеров (фрейм 12), апеллируя к политическим уро-

[1] Примечательно, что в 1995 г., когда «войны памяти» еще не начались, Ельцин, перечисляя тех, чей вклад в победу «мы всегда будем помнить», наряду с «народами Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Китая» называл Польшу и Югославию [Ельцин, 1995 b].

[2] Например, в 2005 г. Путин говорил об опасностях экстремизма и расизма, *«которые не менее безжалостны, чем нацизм»* [Путин, 2005 c]; в 2007 г. вспоминал о неких «новых угрозах», которые обусловлены *«все тем же презрением к человеческой жизни, теми же претензиями на мировую исключительность и диктат»*, что и во времена «Третьего рейха» [Путин, 2007] и т.п.

кам войны (фрейм 14)[1]. Впрочем, эти фреймы едва ли могут рассматриваться как новшество: прямая или завуалированная критика союзников под флагом воспоминаний об успехах былого сотрудничества вставлялась в праздничные речи первых лиц еще с советских времен. Одна из причин, по которым победа над фашизмом так важна для советской и российской идентичности, заключается в том, что это событие имеет огромный символический потенциал для репрезентации Нас как равных и даже в некоторых отношениях морально превосходящих Значимого Другого, традиционно именуемого «Западом». Неудивительно, что руководители России и СССР не упускали случая воспользоваться этим преимуществом.

Выступления в День Победы не могли обойтись и без упоминаний о бывшем Враге (фрейм 9). Очевидно, однако, что пассажи о «преступных злодеяниях» фашистов вставлялись в тексты речей российских президентов не для того, чтобы проецировать образ Врага из прошлого в настоящее, а с целью подчеркнуть масштаб предотвращенной катастрофы, тяжесть страданий и величие героизма «нашего народа». В некоторых случаях напоминания о событиях войны дополнялись рассуждениями о значимости «исторического примирения между Россией и Германией» [Путин, 2005 b] и позитивной оценкой «сбалансированной позиции» руководства ФРГ в вопросах политики памяти [Медведев, 2011 a].

Наконец, тема Победы открывала широкие возможности для артикуляции «общечеловеческих» принципов, что позволяет представлять современную Россию защитницей либеральных «европейских» ценностей. Ключевыми идеями здесь были справедливость[2], свобода[1], права человека и прочный мир. Однако «либеральной» реинтерпретации подвергалось советское прошлое. И здесь особенно очевиден контраст с подходами 1990-х. В 1995 г., когда Ельцин говорил о том, что завершение «холодной войны» позволяет в полной мере воспользоваться плодами победы 1945 г., превратив Европу в *«единое сообщество демократических наций»*, общность ценностей связывалась с будущим, в которое *«человечество войдет, навсегда отринув страшные понятия: “тоталитаризм”, “национальная ненависть”, “мировая война”»* [Ельцин, 1995 b]. Когда же Путин спустя десять лет рассуждал о том, что *«победа 45-го высоко подняла ценность и самой жизни, призвала к истинному уважению к личности и правам человека»*, – он отождествлял с этими либеральными формулами советский опыт, «забывая» про те его аспекты, которые в них не вписывались [Путин, 2005 c].

Таблица

Репрезентации символа Великой Отечественной войны в официальных выступлениях В.В. Путина и Д.А. Медведева по случаю Дня Победы, 2000–2012

Фреймы репрезентации символа Великой Отечественной войны	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Память о павших; война как история страданий и жертв (1)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Благодарность ветеранам (2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Преемственность поколений (3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

[1] Этот фрейм особенно настойчиво использовал Д.А. Медведев, который вынужден был опираться на память о войне для легитимации своей позиции в конфликте с Грузией в августе 2008 г. Выступая на параде 9 Мая 2009 г., он особо подчеркивал, что урок войны *«актуален и сегодня, когда вновь находятся те, кто идет на военные авантюры»* [Медведев, 2009 b]. В 2010 г., делая прозрачные намеки на США, президент РФ говорил: *«Война показала, к какой страшной черте могут подвести претензии на мировое господство. Насколько опасны попытки силового давления на свободные народы, на суверенные государства»* [Медведев, 2010 b].

[2] В праздничных речах часто присутствовала тема Победы как «справедливости». См. у Путина: *«В этот день свершилась величайшая справедливость в мировой истории. Победа стала главной наградой за пережитое в годы войны…»* [Путин, 2003 a]; *«9 мая 45-го года свершилась величайшая справедливость»* [Путин, 2005 c].

[1] 9 Мая традиционно представлялось как торжество *«победы добра над злом, свободы – над тиранией»* [Путин, 2005 b]. Вместе с тем в выступлении на торжественном приеме в 2005 г., имевшем место в разгар международного конфликта по поводу интерпретации 9 Мая, Путин развил тему свободы словами: «В борьбе с нацизмом были отвоеваны права людей на свободу, на саму жизнь, на *самостоятельный выбор пути развития*…» [Путин, 2005 c]. Последняя фраза, формально продолжая ряд либеральных ценностей, в действительности означала поддержку традиционной советской интерпретации событий 1944–1945 гг., против которой официально выступило руководство государств Прибалтики и Польши.

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Праздник, который всех объединяет (4)	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X
Война как выражение национального характера (5)	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Война как часть нарратива национальной истории (6)	X		X						X		X	X	X
Война как общее дело этнических групп, составляющих «многонациональный народ РФ» (7)					X	X			X		X	X	X
Общее достояние народов СНГ (8)	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X
Память о Враге (9)			X	X		X	X				X		X
Сотрудничество с Германией в области «политики памяти» (10)						X						X	
Опыт солидарности с партнерами по антигитлеровской коалиции (11)			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Критика западных партнеров (12)										X	X		X
Задача укрепления Вооруженных сил (13)	X	X	X						X	X		X	
Политические уроки войны (14)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Война как напоминание о фундаментальных «общечеловеческих» / «европейских» ценностях (15)		X				X					X	X	X

Заключение

Наш анализ официальных выступлений показывает, что в 2000-х годах имело место не только активное использование темы Победы с политическими целями, но и расширение ее символического репертуара за счет появления новых смысловых функций. Последние были связаны с артикуляцией ключевых тем «дискурса

о нации» – национальной идентичности, автономии и единства, а также с возможностью репрезентировать Россию как «равную» и «подобную» «Западу»[1]. И то, и другое стало возможным за счет изменения подхода к работе с советским прошлым: отказавшись от критического нарратива 1990-х годов, властвующая элита сделала выбор в пользу выборочного использования «удобных» фрагментов коллективного прошлого на основе весьма схематично очерченной идеи «тысячелетней истории» становления России в качестве «великой державы». Память о Великой Отечественной войне оказалась одним из немногих моментов коллективного прошлого, «пригодных» для конструирования новой макрополитической идентичности и решения иных текущих задач, поскольку ее значение не стало предметом оспаривания – во всяком случае, в самой России. Не случайно Н.Е. Копосов высказал предположение, что миф о войне в постсоветской России выполняет функцию «мифа происхождения»[2], которую в силу резкого расхождения оценок не могут выполнять события, связанные с распадом СССР. На наш взгляд, учитывая остроту конфликтов по поводу коллективного прошлого, трудно говорить о «мифе происхождения» применительно к современной России, ибо функции такого мифа вытекают из коллективно разделяемого метанарратива, который определяет смысл(ы) тех или иных событий [см.: Gill, 2011; Gill, 2012]. Вместе с тем очевидно, что символ Великой Победы, благодаря его интенсивному политическому использованию, с одной стороны, и укорененности в

[1] Существенным новшеством, привнесенным в дискурс о российской идентичности Путиным и его спичрайтерами в 2000–2007 гг., была новая модель коллективной самоидентификации по отношению к Другому, традиционно именуемому «Западом», которая сочетала «западническое» представление об *общности целей и ценностей* России и «Запада» с «почвенническим» акцентом на *самобытный* способ их реализации, пытаясь представить Россию как *актуально* (а не только потенциально) *подобную* и *равную* Значимому Другому и даже способную служить ему образцом в осуществлении *общих* ценностей [Малинова, 2008].

[2] «Миф происхождения» (myth of origin) – это фундаментальный миф об историческом моменте, когда «нация» кристаллизировалась в своей «современной» форме [Schopflin, 1997, p. 33–34; Coakley, 2007, p. 542–543]. По мнению Копосова, миф о войне в каком-то смысле изначально имел такие функции, ибо легитимировал новые советские формы социальной организации, прошедшие «проверку» войной. В современных условиях «миф о войне в концентрированном виде выражает историческую концепцию нового режима» [Копосов, 2011, с. 163–164].

массовом сознании – с другой, выступает в качестве важной узловой точки современной российской идентичности.

На наш взгляд, этим в существенной мере объясняется настойчивость российской стороны в «войнах памяти», развернувшихся в Восточной Европе во второй половине 2000-х годов [см.: Ачкасов, 2012; Миллер, 2012; Onken, 2007; Torsti, 2008; Mälskoo, 2009; Kangaspuro, 2011 и др.]. Как точно подметили некоторые исследователи международных отношений, «Москва воспринимает попытки некоторых новых членов ЕС скорректировать “мнемоническую карту Европы” как стремление поставить под сомнение самоощущение, престиж и международный статус России» [Торбаков, 2012, с. 103; ср.: Mälksoo, 2009, p. 664]. Однако не меньшее значение имеет внутриполитический ракурс проблемы: в силу обстоятельств память о войне оказалась уникальным ресурсом для конструирования макрополитической идентичности, которым властвующая элита не решается рисковать. А это значит, что пока доминирующий нарратив о «великой Победе» сохраняет массовую поддержку внутри страны, попытки пересмотреть его едва ли получат поддержку сверху.

Список литературы

Афанасьев Ю. Прошел год // Год после Августа. Горечь и выбор. – М.: Литература и политика, 1992. – С. 7–12.

Ачкасов В.А. Роль политических и интеллектуальных элит посткоммунистических государств в производстве «политики памяти» // Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки; Ред. кол.: О.Ю. Малинова, гл. ред., и др. – М., 2012. – Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. – С. 126–148.

Дубин Б. Символы возврата вместо символов перемен // Pro et contra. – М., 2011. – № 5 (53). – С. 6–22.

Ельцин Б.Н. Мы должны чтить свою Конституцию: Интервью президента России Б.Н. Ельцина Общественному российскому телевидению // Российская газета. – М., 1995 а. – 26 мая, № 101. – С. 1–2.

Ельцин Б.Н. Фрагмент выступления президента России Б.Н. Ельцина 9 мая на приеме в Государственном Кремлевском дворце // Российская газета. – М., 1995 б. – 11 мая, № 90. – С. 1.

Ельцин Б.Н. Послание Президента России Бориса Ельцина Федеральному собранию РФ: «Россия, за которую мы в ответе». – М., 1996. – 23 февраля. – Режим доступа: http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rosii_borisa_elcina_federalnom

u_sobraniju_rf_rossija_za_kotoruju_my_v_otvete_1996_god.html (Дата посещения: 11.11.2012.)

Ельцин Б.Н. Великий день Победы нашей: Выступление президента РФ Б.Н. Ельцина на параде, посвященном 54-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне // Российская газета. – М., 1999. – 12 мая, № 90. – С. 1.

Ефремова В.Н. День народного единства: Изобретение праздника // Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. – М., 2012. – Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. – С. 286–261.

Журженко Т. «Общая победа»? «Чужая война»? Национализация памяти о Второй мировой войне в украинско-российском приграничье // Пути России. Историзация социального опыта. – М.: Новое литературное обозрение, 2013. – Том 18. – С. 93–125.

Козырев А.В. Преображение. – М.: Международные отношения, 1994. – 336 с.

Кондрашов С.В. В Женеве спустя эпоху // Известия. – М., 1995. – 4 февраля, № 2 (24381). – С. 5.

Копосов Н.Е. Память строгого режима. История и политика в России. – М.: Новое литературное обозрение, 2011. – 320 с.

Красников Е. Оппозиция // Независимая газета. – М., 1995. – № 79, 11 мая. – С. 4.

Малинова О.Ю. Образы России и «Запада» в дискурсе власти, (2000–2007 гг.): Попытки переопределения коллективной идентичности // Образ России в мире: Становление, восприятие, трансформация / Отв. ред. И.С. Семененко. – М.: ИМЭМО РАН, 2008. – С. 86–106.

Малинова О.Ю. Россия и «Запад» в XX веке: Трансформация дискурса о коллективной идентичности. – М.: РОССПЭН, 2009. – 190 с.

Малинова О.Ю. Тема прошлого в риторике президентов России // Pro et contra. – М., 2011. – № 3–4. – С. 106–122.

Малинова О.Ю. Конструирование смыслов: Исследование символической политики в современной России / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки. – М., 2013 (в печати).

Медведев Д.А. Выступление на Военном параде в честь 63-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. – М., 2008. – 9 мая. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/transcripts/30 (Дата посещения: 26.09.2012.)

Медведев Д.А. Россия, вперед! // Газета.ru. – М., 2009 а. – 10 сентября. – Режим доступа: http://gazeta.ru/comments/2009/09/10_a_3258568.shtml (Дата посещения: 11.09.2009.)

Медведев Д.А. Выступление на военном параде в честь 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне // Президент России. – М., 2009 b. – 9 мая. – Режим доступа: http://news.kremlin.ru/transcripts/4015 (Дата посещения 26.09.2012.)

Медведев Д.А. Выступление Президента России на параде, посвященном 65-летию Победы в Великой Отечественной войне // Президент России. – М., 2010 а. – 9 мая. – Режим доступа: http://news.kremlin.ru/transcripts/7685 (Дата посещения 26.09.2012.)

Медведев Д.А. Выступление на приеме от имени Президента России по случаю 65-летия Победы в Великой Отечественной войне // Президент России. – М.,

2010 b. – 9 мая. – Режим доступа: http://news.kremlin.ru/transcripts/7688 (Дата посещения: 26.09.2012.)

Медведев Д.А. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями военно-патриотических организаций // Президент России. – М., 2011 a. – 8 мая. – Режим доступа: http://news.kremlin.ru/transcripts/11191 (Дата посещения: 29.09.2012.)

Медведев Д.А. Выступление на военном параде, посвященном 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне // Президент России. – М., 2011 b. – 9 мая. – Режим доступа: http://news.kremlin.ru/transcripts/11196 (Дата посещения: 29.09.2012.)

Миллер А.И. Историческая политика в Восточной Европе начала XXI века // Историческая политика в XXI веке / Под ред. А. Миллера, М. Липман. – М.: Новое литературное обозрение, 2012 a. – С. 7–32.

Миллер А.И. Историческая политика в России: Новый поворот? // Историческая политика в XXI веке / Под ред. А. Миллера, М. Липман. – М.: Новое литературное обозрение, 2012 б. – С. 328–367.

Назаров В. Что будут праздновать в России 4 ноября 2005 года // Отечественные записки. – М., 2004. – № 5 (20). – С. 85–99.

Политическая идентичность и политика идентичности / Отв. ред. И.С. Семененко. – М.: РОССПЭН. 2012. – Т. 1: Словарь терминов и понятий. – 208 с.

Путин В.В. Выступление на Военном параде в честь 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне // Президент России. – М., 2005 b. – 9 мая. – Режим доступа: http://archive.kremlin.ru/appears/2005/05/09/1100_type63374type82634type122346_87819.shtml (Дата посещения 18.11.2012.)

Путин В.В. Выступление на приеме, посвященном 60-й годовщине Великой Победы // Президент России. – М., 2005 c. – 9 мая. – Режим доступа: http://archive.kremlin.ru/appears/2005/05/09/1444_type63374type82634type122346_87849.shtml (Дата посещения: 18.11.2012.)

Путин В.В. Выступление на военном параде в честь 62-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне // Президент России. – М., 2007. – 9 мая. – Режим доступа: http://archive.kremlin.ru/appears/2007/05/09/1127_type63374type82634type122346_127658.shtml (Дата посещения: 18.11.2012.)

Путин В.В. Выступление на военном параде в ознаменование 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне // Президент России. – М., 2012 a. – 9 мая. – Режим доступа: http://news.kremlin.ru/transcripts/15271 (Дата посещения 18.11.2012.)

Путин В.В. Выступление на параде, посвященном 55-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне // Президент России. – М., 2000 b. – 9 мая. – Режим доступа: http://archive.kremlin.ru/appears/2000/05/09/0001_type82634type122346_28722.shtml (Дата посещения: 26.09.2012.)

Путин В.В. Выступление на торжественном приеме, посвященном 55-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне // Президент России. – М., 2000 c. – 9 мая. – Режим доступа: http://archive.kremlin.ru/appears/2000/05/09/0002_type122346_28725.shtml (Дата посещения: 26.09.2012.)

Путин В.В. Выступление на приеме по случаю 58-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне // Президент России. – М., 2003 a. – 9 мая. – Режим доступа: http://archive.kremlin.ru/appears/2003/05/09/0002_type122346_44367.shtml (Дата посещения: 26.09.2012.)

Путин В.В. Выступление на тожественном приеме в честь 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне // Президент России. – М., 2012 c. – 9 мая. – Режим доступа: http://news.kremlin.ru/transcripts/15272 (Дата посещения 18.11.2012.)

Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации // Президент России. – М., 2003 b. – 16 мая. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/appears/2003/05/16/1259_type63372type63374_44623.shtml (Дата посещения 18.11.12.)

Путин В.В. Выступление на военном параде, посвященном 59-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне // Президент России. – М., 2004. – 9 мая. – Режим доступа: http://archive.kremlin.ru/appears/2004/05/09/1239_type82634type122346_64239.shtml (Дата посещения 26.09.2012.)

Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации // Президент России. – М., 2005 a. – 25 апреля. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/appears/2005/04/25/1223_type63372type63374type82634_87049.shtml (Дата посещения 11.11.2012.)

Путин В.В. Россия на рубеже тысячелетий // Независимая газета. – М., 1999. – 30 декабря. – Режим доступа: http://www.ng.ru/politics/1999-12-30/4_millenium.html (Дата посещения 22.01.2011.)

Путин В.В. Не жечь мостов, не раскалывать общество // Российская газета. – М., 2000 a. – 6 декабря, № 233 (2597). – Режим доступа: http://www.rg.ru/anons/arc_2000/1206/1.shtm (Дата посещения: 01.05.2013.)

Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации // Президент России. – М., 2012 b. – 12 декабря. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/news/17118 (Дата посещения 12.12.2012.)

Смит Э. Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий наций и национализма. – М.: Праксис, 2004. – 464 с.

Торбаков И.Б. «Непредсказуемое» или «неопределенное» прошлое? Международные отношения и российская историческая политика // Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки; Ред. кол.: О.Ю. Малинова, гл. ред., и др. – М., 2012. – Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. – С. 91–125.

Указ Президента Российской Федерации № 561 «О Знамени Победы» // Российская газета. – М., 1996. – 17 апреля, № 73. – С. 8.

Яковлев А.Н. Если большевизм не сдается // Российская газета. – М., 1996. – 17 октября, № 199. – С. 3.

Яшманов Б. У нас на всех одна победа. С праздником, россияне! // Российская газета. – М.,1996. – 8 мая, № 86. – С. 1.

Coakley J. Mobilizing the past: Nationalist images of history // Nationalism and Ethnic Politics. – Philadelphia, 2007. – Vol. 10, N 4. – P. 531–560.

Gill G. Symbols and legitimacy in Soviet politics. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2011. – VI, 356 p.

Gill G. Symbolism and regime change: Russia. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2012. – VIII, 246 p.

Kangaspuro M. The Victory day in history politics // Between utopia and apocalypse. Essays on social theory and Russia / Ed. by E. Kahla. – Jyvaskyla: Bookwell, 2011. – P. 292–304.

Mälksoo M. The memory politics of becoming European: The East European subalterns and the collective memory of Europe // European j. of international relations. – L., 2009. – Vol. 15, N 4. – P. 653–680.

Onken E.-C. The Baltic states and Moscow's 9 May commemoration: Analyzing memory politics in Europe // Europe-Asia Studies. – Glasgow, 2007. – Vol. 59, N 1. – P. 23–46.

Schopflin G. The functions of myth and a taxonomy of myths // Myths and nationhood / Ed. by G. Hosking, G. Schopflin. – N.Y.: Routledge etc., 1997. – P. 19–35.

Shevel O. The politics of memory in a divided society: A comparison of post-Franco Spain and post-Soviet Ukraine // Slavic review. – Urbana-Champaign (Ill.), 2011. – Vol. 70, N 1. – P. 137–164.

Smith K.E. Mythmaking in the new Russia. Politics and memory during the Yeltsin era. – Ithaca; L.: Cornell univ. press, 2002. – XI, 223 p.

Torsti P. Why do history politics matter? The case of the Estonian Bronze Soldier // The Cold War and politics of history / Ed. by J. Aunesluoma, P. Kettunen. – Helsinki: Edita Publishing Ltd., 2008. – P. 19–35.

О.Б. Леонтьева

В ЧЕМ ЖЕ ИСТИННЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ? РОССИЙСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ РУБЕЖА XIX–XX вв. В ЗЕРКАЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ НАЧАЛА XXI в.

Возрождение – или, точнее сказать, становление заново – российской многопартийности на рубеже 1980–1990-х годов вызвало обостренный интерес историков, политиков, публицистов к отечественной партийно-политической традиции рубежа XIX–XX вв.: в ней, как в зеркале прошедшего времени, искали исторические уроки и предостережения, образцы для подражания, наконец, пригодные для заимствования лозунги и символику. Публикация программных документов дореволюционных политических партий, издание трудов и биографий их идеологов шли параллельно с конституированием новых, постсоветских партий; в общественном сознании возникало ощущение воссоединения прерванной исторической преемственности.

Интерес к дореволюционному российскому либерализму в данной исторической ситуации носил особый характер, поскольку его идеалы совпадали с провозглашенным на закате советской эпохи приоритетом общечеловеческих ценностей, с горбачёвским лозунгом плюрализма, с требованиями свободы слова, собраний, союзов, которые вновь стали актуальны в канун распада СССР и в период становления новой российской государственности. Внимание исследователей к дореволюционной либеральной традиции и возникновение новых партий, заявлявших о своей либеральной природе (лозунг «либерально-демократической эволюции» Российского государства выдвигал, в частности, Е.Т. Гайдар, буду-

чи лидером партии «Демократический выбор России») [Гайдар, 1995, с. 202], были двумя сторонами одной медали: либеральный дискурс, возродившись практически из небытия, оказался прочно интегрирован в политическую реальность новой исторической эпохи.

На современной политической арене в России действует несколько партий, которые идентифицируют себя как либеральные (иногда, как показывает пример ЛДПР, не являясь таковыми на деле). Так, партия «Правое дело» определяет себя как «демократическая либеральная партия» [Программа партии «Правое дело», 2011]; партия «Союз правых сил» в своей программе, озаглавленной «Российский либеральный манифест», ссылается «на давнюю и достойную традицию» российского либерализма, называя в числе его теоретиков Б.Н. Чичерина, Вл. Соловьёва, П.Н. Милюкова и П.Б. Струве, а среди представителей российского реформаторства – М.М. Сперанского, Александра II, С.Ю. Витте и П.А. Столыпина [Союз правых сил. Программа, 2001]. Характерно, что, обсуждая вопрос о «кризисе либерализма» в современном мире (и иронично констатируя, что этот вопрос является вечно актуальным для отечественной мысли), публицисты и политики начала XXI в. апеллируют к историческому опыту императорской России и ссылаются на саркастические характеристики русских либералов или их оппонентов, сделанные еще М.Е. Салтыковым-Щедриным [Ходорковский, 2004; Гайдар, 2004; Спицин, 2011].

Таким образом, изучение дореволюционного либерализма в современной отечественной историографии способствует конструированию новой идентичности российского общества, созданию «мест памяти» и формированию исторической генеалогии. Целью настоящей работы является анализ изучения данной проблематики в историографии нового, XXI в. Нами ставится задача выяснить, каковы основные направления изучения дореволюционного российского либерализма в современной исторической науке, выделить важнейшие проблемные блоки и ведущие дискурсы; это позволит понять, какой образ дореволюционного либерализма создается на страницах современной исследовательской литературы.

От какого наследства мы [не] отказываемся: Изучение российского либерализма в XX в.

Исследователи, обращающиеся к истории отечественного либерализма, неизменно оказываются перед необходимостью объяснить следующий исторический парадокс: почему либеральные партии в России, так быстро набравшие политический вес в годы первой российской революции и фактически сформировавшие Временное правительство в марте 1917 г., уже к концу 1917 г. потерпели столь быстрое и сокрушительное поражение? Почему либеральная альтернатива не смогла пробить себе дорогу в ходе революции и Гражданской войны? Почему, по словам одного из современных исследователей, «русский либерализм, объединявший цвет образованной общественности, не смог стать ведущей силой отечественного исторического процесса» [Гайда, 2003, с. 3]? Что было тому причиной – неготовность или невосприимчивость населения России к усвоению либеральных идей, отсутствие у либералов широкой социальной базы, политические ошибки самих либералов или же стратегическое мастерство их противников – большевиков?

Историческое поражение российского либерализма начала XX в. отбрасывает свою тень на историю изучения этого политического движения; выяснение глубинных (или же, напротив, ситуативных) причин его неудачи является одной из стержневых линий историографии данной проблемы. Дискуссия, развернувшаяся вокруг указанных выше вопросов, неизменно приобретала не только научный, но и мировоззренческий характер; ответы на них зависели как от методологического инструментария исследователей, так и от их собственных политических убеждений.

В течение XX в. вокруг феномена российского либерализма сложилось немало историографических мифов, многие из которых успешно дожили до наших дней. Так, Н.А. Бердяев, один из самых видных философов русского зарубежья, неоднократно высказывался о том, что русской душе по сути своей чужда либеральная идеология и практика. «Русский народ не может создать серединного гуманистического царства, он не хочет правового государства в европейском смысле этого слова. Это – апокалиптический народ по строению своего духа, он устремлен к концу истории, к осуществлению царства Божьего. Он хочет или царства Божьего, братства во Христе, или товарищества в антихристе, царства князя мира

сего» [Бердяев, 1994, с. 452]. Поэтому, как уточнял Бердяев, «русский пафос свободы был скорее связан с принципиальным анархизмом, чем с либерализмом. Единственным философом либерализма можно было бы назвать Б.Н. Чичерина» [Бердяев, 1990, с. 171]. Идея чуждости либерализма российской ментальности получила широкое распространение и в культуре русской эмиграции, и в постсоветской историографии и публицистике, а в наши дни вошла и в массовое сознание политически ангажированных россиян. Так, в 2008 г. при ответе на вопрос «В чем, на ваш взгляд, основная причина кризиса либерализма?» голоса слушателей радиостанции «Эхо Москвы» распределились следующим образом: «В равнодушии россиян к либеральной идее» – 38,4% (более трети ответивших); «В дискредитации либерализма самими российскими либералами» – 61,6% [Свободный человек, 2008]. Показательно, что биография П.Н. Милюкова, написанная Н.Г. Думовой, носила название: «Либерал в России: Трагедия несовместимости» [Думова, 1993].

Другой важный историографический миф о российском либерализме начала XX в. связан с именем еще одного представителя культуры русского зарубежья, В.В. Леонтовича. В его фундаментальном исследовании «История либерализма в России», написанном в 1950-е годы, последовательно проводилась мысль, что истинными носителями либеральных перемен в России были не оппоненты власти, а государственные деятели, начиная с Екатерины II и заканчивая П.А. Столыпиным. С точки зрения Леонтовича, истинный либерализм «относится с величайшим уважением к субъективным правам отдельных людей» и именно поэтому «должен действовать с чрезвычайной осторожностью» даже по отношению к устаревшим общественным институтам [Леонтович, 1995, с. 21]. Именно поэтому, как полагал Леонтович, следует «настоящим либерализмом считать только либерализм консервативный», враждебно настроенный ко всякой революции; а российские либералы-кадеты начала XX в., расшатывавшие собственное государство, заслуживают скорее названия радикалов [Леонтович, 1995, с. 22]. Позицию Леонтовича разделял и А.И. Солженицын, считавший, что в России XIX–XX вв. под именем либерализма крылся радикализм, и что «радикализм торжествовал над либерализмом на погибель русскому развитию» [Солженицын, 1995, с. III].

В советский период, особенно в 1970–1980-е годы, история либеральных партий – кадетов и октябристов – неоднократно ста-

новилась предметом изучения [Думова, 1982, 1988, 1990; Шацилло, 1985; Шелохаев, 1983, 1987, 1991 и др.]. Концепция трудов того времени была идеологизирована в высокой степени: причины политического проигрыша либералов объяснялись в соответствии с марксистско-ленинской доктриной, согласно которой каждая политическая сила является выразительницей интересов какого-либо общественного класса. Кадеты и октябристы в советской науке трактовались как партии, выражавшие интересы буржуазии (или «либеральной буржуазии»), а значит, заведомо обреченные на поражение в исторической схватке с партией пролетариата – РСДРП; политическая эволюция российского либерализма описывалась как путь «от фронды к охранительству», а затем, по мере нарастания революционного натиска масс – к открытой контрреволюции. Предметом дискуссий была скорее степень взаимной готовности царизма и либеральной буржуазии к социальным и политическим компромиссам [Аврех, 1968, 1981, 1985, 1989; Дякин, 1967, 1978, 1988; Черменский, 1970, 1976 и др.].

Напротив, зарубежная историография, прежде всего англо-американская, отстаивала идею внеклассовой сущности российского либерализма, восходящую к кадетской публицистике (в частности, к работам П.Н. Милюкова) [Милюков, 2001, с. 290–291, 580–581], а иногда даже указывала на антибуржуазный характер программных идей российских либералов [см.: Селезнев, 2004].

Значительный всплеск интереса к истории либерализма в России наблюдался в 1990-е годы, когда идеи строительства гражданского общества и правового государства снова оказались актуальными. Именно тогда началась публикация сборников документов либеральных партий и произведений их идеологов [см., напр.: О свободе, 2000; Опыт русского либерализма, 1997; Протоколы Центрального Комитета и заграничных групп… 1994, 1997, 1998; Российские либералы, 1996 и др.], а также биографических исследований о российских либералах. Вопросы о сущности российского либерализма, о его исторической (или национальной) специфике, о причинах его поражения вновь встали на повестку дня; и теперь ответы на эти вопросы уже не носили догматического, заранее заданного характера.

Отмечая важнейшие достижения и проблемные узлы историографии 1990-х годов, прежде всего следует отметить, что в этот период был подвергнут критике тезис о буржуазной сущности рос-

сийского либерального движения. На смену ему было выдвинуто положение о внеклассовой природе российского либерализма начала XX в., опирающееся на опыт зарубежной историографии и соответствующее самооценке кадетских лидеров. Так, это положение нашло отражение в нескольких крупных и резонансных работах (П.П. Гайденко, М.Г. Вандалковской и др.), посвященных творческому пути либеральных мыслителей начала XX в. Выстраивая позитивный образ своих персонажей – П.Б. Струве, П.Н. Милюкова, А.А. Кизеветтера, – авторы этих трудов с явным сочувствием подчеркивали их стремление к социальным компромиссам, искреннее желание отыскать «меру», «золотую середину» в вечных колебаниях России между революцией и реакцией [Вандалковская, 1992; Гайденко, 1992; Гайденко, 2001, с. 437–454], и тем самым подчеркивали привлекательность утраченной либеральной альтернативы, ее соответствие глобальным историческим интересам российского общества.

Согласно другой, столь же распространенной версии, российский либерализм рубежа XIX–XX вв. обладал «интеллигентской» сущностью, что и давало ему возможность претендовать на роль внеклассовой идеологии, но лишало широкой социальной опоры. Так, в исследовании А.Н. Медушевского подчеркивается, что именно из «интеллигентской» природы российского либерализма вытекали все его сильные и слабые стороны: «К первым относятся глубина теоретической мысли, стремление к объективному научному анализу социальных явлений, высокие культурные, этические и правовые идеалы движения; ко вторым – отрыв от масс, практическая беспомощность, отсутствие необходимой политической гибкости в экстремальных условиях» [Медушевский, 1993, с. 108–109]. Наконец, в историографии было представлено и мнение о том, что массовую опору либеральному движению обеспечивали средние городские слои [Думова, 1990, с. 300, 335].

Важным исследовательским направлением историографии 1990-х годов стали попытки определить сущностные, типологические особенности российского либерализма и выявить его отличия от «классических образцов» западноевропейского и американского либерализма. Немало копий было сломано вокруг вопроса о том, кого именно из российских мыслителей следует считать «настоящими» либералами – сторонников «охранительного либерализма» или же, напротив, тех, кто стремился соединить либеральную доктрину с идеями социального равенства? Жаркие споры о том, «в чем же истинный либерализм», в конце концов привели к признанию того, что либеральная идеология в императорской России могла существовать во многих вариантах и модификациях. Пример тому, в частности, – исследование И.Д. Осипова, где выделены три ветви философии российского либерализма XIX – начала XX в.: «христианский», «консервативный» и «социальный либерализм», а также некоторые промежуточные варианты [Осипов, 1996].

В ключевых для изучения данной темы работах В.В. Шелохаева высказывалась идея, что российский либерализм – как и либерализм в истории любой другой страны – невозможно рассматривать как застывшее, неизменное явление; необходимо вычленять различные типы либерализма, установить последовательность смены его стадий и типов. Исследователь пришел к выводу, что «исторические особенности развития России обусловили и формирование особого типа русского либерализма, занявшего собственное место в “общей семье либерализма”» [Шелохаев, 1998, с. 32]. Это был либерализм, сформировавшийся в условиях, когда авторитарный режим еще не исчерпал своего созидательного потенциала; это было интеллигентское течение, в отличие от западноевропейского либерализма, отражавшего интересы среднего класса; это был либерализм, вынужденный учитывать наличие развитой демократической, народнической традиции. Иными словами, это был «особый *тип интеллектуального либерализма,* возникший и формировавшийся прежде всего на теоретическом уровне в неадекватной среде» [Шелохаев, 1998, с. 36].

Таким образом, в исследовательской литературе 1990-х годов был поставлен целый комплекс взаимосвязанных проблем, предложены новые трактовки истории российского либерализма рубежа XIX–XX вв. Серьезный удар был нанесен идеологическим представлениям советских времен о буржуазной природе либерального движения; на смену им стали приходить новые историографические и идейно-политические конструкты. Политическое поражение российского либерализма все чаще стало интерпретироваться не просто как крушение партий, не нашедших достаточно прочной социальной базы или выбравших неверную стратегию, но как провал попыток консолидации всех классов общества на платформе идеалов конституционализма, правового государства, гражданского общества.

XXI век: Время обобщений

Приступая к анализу современной отечественной историографии российского либерализма, важно определить, что именно она унаследовала от предшествующего периода, и что нового внесено нашими современниками в изучение этой проблематики.

Прежде всего, бросается в глаза, что первое десятилетие XXI в. уже можно считать периодом подведения историографических итогов по отношению к историографии 1990-х годов. Характерным и ярким явлением 2001–2010 гг. стало появление нескольких крупномасштабных обобщающих трудов по истории российского либерализма, подготовленных большими коллективами авторов. Это сборник «Российский либерализм: Идеи и люди» под общей редакцией А.А. Кара-Мурзы, изданный в 2004 г. фондом «Либеральная миссия» и переизданный со значительными дополнениями в 2007 г.; сходный с ним по замыслу и архитектонике сборник под редакцией Б.С. Итенберга и В.В. Шелохаева «Российские либералы», вышедший в издательстве «РОССПЭН»; наконец, энциклопедическое издание «Российский либерализм середины XVIII – начала XX века» под редакцией В.В. Шелохаева, увидевшее свет в том же «РОССПЭНе» благодаря поддержке РГНФ и фонда Герды Хенкель (Германия) [Российский либерализм, 2004; Российский либерализм, 2007; Российские либералы, 2001; Российский либерализм, 2010]. Если три первых издания выдержаны в жанре сборников историко-биографических портретов российских либералов, то энциклопедия под редакцией В.В. Шелохаева задумана и выполнена, по оценке самих ее авторов, как «первый комплексный фундаментальный труд, в котором нашли отражение все составляющие данного направления общественной мысли и общественного движения за полуторавековую историю его существования в России» [Российский либерализм середины XVIII в., 2010, с. 5]. В энциклопедии содержатся статьи, посвященные основным понятиям и категориям либеральной философии (от «Автономизма» до «Этничности»); либеральным партиям и объединениям в императорской России; их программным и тактическим требованиям («Аграрный вопрос», «Избирательное право», «Национальный вопрос», «Ответственность министров», «Рабочий вопрос», «Смертная казнь», «Учредительного собрания идея» и др.); отдельным инициативам и ярким страницам либерального движения (от банкетной кампании 1904 г. до Ясского совещания 1918 г.); либеральной периодике, как центральной, так и региональной (от московского «Атенея» 1850-х годов до казанского издания «Юлдуз» начала XX в.); и, конечно, персоналиям истории российского либерализма – от П.В. Анненкова до И.И. Янжула.

Другой особенностью современной историографии можно считать то, что в начале XXI в. наступило время критической проверки тех историографических представлений и мифов о дореволюционном российском либерализме, которые сложились в XX в. Явный заостренно-полемический характер носят, например, работы Ф.А. Гайды и Ф.А. Селезнева, посвященные проблемам политической стратегии кадетов и определению социальной базы этой партии [Гайда, 2003; Селезнев, 2006].

И, наконец, политическим фоном для развития научной историографии стала дискуссия о «кризисе либерализма в России», развернувшаяся в отечественной публицистике 2004–2005 гг.; импульсом для нее стало поражение современных либеральных партий – «Яблока» и «Союза правых сил» – на парламентских выборах 2003 г. В ходе дискуссии, инициированной М.А. Ходорковским, было поставлено несколько ключевых проблем: об отсутствии у современного либерализма массовой поддержки и причинах этого; о социальной ответственности либералов и итогах либеральной политики 1990-х годов; о соответствии либеральных ценностей «национально-историческим особенностям развития России» и о ценностном расколе между интеллигенцией, властью, предпринимателями и народом; наконец, о возможности либерального ответа на вызовы современной ситуации в экономике, политике и социальной сфере [Ходорковский, 2004].

Словом, в новой политической ситуации на повестку дня были поставлены именно те проблемы, которые традиционно рассматриваются в историографии применительно к либерализму начала XX в. Это придало изучению российского либерализма в отечественной исторической науке не только научную актуальность, но и политическую злободневность.

«Либералы в России были всегда»: Энциклопедические и биографические труды

Выступая 17 января 2005 г. на презентации сборника под редакцией А.А. Кара-Мурзы «Российский либерализм: Идеи и люди»,

Евгений Ясин сказал следующее: «Мы начали этот проект с целью показать, что идеи либерализма не чужды России, хоть я и не сказал бы, что они в ней были когда-нибудь сильно укоренены. Но либералы в России были всегда». Участник авторского коллектива В.В. Шелохаев поддержал его, сформулировав: «Книга убеждает, что идея о неукорененности либеральных идей в российскую почву и невозможности вообще разрешения кризисных ситуаций либеральными методами несостоятельна» [Российский либерализм, 2005].

Обобщающие труды под редакцией Б.С. Итенберга, В.В. Шелохаева и А.А. Кара-Мурзы представляют собой, по сути дела, опыт построения разветвленной генеалогии российского либерализма. В противовес пуристскому подходу В.В. Леонтовича редакционные коллективы этих трудов явно стремились создать полифонический, многогранный образ российского либерализма, включая в его родословную представителей разных поколений и носителей различных взглядов.

Сборник под редакцией Б.С. Итенберга и В.В. Шелохаева, задуманный как «персонифицированная история либерализма», включает в себя 16 биографических портретов деятелей отечественного либерального движения. Участники сборника – Е.Л. Рудницкая, С.С. Секиринский, В.А. Твардовская, В.Я. Гросул, Р.Г. Эймонтова, Б.С. Итенберг, А.Н. Медушевский, Н.Б. Хайлова и другие признанные исследователи данной проблематики – создают галерею запоминающихся образов корифеев русского либерализма или, напротив, малоизвестных его представителей.

Главная же особенность этого сборника состоит, пожалуй, в том, что каждый из его персонажей предстает не просто как яркая и неординарная личность, но и как носитель своей, оригинальной версии либеральной идеологии. Так, А.И. Тургенев показан в сборнике как основоположник традиции «либерализма с нравственно-демократической окраской»; К.Д. Кавелин – как идеолог, пытавшийся воздвигнуть «мост» между западничеством и славянофильством, либерализмом и социализмом; Б.Н. Чичерин, А.Д. Градовский и М.М. Ковалевский – как сторонники «либерально-консервативного синтеза»; В.А. Черкасский и Д.И. Шаховской – как славянофилы и либералы в одно и то же время. Один лишь С.А. Муромцев обозначен в сборнике как представитель «классического либерализма старой русской интеллигенции» [Российские либералы, 2001]. По сути дела, вся традиция дореволюционного

либерализма предстает на страницах этого сборника как мозаика различных промежуточных и переходных типов.

Принцип «портретной галереи» продолжен и в других подобных изданиях. Так, в первом издании сборника под редакцией А.А. Кара-Мурзы (2004) представлена «уникальная галерея русских либеральных мыслителей и политиков XIX–XX столетий – от Михаила Сперанского до Андрея Сахарова», в целом 46 человек. В генеалогию российского либерализма там включены, во-первых, представители «либерального просветительства» – интеллектуалы, отстаивавшие либеральные ценности «через преподавание, академические занятия историей или публицистическую деятельность» (Т.Н. Грановский, А.А. Краевский, В.А. Гольцев, М.М. Стасюлевич, В.О. Ключевский и другие). Во-вторых, к либеральной традиции отнесены приверженцы «реформаторства сверху»: М.М. Сперанский и «либеральные бюрократы» из окружения Александра II (Д.Н. Замятнин, А.В. Головнин, великий князь Константин Николаевич). Третье направление – либерального партийного строительства – представлено лидерами политических организаций и партий начала XX в.: практиками земско-либерального движения (Д.Н. Шипов, И.И. Петрункевич, Ф.И. Родичев и др.), представителями Конституционно-демократической партии (П.Н. Милюков, М.М. Винавер, В.А. Маклаков, А.И. Шингарев и другие), и «более умеренными либерал-консерваторами, оппонировавшими кадетам “справа”» (М.М. Ковалевский, П.А. Гейден и др.) [Российский либерализм, 2004, с. 9–11]. Сам А.А. Кара-Мурза объяснил, что выбор для сборника именно этих трех групп персоналий позволяет поставить проблемы, которые являются «проблемами и сегодняшнего дня тоже»: вопрос о влиянии либералов на общественное сознание; вопрос о том, «возможно ли участие либералов в нелиберальной в целом власти»; и, наконец, проблема «партийного строительства», политической самоорганизации либерального лагеря в России [Российский либерализм, 2005].

Заметим в скобках, что столь широкий подход к феномену отечественного либерализма разделяется отнюдь не всеми исследователями. К примеру, К.А. Шнейдер определяет хронологические рамки существования русского либерализма следующим образом: «с середины XIX в. и до 1917 г.», подчеркивая, что «ранний русский либерализм» сформировался «во второй половине 1850-х – первой половине 1860-х гг.». В связи с этим ему пред-

ставляются дискуссионными «попытки ряда отечественных экспертов “состарить” ранний русский либерализм на полвека и объявить о его рождении еще на рубеже XVIII и XIX вв.» [Шнейдер, 2012, с. 6, 9–10]. В работе С.А. Репинецкого высказывается мысль, что зачислять «либеральную бюрократию» в ряды либералов неправомерно и что в действительности это были «этатисты-реформисты», которые «имели с либерализмом мало общего» [Репинецкий, 2010, с. 15].

Во втором издании сборника под редакцией А.А. Кара-Мурзы (2007) к 46 персоналиям было добавлено еще 50, в результате чего он приобрел воистину гигантский объем и энциклопедический охват. Родословная русского либерализма была теперь дополнена еще несколькими значимыми группами персоналий: так, в нее были вписаны имена «видных конституционалистов рубежа XVIII–XIX веков: гр. Н.И. Панина, гр. А.Р. Воронцова, кн. А.А. Чарторыйского», а также «диссидента» екатерининской эпохи Н.И. Новикова. Была предпринята попытка предложить новую трактовку декабристского движения и «на примере жизненных судеб Н.И. Тургенева, Н.М. Муравьёва, М.С. Лунина, М.А. Фонвизина, И.Д. Якушкина… выделить *собственно либеральный* элемент декабризма – как программно-политический, так и этический» [Российский либерализм, 2007, с. 16]. Шире стал очерченный в сборнике круг министров-реформаторов: он был дополнен очерками о братьях Н.А. и Д.А. Милютиных, М.Х. Рейтерне и др. Панорама либеральных политических деятелей начала XX в. была расширена – от теоретиков, «корифеев либерально-правовой мысли» (А.Д. Градовского, П.И. Новгородцева, Б.А. Кистяковского, Л.И. Петражицкого и др.) до крупнейших предпринимателей, активно участвовавших в политической жизни (П.П. Рябушинского, А.И. Коновалова и др.). Наконец, «в *логику эволюции* русского либерализма как интеллектуального и политического явления» авторы сборника включили «персонажей, которые, будучи одно время либералами *по преимуществу*... при изменении общественной обстановки отошли от либеральных принципов»: кн. П.А. Вяземского, М.Н. Каткова, А.И. Герцена. (Весьма примечателен очерк А.А. Кара-Мурзы о А.И. Герцене, где доказывается, что тот всегда был верен ключевой либеральной ценности – «свободе лица», а его знаменитые нападки на европейское «мещанство» интерпретируются в антитоталитарном ключе) [Российский либерализм, 2007, с. 138–145.]

Цель сборника, что вполне очевидно, состоит в том, чтобы создать привлекательные образы либералов, способные войти в пантеон «героев нашего времени»; представляя читателям второе издание, А.А. Кара-Мурза с гордостью отметил, что «в российских регионах буквально на глазах возрождается интерес к истории отечественного либерализма»: открываются мемориальные доски, приводятся в порядок места захоронения видных деятелей либерального движения и т.д. [Российский либерализм, 2007, с. 17]. В заглавии каждой из биографических статей, помимо имени персонажа, присутствует принадлежащее ему изречение, которое, как отметил Отто Лацис, может быть смело использовано как политический слоган даже в наши дни [Российский либерализм, 2005]: «Обратиться к России, чтобы она сама собою правила…» (вел. кн. Константин Николаевич); «Выполнить тяжелую государственную работу на почве законодательного строительства…» (Н.А. Хомяков); «Подготовить страну к самому широкому самоуправлению…» (И.И. Петрункевич); «Основать новую Россию, которая будет существовать для своих граждан» (Н.И. Кареев); «Соединить здоровое патриотическое чувство с гражданскими освободительными стремлениями…» (П.Б. Струве). Каждый читатель может выбрать себе героя по вкусу: бунтаря-декабриста М.С. Лунина, который «во глубине сибирских руд» вырос в глубокого и оригинального мыслителя; миллионера-авантюриста А.И. Гучкова, ради полноты жизненных ощущений объездившего весь свет, побывавшего добровольцем на англо-бурской и балканских войнах и с такой же пылкостью бросившегося в горнило большой политической игры; «суховато-рассудочного» П.Н. Милюкова, сумевшего с помощью точно рассчитанных компромиссов интегрировать разнородную либеральную общественность и добиться организационного оформления кадетской партии…

Столь же широкий подход к определению феномена либерализма и столь же разветвленная историческая родословная этого течения представлена и в энциклопедии «Российский либерализм» под редакцией В.В. Шелохаева [Российский либерализм середины XVIII…, 2010]. Здесь также истоки отечественного либерализма возводятся к XVIII в., ко временам А.Д. Кантемира, братьев Н.И. и Д.И. Паниных, И.П. Пнина, Д.И. Фонвизина и И.И. Бецкого. Точно так же в родословную либерализма оказываются вплетенными имена «молодых друзей» Александра I и «либеральных бюрокра-

тов» правления Александра II. И, наконец, круг персоналий даже расширяется по сравнению с предыдущими сборниками: имена партийных лидеров начала XX в. здесь соседствуют с именами философов, публицистов и литературных критиков – Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, М.О. Гершензона, Ф.А. Степуна, С.Л. Франка. Правда, в отличие от предшествующих сборников, на страницах энциклопедии не представлены имена славянофилов: проблема принадлежности славянофилов к либеральной традиции является остро дискуссионной с 1980-х годов [см.: Российские либералы, 2001, с. 159–161].

Таким образом, смысл всех указанных издательских проектов состоял не только в том, чтобы создать энциклопедически полную и теоретически выверенную картину становления либерализма в императорской России, но и в том, чтобы вплести либеральную традицию в коллективную память современного российского общества и ниспровергнуть давний историографический миф о «трагедии несовместимости».

Ускользающий либерализм: В мире понятий и дефиниций

Панорама истории российского либерализма в обобщающих трудах начала XXI в. дается максимально широко; однако смысл самого этого понятия в результате оказывается несколько размытым, и возникает необходимость прояснения дефиниций.

Ключевая статья энциклопедии «Российский либерализм», написанная А.Н. Медушевским, концептуально продолжает линию на выявление множества типов и форм либерализма и содержит максимально гибкое определение этого понятия. Либерализм определяется в ней как «идеология, отстаивающая жизненно необходимый минимум прав личности»; «именно в этом, – поясняет А.Н. Медушевский, – состоит фундаментальное единство либерализма и причина его постоянного возрождения во все новых условиях и обличиях». Статья построена как сопоставление множества возможных подходов к анализу этого явления общественной жизни. В ней, в частности, предлагается семь различных «типологий форм российского либерализма» (в соответствии с этапами его развития, с идеологическими предпочтениями и модификациями, с «социальными носителями либеральной идеологии», с «основными стратегиями политических преобразований», с «технологиями осуществления реформ, с партийно-политической принадлежностью и, наконец, с решениями отдельных содержательных вопросов программы). Отмечается, что как конкретная программа либерализма, так и его социальная база способны изменяться «в соответствии с тем, дефицит каких прав (экон., соц., полит., религ., демографич. и др.) особенно ощутим для данного общества» [Российский либерализм середины XVIII…, 2010, с. 527–533]. Таким образом, широкий подход авторского коллектива энциклопедии к либерализму получает развернутое теоретическое обоснование: либерализм предстает как Протей в мире политики, способный к бесконечным метаморфозам, но сохраняющий верность ключевым ценностям прав личности.

Альтернативное решение проблемы дефиниций состоит в том, чтобы попробовать разобраться, какое именно содержание вкладывали в понятие «либерализм» современники изучаемого явления. Это позволяют сделать современные направления исторической науки – история понятий (Begriffsgeschichte) и история дискурсов с присущими им методами историко-семантического анализа. Так, в сборнике «Понятия о России», вышедшем в 2012 г. под редакцией А.И. Миллера, Д.А. Сдвижкова и И. Ширле, объектом изучения становится само понятие «либерализм» в российской мысли XIX – начала XX в., особенности его трактовки в рамках различных политических дискурсов [Бибикова, 2012; Калашников, 2012].

В работе М.В. Калашникова рассматриваются «изменения смысла понятия “либерализм” в русском общественном сознании “долгого” XIX века, значение этого слова в текстах названного периода» [Калашников, 2012, с. 464]. Автор этой статьи прослеживает историю двух попыток закрепления термина «либерализм» в российском политическом дискурсе. Первая из них имела место при Александре I, который, выиграв борьбу с Наполеоном, предпринял попытку использовать введенное его противником понятие «либеральные идеи» в качестве знака-символа для легитимации своей политической практики – внедрения ограниченных монархий как специфической формы правления. «Второе пришествие» понятия «либерализм» в русскую мысль автор относит к началу эпохи Великих реформ, когда это понятие стало применяться для обозначения проекта желанного будущего, а затем усилиями

Б.Н. Чичерина было выведено на уровень формализованного «инструментального термина» с нормативно закрепленным значением.

Однако, как подчеркивает автор, за каждой попыткой закрепить понятие «либерализм» в российском общественном сознании следовала маргинализация этого понятия. После поражения восстания декабристов этот термин стал ассоциироваться с практикой политического радикализма, и современники А.С. Пушкина щедро вкладывали в него негативные коннотации: распущенность, безнравственность, пагубный дух, глупость и безумие. В демократическом дискурсе пореформенной эпохи, начиная с Н.Г. Чернышевского, утверждается негативно-ироническая характеристика «либерала» как помещика-белоручки, говоруна, «франта в желтых перчатках», толкующего о гуманности [Калашников, 2012, с. 496].

Наконец, рубеж XIX–XX вв. Калашников трактует как «зиму либерализма», когда данное понятие в русской мысли утрачивает семантическую определенность и получает устойчивое негативное звучание. С Ф.М. Достоевского и К.Н. Леонтьева берет начало «отторжение понятия “либерализм” как не присущего русской традиции и русской культуре»; в русской литературе (например, у А.П. Чехова) либеральная риторика становится объектом иронического пародирования; наконец, сами термины «либерал», «либеральный» приобретают персонально-антропологические негативные коннотации («либеральная мягкотелость», «либеральная размазня» и т.п.). Вслед за другими историками [см.: Timberlake, 1972, p. 6–7, 11–12] М.В. Калашников констатирует, что само понятие «либерализм» в России начала XX в. было настолько непопулярно, что ни одна партия не пожелала использовать это определение для политической самоидентификации. «Зима либерализма», подчеркивает автор, пришла «практически навсегда»: попытки реабилитации данного понятия на волне перестройки в СССР оказались неудачными, и рубеж 1980–1990-х годов стал периодом его «семантических конвульсий» [Калашников, 2012, с. 501–502, 506, 510, 512].

Исследование Л.В. Бибиковой, в свою очередь, посвящено «многослойности, многозначности, многоплановости» понятия «либерализм» именно в ту эпоху, которую М.В. Калашников определил как сезон «либеральной зимы». Признавая, что либерализм был одним из базовых понятий в дискурсе образованного общества России XIX – начала XX в., она исследует «игру либерализмами» в риторике того времени, выявляя спектр тех значений,

которые вкладывали в это понятие разнообразные противники и оппоненты либералов. В результате Л.В. Бибикова выделяет три основные дискурсивные практики, использовавшиеся при обсуждении либерализма его оппонентами (которые при этом могли объединяться в довольно неожиданные группы «дискурсивных союзников»): либерализм мог описываться как умеренное оппозиционное течение, не выходящее за рамки закона; или как «антирусская партия», группа «предателей России», несущая гибель своей стране; или же, наконец, как идеология «либеральной буржуазии», ратующей за капитализацию отечественной экономики в угоду интересам мирового капитала [Бибикова, 2012, с. 548–557].

По наблюдению Л.В. Бибиковой, оппоненты либерализма не просто вкладывали в это понятие несхожее содержание, но и поразному отвечали на вопрос о том, кто же являлся либералами в современных им политических реалиях. Так, по убеждению консерваторов, либерализм гнездился во властных структурах; согласно мнению крайне правых, носителями этой идеологии являлись члены широкого спектра политических партий – от октябристов до кадетов; наконец, с точки зрения полицейского сыска, либералами были октябристы, мирнообновленцы, члены партии правового порядка, но ни в коем случае не кадеты, которых скорее следовало бы относить к радикалам [Бибикова, 2012, с. 557–558].

В совокупности же исследования М.В. Калашникова и Л.В. Бибиковой дают удивительную и неоднозначную картину. Либерализм как феномен общественной мысли и общественной жизни начала XX в. как бы ускользал от однозначного определения, от фиксирующего взгляда: слишком многие применяли это понятие к своим оппонентам, даже когда те отказывались применять его к самим себе. С точки зрения М.В. Калашникова, понятие «либерализм» в российском общественном сознании явным образом тяготело к превращению в симулякр – «пустой знак, знак без означаемого» [Калашников, 2012, с. 512–513]. Грани между либералами и нелибералами в таком случае оказываются размытыми: Л.В. Бибикова полагает, что *все* группы, заявлявшие о себе в политическом пространстве России начала XX в., разделяли одни и те же базовые ценности (*прогресс, гуманизм, просвещение, культурность, цивилизованность, законность*), отличаясь друг от друга исключительно трактовкой этих ценностей-понятий и стремлением

доказать, что оппоненты «присвоили» эти ценности «несправедливо» [Бибикова, 2012, с. 530].

Таким образом, обращение к истории понятий и дискурсов позволяет установить довольно любопытную тенденцию. Подход к определению феномена либерализма XIX–XX вв., представленный в современных исследовательских проектах В.В. Шелохаева и А.А. Кара-Мурзы, оказывается гораздо более широким и всеобъемлющим (и, заметим в скобках, гораздо более благожелательным), чем трактовки этого понятия, бытовавшие в общественной мысли императорской России. Риторические стратегии начала XX в. были направлены на маргинализацию и изоляцию либерализма как явления общественной жизни; риторические стратегии современной историографии направлены на то, чтобы представить либерализм как мощную и жизнеспособную интегрирующую силу.

Проблема социальной природы российского либерализма

Несмотря на споры о понятиях, в современной исторической литературе, как и в литературе предшествующих периодов, наблюдается характерная традиция: термин «либеральный» применительно к реалиям начала XX в., как правило, означает, что рассказ пойдет о кадетах. Изо всех партий, которые в начале прошлого века имели репутацию либеральных, наиболее бурные дискуссии в современной историографии вызывает именно Конституционно-демократическая партия, или партия Народной свободы: проблемы ее социальной природы, стратегии и тактики, исторической ответственности за ход и последствия русских революций и т.д.

Если социальный облик «Союза 17 октября» исследователи идентифицируют вполне уверенно («Социальная основа партии – крупные землевладельцы и предпринимательские круги») [Российский либерализм середины XVIII… 2010, с. 873], то социальная база кадетской партии в отечественной историографии является предметом острых дискуссий. Вопрос о том, какие социальные группы – буржуазия, интеллигенция, средние городские слои – составляли опору этой партии, и была ли она, в соответствии с собственными декларациями, «надклассовой», по-прежнему остается открытым.

Так, в целом ряде статей сборника «Политические партии в российских революциях в начале XX века», опубликованного Институтом российской истории по итогам тематической научной конференции, состоявшейся в 2003 г., уверенно отстаивается классическая точка зрения советской историографии, основанная на ленинских трудах: согласно ей, кадеты представляли собой буржуазную партию. В частности, на страницах этого сборника Г.А. Герасименко характеризует кадетов как партию, «находившуюся на левом фланге буржуазно-помещичьего стана»; Е.И. Хаванов – как «одну из первых буржуазных партий России»; С.Г. Кара-Мурза – как «либерально-буржуазную» партию или «идеологов буржуазно-либеральной программы» [Политические партии, 2005, с. 10, 87, 296]. Все указанные исследователи в трактовке политических событий начала XX в. следуют в русле классического марксистского подхода, в соответствии с которым разногласия между политическими партиями есть отражение объективных классовых противоречий.

Альтернативная точка зрения – о кадетах как интеллигентской партии – наиболее ярко представлена в исследованиях В.В. Шелохаева и коллективных трудах, вышедших под его редакцией. Так, в совместной программной статье В.В. Шелохаева и Б.С. Итенберга, открывающей сборник «Российские либералы», отстаивается идея, что крупная российская буржуазия в силу своих исторически сложившихся особенностей не была способна стать опорой оппозиционного движения; поэтому данную функцию пришлось брать на себя другим общественным слоям: вначале – дворянству, затем – интеллигенции, сумевшей превратить либерализм как элитарное течение оппозиционной мысли в широкое общественное движение. В.В. Шелохаев и Б.С. Итенберг подчеркивают, что в основе теоретических построений «нового» российского либерализма начала XX в. лежали не какие-либо узко понятые классовые интересы, а взаимосвязанные идеи «внеклассового» государства и «внесословной» интеллигенции как главных движущих сил исторического развития страны: «Синтез этих двух сил, по мнению либералов, и должен был обеспечить необходимый прогресс в России» [Российские либералы, 2001, с. 9].

Схожую точку зрения высказывает А.А. Кара-Мурза: по его мнению, отличительной особенностью доктрины российского либерализма начала XX в., сформулированной ведущим теоретиком кадетской партии П.Н. Милюковым, была идея особой исторической миссии российской интеллигенции. «Перебрав и оценив все возможности и шансы, Милюков едва ли не “методом исключе-

ния” приходит к выводу, что единственным перспективным элементом европеизма в России, силой, способной целенаправленно формулировать европейскую “междуклеточную ткань социальных отношений”, является национальная интеллигенция – внеклассовое образование, способное формулировать общенациональные, гражданские, а не узкокорпоративные интересы… Интеллигенция для Милюкова – временный заместитель в России “третьего сословия”, сословия “bourgeois”, не в банальном материально-собственническом, а в широком культурном смысле» [Российский либерализм, 2007, с. 529].

В энциклопедическом издании «Российский либерализм середины XVIII – начала XX века» под редакцией В.В. Шелохаева проблема социальной основы кадетской партии рассматривается на основе, во-первых, самооценки кадетов, и, во-вторых, состава партийных рядов. «К.-д. заявили о внеклассовости своей партии, подчеркивая, что ее деятельность определяется не интересами какой-либо социальной группы, а общими потребностями страны, – сообщает соответствующая энциклопедическая статья. – …Соц. состав К.-д. п. был неоднороден. В нее входили прежде всего представители интеллигенции, часть либер. дворянства, средних гор. слоев… Необычайно высок был интеллектуальный потенциал ее рук. звена. В него входили видные ученые, профессора ун-тов, известные адвокаты, обществ. деятели, публицисты» [Российский либерализм середины XVIII… 2010, с. 445–446].

В исследовании Ф.А. Гайды также акцентируется «именно интеллигентская, а отнюдь не буржуазная, природа конституционно-демократической партии». Соответствующий вывод делается на основе анализа партийной идеологии и формулируется четко и бескомпромиссно: «Кадеты не были партией буржуазной. Насквозь проникнутые демократическими идеалами, кадеты наследовали не русскому охранительному либерализму XIX в., а политической традиции А.И. Герцена и “либерального народничества”» [Гайда, 2003, с. 372].

Наконец, Ф.А. Селезнев предпринял попытку «закрыть» дискуссию, посвятив развернутое исследование проверке того, была ли партия кадетов «буржуазной» партией. Для него поиск ответа на этот вопрос открывает путь к решению ключевых проблем отечественной истории: «Если кадеты были буржуазной партией и выражали интересы буржуазии, то, значит, класс русских

предпринимателей действительно получил в 1917 г. политическую власть (или хотя бы часть ее) и мог направить развитие страны по буржуазно-демократическому пути… Если же кадеты не были буржуазной партией и не выражали интересы буржуазии, то, значит, в 1917 г. не существовало реальной “буржуазной”, “капиталистической” альтернативы большевизму» [Селезнев, 2006, с. 3].

По мнению автора, чтобы судить о «буржуазности» той или иной партии, необходимо прежде всего установить, наблюдалось ли, с одной стороны, «позитивное отношение предпринимательского сообщества к такой партии», к ее программе, идеологии, действиям, и, с другой стороны, характерно ли было для самой партии «положительное отношение к предпринимательскому сообществу» [Селезнев, 2006, с. 4]. В соответствии с этим он задался целью прояснить несколько вопросов: насколько программа кадетской партии соответствовала интересам различных групп российской буржуазии того времени; какую роль играли представители буржуазии в партийных структурах (хотя бы в качестве кандидатов в выборщики по партийным спискам в разных регионах империи); практиковала ли партия кадетов сотрудничество с организациями предпринимателей (прежде всего, со съездами представителей промышленности и торговли); и, наконец, каково было «распределение политических симпатий российской буржуазии».

В результате своего исследования Ф.А. Селезнев пришел к выводам, что идеология кадетов впитала в себя многие идеи народнического социализма (в частности, восприятие российского промышленного капитализма как искусственного насаждения правительства, а буржуазии – как реакционной силы) [Селезнев, 2006, с. 164]. В силу этого «большинство кадетов (левые и центристы) находились на антибуржуазных позициях, выступали против гласного политически оформленного сотрудничества с лидерами и организациями предпринимательского сообщества» и «не собирались идеологически обслуживать предпринимательское сообщество» [Селезнев, 2006, с. 130]. По мнению исследователя, большинство политических требований кадетской программы «было либо неактуально для российской буржуазии, настроенной гораздо более консервативно, либо вообще противоречило ее классовым интересам» [Селезнев, 2006, с. 164].

Конкретные же экономические требования партии, как доказывает историк, были ориентированы на весьма узкую группу рос-

сийских предпринимателей: реализация их программы была бы выгодна «интересам иностранной промышленности и предпринимателей-посредников между нею и российским рынком, а также нуждам предпринимателей иудеев, мусульман и старообрядцев», и, кроме того, «капиталистам, связанным с рынком нефти, сахара, табака и ипотечным банкам». В силу этого принадлежность предпринимателей к Конституционно-демократической партии определялась, как правило, внеэкономическими факторами: наличием высшего образования, «тесными отношениями с интеллигенцией», дворянско-разночинским происхождением, опытом работы в земских структурах и т.д. Если же говорить об экономических факторах, то склонность к ориентации на Конституционно-демократическую партию сильнее всего была выражена либо у предпринимателей, связанных с рынком печатной продукции (владельцев издательств, типографий, книжных магазинов), либо у добытчиков полезных ископаемых (драгоценных металлов, нефти и угля), а слабее всего – у промышленников [Селезнев, 2006, с. 62–63, 108]. «Можно даже утверждать, – заключает Ф.А. Селезнев, – что перед Февралем 1917 г. конституционные демократы не только не выражали общеклассовые интересы буржуазии, но и действовали вопреки им» [Селезнев, 2006, с. 168].

Выводы Ф.А. Селезнева о небуржуазной природе кадетской партии, таким образом, согласуются с мнением, преобладающим в современных научных кругах, и обеспечивают его дополнительными доказательствами. Но, как представляется, критическое изучение проблемы социальной базы кадетской партии само по себе еще не дает ответа на главный вопрос, поставленный на первых страницах его исследования – о наличии или отсутствии в 1917 г. реальной альтернативы большевизму и о том, в чем состояли причины провала, нереализованности этой альтернативы.

Чтобы приблизиться к ответу на этот вопрос, необходимо обратиться к другим исследовательским сюжетам, – в частности к проблемам политической стратегии и тактики либеральных партий.

Проблема политической стратегии и тактики кадетского либерализма

В отечественной историографии за 1990–2000-е годы сложилась довольно устойчивая традиция интерпретации той политической линии, которой придерживались либеральные партии в эпоху бурь и потрясений начала XX в. Если советская историография трактовала либералов как сторонников контрреволюции, то в наши дни либералы обычно воспринимаются как сторонники «срединной стратегии», «центризма», проводившие свою политику «под знаком меры» и старавшиеся избежать крайностей как революции, так и реакции. Иногда эта характеристика распространяется на весь либеральный лагерь, иногда – лишь на определенные партии или отдельных их представителей.

Так, с точки зрения А.А. Кара-Мурзы, «либеральный социокультурный (и в этом контексте – политический) проект… состоит в том, чтобы промыслить и реализовать *срединный путь* между деспотизмом и хаосом, между Сциллой неправовой “Власти” и Харибдой неправовой “Антивласти”» [Российский либерализм, 2007, с. 15]. Он последовательно отстаивает концепцию, согласно которой для российского либерализма начала XX в. было характерно стремление «удержаться в центре между примиренчеством и революционностью», отыскать «третий», «срединный» путь между реакцией и революцией.

По мнению исследователя, эта тенденция была «достаточно последовательно и принципиально» выдержана в деятельности кадетской партии и ее лидера – П.Н. Милюкова. Как политик, Милюков стремился «найти среднюю линию между радикализмом и эволюционным обновленчеством»; как историк – «найти и сформулировать баланс между безусловной верой в европейский универсализм и пониманием очевидной русской особости перед лицом классической Европы». Возглавив конституционно-демократическую партию, Милюков, доказывает А.А. Кара-Мурза, видел свою историческую миссию в консолидации всех либеральных сил и сохранении внутрипартийного единства; этим объяснялась его «уникальная толерантность к внутрилиберальным оттенкам и различиям», способность «примирять фланги, “растворяться” в либеральной среде и в то же время эффективно представительствовать от ее имени» [Российский либерализм, 2007, с. 527, 530–534].

Таким образом, сама личность Милюкова в работах А.А. Кара-Мурзы предстает как воплощение либерального «третьего пути», пути компромисса, консолидации и толерантности. В свою очередь, Н.И. Канищева прослеживает «верность центристской позиции» и «идеалу гражданского единения» на примере судьбы еще

одного лидера кадетов, П.Д. Долгорукова [Российский либерализм, 2007, с. 538–562]. Н.Б. Хайлова, напротив, считает носителями центристской тенденции и «новой для России “срединной культуры”» не кадетов, а особую группу «российских либералов-центристов»: «деятелей умеренно-либерального направления» во главе с М.М. Стасюлевичем, группировавшихся вокруг журнала «Вестник Европы». Члены этой группы, с ее точки зрения, «стремились играть в либеральном движении роль идейной и организационной скрепы, предостерегая от крайностей кадетизма и октябризма» [Политические партии… 2005, с. 505–517; Российский либерализм середины XVIII… 2010, с. 1006–1007]. Воплощение же «типа *политика-центриста*, высшей ценностью для которого является “общественная солидарность”», она видит в М.М. Ковалевском – одном из лидеров этой группы, отмечая, что «определяющей чертой его характера была терпимость» [Российский либерализм, 2007, с. 369].

Проблема отношения кадетской партии к революционным методам действия – а значит, и вопрос о том, следует ли считать кадетов «контрреволюционной» или же «революционной» партией, – по-прежнему остается актуальной. Опыт решения этой проблемы предлагает В.В. Шелохаев в своих многочисленных исследовательских проектах.

Так, в совместной статье В.В. Шелохаева и Б.С. Итенберга, открывающей сборник «Российские либералы», утверждается, что все течения российского либерализма объединяло «признание как в теории, так и на практике приоритетности эволюционного пути общественного развития»; что идеологи либерализма «выступали против насильственных экспериментов переустройства общества». Однако далее уточняется, что теоретики освободженческого движения, а затем и кадеты, отвергали социальную революцию, но в ряде случаев готовы были признать «возможность», «необходимость и даже неизбежность» революции политической: «Политическая революция, по мнению либералов нового типа, правомерна тогда и постольку, когда и поскольку она берет на себя решение объективно назревших исторических задач, которые в силу тех или иных причин не в состоянии решить существующая власть. При таком подходе политическая революция представлялась в качестве следствия “неразумной” политики правительства, его неспособности своевременно провести необходимые политические

реформы» [Российские либералы, 2001, с. 8–9]. Таким образом, моральную ответственность за возможную революцию либералы возлагали на правительство и не отказывались от участия в революционном процессе.

Причины поражения либералов в начале XX в. В.В. Шелохаев и Б.С. Итенберг видят в том, что им не удалось создать единую либеральную партию политического освобождения или хотя бы коалицию партий; степень противоречий между различными направлениями была слишком велика, и это «ослабляло потенциал оппозиционного давления на авторитарный режим» [Российские либералы, 2001, с. 9]. Консолидировать либеральную оппозицию удалось кадетам «лишь под давлением экстремальной политической ситуации, сложившейся в стране в послефевральский период»; однако к тому времени «шанс трансформации России в либеральном контексте был упущен» [Российские либералы, 2001, с. 10]. «Либеральная идея мирного преобразования страны в реформистском русле с трудом приживалась в конфронтационной социокультурной среде, привыкшей к разрешению объективно назревших проблем по преимуществу силовыми методами, исключавшими компромисс и процедурный демократический переговорный процесс» [Российские либералы, 2001, с. 11]. Таким образом, провал либеральных партий трактуется ими как крушение шанса эволюционного развития страны на основе социальной консолидации и компромисса; характеристика партии кадетов, содержащаяся в их работе, соединяет в себе принципы «центризма», «надклассовости», «компромисса» и в то же время «революционности», которая трактуется как вынужденная, ситуативная.

В статье Н.И. Канищевой из энциклопедии «Российский либерализм» под редакцией В.В. Шелохаева также отстаивается точка зрения, что кадетская революционность носила ситуативный, а не доктринальный характер: «Платформа К-д. п. не исключала возможности осуществления полит. рев-ции в случае, если власть упорствует в своем нежелании проводить неотложные реформы. Однако предпочтение отдавалось мирным формам борьбы, использованию парламентских средств, поискам разумного компромисса с властью… Позиция партии отличалась выжидательностью, неприятием радикальных форм классовой борьбы» [Российский либерализм середины XVIII… 2010, с. 446].

В некоторых исследованиях подчеркивается, что при наличии возможности конструктивного сотрудничества с властью либеральная оппозиция искренне и благожелательно использовала эту возможность. Это доказывает, в частности, И.В. Алексеева, посвятившая свою монографию с красноречивым названием «Оппозиция его величества» роли либеральных партий в выработке внешнеполитического курса Российской империи и неофициальным контактам союзников по Антанте с представителями российской парламентской оппозиции. С точки зрения И.В. Алексеевой, краткое «сближение» кадетов и октябристов в Третьей Государственной думе «свидетельствовало о начале формирования в России парламентской, цивилизованной, *либеральной оппозиции*, лозунгом которой была “эволюция”, а не “революция”, которая одинаково отвергала любые перегибы как “слева”, так и “справа”, которая мечтала не о тотальном “подрыве” государства, а лишь о модернизации, либерализации, демократизации его политических устоев». Как подчеркивает исследователь, ради достижения этих целей либеральная оппозиция «готова была сотрудничать со сторонниками “перемен”… в русском правительстве» – и шла на такое сотрудничество, даже «ломая себя и “поступаясь принципами”» [Алексеева, 2004, с. 80, 83].

А.А. Кара-Мурза в своем очерке о П.Н. Милюкове, напротив, указывает, что «внутрилиберальные оппоненты Милюкова (тот же В.А. Маклаков, например) говорили о трагическом недоучете кадетским лидером возможностей сотрудничества с тогдашней властью». Однако, отводя упреки в адрес своего героя, А.А. Кара-Мурза отстаивает точку зрения, что провал политики компромисса произошел прежде всего по вине «косной и иррациональной» правящей власти, «в первую очередь из-за тотальной неразумности последней – от внутреннего устройства этой власти до ее ультраконсервативного менталитета». Как указывает А.А. Кара-Мурза, «со временем даже лидеры правых октябристов А.И. Гучков и М.В. Родзянко, стремившиеся реформировать режим по преимуществу “изнутри”… пришли к тому же выводу о полной невменяемости наличной верховной власти и абсолютной невозможности рациональной апелляции к ней» [Российский либерализм, 2007, с. 534].

Таким образом, для современной историографической традиции характерно убеждение, что отступления российских либералов от «срединной линии» были вызваны исключительно логикой

ситуации и невозможностью диалога с властью, которая понимала лишь язык «жесткого эмоционального прессинга» [Российский либерализм, 2007, с. 534].

Противоположная точка зрения на стратегию и тактику российского либерализма последовательно отстаивается в исследовании Ф.А. Гайды, где рассматривается история борьбы партии кадетов за власть в течение Первой мировой войны и особенно 1917 г., вплоть до Апрельского кризиса Временного правительства.

Характеризуя методологию своего исследования, историк заявляет о стремлении сохранить независимость «от гегельянско-марксистской парадигмы исторической неизбежности» и о том, что «основанием исследования является почерпнутое из ранних работ М.М. Бахтина и М. Хайдеггера… представление об активной роли личности в истории: не история действует в человеке, а человек и его поступки создают ее» [Гайда, 2003, с. 33]. Подход Ф.А. Гайды заключается в «сравнении слов и поступков представителей либеральной оппозиции»; по мнению исследователя, это позволяет проникнуть в суть проблемы глубже, чем обычно происходит в историографии: «Нередко официальная документация партий становится определяющей и чуть ли не единственной базой для реконструкции их политического мировоззрения и курса» [Гайда, 2003, с. 16]. Таким образом, в центре исследования – реальные поступки (т.е. аксиологически окрашенные действия) либералов, «их восприятие политической ситуации, принятие и реализация конкретных решений и последующая оценка собственной деятельности»; особое внимание историк уделяет «ситуации полемики при осуществлении тех или иных поступков, в которой проглядывают различные альтернативы развития ситуации; личность получает и распознает возможность выбора» [Гайда, 2003, с. 33].

Каждую главу монографии Ф.А. Гайды открывают эпиграфы из художественной, философской и даже богословской литературы: от Шекспира и А.С. Пушкина до уже упоминавшихся М.М. Бахтина и М. Хайдеггера. Первой главе предпослан эпиграф из шекспировского «Гамлета»: «Пьеса, я помню, не понравилась толпе… но это была… отличная пьеса, хорошо распределенная по сценам, построенная столь же просто, сколь и умело» [Гайда, 2003, с. 45].

Следует отметить, что образ Гамлета с давних пор является одним из стержневых для идентичности российского либерализма: вспомним знаменитое эссе И.С. Тургенева «Гамлет и Дон Кихот»,

где рефлексирующий, нерешительный, эгоцентричный интеллектуал противопоставлялся чистому сердцем, рыцарственному борцу за справедливость [Тургенев, 1962, с. 250–264]. Но в работе Ф.А. Гайды речь идет совсем о другом: не о либеральном «гамлетизме», а о кадетской политической стратегии как «умело построенной пьесе», «хорошо распределенной по сценам». Кадеты выступают в его исследовании как политики (скорее даже «политиканы»), со знанием дела выстроившие свой политический сценарий, но не сумевшие добиться симпатий «толпы».

Отправная идея исследования состоит в том, что к началу Первой мировой войны кадеты давным-давно не верили в сотрудничество с властью и в возможность реформирования страны «сверху». «При таких обстоятельствах всякое стремление к серьезному политическому переустройству, о котором мечтали либералы, должно было означать для них прежде всего борьбу за власть и подготовку к ее захвату, – формулирует Гайда. – Лишь государственная власть, по мнению самих либералов, могла выступить эффективным инструментом создания гражданского общества». Он неоднократно уточняет, что в годы войны по мере нарастания остроты политической ситуации «основное значение» в глазах кадетов «приобретало не выполнение программных требований», а борьба за «непосредственный доступ либералов к власти» [Гайда, 2003, с. 372].

Следовательно, по мнению Гайды, кадетами руководила не «властебоязнь» (как часто утверждалось и утверждается в историографии), а самая доподлинная «воля к власти»; в силу этого их нельзя, как делали советские историки, считать и «контрреволюционной» партией – по своим целям и стремлениям это была партия революционная, т.е. ориентированная на взятие власти ценой революционного переворота.

Вся тактика кадетов с начала Первой мировой войны, как аргументирует Гайда, была направлена на то, чтобы подрывать авторитет государственной власти в глазах населения и, реально не беря на себя никакой ответственности, решительными требованиями и лозунгами зарабатывать политический авторитет. Именно к этому, по его мнению, сводилась политика кадетов в рамках Прогрессивного блока в 1915 г. Он доказывает, что кадеты, как правило, не создавали сами критических ситуаций в политике, но в случае возникновения таковых ловко умели «оседлать волну», перехватить политическую инициативу и «вывести кризисную ситуацию на новый уровень (май-июнь, август 1915 г., ноябрь 1916 г.)» [Гайда, 2003, с. 375]. Когда же либералы почувствовали реальную слабость власти, а борьба с самодержавием стала даваться все легче, общее настроение оппозиции «определялось уже возможностями новых побед»: «Либералы были уверены в своем приходе к власти в будущем (об этом свидетельствовал европейский опыт); вера в историческую закономерность ослепляла, мешала учитывать реальные обстоятельства, во многом снимала вопрос личной ответственности». Решительность оппозиции нарастала, но она «в основе своей была деструктивна»: «Происходило снижение определенности последствий за счет повышения определенности действий – работал закон сиюминутной страсти, предсказуемой не менее, чем бесплодной» [Гайда, 2003, с. 376].

Эта политическая линия кадетов, как показывает Гайда, достигла своей кульминации в конце 1916 г., когда Милюков организовал «клеветническую кампанию» в Думе и прессе против Николая II и его правительства. С этого момента политическим оружием кадетов, пишет историк, становится «сознательная дискредитация и клевета»; речь Милюкова в Думе 1 ноября 1916 г. характеризуется как «клеветническая речь», «безответственное выступление Милюкова» [Гайда, 2003, с. 230–232, 234]. Подчеркивается, что в ходе кампании лидерами партии овладело «чувство безнаказанности»: «По мере усиления ненависти к правительству постепенно слабел страх перед стихией. Сковывали лишь слабость и нерешительность, и лишь боязнь перед расправой внушала опасения» [Гайда, 2003, с. 245, 257]. Однако в феврале 1917 г. «ненависть и осознание необходимости решиться на последний верный шаг оказались сильнее страха» [Гайда, 2003, с. 352].

Уже из этих примеров видно, что, воссоздавая ход борьбы российских либералов за политическую власть, Гайда не жалеет резких слов и выражений в адрес кадетов. Они предстают на страницах его работы вовсе не благородными защитниками свобод и прав личности, не носителями «уникальной толерантности» и «чувства меры», а циничными и своекорыстными политиканами, готовыми не упустить своего часа. Главы и параграфы монографии носят показательные названия: «Быть готовым к случайностям», «Тоска по влиянию» и т.п. Гайда не считает, что кадетам была свойственна излишняя склонность к моральной рефлексии:

когда речь шла о доступе к власти и о сохранении влияния на «улицу» (т.е. на массовые силы протеста), «русская либеральная оппозиция начала XX в. вообще не склонна была мучиться проблемой выбора…» [Гайда, 2003, с. 269].

Именно поэтому, как доказывает историк, получив власть и сформировав Временное правительство первого созыва, кадеты оказались неспособны справиться с политической ситуацией: все их поступки до этого момента диктовались не стремлением решить насущные социальные проблемы страны, а желанием «оседлать волну» политического протеста. В силу этого «после “февральского переворота” оказалось, что они в действительности мало что умеют, а зияющие пробелы в собственных способностях могут заполнять лишь блестящими пунктами своих политических программ. Однако, в отличие от большевиков, оказавшихся в той же ситуации, либералы не пожелали учиться, будучи уверены, что и так все знают, а вся страна должна лишь внимать их указаниям» [Гайда, 2003, с. 379–380]. Политический провал либералов, пришедших к власти, в работе Гайды предстает внутренне обусловленным, логично вытекающим изо всех предыдущих политических шагов кадетской партии. Не случайно эпиграфом к последней главе выбрана цитата из св. Григория Нисского: «Действие есть естественная сила и движение каждой сущности… Ибо истинное рассуждение может определить границы сущностей, зная неложные действия их» [Гайда, 2003, с. 371]. (Мысль, вполне соответствующая евангельскому изречению: «По плодам их узнаете их» – Матф. 7:16.)

От обсуждения вопроса социальной основы либерального движения Ф.А. Гайда сознательно уходит [Гайда, 2003, с. 33]. Тем не менее, освещая политику кадетов в первом составе Временного правительства, он достаточно жестко высказывается об их «надклассовой» и «надпартийной» риторике как о полнейшей демагогии, призванной сохранять иллюзию народного единства при нерешенности ключевых социальных проблем, а затем делает вывод об «интеллигентской, а отнюдь не буржуазной, природе конституционно-демократической партии» [Гайда, 2003, с. 318, 353,372].

В заключительной части монографии Ф.А. Гайда вслед за М.М. Карповичем высказывает мысль об «укорененности в России радикального либерализма кадетского образца»: при отсутствии в стране гражданского общества и упорном нежелании самодержавия проводить реформы «всякое стремление к серьезному политическому переустройству, о котором мечтали либералы, должно было означать… прежде всего борьбу за власть и подготовку к ее захвату» [Гайда, 2003, с. 372]. Однако на следующих страницах настойчиво возникает тема чуждости либералов народу: «Либералы совершали революцию, но революцию свою, отличную от революции народа, который, по справедливому мнению исследователей, так и остался для них плохо понятен и почти не подвержен влиянию с их стороны»; «В феврале – марте 1917 г. либеральная оппозиция вершила свою собственную революцию, отличную от революции народной, но не с целью помешать ей, а из-за слабого осознания ее причин и мотивов»; «Интеллигенция во власти оказалась зеркальным отражением последнего поколения русской бюрократии, с которой ее в это время объединяло общее непонимание жизненных интересов России» [Гайда, 2003, с. 352, 378–379].

Так тема «трагедии несовместимости» – несовместимости российских политических реалий и либеральных идей – вновь возвращается в современную историографическую традицию. Политические, эмоциональные и моральные акценты при этом могут быть расставлены по-разному: от осуждения либерального политиканства у Ф.А. Гайды до горькой констатации В.М. Шевырина, что «либерализм в его сублимированном, беспримесно-чистом виде… отторгла “историческая среда”, внутренне не созревшая для восприятия либеральных идей» [Российские либералы, 2001, с. 490].

Подводя итоги, можно обрисовать современную историографическую ситуацию, сложившуюся в изучении истории российского либерализма начала XX в., следующим образом. Для современной историографии (того ее течения, которое представлено прежде всего именами В.В. Шелохаева и А.А. Кара-Мурзы) характерно стремление к созданию максимально широкой и разветвленной генеалогии российского либерализма, которая восходила бы от века Просвещения до наших дней и в которую были бы вплетены исторические персонажи от Н.И. Панина до А.Д. Сахарова.

В то же время ряд исследований, появившихся в начале XXI в., носит остро полемическую направленность. Их авторы стремятся к критической проверке сложившихся ранее историографических мифов: как тех, которые были унаследованы от советской исторической науки (миф о буржуазной сущности кадетского либерализма) или от историографии русского зарубежья

(миф о «трагедии несовместимости»), так и тех, которые определяли облик историографии 1990-х годов (миф об утраченном «срединном пути» между революцией и реакцией). Полемика является тем более острой, что эти историографические мифы активно отторгают друг друга, будучи генетически связаны с разными ценностными системами: первый из них порожден коммунистической идеологией, второй – национально-почвенническим дискурсом, третий же отражает идентичность самих либералов.

Наконец, любопытно отметить, что противопоставление «революционная – контрреволюционная партия» в современной литературе начинает уступать место другому противопоставлению, в более актуальной терминологии: «системная – антисистемная оппозиция». Так, Ф.А. Селезнев, поясняя свою мысль о том, что в рядах одной и той же кадетской партии уживались противоположные политические стратегии, называет левое крыло партии, а также центристское течение внутри нее «антисистемной оппозицией»; напротив, правое крыло, возглавлявшееся П.Б. Струве, он считает «системной оппозицией», представители которой «стремились не к слому Системы, а лишь к перераспределению властных полномочий внутри нее» и в силу этого «спокойно воспринимали возможность сотрудничества с властью» [Селезнев, 2006, с. 166–167].

Если учесть, что термины «системная и антисистемная оппозиция» (а также оппозиция «внесистемная» и «несистемная») широко используются в современном политологическом арго для характеристики текущей ситуации в России, то перед нами, безусловно, попытка вписать историю кадетской партии в контекст современных политических баталий. Для современного историографического сознания кадетский либерализм оказался в той точке, про которую, используя известное выражение Марка Блока, можно сказать: «Это уже не история, это политика»; история политических бурь начала XX в. в глазах нынешнего исследователя и читателя «отмечена по отношению к нам весьма высоким коэффициентом “современности”» [Блок, 1973, с. 24]. Политический ландшафт России превращается в сцену, где – в костюмах разных эпох и с участием разных актеров – разыгрывается одна и та же пьеса (противостояние властной Системы и оппозиционных ей сил), и в этом пространственно-временном континууме кадеты оказываются плечом к плечу с представителями – допустим –

«Другой России», «Стратегии-31» или движения «Голосуй против всех». Актуализацию истории российского либерализма можно считать еще одной знаковой особенностью историографии начала XXI в.

Список литературы

Аврех А.Я. Распад третьеиюньской системы. – М.: Наука, 1985. – 260 с.

Аврех А.Я. Столыпин и Третья Дума. – М.: Наука, 1968. – 520 с.

Аврех А.Я. Царизм и IV Дума, (1912–1914). – М.: Наука, 1981. – 293 с.

Аврех А.Я. Царизм накануне свержения. – М.: Наука, 1989. – 251 с.

Алексеева И.В. Оппозиция его величества: Дума, царизм и союзники России по Антанте в эпоху П.А. Столыпина, 1907–1911 гг. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. – 267 с.

Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства // Р.А. Гальцева (вступ. ст., сост., примеч.): В 2 т. – М.: Искусство, 1994. – Т. 1. – 542 с.

Бердяев Н.А. Русская идея // О России и русской философской культуре: Философы русского послеоктябрьского зарубежья / Сост. М.А. Маслин. – М.: Наука, 1990. – С. 43–271.

Бибикова Л.В. Политическая полиция, консерваторы и социалисты: Игра либерализмами в публичном и непубличном политическом пространстве Российской империи в конце XIX – начале XX века // «Понятия о России»: К исторической семантике имперского периода / Под ред. А. Миллера, Д. Сдвижкова, И. Ширле: В 2 т. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – Т. 1. – С. 514–558.

Блок М. Апология истории, или Ремесло историка / Пер. Е.М. Лысенко; примеч. А.Я. Гуревича. – М.: Наука, 1973. – 232 с.

Вандалковская М.Г. П.Н. Милюков, А.А. Кизеветтер: История и политика. – М.: Наука, 1992. – 285 с.

Гайда Ф.А. Либеральная оппозиция на путях к власти, (1914 – весна 1917 г.). – М.: РОССПЭН, 2003. – 432 с.

Гайдар Е.Т. Государство и эволюция. – М.: Евразия, 1995. – 206 с.

Гайдар Е.Т. Могильщикам либералов // Еженедельный Журнал. – М., 2004. – 19 апреля, № 116. – Режим доступа: http://www.gaidar.org/smi/ezhened_04_2004.htm (Дата посещения: 14.05.2012.)

Гайденко П.П. Под знаком меры (либеральный консерватизм П.Б. Струве) // Вопросы философии. – М., 1992. – № 12. – С. 54–64.

Гайденко П.П. Владимир Соловьёв и философия Серебряного века. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 472 с.

Думова Н.Г. Кадетская контрреволюция и ее разгром (октябрь 1917 – 1920 г.). – М.: Наука, 1982. – 416 с.

Думова Н.Г. Кадетская партия в период Первой мировой войны и Февральской революции. – М.: Наука,1988. – 244 с.

Думова Н.Г. Кончилось ваше время… – М.: Политиздат, 1990. – 334 с.
Думова Н.Г. Либерал в России: Трагедия несовместимости: Исторический портрет П.Н. Милюкова. – М.: ИРИ РАН,1993. – 240 с.
Дякин В.С. Буржуазия, дворянство и царизм в 1911–1914 гг.: Разложение третьеиюньской системы. – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1988. – 227 с.
Дякин В.С. Русская буржуазия и царизм в годы Первой мировой войны, (1914–1917). – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1967. – 363 с.
Дякин В.С. Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907–1911 гг. – Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1978. – 246 с.
Калашников М.В. Понятие «либерализм» в русском общественном сознании XIX века // «Понятия о России»: К исторической семантике имперского периода / Под ред. А. Миллера, Д. Сдвижкова, И. Ширле: В 2 т.– М.: Новое литературное обозрение, 2012. – Т. 1. – С. 464–513.
Леонтович В.В. История либерализма в России, (1762–1914). – М.: Русский путь, 1995. – 444 с.
Медушевский А.Н. История русской социологии. – М.: Высшая школа, 1993. – 316 с.
Милюков П.Н. Воспоминания. – М.: Вагриус, 2001. – 636 с.
О свободе. Антология мировой либеральной мысли, (I половина XX века) / Сост.: Абрамов М.А., Федорова М.М.; Отв. ред. Абрамов М.А.; Ин-т философии РАН. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 696 с.
Опыт русского либерализма: Антология / Редкол.: Бакусев В.М. и др. – М.: Канон+: Реабилитация, 1997. – 476 с.
Осипов И.Д. Философия русского либерализма, (XIX – начало XX в.). – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1996. – 191 с.
Политические партии в российских революциях в начале XX века / Под ред. Г.Н. Севостьянова; Ин-т рос. истории. – М.: Наука, 2005. – 533 с.
Программа партии «Правое дело» // Правое дело: официальный сайт партии. – М., 2011. – Режим доступа: http://www.pravoedelo.ru/party/program (Дата посещения: 23.06.2012.)
Протоколы Центрального Комитета и заграничных групп конституционно-демократической партии, 1905 – середина 1930-х гг.: В 6 т. / Редкол.: Шелохаев В.В. (отв. ред.) и др.; Центр полит. и экон. истории России Рос. независимого ин-та соц. и нац. пробл. и др. – М.: РОССПЭН, 1994. – Т. 1: Протоколы заграничных групп конституционно-демократической партии. 1922 г. – 503 с.
Протоколы Центрального Комитета и заграничных групп конституционно-демократической партии, 1905 – середина 1930-х гг.: В 6 т. / Редкол.: Шелохаев В.В. (отв. ред.) и др.; Центр полит. и экон. истории России Рос. независимого ин-та соц. и нац. пробл. и др. – М.: РОССПЭН, 1997. – Т. 2: Протоколы Центрального Комитета конституционно-демократической партии. 1912–1914 гг. – 520 с.
Протоколы Центрального Комитета и заграничных групп конституционно-демократической партии, 1905 – середина 1930-х гг.: В 6 т. / Редкол.: Шелохаев В.В. (отв. ред.) и др.; Центр полит. и экон. истории России Рос. независимого ин-та соц. и нац. пробл. и др. – М.: РОССПЭН, 1998. – Т. 3. – 589 с.

Репинецкий С.А. Формирование идеологии российского либерализма в ходе обсуждения крестьянского вопроса публицистикой 1856–1860 годов. – М.; Самара: Изд-во СамНЦ РАН, 2010. – 351 с.
Российские либералы: Кадеты и октябристы: (Документы, воспоминания, публицистика) / Сост. Д.Б. Павлов, В.В. Шелохаев. – М.: РОССПЭН, 1996. – 303 с.
Российские либералы: Сб. ст. / Под ред. Б.С. Итенберга и В.В. Шелохаева. – М.: РОССПЭН, 2001. – 576 с.
Российский либерализм: Идеи и люди / Под общ. ред. А.А. Кара-Мурзы. – М.: Новое издательство, 2004. – 616 с.
Российский либерализм: Идеи и люди / Под общ. ред. А.А. Кара-Мурзы. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Новое издательство, 2007. – 904 с.
Российский либерализм: Идеи и люди [Стенограмма дискуссии] / Фонд «Либеральная миссия». – М., 2005. – 17 января. – Режим доступа: http://www.liberal.ru/articles/1193 (Дата посещения: 23.06.2012.)
Российский либерализм середины XVIII – начала XX века: Энциклопедия / Отв. ред. В.В. Шелохаев. – М.: РОССПЭН, 2010. – 1087 с.
Свободный человек в несвободной стране. Кризис либерализма в России – кто виноват? // Институт экономического анализа. – М., 2008. – 11 мая. – Режим доступа: http://www.iea.ru/polit_svoboda.php?id=33 (Дата посещения: 23.06.2012.)
Союз правых сил. Программа (Российский либеральный манифест) // Союз правых сил. – М., 2001. – 4 декабря. – Режим доступа: http://www.sps.ru/?id=214522 (Дата посещения: 23.06.2012.)
Селезнев Ф.А. Взаимоотношения партии кадетов и буржуазии в освещении зарубежной историографии // Век XX: Историография, источниковедение, региональная история России: Сб. трудов. – Нижний Новгород: НГАСУ, 2004. – С. 118–126.
Селезнев Ф.А. Конституционные демократы и буржуазия, (1905–1917 гг.): Монография. – Н. Новгород: Изд-во Нижегородск. гос. ун-та им. Н.И. Лобачевского, 2006. – 227 с.
Солженицын А.И. К русскому изданию книги В.В. Леонтовича // Леонтович В.В. История либерализма в России, (1762–1914). – М.: Русский путь, 1995. – 444 с.
Спицин В. Кризис либерализма в России. – М., 2011. – Режим доступа: http://www.proza.ru/2011/11/28/1649 (Дата посещения: 23.06.2012.)
Тургенев И.С. Гамлет и Дон-Кихот // *Тургенев И.С.* Собр. соч.: В 10 т. – М.: Гос. изд-во худож. лит-ры, 1962. – Т. 10: Стихотворения в прозе. Литературные и житейские воспоминания. Избранные статьи и речи. – С. 250–264.
Ходорковский М. Кризис либерализма в России // Пресс-центр Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. – М., 2004. – 29 марта. – Режим доступа: http://khodorkovsky.ru/mbk/articles_and_interview/12296.html (Дата посещения: 23.06.2012.)
Черменский Е.Д. Буржуазия и царизм в первой русской революции. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Мысль, 1970. – 448 с.
Черменский Е.Д. IV Государственная дума и свержение царизма в России. – М.: Мысль, 1976. – 318 с.

Шацилло К.Ф. Русский либерализм накануне революции, 1905–1907 гг.: Организация. Программы. Тактика. – М.: Наука, 1985. – 347 с.
Шелохаев В.В. Идеология и политическая организация российской либеральной буржуазии, 1907–1914 гг. – М.: Наука,1991. – 231 с.
Шелохаев В.В. Кадеты – главная партия либеральной буржуазии в борьбе с революцией, 1905–1907 гг. – М.: Наука, 1983. – 327 с.
Шелохаев В.В. Партия октябристов в период первой российской революции. – М.: Наука, 1987. – 157 с.
Шелохаев В.В. Русский либерализм как историографическая и историософская проблема // Вопросы истории. – М., 1998. – № 4. – С. 26–41.
Шнейдер К.И. Между свободой и самодержавием: История раннего русского либерализма. – Пермь: Перм. гос. нац. иссл. ун-т, 2012. – 230 с.
Timberlake C.E. Introduction: The concept of liberalism in Russia // Essays on Russian liberalism / Ed. by C.E. Timberlake. – Columbia: Univ. of Missouri press, 1972. – P. 1–17.

А.В. Мазаник

«КУЛЬТУРНЫЙ ПОВОРОТ» И РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ УРБАНИСТИКА[1]

Повышенное внимание к культуре и культурной истории стало начиная с 1980-х годов одной из наиболее заметных тенденций в гуманитарных исследованиях, часто называемой «культурным поворотом» (cultural turn). Данное явление, безусловно, имеет свои региональные и дисциплинарные различия, но в общих чертах оно характеризуется расширением понимания культуры и поиском объяснения различных социальных, экономических или политических феноменов, от революций до финансовых кризисов, в сфере культуры.

Важным фактором, вызвавшим «культурный поворот» в историческом знании, стало взаимодействие историков и антропологов, выразившееся, например, в заимствовании историками более широкого антропологического понимания культуры, включавшего не только высокую культуру, но и повседневные практики, ритуалы, обычаи, весь уклад жизни. Своеобразным лозунгом «новой культурной истории» стала знаменитая формулировка Клиффорда Гиртца из книги «Интерпретация культур»: «Вместе с Максом Вебером я верю, что человек – это существо, запутавшееся в паутине значений, которую он сам сплел, и считаю, что эта паутина и есть культура, а ее анализ, таким образом, является не экспериментальной наукой, ищущей закономерности, а интерпретацией, ищущей

[1] Автор выражает благодарность Брендану Рёдеру, Маркиану Прокоповичу, Остапу Середе, Марии Фалиной, Анне Стрельниковой и Татьяне Балашовой за ценные комментарии и помощь в работе над статьей.

смысл» [Geertz, 1973, p. 5]. Другим проявлением взаимодействия с антропологией стало развитие жанра микроистории. Как отмечал Питер Бёрк, антропология предлагала альтернативную модель исследования, в которой глубокое изучение отдельных сообществ оставляло место для культурных интерпретаций и позволяло показать «лица в толпе», избегая социального или экономического детерминизма [Burke, 2004, p. 43]. Интерес к микроистории был реакцией, с одной стороны, на канонический гранд-нарратив прогрессивного развития западной цивилизации, а с другой стороны, на доминирующий тип социально-экономической истории, которая стремилась к обобщениям, часто игнорируя разнообразие или особенности локальных культур.

Для городской истории (urban history) «культурный поворот» означал смену вектора развития, во многом способствуя ее утверждению как отдельной исторической субдисциплины с особыми теоретическими ресурсами и проблематикой. Безусловно, истории отдельных городов создавались еще с XIX в., главным образом в жанре политической, юридической или муниципальной истории, фокусировавшейся на городской политике, городских привилегиях, управлении и администрировании, или же истории городской застройки и ключевых архитектурных сооружений. В середине XX в. города стали объектом пристального внимания социально-экономической истории, которая с помощью массовых источников и количественных методов изучала экономическую активность и развитие социальных структур. Новая волна, которую часто связывают с книгой Карла Шорске «Fin-de-siècle Vienna», оказавшей особое влияние на историческую урбанистику Центральной Европы [Schorske, 1980], создала иную парадигму изучения городов, подчеркивающую взаимозависимость культурного и политического контекстов.

Изучение российских и советских городов активно велось западными историками уже с 1970-х годов в рамках социально-экономической и демографической истории [Zelnik, 1971; Bater, 1976; Hamm, 1977; Bradley, 1985]. С конца 1980-х годов исследовательский фокус постепенно смещается, и изучение урбанизации, индустриализации, рабочего движения уступает место исследованию городской культуры, нормам и ценностям городской жизни, символике городского пространства, городским субкультурам, городской публичной сфере и политическим практикам [Engelstein,

1992; Kotkin, 1995; Ruble, 2001; Swift, 2002; Schloegel, 2002; McReynolds, 2003; Sahadeo, 2006; Bradley, 2009; Clark, 2011; Steinberg, 2011].

В силу длительной оторванности отечественной исторической науки от мировой теоретические подходы, связанные с «культурным поворотом», проникали в российскую академическую среду довольно медленно. В целом среди российских историков «новая культурная история» в настоящий момент занимает достаточно маргинальные позиции, существенно уступая политической и социальной истории. Однако историческая урбанистика, прежде всего история российских городов XIX и XX вв., демонстрирует тенденции, во многом аналогичные «культурному повороту», хотя и со своей особой спецификой.

Историография модерного города в России в последние годы переживает небывалый подъем. Изучение городской жизни стимулировалось, во-первых, ростом городов и реконструкцией городской среды, а во-вторых, неизменным в последние десятилетия вниманием к проблеме становления гражданского общества, степени его развития и характеру взаимоотношений с государственной властью. Поиск элементов гражданского общества, в свою очередь, тесно связан с поиском среднего класса как его основы. Изучение идентичностей горожан стало важной составляющей дискуссий о российской буржуазии, среднем классе и гражданском обществе [Предпринимательство и городская культура, 2002; Ульянова, 1999; Петров, 2002; Купеческая Москва, 2007].

Этот поиск гражданского общества, средних классов, буржуазии выразился в большом внимании к последним предреволюционным десятилетиям. Период конца XIX – начала XX в. концептуализируется как своеобразный золотой век российской буржуазной культуры, тесно связанной с общей проблемой модерности и модернизации в России. Образ жизни, мировоззрение и политические взгляды, увлечения, досуг, жилье, костюм, популярная культура, повседневные практики горожан, как и городские пространства, в которых эти практики реализуются, становятся важным предметом исследований [Москва рубежа XIX и XX столетий, 2004; Российская провинция, 2006; Купеческая Москва, 2007; Юхнева, 2008; Культуры городов Российской империи, 2009; Глезеров, 2009 а; Хмельницкая, 2011].

Ностальгия была и остается важной мотивацией исследований по городской истории, в том числе и провинциальной. Постепенное изменение облика городов в постперестроечные годы заставило историков обратиться к исследованию уходящего или недавно ушедшего быта, в том числе советского, который до 1990-х годов был скорее неизбежной реальностью, чем объектом исторического изучения [Волков, 2003; Глезеров, 2009 b; Юхнева, 2008; Бокова, 2009; Российская провинция, 2006]. Причем зарождение этого уходящего городского быта и исчезающей городской среды историки относят не к 1920-м годам, не к началу советского периода, а к концу XIX в. В предисловии к своей монографии о петербургских доходных домах Е. Юхнева пишет: «Эта книга – попытка создания своеобразного памятника не парадному, а повседневному Петербургу, где жили мы, наши родители, наши дедушки и бабушки. Тому Петербургу, что сложился к началу XX века» [Юхнева, 2008, с. 5]. Похожее мнение высказывает и исследователь московской повседневности В. Бокова: «Та Москва, исчезновение которой мы наблюдаем сейчас, появилась лишь на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков» [Бокова, 2008, с. 7]. Таким образом, в этой интерпретации городская среда следует своей определенной логике развития, которая не всегда совпадает с периодизацией политических событий, хотя она, безусловно, на них реагирует и иногда их определяет. Если политическая история оперирует понятием «долгий XIX век», который заканчивается Первой мировой войной, то применительно к городской истории можно говорить о «долгом XX веке», начинающемся в последние десятилетия XIX в., когда в результате либеральных реформ, индустриализации и интенсивной урбанизации в России появляется модерный город и буржуазная культура. Хотя у советского города, безусловно, были свои специфические черты, образ города, сформированный российской исторической урбанистикой, подчеркивает скорее непрерывность и преемственность городского развития на протяжении всего «долгого XX века»[1]. Феномен советского города теряет свою четкость и уникальность не только во временном контексте

[1] Преемственность дореволюционной и советской урбанизации подчеркивается в следующих работах [Сенявский, 2003; Трущенко, 1995; Бокова, 2009; Юхнева, 2008; Российская провинция, 2006; см. также: Жилище в России, 2003 и Москва рубежа XIX и XX столетий, 2004].

благодаря акценту на преемственность, но и в контексте географическом, за счет компаративных исследований, изучения культурных заимствований и влияний, вписываясь в глобальный контекст развития модерного города [Байу, 2001; Есаян, 2001; Москва рубежа XIX и XX столетий, 2004].

Новые тенденции в развитии российской урбанистики охватывали не только тематику и проблематику работ, но и само восприятие города и подходы к его изучению. С конца 1980-х годов на смену образу города как центра управления, торговли и индустриализации или объекта государственных реформ (и, соответственно, социально-экономических и политико-юридических подходов к его изучению) приходит понимание города как «социального организма» со своей особой душой, как «историко-культурного феномена», как генератора и выразителя культуры, носителя определенных культурных традиций, локуса «социокультурной среды» и «социокультурного опыта».

Причины изменений так же, как и в зарубежной академической среде, связаны с разочарованием в существовавшем гранднарративе, с той разницей, что в своем советском варианте он был значительно у́же, конкретнее и выборочнее нарратива западного. Мейнстрим советской историографии рассматривал город как место зарождения и развития капиталистических отношений, показывая на примере истории российских городов действенность теории о смене формаций [Середа, 1999, с. 24]. Приоритетными направлениями исследований были социально-экономические и демографические процессы, развитие промышленности, градообразование, некоторые правовые аспекты формирования городского общества, отношения между городом и деревней, крестьянская миграция и т.п. Городская культура в узком понимании традиционно изучалась искусствоведами. Безусловно, работы М. Бахтина и А. Гуревича с их культурными интерпретациями общественной жизни наложили отпечаток на советских историков-медиевистов, однако в силу слабых связей между различными областями гуманитарного знания они имели ограниченное влияние на исследователей, занимавшихся историей российских и советских городов.

Несомненно, перемены, связанные с перестройкой и распадом Советского Союза, возможность активно участвовать в международных конференциях, стажироваться за границей, взаимодействовать с зарубежными или эмигрировавшими коллегами,

читать работы иностранных историков, в частности их русскоязычные статьи в сборниках с участием (или под редакцией) российских авторов [Город и горожане, 2001; Жилище в России, 2002; Купеческая Москва, 2007; Культуры городов российской империи, 2009], открыли новые горизонты для отечественных исследователей. Однако качественные изменения в российской исторической урбанистике во многом имели свои локальные корни. Влияние зарубежных теоретиков и практиков «новой культурной истории», за некоторым исключением, было косвенным, опосредованным, что вызвано, в частности, ограниченной доступностью их работ в России, особенно за пределами Москвы и Петербурга, недостатком переводов, языковым барьером и традиционно слабым вниманием к западной историографии в российской университетской системе.

Скорее, интерес к городской культуре стимулировался исчезновением навязанного идеологического фильтра при выборе темы потенциального исследования и естественным стремлением разрабатывать не изученные ранее направления; в этом ключе ознакомление с новыми подходами зарубежной историографии оказалось исключительно ценным подспорьем в исследованиях по данной проблематике, но не инициатором их. Прямые ссылки на работы современных зарубежных авторов и обсуждение их аналитического вклада в историческую урбанистику и изучение городской культуры достаточно редко встречаются в текстах отечественных историков и в настоящее время. Восприятие западного «культурного поворота» было косвенным и неартикулированным, возможно, даже неосознанным. Теоретики «новой культурной истории» и зарубежные урбанисты пока не утвердились в пантеоне авторитетов для российских исследователей истории городов, которые редко вписывают свои работы в мировой историографический контекст.

В поисках новых подходов к изучению городской культуры российские историки часто обращались не к зарубежным, а к отечественным авторам, которые не относились к основному руслу советской историографии. Идеи о ключевой роли культуры для осмысления истории, хотя и вытесненные на периферию исторического знания марксистским экономическим детерминизмом, существовали в советском академическом мире еще с 1920-х годов, времени расцвета петербургской школы краеведения, развившегося в русле ностальгических попыток запечатлеть исчезающую, как

казалось, «душу Петербурга» и петербургской культуры [Лурье, Кобак, 1989, с. 74–75]. С конца 1980-х годов отечественные историки заново открыли для себя работы петербургских краеведов И.М. Гревса и Н.П. Анциферова, ставившие в центр исторического исследования процесс развития культуры в ее целостности, средоточием которого является город [Кошман, 2008, с. 15–17; Российская провинция, 2006, с. 9; см. также: Анциферовские чтения, 1989; Филимонов, 1999]. Так, И.М. Гревс писал: «Она [культура] и составляет собственный предмет истории в ее целом. Она же – целокупная культура – открывает путь для развития самосознания, а оттуда и самодеятельности края и вручает необходимый элемент для познания страны (родиноведения), а потом всей земли: – Культура, мир человека, развитие его в личности и обществе, во всех сферах жизни, внешней и внутренней, в труде, деятельности и ее плодах, в мысли, сознании, его мотивах и построениях» [Гревс, 1989, с. 29]. При этом город – выразитель культуры – воспринимается как целостный организм, индивидуальность со своей особой коллективной психикой [Анциферов, Анциферова, 1926, с. 3–5; Анциферов, 2009, с. 12–21; Гревс, 1989, с. 35]. Как отмечала А.А. Сундиева в предисловии к изданию материалов конференции 1992 г., посвященной провинциальному городу и городской культуре: «Объединяет всех [участников конференции] общая задача выявления места и функций провинциальной культуры в русской культуре, поиск адекватных предмету путей постижения, интерес к методологическим новациям зарубежных и отечественных культурологов 20-х гг. нашего века. Именно в это время город стал объектом философского осмысления как явления культуры. Редкий автор не цитирует О. Шпенглера или М. Вебера, Н.П. Анциферова, Н.К. Пиксанова или И.М. Гревса. И не просто цитирует, а отчасти опирается на их методологию, использует соответствующую терминологию: “душа города”, “переживание городского пространства”, “целокупность восприятия” и пр.» [Провинциальный город, 2000, с. 3].

Популярность среди российских историков таких авторов, как Вебер и Шпенглер, к которым можно добавить также классических немецких философов или представителей школы «Анналов», неслучайна (С. Жук в статье, помещенной в данном сборнике, подробно разбирает интерпретацию культуры Максом Вебером и ее восприятие «новой культурной историей»). В условиях раз-

рушения определенной, причем достаточно жесткой, историографической парадигмы поиск новых ориентиров идет в том поле, которое ранее оставалось за ее границами, но при этом было доступно и обладало некоторым потенциалом авторитета. До недавнего времени мало известные и почти недоступные в России (и тем более на русском языке) работы «новых культурных историков» не входили в это поле и потому имели ограниченное влияние, оставляя возможность для, в некотором роде, действительно «новационного» обращения к авторам 1920-х годов.

Важным источником вдохновения помимо работ 1920-х годов стали культурологические и философские подходы к изучению городской культуры, в частности работы семиологов московско-тартуской школы, прежде всего концепция семиосферы и тексты, посвященные городскому пространству [Город как социокультурное явление, 1995; Анциферовские чтения, 1989; Кошман, 2008]. В своей статье «Символика Петербурга» Ю.М. Лотман дал определение города, которое стало во многом основополагающим для российских культурологов и историков городской культуры: «Город, как сложный семиотический организм, генератор культуры, может выполнять эту функцию только потому, что представляет собой котел текстов и кодов, разноустроенных и гетерогенных, принадлежащих разным языкам и разным уровням. Именно принципиальный семиотический полиглотизм любого города делает его полем разнообразных и в других условиях невозможных семиотических коллизий» [Лотман, 1999, с. 282].

В качестве альтернативы традиционному историческому подходу к городу культурологически-философский подход означал изучение города как феномена культуры, как особой культурно-смысловой метаструктуры, как культурного текста, предполагал осмысление метафизики города, его архетипов, мифов, его культурного языка, символики и семиозиса. По словам культуролога И.В. Кондакова, необходимо увидеть взаимосвязь этих двух подходов – исторического («социодинамического») и феноменологического – к изучению городской культуры, так как «между ними существует зависимость, не исчерпывающаяся социокультурным детерминизмом, понимаемым как порождение материальным – духовного и социально-экономическим – культурного, но и подразумевающая влияние ментальных структур общества на образование его социальных институтов, духовной атмосферы на экономи-

ческую и политическую жизнь, культурных представлений на самоорганизацию общества на всех уровнях его строения» [Кондаков, 1999, с. 189].

Очевидно, что подобная интерпретация городской культуры через синтез двух этих подходов во многом близка идеям «новой культурной истории». К сожалению, одна из проблем современных исследований городской культуры заключается в том, что два этих подхода – исторический и феноменологический – редко синтезируются и продолжают существовать автономно даже в пределах одной книги. Несколько сборников, посвященных социокультурным феноменам города и урбанизации в историческом процессе, опубликованных Советом по истории мировой культуры РАН в 1990-е годы, попытались объединить эти подходы, представив под одной обложкой интерпретации городской культуры специалистами в различных гуманитарных областях, однако попытки интеграции оказались не очень успешными: книги как бы распадаются на части – феноменологическую и историческую [Город как социокультурное явление, 1995; Город и искусство, 1996; Урбанизация в формировании социокультурного пространства, 1999; см. также: Многомерность повседневной культуры, 2009].

Важным результатом обращения историков к раннесоветскому краеведению, культурологии, философии и в некоторой степени этнографии стало расширенное значение понятия «культура», ви́дение культуры как определяющего фактора в жизни общества и признание необходимости целостного, комплексного, системного подхода к ее исследованию. Это расширенное понимание культуры также означало ее диверсификацию, осознание ее разнородности, многоукладности. «Города России на рубеже XIX – начала XX столетия, – отмечал А.Н. Курцев, – являли собой целый симбиоз разных культур. Наряду со стандартными культурами коренных жителей существовали и культуры девиантные. Последние отражали жизнь маргинальных групп населения – от профессиональных революционеров и уголовных преступников до отходников и беженцев» [Культуры городов Российской империи… 2009, с. 349]. Л.В. Кошман в своей монографии по истории жизни дореволюционного провинциального города воспринимает культуру как сочетание субкультур различных социальных групп, при этом город видится автору средоточением этой многоликой

культуры, синтезирующей в себе креативность и традиционность [Кошман, 2008, с. 8–13].

Понятие культуры в материальной сфере сближается с понятием быта, а в нематериальной – с понятием ментальности, охватывая весь спектр человеческих практик, ритуалов, обычаев, мировоззрения. Само слово «культура» начинает использоваться для обозначения все более широкого круга понятий – «культурные нормы», «культурное наследие», «культура привязанности к месту обитания», «политическая культура» [Российская провинция, 2006, с. 6]. Исследуя политическую культуру средних слоев Петрограда в дни Февральской революции 1917 г., Р.Ю. Коликов определяет ее как «совокупность политического сознания и поведения, т.е. взгляды, настроения, оценки, чувства, мнения, ценности, слухи, эмоции, язык и ритуалы людей в ответ на конкретную политическую ситуацию, а также реальная включенность в политический процесс, формы, модели поведения, степень и эффективность участия в событиях» [Коликов, 2003, с. 5].

Исследователи-урбанисты увидели в культуре важный путь к осмыслению и интерпретации разных сторон жизни общества. «Понятие “город”, – отмечал А. Гольц, – наиболее сложно, и приблизиться к его пониманию можно, преодолев сначала более общие, абстрактные понятия и прежде всего культуру. Культура является как бы главным ключом для входа в осмысленный мир урбанизации и города» [Гольц, 1996, с. 72].

Широкое понимание культуры заставило историков обратить внимание не только на ее формирование и воспроизводство, но и на восприятие, потребление культуры, что также перекликается с проблематикой «новой культурной истории». Если традиционное изучение «высокой культуры», особенно в рамках искусствоведческого подхода, фокусировалось на ее создании и создателях, то «целостный подход» к исследованию культуры предполагает, что потребление ее определенных продуктов и ценностей, локально созданных или заимствованных, их адаптация и интерпретация имеют не меньшее значение для понимания культуры определенного сообщества. По словам Л.В. Кошман, «при всей важности “культурных вершин” не только их производство, но и распределение, потребление культурных ценностей становятся социально значимым фактом, представляя культурно-творческий аспект общественной жизни» [Кошман, 2008, с. 7].

Осознание многоукладности, гетерогенности культуры, диссонанса между официальной и неофициальной культурой, между производством, регулированием и потреблением культуры было особенно существенно для понимания советского общества. Изучая официально насаждаемые культурные нормы, историки обратились к проблеме «культурности» как воспитательной стратегии советского режима, особенно в городах [Волков, 1996; Лебина, 2000; Обертрайс, 2009][1].

Не менее важными представлялись и исследования формально не закрепленных норм, ценностей и практик повседневности, существовавших параллельно и вопреки нормам официальным. «Правила такого рода, – отмечала в своей монографии о повседневности довоенного советского Ленинграда Н.Б. Лебина, – составляют основы ментальности населения, в свою очередь тесно связанной со стилем его повседневной жизни. Поведенческие стереотипы личности в значительной степени формируются под влиянием быта. И в то же время особенность и формы обычной жизни человека являются выражением присущих ему социально-культурных ориентиров, восходящих к историческим устоям общества» [Лебина, 1999, с. 12]. Интерес к «обычным жителям» и их повседневной культуре, быту становится важнейшей чертой российской исторической урбанистики. В новой интерпретации эти «обыватели» превращаются в полноценных акторов, которые формируют социокультурную среду города и влияют на нормы взаимоотношений в ней [Российская провинция, 2006, с. 11].

Одним из путей к реконструкции истории городского общества и средних слоев стало изучение городского самоуправления, ставящее в фокус исследователя гражданские инициативы, городскую публичную сферу, вопросы коллективных и индивидуальных идентичностей, соотношение между локальным и имперским, общественным и частным. Сами органы самоуправления также перестали быть институциональными и статистическими абстракциями благодаря анализу их сквозь призму коллективных и индивидуальных биографий, как, например, в монографии Л.Ф. Писарьковой, посвященной Московскому общественному управлению [Писарькова, 2010].

[1] Проблема культурности в работах американских историков подробно рассмотрена в статье С. Жука в настоящем сборнике.

Новые подходы и расширение источниковой базы, в том числе активное привлечение местных архивных фондов, использование в дополнение к традиционным нормативным или статистическим источникам документов личного происхождения, судебных материалов, жалоб, обращений, рекламных объявлений, фотографий позволили наметить пути к реконструкции городского прошлого снизу вверх и выделить «отдельные голоса из хора». На смену ви́дения истории русского города «как истории его преобразований со стороны верховной власти» [Зорин, 2009, с. 191] приходит понимание ее как процесса самоорганизации общества, при этом город воспринимается и как продукт активности индивидов, и как самостоятельный субъект действия, который благодаря своим интеграционным и синтезирующим функциям в свою очередь воздействует на человека [Город и искусство, 1996, с. 3; Российская провинция, 2006, с. 4, 11].

Хотя мегаполисы традиционно находились в фокусе внимания исторической урбанистики, расширение понимания культуры и ее роли в жизни общества, интерес к «обычным горожанам», их идентичности, ценностям и повседневным практикам открыл новые возможности для изучения культуры малых городов, которая была слишком «провинциальной», «мещанской» в рамках традиционных подходов к (высокой) культуре. Небывалое внимание к российской провинции и попытки понимания и концептуализации феномена провинциального города стали характерными маркерами развития исторической урбанистики в XXI в., выразившись в десятках конференций, посвященных этой тематике. В отличие от культуры мегаполисов, провинциальная культура характеризуется ограниченностью культурного пространства, большей гомогенностью, замкнутостью и привязанностью всего мироощущения к определенной территории. Однако в интерпретации современных исследователей провинциальная культура перестает быть инертной или отсталой – она не отвергает инноваций, но острее реагирует на них и ориентируется на сохранение и воспроизводство культуры, особенно в условиях кардинальных изменений [Российская провинция, 2006; Провинциальный город, 2000].

Необходимо отметить роль, которую приобретает понятие «пространство» для осмысления города и городской культуры, что отчасти связано с так называемым «пространственным поворотом» (spatial turn) в западных гуманитарных науках, включая культур-

ную географию, когда пространство стало восприниматься не как объективная реальность, а как продукт социального конструирования и воображения. Редакторы сборника статей «Культуры городов Российской империи» отмечают, что подход к городу как к пространству привлекает внимание многих авторов вошедших в сборник статей, как и в целом историков и социологов: «Городское пространство предстает как пространство овеществленное, материальное (здания, улицы, сады, площади). Однако нам предлагаются и карты города, нарисованные с помощью художественного восприятия и воображения: мы видим города неосуществленных планов, города воспоминаний, города мифов, воображаемые города, порожденные желаниями и страхами. Но во всех случаях город напоминает пестрое лоскутное одеяло, постоянно меняющее свои яркие цвета, это особое место, все время перемешивающее и искажающее экономические, культурные, социальные, политические, моральные, религиозные пространства» [Культуры городов Российской империи… 2009, с. 9].

В отечественных гуманитарных науках концептуализация пространства восходит также к семиотическим моделям Ю.М. Лотмана и его теории об экстерриториальных и центральных городах и роли периферии и пограничной зоны для культуры [Лотман, 1999, с. 163–192, 275–295]. Кроме того, восприятие городского пространства как фактора, формирующего сознание людей, тесно связано с традициями русской литературы, влияние которой в российском интеллектуальном поле остается неизменно сильным вот уже второе столетие. Пространственные образы и модели их восприятия, созданные русской литературой и литературоведением, нашли свое отражение в некоторых краеведческих и культурологических работах по истории городов. Влияние литературной традиции особенно характерно для изучения Петербурга, где относительно недолгая городская история компенсируется обилием мифов и художественных интерпретаций, так что пространство и образ города строятся на этом переплетении реальности и вымысла [Анциферовские чтения, 1989; Город как социокультурное явление, 1995; Анциферов, 2009].

Наконец, не последнюю роль в стимулировании интереса к городскому пространству сыграли изменения механизма расселения, появление института собственности недвижимости, перерождение «псевдохозяина» в полноценного собственника и «возвра-

щение уюта» [Высоковский, 2002, с. 185]. Данные перемены привлекли внимание к путям создания городского пространства и вариантам его организации на различных уровнях (квартира, дом, двор, улица, район), его изменению с течением времени, его социальным функциям, ценности, при этом многие авторы отмечают преемственность функций пространства несмотря на изменения в политической системе. Особый интерес в этом ключе приобретает проблема престижности, символической ценности, статуса территорий и путей их формирования [Лебина, 2001; Трущенко, 1995; Губин, Лурье, Порошин, 1999; Юхнева, 2008]. «Престиж городских пространств, – пишет исследователь О.Е. Трущенко, – кроется не в их собственных превосходных свойствах, а в признанном господстве тех, кому они достаются в первую очередь или исключительно и чьи частные социальные представления о ценности городской среды принимаются всеми на веру как общезначимые» [Трущенко, 1995, с. 12]. При таком подходе статус определенных городских пространств не зависит от объективных характеристик конкретных территорий, а социально конструируется через символику господства.

Готовность исследователей изучать различные аспекты истории города через призму культуры, таким образом, дала новый импульс развитию исторической урбанистики и во многом определила его направление. Безусловно, эти новые подходы к изучению города очень часто сочетаются с более привычными и подстраиваются под них, а методология исследований во многих работах остается довольно традиционной. Но в результате этого, хотя и поверхностного, «культурного поворота» образ модерного города значительно изменился по сравнению с тем, каким его рисовала советская историография. С одной стороны, город становится гораздо более многоликим, причем историки увидели не только разнообразие городских форм, но и гетерогенность тех, кто город населяет, и тех, кто определяет его развитие. На смену традиционному вертикальному подходу (сверху вниз) к формированию города, как советского, так и дореволюционного, приходит осознание многообразия акторов, формирующих городскую среду, и сложности связей между ними.

С другой стороны, если в советской историографии модерный город – это оплот классовых противоречий и борьбы, то образ города, созданный постсоветскими историками, оказывается более гармоничным и цельным, несмотря на его многоликость. Городская культура, локализованная в замкнутом городском пространстве, является фактором, связывающим воедино разнородные элементы. Историческая перспектива и принятие гетерогенности города как характерной его черты позволяют по-новому взглянуть на городские конфликты, видя в них форму внутригородского взаимодействия и неотъемлемый элемент урбанизма. В интерпретации современных историков город перестает быть просто пассивным локусом определенных социальных, экономических или политических процессов. Он приобретает активную функцию, он влияет на горожан и таким образом формирует из их разнообразия, из множества субкультур единую, хотя и не однородную, социокультурную среду.

Список литературы

Анциферов Н.П. Проблемы урбанизма в русской художественной литературе: Опыт построения образа города – Петербурга Достоевского – на основе анализа литературных традиций. – М.: ИМЛИ РАН, 2009. – 581 с.

Анциферов Н., Анциферова Т. Город как выразитель сменяющихся культур. Картины и характеристики. – Л.: Брокгауз и Эфрон, 1926. – 224 с.

Анциферовские чтения: Материалы и тезисы конференции, (20–22 декабря 1989 г.) / Под ред. А.И. Добкина, А.В. Кобака. – Л.: Ленинградское отд-ние Сов. фонда культуры, 1989. – 192 с.

Байу С. Иностранное участие в индустриализации в Петрограде – Ленинграде в 1920–30-е годы // Город и горожане в России XX века: Материалы российско-французского семинара. Санкт-Петербург, 28–29 сентября 2000 г. – СПб.: Контрфорс, 2001. – С. 43–57.

Бокова В.М. Повседневная жизнь Москвы в XIX веке. – М.: Молодая гвардия, 2009. – 538 с.

Волков С.М. История культуры Санкт-Петербурга: С основания до наших дней / Под ред. Гордина Я.А. – М.: ЭКСМО, 2003. – 702 с.

Волков В.В. Концепция культурности, 1935–1938 годы: советская цивилизация и повседневность сталинского времени // Социологический журнал. – М., 1996. – № 1–2. – С. 194–213.

Глезеров С.Е. Предместья Санкт-Петербурга. Быт и нравы начала XX века. – М.; СПб.: Центрполиграф: МиМ-Дельта, 2009 a. – 573 с.

Глезеров С.Е. Модные увлечения блистательного Петербурга. Кумиры. Рекорды. Курьезы. – М.; СПб.: Центрполиграф: МиМ-Дельта, 2009 b. – 622.

Гольц Г.А. Проблемы духовной сферы города в систематике и основных направлениях урбанистики // Город и искусство. Субъекты социокультурного диалога / Отв. ред. Э.В. Сайко. – М.: Наука, 1996. – С. 64–74.

Крокинская О. «Чужие»: Социальные идентификации и возможность диалога // Город и горожане в России XX века: Материалы российско-французского семинара. Санкт-Петербург, 28–29 сентября 2000 г. – СПб.: Контрфорс, 2001. – С. 110–124.

Город и искусство. Субъекты социокультурного диалога / Отв. ред. Э.В. Сайко. – М.: Наука, 1996. – 286 с.

Город как социокультурное явление исторического процесса / Отв. ред. Э.В. Сайко. – М.: Наука. 1995. – 352 с.

Гревс И.М. Развитие культуры в краеведческом исследовании (Глава из неопубликованной книги) // Анциферовские чтения: Материалы и тезисы конференции, (20–22 декабря 1989 г.) / Под ред. А.И. Добкина, А.В. Кобака. – Л.: Ленинградское отд-ние Сов. фонда культуры, 1989. – С. 28–36.

Губин Д.В., Лурье Л.Я., Порошин И. Реальный Петербург: О городе с точки зрения недвижимости и о недвижимости с точки зрения истории. – СПб.: Лимбус Пресс, 1999. – 284 с.

Есаян Е. Заимствование городских образов и градостроительного опыта при формировании и реализации Генплана Москвы 1935 года // Город и горожане в России XX века: Материалы российско-французского семинара. Санкт-Петербург, 28–29 сентября 2000 г. – СПб.: Контрфорс, 2001. – С. 32–42.

Жилище в России: Век XX. Архитектура и социальная история / Ред. У. Брумфилд, Б. Рубл. – М.: Три квадрата, 2002. – 192 с.

Коликов Р.Ю. Политическая культура средних слоев населения города Петрограда в дни Февральской революции 1917 года: Автореф. дис. … к. ист. наук (07.00.02). – СПб., 2003. – 22 с.

Кондаков И.В. Феноменология города в русской культуре // Урбанизация в формировании социокультурного пространства / Отв. ред. Э.В. Сайко. – М.: Наука, 1999. – С. 188–203.

Кошман Л.В. Город и городская жизнь в России XIX столетия: Социальные и культурные аспекты. – М.: РОССПЭН, 2008. – 446 с.

Культуры городов Российской империи на рубеже XIX–XX веков: Материалы международного коллоквиума, Санкт-Петербург, 14–17 июня 2004 г. / Отв. ред. Б.И. Колоницкий, М. Стейнеберг. – СПб.: Европейский Дом, 2009. – 427 с.

Купеческая Москва: Образы ушедшей российской буржуазии / Отв. ред. Д. Уэст, Ю.А. Петров. – М.: РОССПЭН, 2007. – 246 с.

Лебина Н.Б. Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920–1930-е годы. – СПб.: Журнал «Нева»: Летний сад, 1999. – 316 [1] с.

Лебина Н.Б. О пользе игры в бисер. Микроистория как метод изучения норм и аномалий советской повседневности 20–30-х годов // Нормы и ценности повседневной жизни: Становление социалистического образа жизни в Росиии, 1920–1930-е годы / Ред. Т. Вихавайнен. – СПб.: Журнал «Нева», 2000. – С. 9–26.

Лебина Н.Б. Петроград – Ленинград 1920–30-х годов: Этапы социально-пространственной сегрегации // Город и горожане в России XX века: Материалы российско-французского семинара. Санкт-Петербург, 28–29 сентября 2000 г. – СПб.: Контрфорс, 2001. – С. 58–67.

Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. – М.: Языки русской культуры, 1999. – 464 с.

Лурье Л.Я., Кобак А.В. Записки о смысле петербургского краеведения // Анциферовские чтения: Материалы и тезисы конференции, (20–22 декабря 1989 г.) / Под ред. А.И. Добкина, А.В. Кобака. – Л.: Ленинградское отд-ние Сов. фонда культуры, 1989. – С. 72–79.

Москва рубежа XIX и XX столетий: Взгляд в прошлое издалека / Ред. П. Ильин, Б. Рубл. – М.: РОССПЭН, 2004. – 302 с.

Многомерность повседневной культуры России XX века: Кризис и инверсии полиэтнического города / Под ред. Сиротина И.Л. – Саранск: Б/и, 2009. – 158 с.

Обертрайс Ю. Культурные петербуржцы и ленинградцы – городское измерение «культурности» // Культуры городов Российской империи на рубеже XIX–XX веков: Материалы международного коллоквиума / Санкт-Петербургский институт истории РАН; Европейский университет в Санкт-Петербурге; Северо-Западное отделение Научного совета РАН «История социальных реформ, движений и революций»; Иллинойский университет; Международный коллоквиум «Культуры городов Российской империи на рубеже XIX–XX веков» (14–17 июня 2004 г.; СПб.); Отв. ред.: Б.И. Колоницкий, М. Стейнберг; Ред. колл.: Т.А. Абросимова [и др.]. – СПб.: Европейский Дом, 2009. – С. 46–57.

Российская провинция: Среда, культура, социум: Очерки истории города Дмитрова, конец XVIII – XX век / Отв. ред. Шулепова Э.А. – М.: URSS: КомКнига, 2006. – 456 с.

Петров Ю.А. Московская буржуазия в начале XX века: Предпринимательство и политика. – М.: Изд-во Московского городского объединения архивов, 2002. – 436 с.

Писарькова Л.Ф. Городские реформы в России и Московская дума. – М.: Новый хронограф: АИРО-XXI, 2010. – 735 с.

Предпринимательство и городская культура в России, 1861–1914 / Под ред. У. Брумфилда, Б.В. Ананьича, Ю.А. Петрова. – М.: Три квадрата, 2002. – 311 с.

Провинциальный город: Культурные традиции, история и современность / Отв. ред. А.А. Сундиева. – М.: Эйдос, 2000. – 166 с.

Сенявский А.С. Урбанизация России в XX веке: Роль в историческом процессе. – М.: Наука, 2003. – 285 с.

Середа Н.В. Современная историографическая ситуация и проблемы изучения русского города // Экономика, управление, демография городов Европейской России XV–XVIII вв.: Материалы научной конференции 18–21 февраля 1999 г. / Ред. И.Г. Серегина, Н.В. Середа. – Тверь: Б/и, 1999. – С. 23–30.

Трущенко О.Е. Престиж центра. Городская социальная сегрегация в Москве. – М.: Socio-Logos, 1995. – 109 с.

Ульянова Г.Н. Благотворительность московских предпринимателей, 1860–1914. – М.: Изд-во Московского городского объединения архивов, 1999. – 510 с.

Урбанизация в формировании социокультурного пространства / Отв. ред. Э.В. Сайко. – М.: Наука, 1999. – 286 с.

Филимонов С.Б. Городоведение в работах краеведов 20-х гг. XX века // Экономика, управление, демография городов Европейской России XV–XVIII вв.: Материалы научной конференции 18–21 февраля 1999 г. / Ред. И.Г. Серегина, Н.В. Середа. – Тверь: [Б. и], 1999. – С. 20–23.

Хмельницкая И.Б. Спортивные общества и досуг в столичном городе начала XX века. Петербург и Москва. – М.: Новый Хронограф, 2011. – 336 с.

Юхнева Е.Д. Петербургские доходные дома. Очерки из истории быта. – М.; СПб.: Центрполиграф: МиМ-Дельта, 2008. – 361 с.

Bater J. St. Petersburg: Industrialization and change. – Montreal: McGill-Queen's univ. press, 1976. – 469 p.

Burke P. What is cultural history? – Cambridge, U.K.: Polity Press, 2004. – 152 p.

Bradley J. Muzhik and Muscovite: Urbanization in late imperial Russia. – Berkeley: Univ. of California press, 1985. – 422 p.

Bradley J. Voluntary associations in Tsarist Russia: Science, patriotism, and civil society. – Cambridge, Mass.: Harvard univ. press, 2009. – 366 p.

Clark K. Moscow, the fourth Rome: Stalinism, cosmopolitanism, and the evolution of Soviet culture, 1931–1941. – Cambridge, Mass.: Harvard univ. press, 2011. – 420 p.

Geertz C. The interpretation of cultures: Selected essays. – N.Y.: Basic Books, 1973. – 470 p.

Engelstein L. The keys to happiness: Sex and the search for modernity in fin-de-siecle Russia. – Ithaca: Cornell univ. press, 1992. – 461 p.

Kotkin S. Magnetic mountain: Stalinism as a civilization. – Berkeley: Univ. of California press, 1995. – 639 p.

McReynolds L. Russia at play: Leisure activities at the end of the tsarist era. – Ithaca: Cornell univ. press, 2003. – 309 p.

Ruble B.A. Second metropolis: Pragmatic pluralism in Gilded Age Chicago, Silver Age Moscow, and Meiji Osaka. – N.Y.: Cambridge univ. press, 2001. – 464 p.

Sahadeo J. Russian colonial society in Tashkent, 1865–1923. – Bloomington: Indiana univ. press, 2006. – 316 p.

Schlögel K. Petersburg: Das Laboratorium der Moderne, 1909–1921. – München: Hanser, 2002. – 702 S.

Schorske C.E. Fin-de-siecle Vienna: Politics and culture. – N.Y.: Alfred A. Knopf, 1980. – 378 p.

Steinberg M.D. Petersburg fin de siècle. – New Haven: Yale univ. press, 2011. – 399 p.

Swift E.A. Popular theater and society in Tsarist Russia. – Berkeley,Calif.: Univ. of California press, 2002. – 346 p.

Zelnik R. Labor and society in tsarist Russia: The factory workers of St. Petersburg, 1855–1870. – Stanford, Calif.: Stanford univ. press, 1971. – 450 p.

СОВЕТСКИЙ ВЕК ГЛАЗАМИ НАШИХ СОСЕДЕЙ

Р. Чепайтене

ВОСПРИЯТИЕ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТВЕ

Как известно, Литва была одной из первых союзных республик, во время перестройки открыто заявившей о желании получить побольше суверенитета. В скором времени Литва самой первой, еще 11 марта 1990 г., провозгласила независимость и выход из состава СССР, таким образом опередив другие национальные окраины СССР больше чем на год. (Большинство из них осмелились это сделать только после неудавшегося августовского путча, а некоторые, как Российская СФСР и Казахская ССР, – лишь после подписания Беловежского соглашения 8 декабря 1991 г.[1]). Также надо отметить и другой временной рубеж – в 2012 г. независимая Литва сравнялась по возрасту с межвоенной Литовской Республикой (22 года).

Больше чем 20 лет – действительно подходящая временна́я и психологическая дистанция, позволяющая без лишних эмоций осмыслить события середины – конца XX в., которые так или иначе затронули всех жителей бывшего СССР и соцлагеря, а также оценить проявившиеся за это время тенденции интерпретации и использования «советского» в политическом дискурсе, современных национальных историографиях, восприятии и охране часто спорного «наследия эпохи».

Уже предприняты первые попытки сравнительного исследования этой проблематики [см., например: Национальные исто-

[1] См. статью Википедии о распаде Советского Союза, особенно таблицу Провозглашение независимости республиками СССР [Распад СССР, б. г.].

рии… 2009; Forum AI… 2012]. Очевидно, что восточноевропейским исследователям советского периода пришлось ускоренно догонять западных советологов, во время «холодной войны» не стесняемых идеологическими запретами и ограничениями (не является ли это ироничным отголоском лозунга советских лет «догнать и обогнать Америку»?). Конечно, некоторые аспекты сегодня уже неплохо изучены, особенно что касается трансформации политических систем в переходный период от тоталитарного к посткоммунистическому обществу [Mëller, 2009; Political culture and post-communism, 2005; Bunce, Wolchik, 2011; Fritz, 2007; Jeffries, 2004], возрождения национализмов или проблем, связанных с демократизацией и созданием гражданского общества на этом огромном пространстве [After independence... 2006; Uhlin, 2006; Baltic postcolonialism, 2006; Kennedy, 2002]. Но в рассмотрении других тем исследователи пока остаются в довольно узких «национальных рамках», недостаточно оценив или игнорируя их сравнительную перспективу, региональный характер и многогранность.

Как известно, в постсоветском пространстве страны Балтии выделились резкой переориентацией своей внутренней и внешней политики. Они отказались от вступления в СНГ, вышли из зоны рубля, добились вывода со своих территорий советских войск, начали и со временем успешно завершили переговоры о присоединении к НАТО и Евросоюзу [Uhlin, 2011]. Этот – внешний – критерий позволяет заявить, что эти страны больше не могут быть причислены к группе «транзитных» государств.

Важно отметить, что во время национальных возрождений начала 90-х годов прозападный политический курс был поддержан всеми основными политическими силами, включая экс-коммунистов. Переход от планового хозяйства к неолиберальному свободному рынку путем «шоковой терапии», которую кто-то с ухмылкой назвал «шоком без терапии», стал действительно болезненным и породил массу новых социальных проблем [Norkus, 2008]. Однако в своем внутреннем развитии балтийским странам все-таки удалось избежать больших социальных потрясений, войн или крупных политических кризисов, которые постигли некоторые другие постсоветские государства.

Такой «событийный фон» позволяет нам более адекватно понять те тенденции и качественные изменения в восприятии советского прошлого, которые объединяют общества прибалтийских

государств, несмотря на существующие локальные различия. Наряду с возникшими новыми задачами построения институтов и атрибутов независимых государств и решения текущих вызовов социоэкономического характера эти страны первоочередной задачей посчитали переписание своих историй в явно антикоммунистическом русле. Их «политику памяти» за последние 22 года можно понять не только глядя из Таллинна, Риги или Вильнюса, но и в контексте глобальных перемен, среди которых самыми важными для региона стали мирное завершение «холодной войны» и расширение ЕС [Žurženko, 2009].

Управление прошлым в контексте политических трансформаций

Как известно, попытки основных европейских институтов создать и поддержать групповую идентичность, которая, опираясь на консенсус «общей европейской памяти», должна объединять жителей стран Европейского союза [см., например: Eurozine European histories, 2005], часто сталкиваются с различными или даже противоположными, конфликтующими трактовками событий и явлений, важных для всей Европы или отдельных ее частей (особенно что касается интерпретации Второй мировой войны [подробнее об этом см.: Machein, Simon, 2006], послевоенного периода и пр.). Если основным мастер-нарративом Западной Европы можно считать сохранение мира, эффективным инструментом которого является память о Холокосте, то для восточных европейцев – новичков ЕС – более актуальным был и остается нарратив освобождения и опыт сталинских репрессий, то, что обобщенно называется памятью Гулага[1]. Между этими двумя нарративами пока еще не удается найти консенсус, хотя попытки приравнять нацизм и коммунизм как две одинаково преступные тоталитарные идеологии проявляются не только в академическом, но и в политическом плане[2].

[1] Публичная лекция Алеиды Ассманн в Вильнюсском университете «Расколотая память Европы и концепция диалога памяти» 1 июня 2012 г.

[2] Надо отметить, что 3 июля 2009 г., во время проходившей в Вильнюсе ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству Европы (ОБСЕ), по инициативе представителей Словении и Литвы была принята резолюция «Соеди-

Хотя из 27 стран – членов Евросоюза 17 имеют опыт диктатур, взгляды на события XX в. «старожилов» и «новичков» ЕС отличаются тем, что у них различная временна́я и психологическая дистанция с травмирующими событиями прошлого. Отличаются и используемые ими механизмы управления трагической памятью, уже не говоря о результатах лечения этих травм. Как известно, в отличие от проделанной огромной работы в этом направлении в западных странах, особенно в Германии, постсоветские государства лишь с приобретением независимости смогли публично начать обсуждение драматических до- и послевоенных событий, что, наверное, неизбежно породило своеобразный «бум травматической памяти»[1].

В Прибалтике он проявил себя уже во время национального возрождения 90-х годов в издании многочисленных мемуаров, написанных бывшими ссыльными, антисоветскими политзаключенными, диссидентами; в создании массы документальных фильмов на эту тему; в воздвижении памятников жертвам сталинских репрессий и пр. Эти вначале спонтанные общественные инициативы серьезно способствовали появлению и утверждению нового государственного «великого национального рассказа». В сюжетную матрицу этого нарратива попало не только стремление создать символическую и психологическую связь с независимостью 1918–1940 гг., в том числе при помощи возврата тогдашней государственной символики и валюты, но и акцентирование героической борьбы за свободу. Нить этой борьбы протягивается от вооруженного антисоветского сопротивления 1944–1954 гг. через «мирное сопротивление» незначительных диссидентских групп в хрущёвский и брежневский периоды до начала массового национального движения 1988–1991 гг.

нение разделенной Европы: защита прав человека и гражданских свобод в XXI в. в регионе ОБСЕ», приравнившая режимы Гитлера и Сталина, что вызвало немалое возмущение со стороны России.

[1] Профессор психологии Дануте Гайлене, написавшая книгу «Что они нам сделали. Жизнь Литвы в свете психологии травм», делает шокирующее заявление, что даже прапрадедами полученные глубокие психологические травмы подсознательно перекладываются на плечи будущих поколений и серьезно влияют на их самочувствие [Gailienė, 2008].

Хотя надо признать, что на самом деле в «работе памяти», касающейся советского времени, не все так однозначно. Несмотря на акцентируемые в официальном дискурсе многих посткоммунистических стран болезненные, травматические или героические события советского прошлого («история борьбы и страданий»), та же эпоха сохранила в коллективной памяти и немало позитивных характеристик и знаков. Мы все еще живем в архитектурном окружении, качественно не слишком отличающемся от советского времени, слушаем записи «советской эстрады», смотрим фильмы[1] и мультфильмы и читаем художественную литературу той поры... Интересно, что довольно быстро после восстановления независимости стран бывшего «соцлагеря» социологи стали фиксировать начавшую тайно или даже открыто проявляться у некоторых граждан, особенно старшего поколения, ностальгию по советскому прошлому, по представляемым или реально «лучшим», «более сытым» и «безопасным» временам. Этим сегодня уже начинает искусно пользоваться и рынок, предлагающий потребителям продукты, связываемые с недавним прошлым. Например, в Литве производятся и немалый спрос имеют «советские мясные продукты» или мороженое «Ностальгия», упаковка которых вызывает аллюзии с эстетикой соцреализма [подробнее см., например: Klumbytė, 2009, p. 130–153; Klumbytė, 2010]. Так что у сегодняшнего потребителя может сложиться ошибочное представление о советском времени как о богатом периоде, отличавшемся обилием и разнообразием товаров.

Противоречивые тенденции отношения к советскому в республике, ставшей первым инициатором демонтажа СССР, ставят вопрос, являются ли балтийские страны, в частности Литва, типичным или, наоборот, крайним случаем меняющегося подхода к недавнему прошлому? Какие тенденции переосмысления его можно заметить в ее «политике памяти», профессиональной историографии, сфере искусства? Какие современные внешние и внутренние факторы влияют на эти тенденции и их качественные изменения, если таковые имеются?

[1] В 2012 г. на одном из коммерческих каналов телевидения TV1 стартовала рубрика «NemaRUs kinas» («Бессмертное кино»), посвященная показу фильмов, принадлежащих к «золотому фонду» классического советского кино.

Поскольку мои коллеги Н. Шепетис [Шепетис, 2010] и В. Сафроновас [Сафроновас, 2009] уже подробно представили русскоязычному читателю основные тенденции развития «политики памяти» независимой Литвы, в данной части статьи я ограничусь лишь ее панорамным обзором, обращая внимание на те аспекты, которые, мне кажется, необходимо обсудить для анализа сфер, в которые я собираюсь углубиться.

Во время «Дней столицы» в начале сентября 2012 г. в Вильнюсе, на бывшей площади им. Ленина, которой было возвращено историческое название Лукишкес, была воздвигнута и несколько недель простояла песчаная статуя Джона Леннона с гитарой в руках, а надпись под ней гласила «Imagine». Надо сказать, что площадь, в советское время ставшая главным идеологическим местом ЛитССР, после демонтажа памятника Ленину в 1991 г. по сей день остается пустующей несмотря на многочисленные государственные и общественные инициативы поставить на его место современный мемориальный знак[1]. Может быть, именно этот случай можно считать самым выразительным фактом сохраняющейся амбивалентности по отношению к советскому, указывающим на неопределенность того, что должно войти в современный идеологический национальный канон[2]?

[1] Автор статьи, будучи членом экспертной комиссии при Правительстве Литовской Республики «По упорядочению площади Лукишкес и увековечиванию памяти борцов за свободу», некоторое время лично могла наблюдать за перипетиями дискуссий насчет будущего облика площади. Это была уже очередная неудавшаяся попытка практически решить проблему площади. Результаты проводившихся ранее архитектурных конкурсов, как правило, вызывали бурную полемику как по поводу формы, так и содержания будущего мемориала. Даже политическая воля находящейся у власти партии правых не смогла пробить эту невидимую стену и за четыре года сдвинуть идею с мертвой точки.

[2] Кажется, что решение данного вопроса особенно затрудняет неоднозначная трактовка памяти антисоветского сопротивления, поскольку основная идея «увековечить память борцов за свободу» сводилась именно к этому историческому сюжету, визуальным выражением которого должна была стать могила Неизвестного партизана («лесного брата») в центре площади. Не менее важным можно считать и фактор современности – в некоторых проектных предложениях ранее проведенных архитектурных конкурсов были и идеи отказаться от мемориализации, просто превратив площадь в лужайку – публичное рекреационное место...

В эпоху «Саюдиса»[1] стала очень популярна метафора о потерявшем память, а тем самым и свою человечность манкурте, позаимствованная из известного романа киргизского писателя Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». Рядом с «выявлением белых пятен истории», особенно того, что касается тайных протоколов Пакта Молотова–Риббентропа, в публичном пространстве укрепилась тенденция символического и психологического отгорожения от советской эпохи и исключительно негативная ее оценка как «чужого», «потерянного», «пустого» времени. Об этом свидетельствует и появившееся в публичном употреблении нормативное различение между терминами «советский», «советское время» (лит. «tarybinis», «tarybiniai laikai», употреблявшимися в «те времена», и «sovietinis», «sovietmetis», приобретшими явно негативное значение.

Парадоксально, что такая двойственная трактовка советского времени стала выгодной не только правым политическим силам, спешившим легитимировать свой новый статус, опираясь в основном на «травматическую память» репрессий, но и бывшим коммунистам, которые либо ускоренными темпами «переквалифицировались» в сторонников независимости и стали инициаторами и исполнителями социально-политических реформ[2], либо совсем исчезли из публичного пространства. Поэтому, в отличие от членов КГБ или ортодоксальных коммунистов – противников независимости, в публичном воображении не удалось четко демонизировать всех коммунистов. К сравнению: Миколас Бурокявичюс, возглавлявший в 1990–1991 гг. Литовскую коммунистическую партию, которая выступала против выхода КП ЛитССР из состава КПСС, за организацию антигосударственного переворота в начале 1991 г., унесшего жизни 13 человек, вместе со своим однопартийцем Йозасом Ярмалавичусом был осужден. Они оставались в тюрьме до 2006 и 2002 г. соответственно. Тем временем изме-

[1] Sąjūdis (пер. с лит. – движение) – движение за перестройку Литвы, национальная общественная организация, созданная в 1988 г., лидер борьбы за независимость Литвы. Аналогами его в двух других прибалтийских странах стали Народные фронты.

[2] Кстати, КП ЛитССР действительно первой – в 1989 г. – вышла из состава КПСС, тем самым разрушив ее монолитность.

нившие название экс-коммунисты[1] не только в 1992 г. вернулись к власти, но их лидер Алгирдас Бразаускас в 1993 г. даже сумел стать первым Президентом независимой Литвы. Таким образом, бывшая номенклатура в Литве парадоксально скоро вернула себе прежнее привилегированное положение. Это объясняется не только ее дальнозоркой стратегией во время событий 1988–1990 гг., но и ошибками социально-экономического характера, сделанными представителями «Саюдиса»[2].

Некоторые затруднения в легитимации представителей советской номенклатуры, не способной вписать себя в современный антисоветский нарратив, со временем были решены в мемуарах бывших высокопоставленных функционеров, предложивших версию о «защите национальных интересов» во времена СССР. Мысль явного или косвенного оправдания себя как сотрудника чужого режима пронизывает все такого рода тексты, а ее квинтэссенцией можно считать название мемуаров последнего первого секретаря КП ЛитССР А. Бразаускаса «И тогда работали ради Литвы». Кстати, ни один из бывших высокопоставленных номенклатурщиков, включая нынешнего Президента страны Далю Грибаускайте[3], не произнес ни слова покаяния за активное сотрудничество с советским режимом.

Таким образом, первому десятилетию независимости была свойственна тенденция поверхностной декоммунизации, проявившаяся в реабилитации пострадавших от репрессий режима, публичных дискуссиях о тоталитарной натуре СССР, преступлениях коммунизма и их последствиях, наконец – в выборе президентами балтийских стран

[1] Отделившись от КПСС Коммунистическая партия Литвы сначала поменяла свое название на Партию демократического труда Литвы (ПДТЛ), а с 2001 г., слившись с воссозданной первой Литовской партией – социал-демократами, – стала называться СДПЛ.

[2] В Латвии номинальным главой страны в 1991–1993 гг. был бывший секретарь Центрального комитета КП ЛатССР Анатолийс Горбуновс. Возврат бывшей коммунистической номенклатуры в Эстонии произошел несколько позднее: в 2001 г. Президентом был избран Арнольд Рюйтель, бывший высокопоставленный функционер Верховного совета Эстонской ССР.

[3] В официальной биографии избранной в 2009 г. Президентом Литовской Республики Дали Грибаускайте существуют некоторые бреши, но известно, что уже во время национального возрождения она осталась преподавать в Республиканской высшей партийной школе.

представителей зарубежных национальных диаспор[1]. Это привело к довольно противоречивым результатам, которые по сей день влияют на политическую и общественную жизнь. После долгих обсуждений в Литве лишь в 2000 г. принятый и позднее не раз поправлявшийся Закон о люстрации[2] не сумел четко определить категории лиц, сотрудичавших с КГБ (включая резервистов), как и не обозначил меру их ответственности, что вызвало массу проблем, по сей день возобновляющихся перед каждыми парламентскими выборами.

Возможности компрометировать, дискредитировать и манипулировать политическими оппонентами способствовал и факт, что во время переходного периода были уничтожены, вывезены либо спрятаны в личных архивах важные документы КГБ и других советских институций, которые позволили бы установить реальное число сотрудников и помощников репрессивных структур и масштаб их личной ответственности. Главное, что сложившееся положение дел не позволяло юридически четко определить их статус и решить вопрос о возможности ограничения их участия в современном политическом процессе и влияния на принятие важных решений. Поэтому интерес к советскому в контексте неудавшейся люстрации скоро стал ассоциироваться с «охотой на ведьм», «наклеиванием ярлыков», «сведением личных или групповых счетов» либо оценивался как угроза тайного российского влияния.

Своеобразной стереотипизации и даже «табуированию» «советского» способствовала и ставшая доминирующей риторика неолиберального толка, когда любая критика внедрения модели свободного рынка a priori провозглашалась апологетикой и ностальгией по коммунистическому прошлому и защитой (дискреди-

[1] Валдас Адамкус, которой долгие годы проработал в администрации США в Агентстве по охране окружающей среды, стал пятым (1998–2003) и седьмым (2004–2009) Президентом Литовской Республики. Вайра Вике Фрейберга, профессор психологии из Канады, стала Президентом Латвийской Республики на две каденции с 1999 по 2007 г. Бывший гражданин США Томас Хендрик Илвес с 2006 г. является нынешним Президентом Эстонской Республики.

[2] Закон о регистрации, учете и защите признавшихся лиц, тайно сотрудничавших со спецслужбами бывшего СССР. Немного ранее, в 1998 г., был принят Закон Литовской Республики «Об оценке Комитета безопасности СССР (НКВД, НКГБ, МГБ, КГБ) и современной деятельности кадровых сотрудников этой организации».

тированных) советских ценностей. Этим, кстати, особенно злоупотреблял Институт свободного рынка, своеобразный современный аналог единственно «правильной идеологической линии», наподобие бывшего Института истории партии. И лишь с течением времени (кажется, на это повлияло и вступление страны в ЕС, где левые политические убеждения считаются совершенно допустимыми и легитимными) возрождающаяся левая мысль – движение «Новых левых 95» и анархистов – перестала автоматически окрашиваться в цвета ностальгии или апологетики «советского» и понемногу становится легальным участником политических дебатов.

Вышеупомянутое довольно манихейское отношение к советскому, происходящее от двух противоборствующих интерпретаций его – «героического сопротивления и страданий» и «сотрудничества во благо национальных интересов», в литовском обществе может быть подвергнуто сомнению не только опираясь на ранее приведенные примеры незавершенной десоветизации и «практической ностальгии» [см., например: Bach, 2002]. Однако действительно ли существует демократизация памяти по отношению к советскому времени или новый идеологический нарратив претендует на монополию единственной истины? Философ В. Рубавичюс достаточно скептически относится к возможности разностороннего восприятия этой эпохи в Литве, считая, что «советский период не ушел в прошлое – он остался в культуре, в памяти людей, которые тогда росли и созревали, получили опыт партийной жизни, и действует как особый фактор создания индивидуальной и групповой идентичности» [Rubavičius, 2007].

Как уже упоминалось, во время возврата литовской государственности тенденции радикального «переписывания» истории Литвы были связаны не только со стремлением ускорить десоветизацию, создать новую коллективную идентичность, но и с реконфигурациями политической и экономической элиты. Новый политический дискурс основной задачей считал жесткое переформулирование отношения к СССР и советскому прошлому Литвы. Это неизбежно касалось и отношения к современной России (среди прочих тут особенно надо отметить вопрос о возмещении ущерба советской оккупации 1940–1941 и 1944–1990 гг.).

Исследования «советского»: Между наукой и исторической политикой

Очевидно, что кардинальные изменения политического и социально-экономического строя и общественного сознания неизбежно влияли и на бурное развитие исторической науки. Несмотря на то что объем и замысел данной статьи не позволяет сделать исчерпывающий анализ современной литовской советологии, все-таки, мне думается, есть возможность обозначить хотя бы основные этапы пройденного ею пути.

Исследователи, прежде всего, пытались устранить те бреши исторического знания, которые были самыми актуальными в начале независимости. Тут, конечно, речь идет о коренной переоценке событий 1939–1941 гг. и делегитимации советского нарратива о «добровольном вступлении Балтийских стран в состав СССР». Исследования обстоятельств потери государственности [Truska, Kancevičius, 1990; Liekis, 2010], хода первой советской оккупации 1940–1941 гг. и начала войны, с попыткой вернуть независимость во время Июньского восстания 1941 г., когда впервые в истории Литвы бытовой антисемитизм превратился в массовые убийства граждан еврейской национальности[1], по сей день не только остаются в фокусе внимания историков[2], но и в каком-то роде поделили их на разные лагеря интерпретации и оценки этих явлений. Я имею в виду полемику по поводу доли ответственности за события 1939–1941 гг. самой литовской политической элиты и интеллигенции [Truska, 1995]. Также надо подчеркнуть, что именно

[1] Причины и специфика Холокоста в Литве уже довольно хорошо исследованны как литовскими, так и зарубежными историками [см., например: Truska, Vareikis, 2004; Eidintas, 2000; Eidintas, 2003; Bubnys, Kuodytė, 2005].

[2] Тут можно упомянуть о своеобразной историографической сенсации, автором которой нечаянно стал нынешний декан исторического факультета Вильнюсского университета Зенонас Буткус, обнаруживший в архивах материалы о сотрудничестве советской дипломатической службы с межвоенными националистами, которые позднее, в 1926 г., пришли к власти путем государственного переворота [см.: Butkus, 2007].

этому периоду посвящено наибольшее число опубликованных архивных источников[1].

Параллельно с появлением общественного «бума травматической памяти» активно развивались и исследования утверждения советской власти на местах и особенно механизма сталинских репрессий [Anušauskas, 1996; The occupation… 2006; Anušauskas, 2006; Maslauskienė N., Petravičiūtė, 2007; Anušauskas, 2008; Anušauskas, 2012; Grunskis, 1996], а также форм и средств советизации социума вообще. В этом русле проводился и анализ «коллективного портрета номенклатуры». Приоритетным вниманием пользовались исследования антисоветского сопротивления 1945–1954 гг. [Brandišauskas, 2001] и сохранившихся альтернативных тоталитарному режиму структур, особенно Католической церкви [Streikus, 2010; Streikus, 2012; Laukaitytė, 1997], в поздний советский период даже ставшей основным очагом ненасильственной борьбы за гражданские права [Streikus, 2011].

Стоит упомянуть, что для анализа самой природы коммунистической идеологии и режима, как и ее влияния на человеческое сознание, современная историография Литвы может опереться на своеобразную локальную традицию. Я имею в виду сформировавшийся еще в межвоенный период центр советологов в Вильнюсском университете[2], особенно – труды его ректора философа Мариана Здзиховского (1861–1938)[3], ставшего настоящим пророком скоро грянувших бед. Как и всякого пророка, современники не хотели ни услышать его, ни понять... Взгляд Здзиховского на коммунизм прежде всего как на антихристианский проект уничтожения личности и духовности родственен и позиции литовского ксендза Стасиса Илы, под псевдонимом Йозаса Даулюса издавшего в 1937 г. в Каунасе небольшую брошюру под названием «Коммунизм в Литве», которую по глубине анализа и дальновидности можно считать до сих пор непревзойденным творением[1].

[1] См., например, общий труд историков Института всеобщей истории АН Российской Федерации и Института истории [СССР и Литва в годы Второй мировой войны… 2006].

[2] При польском правлении в 1920–1939 г. университет носил имя Стефана Батория.

[3] Подробнее о жизни и трудах этого философа, ректора Вильнюсского университета [см.: Marian Zdziechowski, 2013].

Но возвращаясь в современность надо заметить, что характерной чертой постсоветских исследований коммунистической системы становится активный и продуктивный диалог с западными коллегами[2], особенно исследователями Холокоста, первой советской и нацистской оккупаций. Также были переведены недоступные до независимости книги зарубежных литовских историков[3]. Тут особо надо выделить работы, которые повлияли на качественные изменения исторической науки при анализе трудных вопросов, связанных с участием литовцев в акциях геноцида, хода и результатов советизации, феномена «национального коммунизма» и т.д. [Dieckmann, Sužiedėlis, 2006; The vanished world of Lithuanian Jews, 2004; Misiunas, Taagepera, 1983].

При попытках обозреть происшедшие в период 1940–1990 гг. события и явления неизбежно приходится смотреть как «сверху» (властные структуры), так и «снизу» (общество). Это замечание может проиллюстрировать и пока единственный синтез истории советского периода – коллективная монография «Литва 1940–1990. История оккупированной Литвы» [Lietuva 1940–1990, 2005]. На эти два структурных полюса неизбежно вынуждены опираться и исследования положения женщин и семьи в советский период [Leinartė, 2010] и т.д.

Таким образом, все больше исследований советского периода уже выходят за пределы ранее установившейся оппозиции между сопротивлением и коллаборационизмом. Несколько позднее стартовавший анализ феномена приспособления общества к новым советским порядкам не может быть связан только с приходом в эту

[1] Книжка, на написание которой, как предполагает ее исследователь, немало повлияли литовские спецслужбы, предоставившие автору иначе недоступные материалы о структуре и деятельности коммунистического подполья межвоенной Литвы, была только что переиздана [Stasys, 2012].

[2] Иностранцы внесли немалый вклад в исследования дезинтеграции советского общества и роли Литвы в этих процессах [см., например: Senn, 1990; Lieven, 1993].

[3] Тут надо особенно отметить труд эмигранта Кестутиса Гирнюса, который несмотря на очень ограниченную возможность использовать оригинальные источники, сумел сделать анализ литовского антисоветского подполья, на который до сих пор опираются исследователи данного сюжета [Girnius, 1986].

сферу более молодого поколения исследователей[1], хотя это действительно важный фактор. Если историки, анализирующие сталинский период, т.е. механизмы и формы hard советизации, могли опереться на многочисленные местные архивные источники, что им позволило выстроить довольно четкие и простые схемы интерпретации, то при анализе хрущёвского и брежневского периодов, когда уже можно говорить о менее однозначной soft индоктринации, приходится искать не только более адекватные теоретико-методологические подходы, но и новые, иногда неординарные, источники.

Программным текстом этого нового историографического течения можно считать книгу философа Нерии Путинайте «Неразорванная струна. Приспособление и сопротивление в советской Литве» [Putinaitė, 2007]. В названии ее, делая намек на стихи самой известной литовской поэтессы Саломеи Нерис, в которых есть слова о Литве, как о самой звучной струне СССР, автор противоречиво принятого текста попыталась деконструировать новые, уже постсоветские мифы о преобладании в поздний советский период разного рода выработанных стратегий сопротивления тоталитарному режиму (особенно концепт «тихой», «пассивной резистенции»). Она предложила не путать процветавшие тогда формы малозначительного «обманывания» режима с действительным противодействием ему, чем отметилась лишь очень малая часть общества послесталинского периода – в основном диссиденты. Можно действительно согласиться с автором, впервые обратившей внимание на специфику постсоветского мировоззрения и разные стратегии самообмана и самооправдания. Однако морализаторский тон ее книги и некоторые предложенные ею объяснения и выводы были вскоре подвергнуты сомнению конкретными исследованиями лишь фрагментарно очерченных ею тем.

Несмотря на справедливую критику, издание этой книги и последовавшая дискуссия помогли более отчетливо проявиться двум незримым лагерям. Одна группа, вместе с Н. Путинайте, делает акцент на моральных последствиях советизации общества (в том числе и постсоветского), другая, предлагающая прежде всего попытаться качественно исследовать и понять данную эпоху, не

[1] Из «старших» вниманием к вопросам такого рода выделяется уже упомянутый Людас Труска [см., например: Truska, 2009].

спешит с предварительными выводами. Вторую позицию на международной конференции, проводившейся в 2010 г. и посвященной проблемам демократии и гражданского общества, сформулировал молодой историк Валдемарас Клумбис. В своем выступлении, оппонируя позиции Путинайте и ее сторонников, он выразил сомнения по поводу продуктивности подхода, который является лишь отражением некритично воспринятого нового идеологического нарратива [Demokratija Lietuvoje... 2011, p. 385–392].

Именно на этом фундаментальном расхождении между интенцией объяснять советскую эпоху в свете нынешней политики прошлого и стремлением к ее беспристрастному исследованию, а не на поиске критериев идентификации разных методологических течений советологии[1], я бы делала акцент при оценке положения дел в современной литовской исторической науке. И дело тут не в том, что один «лагерь» историков более компетентен и профессионален, чем другой, а именно в том, как сами историки видят свою социальную роль в контексте современной политики истории, выбирая между активным участием в политизации истории и стремлением говорить истину, какой бы неприятной она ни показалась.

Если поискать конкретные случаи таких нормативных столкновений, то, прежде всего, в голову приходят не только статьи Л. Труски и недавно появившаяся монография Миндаугаса Поцюса «Другая сторона Луны. Борьба литовских партизан с коллаборационизмом в 1944–1953 гг.». Автора этой книги часть возмущенных бывших «лесных братьев» (неуспешно) даже пытались привлечь к суду за «оскорбление чести героев сопротивления». Дело в том, что в этой очень умеренной и даже скучноватой книге, полностью основанной на архивных материалах, автор которой отнюдь не пытался подвергнуть сомнению героическую суть послевоенной антисоветской борьбы, была показана и другая сторона партизанского движения, о которой склонны умалчивать исследователи данного сюжета, не говоря уже о современных «политиках памяти». М. Поцюс, будучи профессиональным историком, просто попытался выйти за пределы манихейской интерпретации партизанской войны, которая по сути является лишь советской трактовкой

[1] Такую попытку делает Даля Марчинкявичене и (отчасти) американский историк с литовскими корнями Вирджил Крапаускас [Marcinkevičienė, 2005; Krapauskas, 2010].

«наизнанку». Если в советское время «лесных братьев» называли просто «бандитами» либо «буржуазными националистами», то теперь они – однозначно герои, хотя в коллективной памяти их образ отнюдь не однозначен. Книга вызвала живой интерес читателей, чувствующих убогость упрощенного объяснения сложных явлений и экзистенциальных ситуаций послевоенного времени. Поэтому при своем обзоре современной литовской историографии В. Крапаускас называет Л. Труску и М. Поцюса ревизионистами [Krapauskas, 2010, p. 14], имея в виду не ревизионизм как противовес классической тоталитарной парадигме советологии, а скорее как сомнение в эффективности односторонней политики памяти в современном идеологическом нарративе.

Возвращаясь к ставшим за последние пять лет особенно актуальными исследованиям послесталинского периода, следует отметить особый интерес к положению и трансформации национальной культуры в эпоху «мягкой» советизации. Тут надо особо выделить обширные исследования «коллективного портрета» литовской интеллигенции как посредника между властью и «массами». Подобные исследования часто проводятся при помощи концепции «социальных сетей», что позволяет не только выделить очертания альтернативных официальным сообществ культурной интеллигенции, но и найти основы и предпосылки самой «поющей революции» 1988–1990 гг., в которой именно интеллигенция заняла лидирующие позиции. Авторов этих исследований особенно интересует вопрос масштаба «самостоятельности» и «самодостаточности» литовской культуры в советскую эпоху[1].

Особое явление в этом поле представляет историческая публицистика, (авто)биографии и воспоминания разных деятелей культуры, неформальных «звезд» той поры или просто неординарных личностей. Эти издания становятся важным источником познания послесталинской повседневной жизни литовцев, существенно дополняя профессиональную историографию.

Возвращаясь к последней, надо упомянуть о немногочисленных, но довольно значительных исследованиях советской экономики. Недавняя монография и статьи С. Грибкаускаса поднимают вопросы о механизмах проявления «экономического национализма» в промышленности Литвы за период 1965–1985 гг. [Grybkauskas, 2006]. А новейшие его тексты, посвященные роли второго секретаря КПСС в национальных республиках как посредника между «центром» и «периферией», могут быть отнесены и к числу постколониальных исследований.

[1] Тут можно выделить недавно вышедшую в свет коллективную монографию, посвященную развитию литовской архитектуры советского периода [Drėmaitė, Petrulis, Tutlytė, 2010], или сборник статей по истории литовской рок-музыки [Lietuvos rokas: Ištakos ir raida, 2011].

Американский антрополог Дейвид Чиони Мур одним из первых убедительно обосновал возможность исследования постсоветского пространства (включая страны бывшего «соцлагеря») как части постколониального мира [Chioni Moore, 2006]. Действительно, в этом огромном географическом ареале ныне независимых стран несколько столетий доминировали системы власти и подчинения, сравнимые с «классическими» колониальными владениями. Это и внешняя колонизация со стороны более могучей и агрессивно расширяющейся империи; и жесткий контроль местной социальной и экономической жизни метрополией, и экономическая эксплуатация природных и человеческих ресурсов и продукции в виде присоединения к колониальной системе экономических и инфраструктурных сетей, вследствие чего возникает социальная и культурная стагнация местного общества. Впрочем, Балтийские страны по уровню развития выделялись из общей массы советских республик и даже имели неофициальный статус «малого Запада»[1], поэтому методология постколониальных исследований тут может быть применима лишь с некоторыми оговорками.

Завершая этот короткий обзор, нельзя обойти стороной и группу исследователей (историков, социологов и политологов), которые пытались не только описать феномен для многих неожиданного подъема общественных настроений в конце 80-х – начале 90-х [Laurinavičius, Sirutavičius, 2008] годов, но и найти его глубинные причины. Сборник статей «В поисках истоков Саюдиса» [Sąjūdžio ištakų beieškant… 2012], в котором в основном молодые исследователи дали ответ на вопрос о возможности альтернативной советской общности, того, что ими было названо самопроизвольной формой социальности, был встречен не только с большим

[1] Высказывание Р. Чепайтене на заочном форуме «Периферийность “Центра” в современных национальных исторических нарративах» [Forum AI… 2012, с. 54–58].

интересом, но и вызвал горячую дискуссию по поводу того, на какие критерии можно опереться в поисках такой общности. В сборнике была предпринята попытка идентифицировать и классифицировать появившиеся в послесталинский период неофициальные или полуофициальные общественные группы и кружки, которые организовались в основном по роду интересов (от этнокультурного движения до общества «зеленых»).

Завершая данную проблематику, неизбежно приходится ставить вопрос: существует ли в Литве транзитология? После появления фундаментального исследования социолога Зеноназа Норкуса «Какая демократия, Какой капитализм?» можно с уверенностью сказать: – «да» [Norkus, 2008][1]. Конечно, ее автор мог опереться на труды других литовскох социологов, политологов и философов, но среди них книга Норкуса выделяется широтой охвата проблем, позволяющей поместить и объяснить «литовский случай» в более общем контексте явлений стыка XX–XXI вв.

Ощутимое советское прошлое: Стратегии увековечивания

Постколониальное и постсоветское объединяет и то, что можно назвать «диссонансом наследия»[2]. Это неприятные, постыдные или современной официальной националистической идеологией неблагоприятно оцениваемые периоды и исторические сюжеты прошлого. К таким часто причисляют и советскую эпоху.

В Литве можно выделить три основных пласта восприятия советского наследия. Это: 1) официальное наследие режима и пропаганды, по отношению к которому большинство посткоммунистических стран выбрало стратегию отвержения и / или музеефикации; 2) наследие антисоветского сопротивления и сталинских репрессий, ставшее одной из главных опор нынешней «политики памяти»; 3) наследие советской культуры в самом широком смысле слова – повседневности и быта, которое, в отличие от двух предыдущих, подвержено немалым потенциальным или реальным диссонансам и противоречивым интерпретациям и пока остается недостаточно исследованным полем [подробнее см.: Чепайтене, 2010].

[1] Также см. адаптацию этой книги для англоязычного читателя [Norkus, 2012].

[2] Подробнее о концепте «диссонанса наследия» [см.: Tunbridge, Ashworth, 1996].

Тут мы ограничимся анализом разных проектов музеефикации советского наследия, оставляя в стороне архитектуру, индустриальные комплексы и пр. Можно коротко сказать лишь то, что по отношению к ним в Литве пока трудно выделить какую-то общую стратегию. Немалая часть таких объектов была переработана под видом реконструкции и модернизации, кое-что снесено как неценное, но небольшой их части удалось попасть в республиканские или (чаще всего) местные списки охраны культурных ценностей. Хотя этот факт отнюдь не означает реальной охраны. Например, один из символов Вильнюса, в 1971 г. построенный Дворец культуры и спорта, здание, ценное своей оригинальной вантовой конструкцией крыши, теперь принадлежит частному банку, собственники которого заинтересованы его снести ради «развития территории», но не могут этого сделать из-за его статуса как охраняемого объекта, поэтому сознательно уже много лет оставляют его в запущенном состоянии.

Известно, что в период 1940–1952 гг. погибли и напрямую пострадали около 780 тыс. жителей Литвы[1]. Во время национального возрождения спонтанные общественные попытки увековечить их память, инициированные семьями и создававшимися тогда неправительственными организациями (особенно бывшими ссыльными и политзаключенными), стали вскоре более системно и комплексно координироваться и регулироваться государством. В 1995 г. был основан Центр по исследованиям геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ) – основной институт академического исследования, просвещения, музеефикации и увековечивания периода оккупаций и антисоветского движения 1940–1954 гг.

Таким образом «бум» спонтанной «травматической памяти» «снизу», характерный для времени национального возрождения и первых лет независимости, постепенно заменяли официальные институты, ритуалы и практики. С 1998 г. действует Международная комиссия по оценке преступлений оккупационных режимов нацистов и советов в Литве. Трагические события упоминаются в списке памятных дней[2], увековечиваются средствами докумен-

[1] Данные, приводимые Центром исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы [см.: Lietuvos gyventojų nuostoliai 1940–1952 m.].

[2] Всего в Списке памятных дней (новейшая его редакция была принята 19 июля 2006 г.) трагическому периоду Второй мировой войны и советской окку-

тальных фильмов, памятников, мемориальных досок, музейных экспозиций. Например, в разных городках и местечках по инициативе и на средства ЦИГРЖЛ уже обозначены мемориалами все девять военных округов антисоветского вооруженного подполья, покрывавшие территорию страны. В 2010 г. был открыт мемориал в деревне Минайчай, где в 1949 г. происходил тайный съезд представителей всех партизанских организаций, во время которого была создана единая организация антисоветского сопротивления – Движение борьбы за свободу Литвы. 16 февраля 1949 г. (не случайно был выбран именно день независимости Литвы) была принята Декларация, провозгласившая стремление возвратить независимость, а само Движение объявило себя единственным легитимным представителем власти в стране. Таким образом, в республике появился центральный символ увековечивания антисоветского сопротивления. Следует отметить, что, делая акцент на стратегию коммеморации, государство не уделяет должного внимания материальному наследию «лесных братьев», аутентичные вещи теряются, места боев, гибели партизан, их бункера и тайники исчезают на глазах. Хотя несколько бункеров было реконструировано, такая практика подвергается сомнению со стороны специалистов и пока по этому поводу не выработано единого подхода.

Похожее положение дел с мемориализацией ссылок. Тут надо вспомнить о появившейся в начале независимости практике эксгумировать и перевозить в Литву останки сибирских ссыльных. Нередки были частные экспедиции, инициированные, в основном, родственниками жертв. Первое массовое перезахоронение из Игарки произошло еще в 1989 г. Были и попытки найти общий язык в этом вопросе с российской стороной: в 2006 г. на средства Литовского правительства в Якутске было намечено открыть памятник литовским ссыльным с надписью на четырех языках – литовском, английском, русском и якутском, но в последний момент принимающая сторона отказалась, и пришлось его ставить в Вильнюсе, рядом с бывшим зданием КГБ. Начиная с того же 2006 г. каждый год проводятся ставшие очень популярными молодежные экспедиции в места ссылки и заключения под названием «Миссия

пации посвящено 12 из памятных 44 дней. По этому можно судить, что в культурной памяти создается драматический образ советского периода, акцентирующий страдания и обиды.

Сибирь». Также большое общественное значение получили и музейные экспозиции. Первой из них стала экспозиция из нескольких юрт ссыльных, попавших на берега моря Лаптевых, открытая в 1994 г. в Музее народного быта в Румшишкес.

Сегодня уже может показаться, что этому пласту памяти уделено достаточно внимания как со стороны государства, так и общественности. Можно заметить даже некоторые перегибы в сторону виктимизации. Например, в Списке памятных дней Литовской Республики существуют три даты, связанные с геноцидом(-ами): 15 июня – День оккупации и геноцида; 23 сентября – День геноцида евреев Литвы и 16 октября – День геноцида жителей Малой Литвы (имеется в виду Восточная Пруссия, где исторически сложилась значительная литовская община – малолитовцы). На то, что таким образом трагические события разного масштаба уравниваются, искажая историю и девальвируя сам термин «геноцид», не раз обращали внимание юристы и историки[1].

Особенно часто с этим когнитивным недоразумением сталкиваются посетители Музея жертв геноцида, находящегося в Вильнюсе, рядом с площадью Лукишкес, организованного в здании бывшего республиканского КГБ. Это одна из наиболее посещаемых туристами мемориальных институций страны. Музей был создан в 1992 г., а с 1997 г., после реорганизации, стал подвластным ЦИГРЖЛ. Аналогичные музеи оккупации были несколько позднее основаны в Риге (1993) и Таллине (2003). В Киеве (с 2001 г.) и Тбилиси (с 2006 г.) действуют музеи советской оккупации.

Посетители-иностранцы часто теряются, обнаружив, что под «геноцидом» в данном случае имеются в виду не Холокост, а советские репрессии 1944–1954 гг., уничтожение антисоветского подполья и мирных граждан Литвы. Несмотря на это Музей действительно впечатляет не только эмоциональным рассказом о послевоенных событиях, созданным при помощи современных аудиовизуальных средств, но и особенно своей аутентичностью. Вся его подземная часть – сохранившиеся камеры бывшей тюрмы НКВД, включая камеры расстрела и пыток, одна из которых, кажется, без ссылки на местонахождение оригинала, была воспроизведена в 2002 г. в будапештском House of Terror. Цокольную часть здания

[1] Семинар-дискуссия «Термины в истории новейших времен» во втором номере журнала «Genocidas ir rezistencija» от 2001 г. [Genocidas ir rezistencija, 2001].

известный художник Г. Умбрасас превратил в своеобразное надгробие – мемориальную доску, каждая каменная плита посвящена конкретной жертве НКВД, погибшей в этой тюрьме. Таким очень простым способом был достигнут, на мой взгляд, максимальный дидактический и эмоциональный эффект. Тот же скульптор мозаикой декорировал и потолок Колумбариума, в котором теперь хранятся урны с останками узников, когда-то тайно закопанными на территории закрытой виллы НКВД в Тускуленай. Известно, что в 1944–1947 гг. тела расстрелянных в подвалах тюрмы НКВД тайно вывозились и хоронились в разных местах города. До сих пор удалось установить лишь это место массового захоронения, расположенное около небольшой дворцовой усадьбы в Вильнюсе. Там с 1994 по 1996 г. проводились археологические раскопки, позволившие найти останки 724 жертв.

Мемориальный комплекс Тускуленского парка покоя[1], как он называется сейчас, охватывает уже упомянутый Колумбариум, некоторые другие здания бывшей усадьбы, в которых уже открыты экспозиции. В центральном здании намечается открыть Музей homo sovieticus, проект которого еще находится на стадии разработки. По замыслу создателей концепции этого музея, среди которых была и автор этих строк, его экспозиция должна воссоздать целостный образ советской жизни, отводя в нем место и повседневности, и быту, и образу мышления советского человека.

Этот пока незаконченный проект должен отличаться от всем известного Музея советской пропаганды и исскуства, в 2001 г. созданного в местности Грутас на юге Литвы. Частный парк Грутас сегодня является одним из ярчайших примеров осмысления официального наследия советского времени. Сознательно или нет, но в этом случае успеху Музея особенно содействовала стратегия локализации, позволившая в одном месте собрать как можно больше артефактов этого типа – атрибутов советского идеологического искусства и пропаганды.

Архитектор Римвидас Глинскис, утверждавший, что «многое, что мы называем национальным, является советским», еще в 1995 г. предлагал такую программу охраны соцреалистического искусства: 1) исследовать наследие соцреализма, 2) отложить его уничтожение

[1] Центр исследования геноцида и резистенции жителей Литвы [Русская версия сайта музея]. – Режим доступа: http://www.genocid.lt/tuskulenai/ru/

на 50 лет; 3) как можно полнее его сохранить, 4) сохраняя, не цензурировать, 5) если что-то уже устранено – экспонировать в музеях, 6) создавать новое, чтобы уменьшилось желание разрушать старое [Glinskis, 1995]. Однако этой позиции придерживались далеко не все заинтересованные представители общественности.

Сама идея образования частного парка Грутас встретила серьезное сопротивление со стороны некоторых общественных групп, особенно бывших политзаключенных. Высказывались опасения, что посещение этого парка может вызвать просоветские настроения, иначе говоря, может стать местом паломничества ностальгирующих по советскому времени. Из-за такой «опасности» большое внимание уделялось интерпретациям, должным сопровождать эту противоречивую экспозицию под открытым небом. Однако предложение дать единственно верную версию событий, исключительно отрицательно изображающую советское время, по сути противоречит современным теориям управления наследием, которые предлагают избегать навязывания посетителю заведомо идеологических установок и советуют позволить ему самому интерпретировать культурные значения местности [Schouten, 1995, p. 21–31].

Грутас особенно интересен как место памяти, в котором воспоминания о советском времени осмыслены с использованием скорее не словесных, а сенсорных способов выражения – зрения, прикосновений и вкуса [Lankauskas, 2006]. В парке коммунистическое прошлое Литвы можно не только увидеть в экспозиции скульптур, но и попробовать в музейном кафе, где одетые в пионерскую форму официанты предлагают посетителю «советские» блюда и напитки – своеобразные катализаторы «практической ностальгии» [Battaglia, 1995].

Исследователь Анн-Мари Лосончи, интерпретируя аналогичный музей скульптур в Венгрии, пользуется метафорой кладбища. По ее мнению, находящийся недалеко от Будапешта парк Шобор – это территория, где лежит погребенный социализм [Losonczy, 1999]. А в случае парка Грутас можно использовать несколько другие метафоры. Топографическая закрытость местности, символизируемая опоясывающим его территорию рвом и болотистым лесом, может указывать как на утопический характер этого искусственно созданного пространства, так и на сибирский ландшафт ГУЛАГА, напоминающий тюремную «зону», в которой «сидят» бывшие «строители

коммунизма». Так что на Грутас мы можем смотреть как на своеобразный «ГУЛАГ наоборот». Стоящий у входа в музей свидетель ссылок – товарный вагон – вместе со скульптурами коммунистических идеологов создает аллегорию контрастирующих, но и дополняющих друг друга компонентов памяти: один из них символизирует преследуемых и порабощенных, другой – преследователей и поработителей. Впрочем, следует признать, что структура парка Грутас не основана на этом контрасте, он скорее предчувствуется и генерируется в памяти и рефлексии его посетителей.

Другой важный момент в восприятии и интерпретации парка – элементы иронии, сарказма или гротеска, своеобразно сливающиеся с существовавшей в советское время неофициальной культурой смеха [Krylova, 1999]. Это тоже кажется амбивалентным. Если, желая привлечь как можно больше посетителей, советское прошлое с помощью новых музейных средств интерпретируется непосредственно как веселая игра (инсценировка), балаган или шутка, то у жертв прежнего режима это неизбежно вызывало и будет вызывать не такие веселые ассоциации. Таким образом, создаваемое парком Грутас впечатление отражает парадоксальность, многозначность и сложность воспоминаний о советском времени. Они порождают злость, стыд, смех и издевку, чувства горечи, потери или, наоборот, ностальгии. Возможно, что упомянутая амбивалентность осознания и интерпретации парка как раз и является причиной его неугасающей привлекательности [Liutkutė, 2012].

Другой музей, привлекающий иностранцев, который со временем может стать серьезным конкурентом парку Грутас, – Музей «холодной войны», расположенный в западной части Литвы, на территории Национального парка этнографического региона Жемайтия[1]. Создатели называют его «единственным в Европе» музеем «холодной войны», открытым лишь в 2012 г., хотя как «милитаристская экспозиция» он был доступен посетителям и раньше.

Посетив этот обьект, я бы скорее назвала бывшую базу баллистических ракет средней дальности музеем безмыслия. С 1962 по 1978 г. (пока это место не обнаружила американская разведка) в существовавшем тайном стратегическом военном объекте, на воздвижение и оборудование которого были брошены большие

[1] Šaltojo karo muziejus [Английская версия сайта музея]. – Mode of access: http://www.saltojokaromuziejus.lt/en/category/history/

финансовые, интеллектуальные и человеческие ресурсы, не произошло ничего особенного, и ни одна ракета не была запущена.

Интересно, что основная идея данного музея апеллирует к тому, что между бывшими странами западного и восточного блоков не только существовали явные различия, но были и общие черты (например, стилистика пропагандистских плакатов). Актуализируемый опыт «холодной войны» на повседневном уровне, без сомнения, создал бы возможность найти гораздо больше точек соприкосновения между гражданами стран, когда-то разделенных железным занавесом, чем могли бы представить сами идеологи соперничающих лагерей того времени [см., например: Uzell, 1998].

К попыткам музеефикации «советского» можно причислить и другие уже реализованные или продолжающиеся проекты и эдукационные программы, например, нашумевший в 2009 г. проект «1984. Драма выживания в бункере», который был открыт на территории бывшего бомбоубежища литовского телевидения, в лесах под Неменчине. Он успешно проводится по сей день. Театрализованная инсценировка «одного дня в СССР», в которой посетители становятся участниками происходящего, вызвала много дебатов, касающихся правдоподобности и этичности такого подхода к «советскому».

Подобная стратегия «личного погружения» в тогдашнюю реальность использовалась и в проекте «Один день в ссылке: живой урок истории». Проект финансировала Европейская комиссия под эгидой программы «Активная память Европы», посвященной жертвам нацизма и коммунизма. В ней приняли участие молодые люди из 23 европейских стран. В 2010 г. проводился другой международный проект – художественные мастерские, объединившие историю и искусство – «Станции скорби», в которых приняли участие бывшие ссыльные и студенты-первокурсники, изучающие историю, журналистику и искусство.

Попытки переинтерпретации советского наследия и его сохранения путем музеефикации следует оценивать как довольно парадоксальные и противоречивые, особенно учитывая замечание французского социолога Анри-Пьера Жёди, что «культурный реликт двусмысленен, поскольку он одновременно может стать символической гарантией идентичности, но также и средством отказа от нее» [Jeudy, 1986, p. 116]. Так что, хотя с точки зрения советского идеологического наследия и особенно художественной про-

паганды был найден и применен конкретный путь музеефикации, все-таки он оставляет много нерешенных вопросов. С позиций сегодняшнего дня очевидно, что такие объекты, как созданный в 1993 г. недалеко от Будапешта парк Шобор (архитектор Акос Элеод) или открытый в 2001 г. в Литве частный парк Грутас[1] имели немалый коммерческий успех (насколько известно, сейчас этот опыт задумали повторить в Латвии и на Украине). Но остается вопрос дидактического характера – можно ли таким способом передать смыслы и атмосферу той поры людям, которые в ней не жили и могут сделать совершенно ошибочные либо искаженные выводы?

Переосмысление «советского» художественными средствами

Напоследок мне остается сделать короткий обзор рефлексии «советского» в тех формах художественного выражения, которые наиболее мощно действуют на общественное сознание. Речь идет о художественной литературе, телепередачах, кино и театре. Насколько советская эпоха интересует современных литовских писателей, сценаристов и режиссеров? За исключением документальных фильмов, которых на эту тему снято уже больше 200, можно вспомнить лишь несколько художественных фильмов, спектаклей или книг, которые вызвали какую-то заметную реакцию публики.

В кинематографии данного сюжета преобладает тематика сопротивления либо советской повседневности и быта. Фильм режиссера Й. Вайткуса «Совсем одни» (2004) сразу начали сравнивать со знаменитым фильмом «Никто не хотел умирать» (реж. В. Жалакявичюс, 1965), представившим советскую трактовку послевоенных событий. «Совсем одни» основан на реальных фактах. Это история семьи, все сыновья которой стали защитниками независимости, а один из них – Йозас Лукша-Даумантас – настоящей легендой антисоветского сопротивления. Этому партизанскому вождю в 1949 г. удалось перебраться на Запад и вывезти важные документы о реальном положении дел в послевоенной Литве. Несмотря на женитьбу и естественный соблазн остаться в свободном и безопасном мире, он решил вернуться на родину и продолжить борьбу, где в 1951 г. был предан и убит.

[1] Подробнее их сравнительный анализ [см.: Williams, 2008].

По сравнению с этим фильмом, который полностью соответствует канону современной политики памяти, роман молодого писателя и драматурга М. Ивашкявичуса «Зеленые» (2002) в основном остался не понятым и соответственно не принятым читателями. Как выразился один из интернетных комментаторов: «Либо мы отсталые, либо у писателя крыша поехала». Роман, в котором история послевоенных лет рассказана от лица офицера НКВД, явно нацелен на деконструкцию доминирующего нарратива о «героизме и жертвенности» антисоветского сопротивления. Некоторые комментаторы посчитали роман даже откровенным надругательством.

В свою очередь, пьеса «Бункер» (сценарист и режиссер Витаутас В. Ландсбергис), поставленая в Национальном драматическом театре, как и выросший из нее фильм «Когда я был партизаном» (реж. Витаутас В. Ландсбергис, 2008), основана на разного рода аутентичных источниках – от дневников самых известных партизанских вождей до документов КГБ. В ней исследуется состояние страшного напряжения этих лет между обязанностью защищать свободу родины всеми возможными средствами и желанием сохранить нацию от полного уничтожения, приспособившись к превосходящему по силе чужому нечеловеческому режиму. В фильме главный герой – актер, играющий партизана в вышеупомянутом спектакле. Он вдруг ощущает себя мальчишкой, живущим в послевоенной деревне, на глазах у которого стрибы[1] убивают его родителей. Здесь затронут вопрос памяти и возможности вылечить травмы прошлого, которые подсознательно, но очень реально действуют на настоящее. Кажется, сценаристу и режиссеру этих творений, сыну лидера народного возрождения 90-х годов и первого руководителя страны de facto, удалось очень метко нащупать глубинные нити памяти литовского общества, которые еще болят.

В атмосферу «холодной войны» погружается основанный на реальных событиях фильм «Когда обниму тебя» (реж. Кристийонас Вильджюнас, 2010). В нем рассказана история, которая происходит в 1961 г. в Берлине, где пытаются встретиться приехавший из

[1] Стрибы (лит. stribai) – литуанизированная форма слова «истребитель» – вооруженные отряды из гражданских лиц, в 1944–1954 гг. помогавшие советским властям совершать репрессии против «лесных братьев» и мирного деревенского населения.

ЛитССР отец и его проживающая в США дочь. Трагизм ситуации близких людей, чьи семейные узы были разорваны войной, состоит в том, что оба они хотят избежать сетей советских спецслужб, которые, будто помогая отцу, известному деятелю культуры советской Литвы, в действительности при его помощи планируют заманить дочь пересечь границу Восточного Берлина. Оба героя испытывают невероятное напряжение. Квинтэссенцией драмы человеческих судеб, разъединенных железным занавесом, можно считать сцену фильма, в которой дочь, ранее молившаяся о возможности хотя бы обнять давно не виденного отца, вдруг ловит в свои объятия падающего случайно споткнувшегося человека и только через несколько секунд, когда его уже увозят агенты КГБ, опознает в нем своего отца.

В отличие от этих спектаклей и фильмов, так или иначе обсуждающих вопросы долга и предательства, вины и покаяния, несколько других фильмов последних лет обращают внимание на повседневность хрущёвского и брежневского периодов, когда советское общество уже сложилось и «нормализировалось». Тут можно упомянуть фильмы «Балкон» (реж. Гиедрэ Бейнорюте, 2008) – милую историю о двух влюбленных подростках и «Котловина» (реж. Гитис Лукшас, 2009, по роману известного писателя Ромуалдаса Гранаускаса). В обоих фильмах видна попытка воссоздать образ и атмосферу эпохи, избегая напрямую ввязываться в полемику о сути режима.

Призыв зрителя мыслить и делать выводы самому прозвучал и в спектакле «Матас», вышедшем в свет в Национальном театре (драматург Херкус Кунчюс, режисер Албертас Виджюнас, 2006 г.). На вопрос журналиста «что такое “матас”?» режиссер спектакля ответил, что «тут нет однозначного ответа. После просмотра спектакля каждый сможет ответить себе, что кроется под этим словом – Снечкус[1], имя евангелиста (Матвей по-литовски), шахматный ход или просто мат. Матас многозначен»[2]. Драматург провел настоящее историческое расследование и, опираясь на архивные и

[1] Имеется в виду первый секретарь Компартии Литвы Антанас Снечкус, пробывший у власти рекордный срок – 33 года – с 1936 г. до (с небольшим перерывом) до 1974 г. и имевший конспиративное имя Матас.

[2] Интервью Г. Шедуйкиса с режиссером спектакля Албертасом Виджюнасом [Matas – valingas apsivalymo aktas, 2006].

другие источники, ввел в пьесу персонажей, реальными прототипами которых стали известные литовские политические и культурные деятели 1940–1972 гг. Таким образом, данная пьеса оказалась еще одной попыткой переосмыслить советскую эпоху и путем коллективного переживания негативных эмоций очиститься и вылечить ею оставленные раны.

Заключение

Восприятие советского времени как периода зависимости в современной Литве приобретает разные формы и выполняет различные социальные, политические и культурные функции. Надо признать, что глубинная десоветизация на политическом уровне в Литве все-таки не произошла. Кое-какие ее попытки затронули лишь советские репрессивные структуры, но в основном обошли стороной бывшую номенклатуру, представители которой изменили лишь свою символику и публичную риторику, но не привычки и групповой менталитет, уже не говоря о сохранении и активном использовании сети связей и влияний. Технократическое крыло номенклатуры вовремя отмежевалось от «чистых» идеологов и до сих пор остается активным деятелем политической сцены.

Описанную матрицу восприятия советского от открытия жертв и страданий через переинтерпретацию роли тогдашних представителей политической элиты к посведневности «простых людей» можно фиксировать как в издаваемых воспоминаниях, исторической публицистике, профессиональной историографии, так и в музейных выставках или художественных произведениях.

Литовской случай «политики памяти» по отношению к «советскому» из-за сложившихся исторических обстоятельств можно считать как исключительным, особенно имея в виду живую и сложную память о самом длинном и массовом в регионе антисоветском сопротивлении 1944–1954 гг., так и довольно типичным, близким опыту других республик бывшего СССР и стран «соцлагеря». Как мы видели, изначальный интерес государства, создающего новый национальный нарратив, был сосредоточен на антисоветском сопротивлении и сталинских репрессиях, что в начале независимости было совершенно логично и, наверное, неизбежно. Но со временем при помощи музеефикации была найдена и «цивилизованная» дистанция с наследием идеологии и пропаганды. Ее

появлению способствовало и открытие «советского» как потенциального ресурса туризма или как коммерчески рентабельного маркетингового хода (феномен «советских сосисок»).

Нынешний ощутимый сдвиг в академических исследованиях советского периода, их глубина и комплексность действительно радуют, но также оставляют открытым вопрос, насколько быстро и адекватно их результаты дойдут до широкой публики (если вообще дойдут) и какой будут иметь эффект. Пока что наибольшим вниманием широкой публики пользуются те исследования историков или журналистов, которые берутся за сюжеты, табуированные или вытесненные официальным дискурсом (например, тема криминальной стороны антисоветского сопротивления), либо рассказывают истории всеми любимых звезд того времени. Можно сделать вывод, что до сих пор в Литве не сложилось четкое определение того, что же мы можем из «советского» отнести к «нашему», а что останется однозначно «чужим».

По сути все посткоммунистические государства, создающие новую идентичность, сталкиваются с трудно решаемой проблемой – оттолкнуть или интегрировать свое советское прошлое и специфический опыт в пространство мировоззренческих и ценностных координат настоящего? Теоретик охраны наследия Дж.Э. Танбридж заметил феномен, который он назвал дилеммой «наследие versus экономика» [Tunbridge, 1994]. Это означает, что страны Центральной и Восточной Европы и бывшего СССР, склонные рассматривать наследие коммунистической эпохи скорее как преграду при конструировании новой национальной идентичности, вызывают интерес у зарубежных туристов и получают соответственно немалые финансовые вливания именно из-за него [Light, 2000]. Эту тенденцию подтверждает и литовский опыт музеефикации наследия советского режима.

Похоже, что через 20 с лишним лет после разрушения Берлинской стены в Центральной и Восточной Европе мы снова фиксируем волну активизации «коммунистической памяти». На это указывает интенсивное развитие сети реальных и виртуальных музеев, издание разного рода художественных произведений, не говоря уже о продолжающихся общественных дискуссиях о сути и последствиях коммунистической системы. Коллективная память советского времени и материальное и нематериальное его наследие по-разному воспринимаются «изнутри» и «снаружи», «сверху»

и «снизу», людьми разных поколений, становясь странной смесью традиций и преемственности, отрицания и разрыва, чем спешат воспользоваться разные политические, культурные и экономические группы. Очевидно лишь, что процесс переосмысления советского прошлого, начавшийся в период распада СССР, продолжится и в будущем.

Список литературы

Национальные истории на постсоветском пространстве – II: Десять лет спустя / Под ред. Ф. Бомсдорфа, Г. Бордюгова. – М.: Фонд Фридриха Науманна: АИРО-XXI, 2009. – 432 с.

Распад СССР // Википедия. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Распад_СССР (Дата посещения: 03.01.2013.)

Сафроновас В. О тенденциях политики воспоминания в современной Литве // Ab Imperio. – Казань, 2009. – № 3. – С. 424–458.

СССР и Литва в годы Второй мировой войны: Сб. документов / Институт истории Литвы, Институт всеобщей истории РАН; сост. А. Каспаравичюс, Ч. Лауринавичюс, Н.С. Лебедева; ред. коллегия: А. Каспаравичюс, Ч. Лауринавичюс, Н.С. Лебедева, А. Никжентайтис, А.О. Чубарьян. – Vilnius: LII leidykla, 2006 – Т. 1: СССР и Литовская Республика, (март 1939 – август 1940 г.). – 774 с.

Центр исследования геноцида и резистенции жителей Литвы [Русская версия сайта музея]. – Режим доступа: http://www.genocid.lt/tuskulenai/ru/ (Дата посещения: 04.01.13.)

Чепайтене Р. Культурное наследие в глобальном мире. – Вильнюс: ЕГУ, 2010. – 295 с.

Шепетис Н. Отсутствующая «национальная» история Литвы // Национальные истории на постсоветском пространстве – II: Десять лет спустя: [сборник] / Фонд Фридриха Науманна, Ассоц. исслед. рос. о-ва (АИРО-XXI); Под ред. Ф. Бомсдорфа и Г. Бордюгова; науч. консультанты: К. Аймермахер, А. Касаев; Науч.-вспомог. работа: Н. Козлова. – М.: Фонд Фридриха Науманна: АИРО-XXI, 2010. – С. 157–181.

After independence: Making and protecting the nation in postcolonial and postcommunist states / Ed. by L.W. Barrington. – Ann Arbor: The univ. of Michigan press, 2006. – 306 p.

Anušauskas A. KGB Lietuvoje: slaptosios veiklos bruožai. – Vilnius: Atvažiavo meška, 2008. – 251 p. – Пер. заглавия: КГБ в Литве: Штрихи тайной деятельности.

Anušauskas A. Lietuvių tautos sovietinis naikinimas, 1940–1958 metais. – Vilnius: Mintis, 1996. – 473 p. – Пер. заглавия: Советское уничтожение литовского народа в 1940–1958 гг.

Anušauskas A. Teroras 1940–1958 m. – Vilnius: Versus aureus, 2012. – 314 p. – Пер. заглавия: Терор в 1940–1958 гг.

Anušauskas A. Teroras ir nusikaltimai žmoniškumui: pirmoji sovietinė okupacija, (1940–1941) // Terror and crimes against Humanity: the First Soviet Occupation, (1940–1941). – Vilnius: Margi raštai, 2006. – 238 p.

Architektūra sovietinėje Lietuvoje / Drėmaitė M., Petrulis V., Tutlytė J. – Vilnius: VDA, 2012. – 411 p. – Пер. заглавия: Архитектура в советской Литве.

Bach J. «The taste remains»: Consumption, (n)ostalgia, and the production of East Germany // Public culture. – N.Y., 2002. – October 1, N 14 (3). – P. 545–556.

Baltic postcolonialism / Ed. by V. Kelertas. – Amsterdam; N.Y.: Rodopi, 2006. – 464 p.

Battaglia D. On Practical nostalgia: self-prospecting among urban trobrianders // Rhetorics of self-making / Ed. by D. Battaglia. – Berkeley: Univ. of California press, 1995. – P. 77–96.

Brandišauskas V. Anti-Soviet resistance in 1940 and 1941 and the revolt of june 1941 // Anti-Soviet resistance in the Baltic States / Ed. by A. Anušauskas. – Vilnius: Akreta, 2001. – P. 8–22.

Bubnys A., Kuodytė D. The holocaust in Lithuania between 1941 and 1944. – Vilnius: Genocide and resistance research centre of Lithuania, 2005. – 51 p.

Bunce V.J., Wolchik S.L. Defeating authoritarian leaders in postcommunist countries. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2011. – 384 p.

Butkus Z. The impact of the USSR on Lithuania's domestic policy and its international orientation in the third decade of the twentieth century // Journal of Baltic studies. – L., 2007. – Vol. 38, N 2. – P. 215–233.

Chioni Moore D. Is the post- in postcolonial the post- in post-Soviet? // Baltic Postcolonialism / Ed. by V. Kelertas. – Amsterdam; N.Y.: Rodopi, 2006. – P. 11–30.

Demokratija Lietuvoje: pilietiškumas ir totalitarizmas XX amžiaus istorijos lūžiuose = Democracy in Lithuania: Civil Spirit versus Totalitarianism at the Defining Moments of the twentieth century / Ed. by M. Jurkutė, N. Šepetys. – Vilnius: Naujasis židinys-Aidai, 2011. – 462 p.

Dieckmann C., Sužiedėlis S. Lietuvos žydų persekiojimas ir masinės žudynės 1941 m. vasarą ir rudenį: Šaltiniai ir analizė = The persecution and mass murder of Lithuanian Jews during summer and fall of 1941: Sources and analysis. – Vilnius: Margi raštai, 2006. – 293 p.

Eidintas A. A jew-communist stereotype in Lithuania, 1940–1941 // Lithuanian political science yearbook. – Vilnius, 2000. – N 1. – P. 1–36.

Eidintas A. Jews, lithuanians and the holocaust. – Vilnius: Versus Aureus, 2003. – 534 p.

Eurozine European histories: Towards a grand narrative? // Eurozine. – 2005. – May, 3. – Mode of access: http://www.eurozine.com/articles/2005-05-03-eurozine-en.html (Дата посещения: 03.01.2013.)

Forum AI. Периферийность «Центра» в современных национальных исторических нарративах // Ab Imperio. – Казань, 2012. – № 1. – С. 47–101.

Fritz V. State-building: A comparative study of Ukraine, Lithuania, Belarus and Russia. – Budapest; N.Y.: CEUP, 2007. – 384 p.

Gailienė D. Ką jie mums padarė. Lietuvos gyvenimas traumų psichologijos žvilgsniu. – Vilnius: Tyto alba, 2008. – 244 p.

Genocidas ir rezistencija. – Vilnius, 2001. – N 2. – 223 p.

Girnius K. Partizanų kovos Lietuvoje. – Chicago, 1986. – 422 p. – Пер. заглавия: Партизанская борьба в Литве.

Glinskis R. Ar Lietuvos meno istorijoje rasime vietos socrealizmui? // Literatūra ir menas. – Vilnius, 1995. – N 42. – P. 3. – Пер. заглавия: Найдется ли место соцреализму в истории искусства Литвы?

Grunskis E. Lietuvos gyventojų trėmimai 1940–1941, 1945–1953 m. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1996. – 303 p. – Пер. заглавия: Депортации жителей Литвы в 1940–1941 и 1945–1953 гг.

Grybkauskas S. The Soviet Lithuanian nomenklatura in the trap of economic nationalism // History and culture of economic nationalism in East Central Europe / Eds. H. Schultz, E. Kubu. – Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2006. – (Frankfurter Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Ostmitteleuropas; Bd 14). – P. 279–293.

Jeffries I. The countries of the former Soviet Union at the turn of twenty-first century: The Baltic and European states in transition. – L.; N.Y.: Routledge, 2004. – 622 p.

Jeudy H.-P. Memoires du social. – Paris: Presses univ. de France, 1986. – 171 p.

Kennedy M.D. Cultural formations of postcommunism: Emancipation, transition, nation, and war. – Mineapolis: Univ. of Minnesota press, 2002. – 375 p.

Klumbytė N. The geopolitics of taste: «Euro» and «Soviet» sausage industry in Lithuania // Food and everyday life in postsocialist world / Ed. by M.L. Caldwell. – Bloomington: Indiana univ. press, 2009. – 231 p.

Klumbytė N. The soviet saussage renaissance // Americal Antropologist. – Virginia, 2010. – Vol. 112, N 1. – P. 22–37.

Krapauskas V. Recent trends in Lithuanian historiography // Lithuanus. Lithuanian Quarterly journal of arts and sciences. – Chicago, 2010. – Vol. 56, N 4. – P. 5–28.

Krylova A. Saying «Lenin» and meaning «party»: Subversion and laughter in Soviet and Post-Soviet society // Consuming Russia: popular culture, sex, and society since Gorbachev / Ed. by A.M. Barker. – Durham: Duke univ. press, 1999. – P. 243–265.

Lankauskas G. Sensuous (re)collections: The sight and taste of socialism at Grūtas Statue Park, Lithuania // The senses and society. – N.Y., 2006. – N 1(1). – P. 27–52.

Laukaitytė R. Lietuvos vienuolijos: XX a. istorijos bruožai. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1997. – 301 p. – Пер. заглавия: Монастыри Литвы: Очерки истории XX века.

Laurinavičius Č., Sirutavičius V. Lietuvos istorija. Sąjūdis: Nuo «persitvarkymo» iki kovo 11-osios. – XII tomas, 1 dalis. – Vilnius: Baltos lankos, 2008. – 579 p. – Пер. заглавия: История Литвы. Саюдис: «От «перестройки» до 11 марта.

Leinartė D. Adopting and remembering soviet reality: life stories of lithuanian women, 1945–1970. – Amsterdam; N.Y.: Rodopi, 2010. – 234 p.

Liekis Š. 1939. The year that changed everything in Lithuania's history. –Amsterdam: Rodopi, 2010. – 386 p.

Lietuva 1940–1990. Okupuotos Lietuvos istorija. – Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras, 2005. – 710 p. – Пер. заглавия: Литва в 1940–1990 гг. История оккупированной Литвы.

Lietuvos gyventojų nuostoliai 1940–1952 m. // Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. – Пер. заглавия: Потери жителей Литвы с 1940 по 1952 г. – Mode of access: http://www.genocid.lt/centras/lt/147/c/ (Дата посещения: 12.01.2013.)

Lietuvos rokas: Ištakos ir raida / Sud. M. Peleckis. – Vilnius: Mintis, 2011. – 608 p. – Пер. заглавия: Литовская рокмузыка: истоки и развитие.

Lieven A. The Baltic revolution: Estonia, Latvia, Lithuania and the path to independence. – New Haven: Yale univ. press, 1993. – 504 p.

Light D. Gazing on communism: heritage tourism and Post-communist identities in Germany, Hungary and Romania // Tourism geographies. – Arizona, 2000. – N 2. – P. 157–176.

Liutkutė L. Paveldo industrija kultūrinių ir kūrybinių industrijų kontekste. – Magistro darbas. – Vilnius: Vilniaus universitetas. Istorijos fakultetas, 2012. – 105 p. – Пер. заглавия: Индустрия наследия в контексте культурных и творческих индустрий.

Losonczy A.-M. La patrimoine de l'oubli: Le «parc-musée des statues» de Budapest // Ethnologie française. – Paris, 1999. – N 3. – P. 445–452.

Machein S., Simon A. Zwischen Emotion und Information. Gedenkorte im Spannungsfeld interkultureller Wahrnehmung. Ein Projektbericht // Kakanien Revisited. – Wien, 2006. – 13 S. – Mode of access: http://www.kakanien.ac.at/beitr/materialien/SMachein_ASimon1.pdf (Дата посещения: 03.01.2013.)

Marcinkevičienė D. Sovietmečio istoriografija: Užsienio autorių tyrinėjimai ir interpretacijos // Lietuvos istorijos metraštis, 2003/2. – Vilnius, 2005. – P. 91–106. – Пер. заглавия: Историография о советском времени: Исследования и интерпретации иностранных авторов.

Marian Zdziechowski // Wikipedia. – Mode of access: http://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Zdziechowski (Дата посещения: 12.01.2013.)

Maslauskienė N., Petravičiūtė I. Pirmoji sovietinė okupacija. Okupantai ir kolaborantai, (1940–1941) = Occupants and collaborators: the first Soviet occupation, (1940–1941). – Vilnius: Margi raštai, 2007. – 607 p.

Matas – valingas apsivalymo aktas // Literatūra ir menas. – Vilnius, 2006. – 24 vasaris. – Пер. заглавия: Матас – волевой акт очищения. – Mode of access: http://www.culture.lt/lmenas/?st_id=8301 (Дата посещения: 12.10.2012.)

Misiunas R.J., Taagepera R. The Baltic States: Years of dependence, 1940–1980. – Berkeley: Univ. of California press, 1983. – 346 p.

Mëller J. Post-communist regime change: a comparative study. – L., N.Y.: Routledge, 2009. – 177 p.

Norkus Z. Kokia demokratija, koks kapitalizmas? Pokomunistinė transformacija Lietuvoje lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008. – 742 p. – Пер. заглавия: Какая демократия, какой капитализм? Посткоммунистическая трансформация Литвы в свете сравнительной исторической социологии.

Norkus Z. On Baltic Slovenia and Adriatic Lithuania. A qualitative comparative analysis of patterns in Post-Communist transformation. – Vilnius: Apostrofa, 2012. – 375 p.

Political culture and post-communism / Ed. by S. Whitefield. – N.Y.: Palgrave Macmillan; Oxford: in association with St. Antony's College, 2005. – 251 p.

Putinaitė N. Nenutrūkusi styga. Prisitaikymas ir pasipriešinimas sovietų Lietuvoje. – Vilnius: Aidai, 2007. – 306 p. – Пер. заглавия: Неразорванная струна. Приспособление и сопротивление в советской Литве.

Rubavičius V. Neišgyvendinamas sovietmetis: atmintis, prisiminimai ir politinė galia // Colloquia. – Cluj-Napoca, 2007. – N 18. – P. 116–130. – Пер. заглавия: Невыжитое советское время: Память, воспоминания и политическая мощь. – Mode of access: http://www.llti.lt/failai/Nr18_07_Rubavicius.pdf (Дата посещения: 04.01.2013.)

Sąjūdžio ištakų beieškant. Nepaklusniųjų tinkląveikos galia [В поисках истоков Саюдиса. Мощь сетей непокорных] / Sud. A. Ramonaitė, J. Kavaliauskaitė. – Vilnius: Baltos lankos, 2012. – 440 p.

Šaltojo karo muziejus. – Пер. заглавия: Английская версия сайта музея. – Mode of access: http://www.saltojokaromuziejus.lt/en/category/history/ (Дата посещения: 04.01.2013.)

Schouten F.J. Heritage as historical reality // Heritage, tourism and society / Ed. by D.T. Herbert. – L., N.Y.: Mansell, 1995. – P. 21–31.

Senn A.E. Lithuania awakening. – L.A.: Univ. of California press, 1990. – 286 p.

Stasys Y. Komunizmas Lietuvoje. – Vilnius: Aidai, 2012. – 143 p.

Streikus A. Antykościelna polityka władzy sowieckiej na Litwie (1944–1990). – Kraków: Dom Wydawniczy «Rafael», 2010. – 254 p.

Streikus A. Lithuanian Catholic civil activism in the 20 th Century: examples and limits // Demokratija Lietuvoje: pilietiškumas ir totalitarizmas XX amžiaus istorijos lūžiuose = Democracy in Lithuania: Civil Spirit versus Totalitarianism at the Defining Moments of the twentieth century / Ed. by M. Jurkutė, N. Šepetys. – Vilnius: Naujasis židinys-Aidai, 2011. – P. 359–367.

Streikus A. The history of religion in Lithuania since the Nineteenth century // Religious diversity in Post-Soviet society: ethnographies of catholic hegemony and the new pluralism in Lithuania / Eds. M. Ališauskienė, I.W. Schröder. – Farnham, Surrey, England; Burlington, VT: Ashgate Pub., 2012. – P. 37–55.

The occupation regimes and their crimes in the Baltic, 1940–1991 / Anušauskas A., Sneidere I., Arjanas K. – Riga: Institute of the History of Latvia Publishers, 2006. – 51 p.

The vanished world of Lithuanian Jews / Ed. by A. Nikzentaitis, S. Schreiner, D. Staliunas. – Amsterdam; N.Y.: Rodopi, 2004.–323 p.

Truska L. Kokie atėjome į Sąjūdį. Lietuvos visuomenė XX a. 6–9-uoju dešimtmečiais // Sąjūdis Lietuvos periferijoje (1988–1993 m.) [Саюдис в литовской периферии (1988–1993 г.)] / L. Truska, M. Tamošaitis, B. Genzelis, et al. – Vilnius: VPU leidykla, 2009. – P. 11–39. – Пер. заглавия: Какими мы пришли на Саюдис. Литовское общество 60–90-х годов XX в.

Truska L. Lietuva 1938–1953 metais. – Vilnius, 1995. – 212 p. – Пер. заглавия: Литва в 1938–1953 гг.

Truska L., Kancevičius V. Lietuva Stalino ir Hitlerio sandėrio verpetuose. – Vilnius: Mintis, 1990. – 254 p. – Пер. заглавия: Литва в водоворотах сделки Сталина и Гитлера.

Truska L., Vareikis V. Holokausto prielaidos. Antisemitizmas Lietuvoje XIX a. antra pusė – 1941 m. birželis. The preconditions for the Holocaust. Anti-semintism in Lithuania (second half of 19 th century – June 1941). – Vilnius: Margi raštai, 2004. – 332 p.

Tunbridge J.E. Whose heritage? Global problem, european nightmare // Building a new heritage: tourism, culture and identity in the new Europe / Ed. by G.J. Ashworth, P.J. Larhkam. – L.: Routledge, 1994. – P. 123–134.

Tunbridge J.E., Ashworth G.J. Dissonant heritage. The management of the past as a resource in conflict. – Chichester; N.Y.: J. Wiley, 1996. – 299 p.

Uhlin A. Civil society and problems of democratization in post-communist states // Demokratija Lietuvoje: pilietiškumas ir totalitarizmas XX amžiaus istorijos lūžiuose = Democracy in Lithuania: civil spirit versus totalitarianism at the defining moments of the twentieth century. – Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2011. – P. 233–247.

Uhlin A. Post-soviet civil society: Democratization in Russia and the Baltic states. – L.; N.Y.: Routledge, 2006. – 208 p.

Uzell D. The hot interpretation of the Cold War // Monuments of war: The evaluation, recording and management of twentieth-century military sites (English Heritage) / Ed. by J. Schofield. – L.: English Heritage, 1998. – P. 18–21.

Williams P. The afterlife of Communist statuary: Hungary's Szoborpark and Lithuania's Grutas Park // Forum for modern language studies. – Oxford, 2008. – Vol. 44, N 2. – P. 185–198.

Žurženko T. Atminties geopolitika // Kultūros barai [Сферы культуры]. – Vilnius, 2009. – N 4. – P. 16–19. – Пер. заглавия: Геополитика памяти.

Г.В. Касьянов

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В УКРАИНЕ И ГОЛОДОМОР

Данный очерк[1] посвящен истории возникновения и функционирования *Голодомора*. Это понятие (термин) *обозначает комплекс стереотипных представлений и канонических дискурсивных практик, описывающих и интерпретирующих конкретное историческое событие: голод 1932–1933 гг. в Украинской ССР*. Он подается курсивом, чтобы отличить его от понятийного близнеца – Голодомора, термина, вошедшего в язык официальных документов (вплоть до закона) как официальное название исторического явления. Базовый набор идеологем *Голодомора* сложился и оформился в среде идеологически активной части украинской диаспоры в первой половине 1980-х годов и на рубеже 1990-х перекочевал в общественно-политический, историографический и публицистический дискурсы «материковой» Украины. *Голодомор* в этом смысле – наиболее знаковый симулякр «третьего порядка», особая форма гиперреальности, оказавшая огромное воздействие на культуру, внутреннюю и внешнюю политику Украины на рубеже XX–XXI вв. Это важная составляющая этнонационального мифа, который в 1990–2000-е годы активно «восполнялся» значимыми составляющими исторического мифа, в котором ранее утраченные или преданные забвению, а теперь восстановленные (или переизо-

[1] Очерк является конспективным изложением фрагментов монографии, опубликованной в 2010 г. (с добавлением материалов за 2010–2012 гг.): «Danse macabre: голод 1932–1933 рр. у політиці, масовій свідомості та історіографії (1980-ті – початок 2000-х років)» [Касьянов, 2010].

бретенные) опорные исторические символы «долгого XIX столетия» дополнялись символами «короткого XX века».

Забвение, «угнетенная память»[1]

Наиболее стандартным аргументом адептов *Голодомора* в обосновании его необходимости и важности для национального самосознания является то обстоятельство, что само историческое событие, голод 1932–1933 гг. в УССР, было объектом намеренного замалчивания властью уже в 1930-е годы, а в последующие периоды эта тема была идеологически табуирована. В самом СССР и в Украине голод вскользь упоминался в некоторых литературных произведениях[2], хотя данных о некоем специальном запрете именно на эту тему найти пока не удалось. Разумеется, голод был представлен в подпольной и агитационной литературе Организации украинских националистов и УПА, имевших ограниченное хождение на западноукраинских землях до начала 1950-х.

Что касается более позднего периода, можно лишь предположить, что любое проявление этой темы на поверхности общественной жизни могло быть истолковано как антисоветская агитация и пропаганда, однако исследований, указывающих на прецедент применения соответствующих статей Уголовного кодекса, на данный момент не обнаружено. Тем не менее, по свидетельству многих исследователей темы, голод 1932–1933 гг. существовал на уровне индивидуальной памяти, как часть семейных историй, хотя любые публичные упоминания о нем были в Советской Украине

[1] Термин «угнетенная память» является аналогом достаточно противоречивого термина *repressed memory*, применяемого в психиатрии и психоанализе, он, разумеется, применим лишь к индивидуальной памяти. Дискурсивные практики *Голодомора* предполагают, как будет видно далее, широкое и неотрефлексированное применение подобных терминов к «коллективной памяти». Выражения «репрессированная память», «амнезия» – среди наиболее ходовых в риторике *Голодомора*.

[2] Например, в романе В. Земляка «Лебедина зграя» (1971), в романе А. Кузнецова «Бабий Яр» (цензура удалила этот фрагмент, который назывался «Людоеды»). Любопытно, что тема голода 1932–1933 гг., в отличие от репрессий 1930-х, практически незаметна в украинском «самиздате» 1960–1970-х. Исключением является работа «Этноцид украинцев в СССР», написанная, видимо, в середине 1970-х.

невозможны. Отметим, что в данном конкретном случае имело место и массовое явление «угнетенной памяти» – нежелание свидетелей голода вспоминать о травматическом опыте[1].

В Советском Союзе не было идеологически и политически мобилизованых групп, заинтересованных в конструировании и продвижении именно такого варианта «коллективной памяти», однако они были в украинской диаспоре. С 1930-х годов украинская диаспора Европы и Северной Америки участвовала в общественно-политических кампаниях, направленных на преодоление заговора молчания о голоде. С 1950-х годов наблюдаются первые примеры коммеморативных практик, связанных с голодом 1932–1933 гг. («круглые» годовщины, панихиды по жертвам) – тогда, впрочем, память о голоде была составной частью более широкой идеологемы, основанной на антикоммунизме.

В конце 1970-х – начале 1980-х тема голода 1932–1933 гг. актуализировалась в среде политически активной украинской диаспоры. Этому способствовал целый ряд факторов. В СССР усилилось давление на диссидентов и правозащитные группы[2], это происходило на фоне все более активного вытеснения украинского языка в УССР из сфер государственного управления, образования, культуры. Обращение к теме исторических травм стало важной составной частью идеологической конфронтации. В конце 1970-х украинская диаспора, к тому же, получила наглядный урок морального и политического признания крупнейшей и влиятельнейшей диаспорной группы Северной Америки – евреев. На рубеже 1970–1980-х годов Холокост получил официальное признание в США (в 1980 г., следуя рекомендациям комиссии при президенте Дж. Картере, Конгресс принял решение о создании мемориального музея Холокоста в США), а с 2001 г. в стране отмечается День памяти жертв Холокоста.

[1] В этом смысле весьма показателен пример реконструкции / конструирования «коллективной памяти» о Холокосте – исследователи отмечают наличие серьезных психологических барьеров при сборе индивидуальных воспоминаний о травме, не говоря уже о сложностях с использованием таких воспоминаний для конструирования «правдивого» нарратива [см., например: Bourgignon, 2005; Spiegel, 2002].

[2] Украинская Хельсинкская группа (41 человек) к 1981 г. в полном составе пребывала в лагерях, два члена группы были высланы из СССР.

Для той части украинской диаспоры, где ведущую политическую роль играли структуры, прямо или косвенно связанные с Организацией украинских националистов (бандеровцев), или находящиеся под ее контролем и влиянием, официальное признание Холокоста означало новый виток в развитии темы коллаборационизма украинцев и их участия в уничтожении евреев во время Второй мировой войны.

Важным обстоятельством было и то, что как раз к концу 1970-х годов в среде украинской диаспоры Северной Америки сформировался достаточно влиятельный и общественно активный слой среднего класса, сохранивший украинскую культурно-языковую лояльность и в то же время успешно интегрировавшийся в американское общество. Для них успех в признании Холокоста был сигналом к действию и примером для подражания, «открытие» голода 1932–1933 гг. для мировой общественности как равноценной Холокосту по масштабам катастрофы было важным с точки зрения признания Украины и украинской общины как субъекта мировой истории. Не исключено, что примером могла служить и борьба армянской диаспоры за признание геноцидом депортаций и убийств армян турками во время Перовой мировой войны.

Заметим, что к концу 1970-х годов в США и Канаде на средства украинской диаспоры были созданы университетские исследовательские институции, призванные академически легитимировать украинские исследования в североамериканском научном сообществе – Украинский научно-исследовательский институт Гарвардского университета и Канадский институт украинских исследований в Университете провинции Альберта (Эдмонтон) – они сыграли важную роль в конструировании *Голодомора*.

В 1980-х годах украинская диаспора организовала беспрецедентную общественную кампанию по признанию голода 1932–1933 гг. в Северной Америке. В качестве примера и опорной интерпретационной модели был избран Холокост. Центральным политическим мероприятием стало создание специальной комиссии Конгресса США по расследованию голода 1932–1933 гг. – на это ушло более двух лет интенсивного лоббирования в самом Конгрессе и общественного давления на конгрессменов (письма избирателей). Комиссия (шесть американских конгрессменов и шесть представителей украинских общественных организаций) была создана в октябре 1984 г., ее исполнительным директором стал молодой американский исследователь Джеймс Мейс, специалист по истории Украины 1920–1930-х годов. Работники комиссии (это был сам Дж. Мейс и его помощники) за четыре года подготовили доклад, основанный на доступных опубликованных материалах и показаниях свидетелей голода 1932–1933 гг. (таких набралось около 200 человек) и провели ряд публичных слушаний, сделавших факт голода 1932–1933 гг. в Украинской ССР «достоянием общественности» – в основном украинской диаспоры и части американского политикума. В 1988 г. доклад комиссии бы опубликован, в нем содержался вывод о голоде 1932–1933 гг. в Украинской ССР как акте геноцида против украинского народа [Investigation of the Ukrainian Famine… 1988].

В 1983 г. на деньги диаспоры был снят публицистический фильм *Harvest of Despair*, показанный на двух общенациональных каналах США и Канады и в ряде университетов Северной Америки. Авторам удалось создать впечатляющий образ голода как крупнейшей трагедии украинцев в XX столетии, однако фильм еще на этапе подготовки вызвал скандал, связанный с использованием фотографий, не имевших отношения к голоду 1932–1933 гг.[1] Это возмутило канадского исследователя украинского происхождения М. Царынныка, который отказался принимать участие в создании фильма.

В 1981 г. украинской диаспоре удалось ангажировать английского писателя, публициста, автора популярных объемных трудов по истории сталинизма в СССР, написанных в духе «тоталитарной» историографии, Ричарда Конквеста. Работая под эгидой Украинского научно-исследовательского института Гарвардского университета (работать с материалами ему помогал Дж. Мейс) Р. Конквест написал масштабную работу *Harvest of Sorrow* (1986), ставшую впоследствии «академическим фундаментом» того образа голода 1932–1933 гг. в Украине, который лег в основу *Голодомора*. Участие крупной академической фигуры неукраинского происхождения в таком проекте должно было послужить важным аргументом в научной легитимации темы голода 1932–1933 гг. в

[1] Например, использовались фото голода 1921–1923 гг. на Поволжье как фото «украинского» голода 1932–1933 гг. Впоследствии, в 1990–2000-е, такая практика использовалась и при создании новых фильмов о голоде 1932–1933 гг., и при конструировании музейных экспозиций и выставок (иногда использовались и другие фотоматериалы, например, фотографии эксгумаций 1943 г. в Виннице).

Украине, особенно в североамериканской университетской профессорской среде, воспринимавшей усилия украинской диаспоры почти исключительно как идеологический проект, не имеющий ничего общего с наукой.

Следует добавить, что в середине 1980-х годов в США и Канаде оживились дебаты по поводу нацистских преступников и коллаборантов, традиционно задевавшие диаспоры из Восточной Европы и Балтии (прежде всего украинцев, литовцев, латышей, эстонцев). В прессе появились публикации о том, что украинская диаспора своими усилиями относительно голода 1932–1933 гг. пытается отвлечь внимание от сотрудничества украинцев с нацистами, в частности, от их участия в истреблении евреев [Coplon, 1988; Rewriting history, 1988]. Ситуацией воспользовались спецслужбы СССР – в Канаде вышла книга профсоюзного активиста Д. Тоттла, если и знавшего о голоде 1932–1933 гг., то из газет, под названием «Фальсификация, голод и фашизм» – стилистика и аргументация книги, направленной «против украинских националистов – пособников нацистов», выдавали заказчиков и «соавторов» из контрпропагандистских структур КПСС [Tottle, 1987].

Параллельно с «гарвардским проектом» в Канадском институте украинских исследований в Эдмонтоне готовилась к выпуску книга С. Максудова (Бабенышева) о демографических аспектах голода 1932–1933 гг., однако эта работа так и не была завершена.

В 1987 г. Департамент образования Нью-Йорка, уступив требованиям многочисленной украинской диаспоры штата, разрешил использование материалов о голоде 1932–1933 гг. (в частности фильма *Harvest of Despair*) наряду с материалами о Холокосте на уроках, посвященных правам человека.

В 1988 г. по инициативе Всемирного конгресса свободных украинцев[1] была создана Международная комиссия юристов по расследованию голода 1932–1933 гг. в Украине. Комиссия работала в режиме международного трибунала, хотя в своих публичных заявлениях всячески подчеркивала свой внесудебный характер. Три заседания Комиссии, происходивших по канонам состязательного судебного процесса, завершились официальным отчетом 1990 г., в котором признавался преднамеренный характер действий советских властей в 1932–1933 гг., приведших к катастрофическому голоду и колоссальным людским потерям (называлась цифра в 4,5 млн. жертв). Главный вопрос, поставленный перед комиссией истцами – юристами, представителями украинской диаспоры: является ли голод 1932–1933 гг. актом геноцида украинцев? – не получил окончательного ответа. Часть членов комиссии (три человека) согласились с наличием признаков геноцида, часть – составили особое мнение по этому поводу [Международная комиссия по расследованию голода… 1992][1]. В отчете Комиссии речь шла и о том, что голод поразил не только Украину, но и другие сельскохозяйственные районы СССР.

[1] Внепартийный форум более 150 диаспорных украинских организаций, созданный в 1967 г., штаб-квартира – в Торонто (Онтарио, Канада).

Итак, усилиями диаспоры во второй половине 1980-х годов был создан полномасштабный образ голода 1932–1933 гг. в Украине как геноцида украинцев, совершенного коммунистической властью. История, начавшаяся в разгар «холодной войны» и получившая динамику развития в этом политико-идеологическом контексте, завершилась уже в другой ситуации: к концу 1980-х в СССР набирала ход идеологическая и политическая либерализация, названная перестройкой, в отношениях между США и СССР наблюдалось стремительное потепление, поэтому антисоветский компонент кампании за признание голода 1932–1933 гг. в Украине практически сошел на нет на Западе. (Тут еще добавилась довольно радикальная академическая критика открытий Р. Конквеста и Комиссии Конгресса со стороны историков «ревизионистской» школы.)

Впрочем, события в СССР подготовили почву для того, чтобы семена, посеянные в диаспоре, дали буйные всходы в «материковой» Украине. Перестройка и гласность, объявленные верхушкой правящей партии, дали толчок интенсивному пересмотру советской истории в ощутимо антисоветском ключе: в Украинской ССР общественные дискуссии вокруг «вопросов» истории быстро трансформировались в вопросы текущей политики. Общественное осуждение «преступлений сталинского режима» трансформировалось в осуждение политики правящей партии и движение за восстановление «настоящей» истории. Тема голода 1932–1933 гг. сначала возникла как проявление стремления части национальной интеллигенции к ликвидации «белых пятен» истории.

[1] См. также очень любопытное исследование истории создания и деятельности комиссии [Hobbins, Boyer, 2001].

В «верхах», как уже упоминалось, первоначально обращение к теме голода было вызвано необходимостью контрпропагандистских мер за границей. В конце 1986 г. при ЦК КПУ была создана комиссия из представителей двух исследовательских учреждений – Института истории Академии наук УССР и Института истории партии при ЦК КПУ. На первом заседании комиссии ее членам был показан фильм *Harvest of Despair* и предъявлены некоторые материалы Комиссии Конгресса США. Члены партийной комисии получили доступ к архивным материалам, до тех пор пребывавшим в режиме полной секретности. Эти материалы стали открытием: факт масштабного голода в 1932–1933 гг. подтверждался, однако сделать это открытие публичным достоянием никто не решался. На помощь пришла Москва: во втором томе «Истории крестьянства СССР» был употреблен термин «голод» относительно событий начала 1930-х годов. В октябре 1987 г. слово «голод» относительно того же периода было публично употреблено в одном из массовых официальных изданий [Данилов, 1987]. (Разумеется, в это время причиной голода называлось игнорирование «ленинской аграрной политики» по схеме «хороший Ленин – плохой Сталин».)

К этому времени (осень 1987 г.) работа комиссии при ЦК КПУ уже практически свелась к тому, чтобы найти «правильное» объяснение факту голода 1932–1933 гг. В декабре 1987 г. первый секретарь ЦК КПУ В. Щербицкий в официальном спиче употребил термин «голод» применительно к началу 1930-х годов, пояснив факт голода засухой [Під прапором Великого Жовтня курсом перебудови, 1987]. Табу на упоминание темы было снято на самом высоком уровне. Далее события развивались в двух направлениях: официальная линия первоначально сводилась к тому, чтобы объяснить голод 1932–1933 гг. «искривлениями ленинской аграрной политики» или же отступлением от ее принципов (при этом даже еще в первые месяцы 1988 г. официоз предпочитал термин «продовольственные затруднения» [Кульчицький, 1988]).

Тем временем национал-демократическая интеллигенция (включая литературно-писательскую номенклатуру) сосредоточилась на обсуждении голода именно в его украинском измерении. В феврале 1988 г., выступая на партийном собрании киевской организации Союза писателей Украины, ее партийный секретарь О. Мусиенко упомянул массовый голод 1932–1933 гг. и «преступное уничтожение кадров ленинской закалки», в его же выступлении прозвучало и слово «голодомор» [Громадянська позиція літератури і перебудова, 1988][1].

С середины 1988 г. тема голода 1932–1933 гг. по популярности и резонансу стала соперничать с темой сталинских репрессий и Чернобылем. В «толстых» журналах публиковались переводы отрывков из книги Р. Конквеста «Урожай скорби», воспоминания очевидцев, литературные произведения, посвященные трагедии. Некоторые массовые издания даже открыли специальные рубрики вроде «Тропинками боли и мук» (еженедельник «Украина»).

Идеологические структуры правящей партии, занявшие позицию «обороны основ социализма», проигрывали в динамике. Попыткой перехватить инициативу можно считать публикацию книги статей и документов «Голод 1932–1933 годов на Украине: глазами историков, языком документов» [Голод 1932–1933 років на Україні, 1990], материалы которой обсуждались на специальном заседании Политбюро ЦК КПУ; по свидетельству очевидца дискуссии, решающую роль в разрешении публикации сыграла позиция новоназначенного первого секретаря ЦК КПУ В. Ивашко [Кульчицький, 2003, с. 20]. В феврале 1990 г. было принято постановление ЦК КПУ «О голоде 1932–1933 годов на Украине и публикации связанных с ним архивных материалов». Историков призвали к «глубокому изучению и объективной оценке» голода 1932–1933 гг. в контексте «правильного» социализма и его «искажений». Чуть позже, в июле 1990 г., Политбюро ЦК КПУ приняло решение о реализации «Республиканской программы развития исторических исследований, улучшения изучения и пропаганды истории Украинской ССР» [Республіканська програма розвитку… 1990], в нее была включена тема «Сплошная коллективизация и голод сельского населения 1932–1933 гг.».

Такие решения были приняты под влиянием двух главных обстоятельств. С одной стороны, ощущались результаты давления общественных движений и «митинговой демократии» – 1990 год был критическим для КПСС и КПУ – как с точки зрения массовых количественных потерь, так и утрат идеологических. В «боях за

[1] Текст выступления был опубликован в самой массовой «интеллигентской» газете, которая вскоре превратилась в рупор национал-демократической фронды.

историю» приходилось сдавать одну позицию за другой: именно в 1990 г. пришлось официально признать «ошибки» идеологических кампаний 1940–1950-х, «перегибы» в Западной Украине в тот же период, не удалось упредить сноса памятников Ленину в областных и районных центрах того же региона. Здесь на выборах весны 1990 г. большинство в трех областных Советах – Львовском, Тернопольском и Ивано-Франковском – получил созданный годом раньше Рух [более подробно см.: Касьянов, 2007]. В то же время ситуация становилась все более благоприятной для той части высшей партийной номенклатуры, которая могла воспользоваться риторикой исторических дискуссий в борьбе за перераспределение власти с центром. Поскольку в «голодоморном» дискурсе преобладали мотивы вины «центра» за содеянное (наряду с идеей о том, что имей украинцы собственное государство, оно бы голода не допустило), можно было воспользоваться моментом. Стоит обратить внимание на тот факт, что упомянутая программа изучения и пропаганды «истории Украинской ССР» была принята меньше чем через неделю после провозглашения Верховным Советом УССР Декларации о государственном суверенитете (16 июля 1990 г.).

На конец 1980-х приходится и первый посвященный этой теме проект сбора воспоминаний свидетелей голода 1932–1933 гг., который начинался как совместная инициатива радикально настроенных писателей и еще осторожных историков. Член Союза писателей Украины В. Маняк обратился в июле 1989 г. к С. Кульчицкому (как к человеку, «сидевшему на документах») с предложением подготовить книгу, которая содержала бы официальные документы о голоде и воспоминания и свидетельства очевидцев. Для обращения за свидетельствами было предложено использовать массовую газету сельской местности – «Сельские вести».

С. Кульчицкий составил вопросы, которые были опубликованы в этой газете в декабре 1988 г. Обращаясь к читателям, С. Кульчицкий указал на то, что документов у историков очень немного, поэтому особое значение приобретают свидетельства очевидцев. Читателей просили «вспомнить»: известные им случаи сопротивления реквизиции продовольствия со стороны местных партийных и советских работников; репрессии против руководящих работников и колхозников за долги по хлебозаготовкам; формы нецентрализованной помощи голодающим (на местном уровне) со стороны власти; судьбу сел, занесенных на «черные доски»

за невыполнение хлебозаготовок, количество погибших от голода односельчан, помощь города во время весенней посевной кампании 1933 г.; просто собственные наблюдения.

Нетрудно заметить, что вопросы, в основном, были направлены на «компенсацию» негативной версии голода 1932–1933 гг., на то, чтобы представить картину усилий партийных и советских работников, направленных на преодоление голода и сопротивление реквизициям – вполне в русле официального идеологического / историографического дискурса конца 1980-х. (Стоит упомянуть о том, что газета, которая напечатала анкету, была партийным изданием, а цензура в 1988 г. еще существовала.) Хоть это и парадоксально, именно указанные вопросы и спровоцированные ими воспоминания, независимо от мотивов их возникновения, в перспективе могли бы стать одним из важных элементов более адекватной, взвешенной реконструкции картины событий 1932–1933 гг.

Однако конечный продукт, т.е. созданная на основе собранного материала книга «33-й: Голод. Народная книга-мемориал» [33-й: Голод, 1991], свидетельствовал, что в начале 1990-х годов стандарт презентации голода 1932–1933 гг. уже имел все признаки канонической версии, созданной в диаспоре: для печати были отобраны лишь те свидетельства очевидцев, которые изображали ужасные картины вымирания людей в собственных домах и связанные с этим эксцессы. Из почти 6 тыс. писем [Мейс, 2003], поступивших в газету, в книгу вошло около тысячи. Книгу подготовили к печати адепты темы – писатели В. Маняк и его жена Л. Коваленко-Маняк. Воспоминания и свидетельства, вошедшие в книгу, были подвергнуты литературной редакции, вследствие чего их первоначальная ценность как исторического источника угасла[1]. Стоит упомянуть и то обстоятельство, что книга вышла накануне декабрьского референдума 1991 г.

Также накануне референдума по первому республиканскому каналу был показан снятый на деньги диаспоры художественно-публицистический фильм «Голод-33» украинского режиссера О. Янчука по автобиографической повести В. Барки «Желтый князь». Такое совпадение, очевидно, также не было случайным в общем контексте использования истории в агитации за независимость.

[1] Не вошедшие в сборник письма (их судьба неизвестна) могли бы быть чрезвычайно интересным источником для нынешних исследователей.

Динамика реконструкции событий голода 1932–1933 гг. и появления темы в политических акциях, публичных дискуссиях и научных дебатах 1980-х – начала 1990-х годов впечатляет. На протяжении более полувека голод 1932–1933 гг. игнорировался или даже намеренно замалчивался на Западе и был предметом табу в СССР. Иначе говоря, он отсутствовал в публичном дискурсе и в значительной мере был частью «угнетенной памяти», оставаясь предметом спорадического внимания части активных кругов украинской диаспоры. С начала 1980-х годов меньше чем за десятилетие голод 1932–1933 гг. стал объектом бурных политических и научных дискуссий, поводом для масштабных общественных акций, составляющей процесса инструментализации истории, использования исторических репрезентаций в идеологических спорах и политической борьбе, и наконец – объектом и частью коммеморативных практик государства и общества. В Украинской ССР этот процесс совпал с суверенизацией республики, ее движением к независимости, в результате чего тема изначально была не только крайне политизированной, но и стала одним из мощных аргументов в дискредитации и свержении коммунистической власти и прямой или косвенной агитации за независимость. Это не могло не сказаться на определении познавательных и интерпретационных рамок ее обсуждения, и ее дальнейшем функционировании в культурном, научном и политическом пространстве Украины, в общем контексте, который в свою очередь транслировался в тексты и далее – в действия политиков, общественных деятелей, ученых.

Голодомор: Канонический дискурс

Стандартный комплекс стереотипных представлений и дискурсивных практик *Голодомора* сводится к идее о том, что в 1932–1933 гг. по отношению к украинской нации был совершен акт *геноцида*. Голод был запланирован и осуществлен московской правящей верхушкой во главе со Сталиным с целью уничтожить способность украинской нации к сопротивлению. Главным объектом намеренно организованного голода[1] стало индивидуалистичное, свободолюбивое *украинское* крестьянство – в его лице был сломлен «хребет нации». Параллельно развернулись репрессии против национальной интеллигенции, в результате чего нация была «обезглавлена». В ноябре 2002 г. в обращении к украинскому народу президент Л. Кучма заявлял: «Из украинцев вынимали хлеборобскую душу, ломали хребет нации» [Звернення Президента України Леоніда Кучми… 2003]. В 2008 г. президент В. Ющенко вторил ему: «В деле Украины Сталин имел целью одно: покорить крестьянство, уничтожить руководство нации, сломать хребет украинства...» [Звернення Президента України до Українського народу… 2008]. Украинцы как нация (крестьянство плюс интеллигенция) представляли главную опасность для тоталитарного сталинского режима, поскольку изначально были носителями индивидуализма, демократичности, они были потенциальной и реальной базой сепаратизма. Голодомор – преднамеренный акт геноцида именно против украинской нации, гибель представителей других национальностей на территории УССР во время голода – своего рода побочный эффект. Обратимся к словам профессионального юриста высшей квалификации, сторонника идеи «голод 1932–1933 гг. – геноцид украинцев»: «Одна из специфических черт украинского голодомора обусловлена тем, что в ходе исторического развития в некоторых регионах Украины произошло вкрапление в тело украинской нации национальных меньшинств. Поэтому **во время Голодомора кроме украинцев, действительно гибли и представители национальных меньшинств Украины.** Они тоже стали жертвами преступных действий кремлевского руководства. Но преступление геноцида было направлено не против них, а против украинской нации» [Василенко, 2008][1].

Вина за Голодомор лежит на внешней враждебной силе, украинцы – ее невинная жертва. Гипотетическое или реальное соучастие одноплеменников или не признается, или замалчивается.

[1] Разумеется, существуют вариации. В одном случае, более радикальном, утверждают, что голод был спланирован. В другом – что он возник в результате попыток реорганизовать индивидуальные хозяйства в коллективные, и им воспользовались, чтобы нейтрализовать крестьянство. Инструментами организации голода называют непомерные хлебозаготовки и реквизиции зерна, изъятие личных продовольственных запасов у крестьян, блокаду голодающих территорий. Наиболее полно научный вариант канонической версии *Голодомора* представлен в работах С.В. Кульчицкого [см.: Кульчицкий, 2007].

[1] Автор этих строк – профессор международного права, заслуженный юрист Украины, многолетний посол Украины в европейских странах.

В тех случаях, когда приходится признавать их соучастие, обычно ссылаются на то, что это были люмпенизированные, асоциальные элементы, предатели нации, или те, кого вынудили силой. Воплощение этой враждебной силы – «Москва» – не как географическое понятие (хотя это тоже присутствует), а некий собирательный образ, тождественный или «имперскому центру», или тоталитаризму, сталинизму. Москва – это эпицентр многовековой политики «уничтожения украинства» – от Ивана Грозного и Петра Первого до Сталина и Чернобыля. На парламентских слушаниях 2003 г., посвященных голоду 1932–1933 гг., член фракции «Наша Украина», украинский шестидесятник, поэт И. Драч так высказывался по этому поводу: «И если говорить вплотную про это все, про самое страшное событие прошедшего столетия, которое переломило хребет украинской нации, так, что она и до сих пор не может подняться на ноги, то прежде всего нужно говорить про одно государство – Россию. Она все время посылала сюда волны, от Петровского Меньшикова до того самого Муравьёва, который расстреливал наших студентов под Крутами и расстреливал дом Грушевского. Если мы всего этого не поймем и будем скрывать, и заворачивать все это в бумажки, то мы ничего не поймем» [Парламентські слухання щодо вшанування пам'яті… 2003].

В более радикальных вариантах при определении виновных добавляется еще одна этническая группа – евреи. В откровенной версии доходит до прямых обвинений евреев в заговоре против украинцев[1]. В более умеренной версии потребителям этого продукта предлагают самостоятельно догадаться об этнической подоплеке трагедии. Например, Служба безопасности Украины, включившаяся по указанию В. Ющенко в процесс собирания доказательств в пользу «геноцидной версии» голода 1932–1933 гг., опубликовала список виновных в организации голодомора, демонстративно добавив к партийным псевдонимам коммунистических руководителей их еврейские фамилии.

[1] В этом особенно поднаторели представители Межрегиональной академии управления персоналом, частного высшего учебного заведения. Одна из конференций МАУП называлась так: «Еврейско-большевистский переворот 1917 года как предпосылка красного террора и украинских голодоморов» (декабрь 2005). Участники конференции обсуждали роль «всемирного еврейства в организации голодоморов» [Заява учасників IV Міжнародної наукової конференції… 2005].

От голода погибло от 7 до 10 млн. человек (любимая цифра президента В. Ющенко и поддерживающих его политиков; ученые, в том числе энтузиасты *Голодомора*, гораздо умереннее – они говорят о 3,5–4 млн. жертв голода). Голод нанес непоправимый удар украинской нации, ее генетическому потенциалу, удар, последствия которого ощущались все последующие годы и ощущаются до сих пор. «Социально-демографические и морально-психологические последствия Голода 1932–1933 годов, – говорилось в материалах Института истории Украины Национальной академии наук, – актуальны и по сегодняшний день. Тогда на долгие десятилетия была подорвана материальная база украинского села, разрушена его производственная и товарная инфраструктура, физически уничтожены предпринимательские и инициативные элементы, запуганы целые поколения украинцев, причем не только крестьян, сломлена воля всего украинского народа к сопротивлению тоталитарной системе и к национальному возрождению» [Матеріал Інституту історії України НАН… Б. г.][1].

Преступление И. Сталина и его подручных было намеренно скрыто от мирового сообщества, в Украине сама память о голодегеноциде была объектом репрессий и табу, но эта память жила в поколениях – как генетическая память, поселившая в украинцах страх и покорность, и как устная память – в виде передаваемых из поколения в поколение знаний и воспоминаний о трагедии.

Многие современные проблемы с построением государства и нации в Украине – последствия политики тоталитарного режима по отношению к украинской нации, и Голодомор – едва ли не главное проявление этого. Голодомор – крупнейшая трагедия украинского народа XX столетия, трагедия планетарного масштаба, не уступающая Холокосту ни по масштабам людских потерь (скорее превосходящая его), ни по уникальности.

Для понимания текста *Голодомора* очень важен его контекст. Тема голода 1932–1933 гг. вошла в общественно-политическую риторику во второй половине 1980-х годов в ярко выраженном антикоммунистическом и антисоветском контексте – она была важна

[1] Материал не датирован. Он стал основой для различных государственных инстанций во время организации кампании «Украина помнит – мир признает!» развернутой к 75-й годовщине трагедии (2007–2008). Документ опубликован в монографии «Danse macabre» [Касьянов, 2010].

для дискредитации советской власти как антигуманной и антиукраинской, и коммунистической идеологии как основы данной власти. Важно и то, что тема голода входила в дискурсивные практики как элемент поворота к *настоящей*, *правильной, правдивой* истории (и вытеснения неправильной, т.е. советской), как важная составляющая возвращения к *исторической правде*, и, что особенно важно – к *исторической справедливости*. Эта риторика стала объяснительной, интерпретационной и даже познавательной детерминантой и в канонической (аффирмативной и дидактической) историографии *Голодомора*, и в магистральном общественно-политическом дискурсе.

Голодомор и внутренняя политика: От Л. Кравчука до В. Януковича

Тема голода 1932–1933 гг., как уже упоминалось, возникла в общественно-политическом дискурсе Украины в середине 1980-х годов в контексте общей критики советского прошлого.

Политики довольно быстро оценили политико-идеологический и мобилизационный потенциал темы. Уже во времена президентства Леонида Кравчука (1991–1994) наблюдалась довольно активная риторика президента и его окружения относительно «тоталитарного прошлого» вообще и голода 1932–1933 гг. в частности. Л. Кравчук достаточно удачно воспользовался темой осуждения «преступлений тоталитаризма» для того, чтобы отмежевать свой образ от этого прошлого и себя от ответственности за упомянутые преступления.

Здесь он выступил союзником той части «национал-демократического» истеблишмента, для которого подобные темы также были важным аспектом собственной политической легитимации, активного забывания своего недавнего далеко не безупречного номенклатурного прошлого (среди промоутеров «нюрнбергского процесса над коммунизмом» наряду с бывшими диссидентами было немало представителей литературной номенклатуры, процветавших при прежней власти и нашедших теплые места при «новой»). При этом тема осуждения «тоталитаризма» имела для данной среды важное идеологическое значение, поскольку «тоталитаризм» представлялся врагом украинской нации, соответственно, злободневные проблемы «возрождения» нации и построения ее государственности напрямую увязывались с прошлым. Здесь голод 1932–1933 гг. идеально вписывался в пояснительно-обвинительно-оправдательную конструкцию,

объяснявшую нынешние сложности неблагоприятными историческими обстоятельствами.

Если говорить о Л. Кучме, который занимал президентский кабинет в 1994–2004 гг., для него лично проблема обращения к советскому прошлому и его «врожденным грехам» вообще не имела самодостаточного идеологического значения. Эти вопросы попадали в поле его внимания только в моменты обострения политической борьбы с его оппонентами. Не случайно основные коммеморативные указы Л. Кучмы о голоде 1932–1933 гг. совпадают с обострениями политической борьбы: 1998 г. – парламентские выборы и подготовка к президентским, 2002 г. – парламентские выборы и акция «Восстань, Украина!», направленная против Л. Кучмы, 2003 г. – период маневров Л. Кучмы накануне приближающихся президентских выборов и активные действия пропрезидентского большинства в парламенте по признанию голода 1932–1933 гг. геноцидом – как способ перехватить эту инициативу у оппозиции.

Лишь в период президентства Виктора Ющенко (2004–2009) можно обнаружить некоторое превалирование идеологических мотивов над политико-прагматическими соображениями персонального свойства. В. Ющенко поставил историческую политику во главу угла идеологии строительства нации, а проблему голода 1932–1933 гг. в центр исторической политики. Впрочем, и здесь обращение к прошлому было связано с текущими политическими соображениями – не случайно активное педалирование президентом Украины темы голода 1932–1933 гг. совпадает с активизацией борьбы за перераспределение власти (2006–2008). Важным фактором усиления исторической политики при В. Ющенко можно считать и то, что он и часть его окружения (правые, уцелевшие «национал-демократы», деятели диаспоры) искренне полагали, что национально ориентированная гуманитарная политика (и историческая политика как ее часть) может служить источником морального исцеления общества и восстановления его морально-политического единства.

Видимо, первым официальным откликом власти новосозданного украинского государства на тему голода 1932–1933 гг. стало распоряжение премьер-министра В. Фокина от 26 августа 1992 г. о финансировании мемориального комплекса «Колокола мира» в г. Лубны Полтавской области. Распоряжение не было пол-

ностью выполнено (в его финансовой части), однако удалось воздвигнуть курган и огромный колокол с крестом.

В 1993 г., на 60-ю годовщину трагедии 1932–1933 гг., в политических верхах развернулась дискуссия относительно поминальных мероприятий. Президент Л. Кравчук довольно активно поддержал идею организации различных коммеморативных акций на государственном уровне – в значительной мере его подталкивали к этому деятели культуры («национал-демократы») из ближайшего окружения[1] и «диаспорная номенклатура», которая через них получила право голоса и моральный вес в некоторых вопросах культурной политики в Украине[2]. Л. Кравчук пребывал в сложной позиции – помимо старой привычки сидеть на двух стульях ему нужно было продемонстрировать лояльность к обозначенному выше окружению и одновременно – не спровоцировать конфликт с мощным «левым» лобби в парламенте.

19 февраля 1993 г. Л. Кравчук издал указ, которому было суждено открыть серию официальных обращений президентской власти к теме голода 1932–1933 гг. и в более общем плане – стать первым документом, знаменующим начало исторической политики в новом украинском государстве. Несмотря на достаточно технический характер документа, содержавшего указания разным ведомствам по организации официальных мероприятий (в основном речь шла о Днях скорби в сентябре 1993 г.), указ был очень важной вехой в идеологической легитимации как темы голода 1932–1933 гг., так и того направления исторической политики, которое можно охарактеризовать двумя словами: «национализация истории». Само название указа – «О мероприятиях в связи с 60-летием голодомора в Украине» [Указ Президента України № 38/93 «Про заходи у зв'язку…», 1993] – содержало идеологически важный термин: «голодомор», которому было суждено из литературной метафоры в недалеком будущем превратиться в категорию научную, политическую и даже правовую. Появление в указе этого термина «узаконивало» не только его, но и связанную с ним версию видения, понимания и толкования голода 1932–1933 гг., которая отныне становилась официальной. Само слово содержало «закодированную» информацию о причинах и последствиях трагедии, устанавливало границу интерпретаций.

Указ был также первой попыткой «интернационализировать» вопрос о голоде 1932–1933 гг.: Министерство иностранных дел получило указание обратиться в ЮНЕСКО с предложением внести в свой календарь упоминание о трагедии. Следует упомянуть и тот факт, что в организационный комитет Дней скорби были приглашены 13 представителей украинской диаспоры Запада и стран СНГ, возглавлявшие крупнейшие украинские общественные организации зарубежья, а также два иностранца, создавшие при поддержке диаспоры каноническую «академическую» версию голода 1932–1933 гг. – американец Дж. Мейс и англичанин Роберт Конквест.

Разумеется, указ не содержал никаких специальных формулировок политико-идеологического свойства – Л. Кравчук пытался пройти «между капельками». При этом часть его окружения из «национал-демократов» явно пытались обострить ситуацию. В мае 1993 г. организационный комитет по проведению Дней скорби, созданный при правительстве, предложил программу официальных мероприятий, где наличествовал пункт о проведении Народного суда (трибунала) над теми, кого считали организаторами Голодомора, а сама череда мероприятий, переименованная в «Дни скорби и памяти жертв голодомора», предполагалась как масштабная сценарная постановка, осуществить которую призывались лучшие режиссерские силы Украины (Ю. Ильенко, М. Мащенко, Л. Осыка).

В июне 1993 г. созданная годом ранее Ассоциация исследователей голода-геноцида 1932–1933 гг. в Украине выступила с инициативой создания временной следственной комиссии Верховной рады Украины по вопросу голода 1932–1933 гг. Комиссия, по предложению инициаторов, «на основе документов, пребывающих в научном обороте, смогла бы квалифицировать Голодомор как

[1] Назовем некоторых из них: Микола Жулинский, в 1993 г. – вице-премьер Украины по гуманитарным вопросам; Иван Дзюба, министр культуры; Дмитро Павлычко, председатель комиссии Верховной рады по иностранным делам; Иван Драч, председатель совета Общества связей с украинцами за пределами Украины [см.: Указ Президента України № 38/93 «Про заходи у зв'язку…», 1993].

[2] Учитывая состав организаций, представители которых вошли в организационный комитет по подготовке мероприятий, посвященных 60-летию Голодомора, можно составить представление о их влиянии на ход событий. *Український Конгресовий Комітет Америки, Українська народна допомога (США), Конгрес українців Канади, Світовий конгрес вільних українців (Канада), Українська народна рада (США), Спілка українських організацій Австралії.*

преступление против украинского народа, акт прямого геноцида, который подорвал его [украинского народа] генофонд и духовно-культурный потенциал» [Пропозиції щодо вшанування 60-х роковин… 1993][1]. Ассоциация, тон в которой задавал бывший диссидент и основатель правой Украинской республиканской партии Левко Лукьяненко, предлагала передать «дело» в Международный суд в Гааге.

В июле 1993 г. вице-премьер правительства М. Жулинский обратился к руководству Верховной рады с предложением организовать слушания о голоде 1932–1933 гг. на сессии парламента. Полученный ответ, в котором содержалось предложение представить историческую справку, проект постановления парламента и назвать имя основного докладчика, имел характер бюрократической отписки. Дальнейшие консультации показали, что шансов заслушать вопрос о голоде 1932–1933 гг. на сессии нет – приближались выборы, да и состав Верховной рады, избранной в 1990 г. (здесь правило бал левое большинство), исключал любые инсценировки, направленные на обращение к «преступлениям коммунистического режима».

В итоге первая массовая коммеморативная акция, посвященная голоду 1932–1933 гг. и освященная государством, стала своего рода компромиссом между радикальным и умеренным сценариями. Народный трибунал и сопутствующие театрализованные действа не состоялись. (Почему-то стоимость трибунала составляла половину всего бюджета «Дней скорби и памяти» [Кошторис витрат, пов'язаних з проведенням… 1993][2].) Приуроченные к годовщине парламентские слушания также не осуществились.

Зато президент Украины Л. Кравчук в сентябре 1993 г. принял участие в международной научной конференции «Голодомор в Украине 1932–1933 гг.: причины и последствия» – его присутствие стало символическим свидетельством заинтересованности высшей власти в «восстановлении исторической правды». Открывая конференцию, Л. Кравчук заявил: «Я целиком согласен с тем, что это была спланированная акция, что это был геноцид против собственного народа. Но тут я не ставил бы точку. Да, против собственного народа, но по директивам из другого центра» [Леонід Кравчук (Президент України)… 1995, с. 10]. Некоторую пикантность этому заявлению придавало то обстоятельство, что за десять лет до этого, на 50-ю годовщину голода 1932–1933 гг., тот же Л. Кравчук, правда, в ипостаси заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК КПУ, принимал активное участие в контрпропагандистских акциях, направленных против «развязанной на Западе антисоветской кампании по поводу так называемого "50-летия искусственного голода на Украине"» [подробнее см.: Литвин, 1997, с. 98–101]. Впрочем, об этом старались не вспоминать ни бывшие диссиденты, поддерживавшие Л. Кравчука, ни представители диаспоры. Политически важным для них было не то, что он говорил и делал раньше, а то, что он говорил и делал в настоящий момент.

[1] Материал опубликован в монографии «Danse macabre» [Касьянов, 2010].

[2] Материал опубликован в монографии «Danse macabre» [Касьянов, 2010].

Упомянутая конференция может служить и примером крайней политизации темы голода 1932–1933 гг. В выступлениях участников, среди которых силой голоса и эмоциональным напором преобладали не столько ученые, сколько общественные деятели и политики, голод 1932–1933 гг. упоминался в контексте таких тем, как ядерный статус Украины, передел собственности Советского Союза, статус Севастополя и Крыма.

Можно уверенно сказать, что 1993 г. стал отправной точкой в исторической политике украинского государства, направленной на превращение голода 1932–1933 гг. в один из главных, основополагающих символов национального исторического мифа. В этот год по директивам высшей государственной власти состоялись события и действия, которым суждено было превратиться в повторяющиеся коммеморативные практики в масштабах всей страны.

В некотором смысле в исторической политике произошло слияние государственных и общественных практик. К примеру, крестные ходы, панихиды, установка крестов на могилах погибших от голода происходили на местах независимо от государства и раньше, по инициативе общественных организаций, которые скорее находились в культурной оппозиции к власти. Теперь государство «благословляло» такие акции (в документах упомянутого оргкомитета содержались соответствующие предложения). Со своей стороны, государство вносило некую символическую лепту: конференции, выставки, выпуск книг и фотоэкспозиций, посвященных голоду, должны были финансироваться именно им. Правда, скорее на уровне деклараций 1990-е стали годами жесточайшего социально-экономического кризиса и масштабного присваивания /

перераспределения «общенародной» собственности. В этих условиях финансирование исторической политики часто становилось делом диаспоры – это прежде всего относится к истории голода 1932–1933 гг.[1]

Стоит упомянуть и о том, что именно в 1993 г. по постановлению правительства Л. Кучмы была организована первая общенациональная коммеморативная акция. 10 сентября во всей стране на четыре часа на всех государственных учреждениях были приспущены государственные флаги [Кабінет міністрів України Постанова від… 1993]. Тогда же в среде общественных организаций возникла идея проведения «Нюрнберга – 2» над коммунизмом: инициатором выступила созданная в 1992 г. Ассоциация исследователей голодоморов-геноцидов в Украине, объединявшая несколько десятков энтузиастов темы из различных регионов Украины и нескольких профессиональных историков. Идею поддержали Общество политических заключенных и репрессированных и «Мемориал», однако «трибунал» состоялся лишь в 2000 г. в Литве.

Как уже упоминалось, с приходом в президентский офис технократа Л. Кучмы идеологическая составляющая в государственной политике маргинализировалась. Сам Л. Кучма был занят прежде всего экономическими проблемами, установлением личного контроля за переделом собственности и выстраиванием системы сдержек и противовесов в структуре власти. Борьба за власть и ее перераспределение предполагала обращение к идеологическим проблемам, поэтому было бы ошибочным полагать, что историческая политика периода Л. Кучмы сводилась к реализации «проекта амнезии». Скорее в данный период можно говорить о «прагматизации» исторической политики, и голод 1932–1933 гг. как объект такой политики может быть прекрасным примером.

Стоит обратить внимание на то, что именно в период Л. Кучмы президентским офисом и правительством были сделаны серьезные практические шаги (пускай в основном символического значения), направленные на идеологическую, государственную и

[1] Приведем лишь два наиболее показательных примера. Более десятка книг, подготовленных Ассоциацией исследователей голода-геноцида 1932–1933 гг. в Украине было издано на средства украинского предпринимателя из США М. Коця. Фильм О. Янчука «Голод 1933», показанный в день референдума о независимости 1 декабря 1991 г., был снят на деньги украинской диаспоры.

общественную легитимацию голода 1932–1933 гг. как центрального события национальной истории XX столетия.

В октябре 1998 г. было принято специальное постановление правительства по поводу 65-й годовщины голода 1932–1933 гг. [Кабінет міністрів України Постанова від… 1998], содержавшее уже ставший стандартным список мемориальных мероприятий. В ноябре того же года Л. Кучма издал специальный указ, устанавливающий официальную мемориальную дату – День памяти жертв голодоморов – последняя суббота ноября ежегодно [Указ Президента України «Про встановлення Дня пам'яті жертв голодоморів», 1998]. В октябре 2000 г. Л. Кучма изменил название мемориальной даты – оно звучало теперь так: День памяти жертв Голодомора и политических репрессий. Символическая территория коммеморации расширялась. В июле 2004 г. в разгар президентской кампании, в которой он принимал участие из-за кулис, в роли кукловода, Л. Кучма еще раз изменил название, вернув слову «голодомор» множественное число: День памяти жертв голодоморов и политических репрессий [там же].

В феврале 2002 г. (год парламентских выборов, которые рассматривались основными участниками и обозревателями как «проба сил» перед выборами президентскими) Л. Кучма издал «коммеморативный» указ «О мероприятиях в связи с 70-й годовщиной голодомора в Украине» [Про заходи у зв'язку з 70-ми роковинами голодомору… 2002]. Этот документ интересен, прежде всего, тем, что в нем в качестве рекомендованных структурам исполнительной власти действий перечислены практически все основные коммеморативно-ритуальные практики, сложившиеся в 1990-е годы по поводу голода 1932–1933 гг. Президентский указ придавал им статус действа, принятого, освященного и уже рекомендованного государством. Важно и то, что слово «голодомор», как видно из названия указа, уже окончательно утвердилось в терминологии государственной бюрократии (он фигурировал и в других указах). Кроме того, указ в некотором смысле был частью политической игры в отношениях с формирующейся парламентской оппозицией – возможно, это была попытка перехватить инициативу, поскольку апелляция к трагическому историческому прошлому была удобным способом как продемонстрировать гуманность, так и не дать использовать это прошлое в ненужном для президента контексте. В конце того же года (6 декабря) Л. Кучма издал распо-

ряжение о сооружении в Киеве мемориала памяти жертв Голодомора и политических репрессий, которое не было выполнено в период его президентства. Заметим, что и другие «идеологические» указы Л. Кучмы, в том числе по вопросам политики памяти, выполнялись президентской вертикалью власти в областях и районах, мягко говоря, без энтузиазма, формально, а чаще всего просто игнорировались. Отчеты «с мест» о мероприятиях, связанных с годовщиной голода 1932–1933 гг., выглядят как формальные бюрократические отписки.

В 2003 г. интерес политиков и власти к теме голода 1932–1933 гг. значительно возрос. 70-я годовщина трагедии совпала с обострением внутриполитического противостояния, порожденного приближающимися президентскими выборами и попытками президента Л. Кучмы провести политическую реформу, направленную на перераспределение властных полномочий между президентом и парламентом в пользу президента. Заметим, что 2003 г. стал годовщиной другой «сложной» даты: украинско-польского конфликта на Волыни (1943–1944), называемого еще «волынской резней»[1]. И наконец, 2003 был годом России в Украине, что придало политическим дебатам о голоде 1932–1933 гг. особый смысл, в частности, для той части политикума, которая рассматривала Россию как извечную угнетательницу Украины.

Разумеется, годовщина голода 1932–1933 гг. не могла не стать важным аргументом в политических дебатах. Разношерстная оппозиция, которую объединяла лишь борьба с претензиями Л. Кучмы на построение суперпрезидентской структуры власти, впала в раздоры сразу же после того, как правоцентристские партии, входившие в блок «Наша Украина», возглавляемый В. Ющенко, выступили с инициативой проведения специальных парламентских слушаний, посвященных голоду 1932–1933 гг. Временные союзники «Нашей Украины» – коммунисты выступили категорически против этой идеи. Зато инициативу поддержали, с одобрения

[1] В Украине и Польше развернулись нешуточные дискуссии, сопровождавшиеся взаимными обвинениями в нежелании следовать «правде истории». С обеих сторон ферментом этих дискуссий были праворадикальные или националистические круги. Л. Кучма в паре с президентом А. Квасьневским выступил в роли умиротворителя.

Л. Кучмы, «олигархические» фракции, которым проблемы исторической политики были, в общем-то, неинтересны.

12 февраля 2003 г. специальные слушания в Верховной раде состоялись. Речи, произнесенные в этот день, можно считать своеобразным компендиумом всех идеологических шаблонов на тему «преступлений тоталитаризма». «Национал-демократы» и их союзники из правых партий привычно оглашали инвективы в адрес «преступного тоталитарного режима», не забывая о филиппиках в адрес режима современного и тоже, в их понимании, преступного. Обвинения в адрес нынешней «антинародной власти» с готовностью поддержали коммунисты, однако они наотрез отказывались принимать на себя ответственность за преступления своих предшественников, чего добивались «национал-демократы» и правые. Конечно же, все ораторы актуализировали *Голодомор* ссылками на современность.

Представители власти связывали текущие сложности с тяжелейшими травмами прошлого. Вице-премьер-министр правительства Д. Табачник говорил о том, что «голодное лихолетье 1933 г. – не историческое прошлое, а глубокая социально-демографическая катастрофа XX столетия, незажившая морально-психологическая рана, которая жгучей болью терзает память очевидцев. Социально-физиологическое чувство страха, порожденное массовыми репрессиями и голодоморами, живет в сознании многих поколений. Оно запало в генотип нации, в значительной мере тормозит демократизацию нашего общества» [Парламентські слухання «Щодо вшанування пам'яті жертв…», 2003].

Власти вторили «национал-демократы» и правые: по их мнению, *Голодомор* уничтожил лучших, нанес уничтожающий удар по украинской нации, разрушил ее генофонд. Депутат от «Нашей Украины» бывший писатель П. Мовчан заявил, что «интеллектуальную, энергетическую, активно-творческую силу нации подорвали на много лет. Любое сопротивление актам насилия во всех сферах национальной, общественной жизни было сломлено» [там же].

По-своему актуализировали голод 1932–1933 гг. левые. Лидер коммунистов П. Симоненко заявил, что геноцид происходит в наши дни, и нечего искать его в прошлом. «С этой трибуны я обращаюсь к господам власть имущим, – провозгласил он, – с предложением и требованием не враньем заниматься по поводу совет-

ского прошлого, а ответить за свою сегодняшнюю преступную политику – политику геноцида» [Парламентські слухання «Щодо вшанування пам'яті жертв…», 2003]. Незадолго до этого (2000), протестуя против приватизации земли, коммунисты организовывали публичные акции под лозунгами «Нет распродаже земли и голодомору-2000!»

14 мая 2003 г. в соответствии с рекомендациями парламентских слушаний состоялось специальное заседание Верховной рады, посвященное голоду 1932–1933 гг. (по информации общественной организации «Лаборатория законодательных инициатив», оно продолжалось несколько минут). Парламент (без участия коммунистов) легитимным большинством в 226 голосов утвердил текст обращения к украинскому народу, в котором голод 1932–1933 гг. был назван геноцидом против украинского народа. «...Мы считаем, – говорилось в обращении, – что в условиях независимой Украины страшную правду про те годы должно обнародовать государство, поскольку голодомор 1932–1933 годов был сознательно организован сталинским режимом и он должен быть публично осужден украинским обществом и международным сообществом как один из наибольших по количеству жертв в мировой истории факт геноцида» [Звернення до Українського народу учасників спеціального засідання… 2003].

Собственно, с этого момента слово «геноцид» в отношении голода 1932–1933 гг. окончательно утвердилось в лексиконе власти – как президентской и исполнительной, так и законодательной. В 2003 г. состоялась и первая попытка добиться признания голода 1932–1933 гг. геноцидом на уровне самой крупной международной организации – ООН.

Новый уровень идеологической актуализации и политической инструментализации темы был достигнут после «оранжевой революции» 2004 г. Обращение к травматическому историческому опыту стало неотъемлемым элементом знаковых политических выступлений президента В. Ющенко, а упоминания голода 1932–1933 гг. – почти обязательным ритуалом и содержательным компонентом этих речей. Голод был упомянут уже в инаугурационной речи президента в январе 2005 г. Первые международные выступления В. Ющенко в Европарламенте и на совместном заседании

палат Конгресса США содержали обращения к теме голода 1932–1933 гг.[1]

В июле 2005 г. В. Ющенко своим указом «О дополнительных мероприятиях по увековечению памяти жертв политических репрессий и голодоморов в Украине» открыл серию президентских актов и распоряжений, посвященных исторической политике. Львиная доля этих директивных решений приходится на политику *Голодомора*. Уже в упомянутом указе содержался пункт о внесении законопроекта «с политико-правовой оценкой голодоморов в Украине» [Указ Президента України № 1087/2005, 2005]. Употребление термина «политико-правовая оценка» сигнализировало то ли о юридической неграмотности президента и его окружения, то ли о его уверенности в том, что смешение права и политики – вещь допустимая и даже необходимая. Употребление слова «голодомор» во множественном числе было явным рудиментом зародившейся в диаспоре идеи о линейной связи трех голодов 1921–1923 гг., 1932–1933 гг., и 1946–1947 гг. как доказательства единой и непрерывной политики Москвы по отношению к украинскому народу.

Указ был знаковым и в ином смысле – он предлагал правительству к ноябрю текущего года «решить вопрос» о создании Института национальной памяти.

4 ноября 2005 г. президент издал новый указ, которым правительство, в частности, обязывалось подготовить упомянутый законопроект с «политико-правовой оценкой». При этом, не дожида-

[1] Поистине беспрецедентные усилия «оранжевого» президента в сфере исторической политики и политики памяти вызывали все более интенсивные нарекания его политических оппонентов и даже части его союзников. Объяснения его особого отношения к идеологическому компоненту исторической политики обычно сводятся к двум темам: личные мотивы морально-этического характера и практические (использование темы для усиления личного престижа и для негативного маркирования политических оппонентов). Сторонником первого варианта является украинский литератор М. Рябчук, второго – канадский политолог Д. Арель [см.: Riabchuk, 2008; Біленький, 2007]. Просмотр многочисленных интервью и выступлений В. Ющенко на тему голода 1932–1933 гг. позволяет предположить, что морально-этические мотивы действительно имели место, и В. Ющенко пребывал и пребывает под глубоким впечатлением от фактов трагедии. В то же время нельзя не заметить, что обострение интереса к инструментализации темы голода всегда совпадало у него с обострением внутриполитической борьбы в 2006–2008 гг.

ясь такой оценки, президент называл Голодомор «геноцидом украинского народа» и призывал к дополнительным мерам по признанию международным сообществом голода 1932–1933 гг. в Украине геноцидом. В указе содержалось повторное указание «решить вопрос» о создании Института национальной памяти – уже в двухнедельный срок.

Этим же указом устанавливалось начало государственной коммеморативной кампании, посвященной 75-летию голода 1932–1933 гг. – был создан правительственный организационный комитет [Указ Президента України «Про вшанування жертв…», 2005], деятельность которого так и не развернулась из-за парламентско-правительственного кризиса, возникшего в результате парламентских выборов 2006 г.

В сентябре 2006 г. в адрес президента поступило письмо-обращение «научной общественности» (в ряды которой попали народные депутаты, политики и деятели диаспоры, имеющие весьма опосредованное отношение к науке) – авторы просили президента отдельным указом установить отдельную дату дня памяти жертв голодоморов и отдельную – для дня памяти жертв политических репрессий. Одним из мотивов обращения было желание отделить волчищ от агнцев – среди жертв политических репрессий, указывали авторы обращения, были и сами палачи [Звернення наукової громадськості до Президента України… 2006]. Содержание обращения было симптоматичным в смысле готовности «научной общественности» поддержать президента в разворачиваемой им кампании по превращению *Голодомора* в общенациональный исторический символ, в превращении его в особый символический маркер нации.

В октябре 2006 г. В. Ющенко попытался создать организационный комитет по проведению и подготовке Дня памяти жертв голодоморов и политических репрессий. Тогда же он потребовал от Министерства зарубежных дел Украины активизировать работу «по признанию международным сообществом Голодомора 1932–1933 гг. в Украине как геноцида украинского народа и одной из наибольших трагедий в истории человечества» [Указ Президента України № 868/2006 «Про відзначення у 2006 році…», 2006].

16 октября 2006 г. секретариат президента вместе с Институтом национальной памяти организовал круглый стол «Голодомор 1932–1933 годов – геноцид в Украине». Публичное обращение его

участников к президенту должно было продемонстрировать, по замыслу организаторов, общественную поддержку инициативы главы государства о «политико-правовой оценке Голодомора»[1]. Как и следовало ожидать, авторы обращения не только транслировали все риторические стандарты канонического дискурса *Голодомора*, но и не забыли актуализировать свои предложения политическими соображениями.

Трагедия 1932–1933 гг. называлась «апогеем продолжительной борьбы тоталитарного режима СССР против освободительной борьбы украинского народа, особенно против украинского крестьянства», а признание ее геноцидом определялось как «безусловная задача нынешнего поколения украинских политиков, прежде всего депутатского корпуса Верховной рады».

2 ноября 2006 г. президент В. Ющенко внес на рассмотрение Верховной рады как первоочередной проект закона «О Голодоморе 1932–1933 гг.». Три статьи проекта (из шести) открыли новую страницу в исторической политике в Украине. Первая статья квалифицировала «Голодомор 1932–1933 годов в Украине как геноцид украинской нации», вторая запрещала «отрицание факта Голодомора», статья шестая предполагала введение «административной ответственности за публичное отрицание Голодомора 1932–1933 годов в Украине» [Президент України вніс на розгляд парламенту… 2006]. Заметим, что к этому времени даже наиболее твердолобые левые уже не отрицали факт голода 1932–1933 гг., что само событие присутствовало во всех школьных и вузовских курсах истории Украины, уже установились общенациональные коммеморативные даты и ритуалы – президентская инициатива явно провоцировала его оппонентов на отпор, который вполне можно было использовать для их упреждающей моральной дискредитации (именно осенью 2006 г. развернулась изнурительная борьба президента с оппонирующим ему большинством в Верховной раде и созданным этим большинством правительством В. Януковича).

Вполне предсказуемо законопроект вызвал протесты оппонентов президента. Партия регионов предложила свой законопро-

[1] Термин «политико-правовая оценка» выглядит оксюмороном лишь для внешнего наблюдателя. На самом деле он вполне адекватно отображает тип правосознания в Украине, да и на всем постсоветском пространстве, где право и закон смешиваются с политикой и определяются ею.

ект – без пункта про геноцид и административную ответственность. Драматическое обсуждение президентского проекта в Верховной раде 28 ноября 2006 г. превратилось в ярмарку взаимных политических обвинений, участники которой забыли, что торги происходят на кладбище. Практически все участники действа актуализировали события 1932–1933 гг. текущей политической ситуацией. Президентская фракция («Наша Украина») и их союзники (Блок Юлии Тимошенко) привычно рыдали над нынешним тяжким состоянием украинской нации как следствием голодоморов и политических репрессий и обвиняли противников законопроекта в аморальности. Их оппоненты не без оснований обвиняли президента и его союзников в политической кампанейщине и использовании темы 1932–1933 гг. в корыстных политических целях. Лидер социалистов, спикер А. Мороз, даже увязал президентский законопроект с попытками установить диктатуру в Украине, а коммунисты заявили, что инициатива В. Ющенко провоцирует «цепную реакцию противостояния в Украине», нарушает Конституцию и ведет к обострению отношений с Россией. Пользуясь случаем, они призвали к импичменту В. Ющенко.

Оба законопроекта – президентский и альтернативный – были провалены, однако был найден компромиссный вариант, благодаря которому закон был принят силами «Нашей Украины», БЮТ и социалистов. Квалификация Голодомора как геноцида осталась, было введено упоминание о «других народах СССР» как жертвах голода, пункт об административной ответственности за отрицание Голодомора был снят. Вместо него появилась формулировка, согласно которой «публичное отрицание Голодомора 1932–1933 годов признается оскорблением памяти миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства украинского народа и является противоправным» [Закон України «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні», 2006].

Принятие закона в таком виде было лишь вступлением к более радикальным действиям. 21 декабря 2006 г. депутаты от «Нашей Украины» и БЮТ зарегистрировали проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины – «Об ответственности за публичное отрицание Голодомора 1932–1933 годов как геноцида украинского народа» [Проект Закону про внесення змін… 2007]. Субъектом законодательной инициативы выступил сам президент, он внес законопроект «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины (об ответственности за отрицание Голодомора». Основная идея ничем не отличалась от предшествующего законопроекта за исключением небольшой новации: президент добавил упоминание о Холокосте. Он предлагал ввести уголовную ответственность за «отрицание Голодомора 1932–1933 годов как геноцида украинского народа и Холокоста как геноцида еврейского народа» [Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення…», 2007][1]. Такие действия, совершенные публично, а также изготовление и распространение соответствующих материалов предлагалось наказывать наложением штрафа в размере от ста до трехсот необлагаемых налогом минимальных доходов граждан или же лишением свободы на срок до двух лет. Такие же действия, совершенные повторно или государственными служащими, влекли за собой лишение свободы на срок до четырех лет [там же]. Речь шла о дополнении ст. 442 УК Украины «Геноцид», большая часть которой была просто копией Конвенции ООН 1948 г. о предупреждении преступлений геноцида.

Формально речь шла о конкретизации положений предыдущего закона 2006 г. Неформально проект закона был то ли пугалом для местной власти восточных и южных регионов (пункт о служащих), которая не спешила демонстрировать энтузиазм по поводу президентских указаний о подготовке к 75-летней годовщине трагедии, то ли неким тактическим ходом в запутанной политической игре (противостояние президента с парламентом и правительством набирало обороты), то ли проявлением того, что *Голодомор* уже превратился в «идею фикс» президента. В любом случае поиски рационального обоснования действий В. Ющенко в попытках криминализировать некое предполагаемое отрицание уже не факта, а интерпретации трагических событий прошлого могут быть не вполне успешными. Появление же пункта о Холокосте, очевидно, должно было придать вес президентской инициативе аналогиями с европейской практикой, проект содержал прямые ссылки на соответствующие законы в европейских странах[2].

[1] Документ был скопирован с официального сайта Верховной рады (http://www.gska2.rada.gov.ua) в октябре 2007 г., однако в настоящее время доступа к этому документу нет.

[2] «Отрицание Холокоста» – не совсем корректный термин, когда говорится о законах. Существует законодательство ряда стран Евросоюза и самого Евро-

Пояснительная записка к тексту законопроекта содержала весьма любопытные обороты. Например, в ней утверждалось, что «принятие Закона будет способствовать консолидации Украинского народа, граждан всех национальностей вокруг идеи утверждения в обществе нетерпимости к любым проявлениям насилия, усиления уважения к жизни, правам и свободам гражданина, укреплению межнационального согласия и гражданского мира в Украине» [Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення…», 2007]. Каким образом уголовное преследование за «неправильное» толкование Голодомора и Холокоста будет содействовать достижению перечисленных благородных целей, в документе не объяснялось. Аргументация в пользу закона была тем более любопытной в свете социологических данных, размещенных в интернет-представительстве самого президента: «Наибольшие масштабы Голодомора, – говорилось там, – были в регионах, где сконцентрирована электоральная база антикризисной коалиции[1]. Однако в силу недостаточной информированности, советской пропаганды и нечеткой позиции лидеров коалиции жители этих территорий не понимают настоящих последствий этой трагедии. По данным соцопросов, лишь 40% респондентов на Востоке (из тех, кто определился с ответом) согласны, что Верховная рада должна законодательно признать Голодомор 1932–1933 годов актом геноцида украинского народа. На Юге – 64%, что также меньше, чем в среднем по Украине (71, 4%)» [Визнання голодомору 1932–1933 років актом… 2007].

союза, направленное на упреждение публичного оправдания нацизма, тривиализации и банализации его преступлений, публичного отрицания или оправдания конкретных случаев геноцида и преступлений против человечности, пропаганды расовой ненависти, преступлений коммунизма. «Отрицание Холокоста» присутствует в этом законодательстве (и то не везде) как частный случай. Упомянутые законы в последнее время становятся объектом все более активной критики либеральной части общества как такие, что нарушают свободу слова и прессы. См. любопытный пример научной критики применимости такого законодательства и сложностей с применением соответствующей терминологии [Hayden, 2008].

[1] «Антикризисная коалиция» – самоназвание коалиции Партии регионов, коммунистов и социалистов, созданной в июне 2006 г., сформировавшей большинство в парламенте и правительство, возглавленное В. Януковичем. Их конфликт с В. Ющенко и его сторонниками в парламенте стал главным содержанием политической жизни страны до августа 2007 г.

Вполне ожидаемо президентская инициатива вызвала бурные протесты политических оппонентов, неодобрение или недоумение части интеллигенции. Главное научно-экспертное управление Верховной рады указало на то, что предлагается криминализировать действия, которые являются «формой выражения определенных взглядов и убеждений», а ограничения в этой сфере допускаются Конституцией лишь в четко описанных ситуациях, под которые президентский проект не подходит [Висновок на проект Закону України… Б. г.].

Законопроект вызвал бурю комментариев, преимущественно негативных, никаких шансов на одобрение его Верховной радой не было. Впрочем, уже 1 апреля 2007 г. президент распустил Верховную раду (в последовавшие за этим полгода он сделал это еще три раза), обвинив «антикризисную коалицию» в попытке узурпировать власть. Интересно, что этот законопроект стал предметом активных политических торгов с «антикризисной коалицией» весной 2007 г. – он был включен в пакет «политического компромисса», содержавший, например, законы о смене Конституции и об оппозиции [Ющенко перезавантажив матрицю, 2007]. В самый разгар политического кризиса, дошедшего до столкновения между представителями силовых структур, президент нашел время подписать указ о разделении двух памятных дат: День памяти жертв политических репрессий был назначен на третье воскресенье мая, последняя суббота ноября была оставлена за Днем памяти жертв голодоморов [Указ Президента України № 431/2007, 2007][1].

В октябре 2007 г., после проведения внеочередных парламентских выборов, когда возникла перспектива создания лояльного ему большинства в парламенте, В. Ющенко заявил о намерении провести свой законопроект через «обновленный» парламент. Заслуживает внимания то, что в этот раз в аргументации по поводу необходимости введения уголовной ответственности за «отрицание» Голодомора и Холокоста как геноцида упоминалась «необходимость предупреждения соответствующего поведения, а значит, исключение его общественной опасности, невозможность нанесе-

[1] Слово «голодомор» во множественном числе поясняется тем, что три голода: 1921–1923 гг., 1932–1933 гг., 1946–1947 гг. – в каноническом дискурсе *Голодомора* представлены как вехи одной политики коммунистического режима по отношению к украинцам.

ния ущерба физическому или юридическому лицу, обществу и государству» [Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення…», 2007]. Через месяц, в январе 2008 г., президентский законопроект был продублирован законодательной инициативой двух депутатов от президентской фракции «Наша Украина – Народная самооборона». Депутаты ограничились намерением карать за отрицание Голодомора – арестом до шести месяцев или тюремным сроком до трех лет [Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України, 2008]. При этом непонятно было, за что же предполагается суровое наказание: в одном месте пояснительной записки к проекту закона речь шла просто об отрицании Голодомора, в другом – Голодомора как геноцида, в третьем – про «отрицание факта геноцида украинского народа» [там же].

Параллельно под непосредственным руководством президента В. Ющенко (он самолично возглавил созданный им же организационный комитет) развернулась беспрецедентная идеологическая и политическая кампания по превращению голода 1932–1933 гг. в центральный мобилизующий символ национальной украинской истории – символ крупнейшей гуманитарной катастрофы XX в., превосходящей своими масштабами Холокост и другие примеры геноцида. Кампания эта под лозунгом «Украина помнит, мир признает» нарастала с весны 2007 г. и достигла пика в ноябре 2008 г. в 75-ю годовщину голода 1932–1933 гг.

В ней можно выделить два основных направления – внутриполитическое и международное. Внутри страны была организована серия коммеморативных, пропагандистских и культурных акций, объединившая усилия государственной бюрократии (областных, районных и городских администраций, подчинявшихся непосредственно президенту, силовых структур в лице Службы безопасности Украины), тысяч добровольцев, искренне желающих почтить память жертв голода, профессиональных исследователей, любителей-краеведов и десятков тысяч «мобилизованных» учителей, студентов, библиотекарей, музейных работников, школьников, журналистов. За пределами Украины силами дипломатических служб были предприняты беспрецедентные усилия по обеспечению признания голода 1932–1933 гг. геноцидом украинского народа.

Одним из центральных направлений кампании стало создание национальной Книги памяти – в нее должны были занести

имена всех погибших от голода 1932–1933 гг. Создание книги превратилось в грандиозный коммеморативный проект, в который были вовлечены десятки тысяч людей во всех областях Украины, даже в тех, где голода не было, но жили его очевидцы. Под эгидой областных и районных государственных администраций были созданы координационные группы по сбору сведений о пострадавших и умерших от голода 1932–1933 гг. Эти своего рода штабы координировали деятельность сотен местных групп, выполнявших сбор сведений на местах – прежде всего в селах. В местные группы входили учителя, студенты, ученики школ, библиотекари, музейные работники, краеведы, заведующие клубами и т.д. Они идентифицировали очевидцев голода, интервьюировали их, работали с архивами ЗАГСов. К ноябрю 2008 г. было подготовлено 17 региональных томов Книги памяти (16 областных и один по Киеву) и один общенациональный. В них были внесены данные о более чем 800 тыс. жертв голода. Способы проведения этой кампании, нередко выливавшиеся в бюрократическую кампанейщину, «показуху», приписки, вызывали протесты самих ее участников.

Параллельно развернулась серия массовых коммеморативных акций – «Зажги свечу», «Негасимая свеча» и т.п.[1], проведение траурных митингов и концертов, организация конкурсов изобразительных и литературных работ, конкурсов ученических сочинений, возложение венков и снопов, проведение уроков памяти в школах; создание мест памяти (выставок в музеях, школах и биб-

[1] «Зажги свечу» – ежегодная акция, задумывавшаяся как общенациональная. Первый раз проведена еще в 2003 г. В день поминовения жертв голода 1932–1933 гг. (ежегодно – четвертая суббота ноября) все желающие выставляют в окне горящую свечку. «Негасимая свеча» – сноп колосьев высотой около 1,5 метров и весом около 200 кг, сделанный из лучших сортов пчелиного воска, собранного во всех областях Украины. В течение 2008 г. передавался из страны в страну (33 страны – их число должно было совпасть с датой трагедии), где по его прибытии проводились панихиды и митинги, к осени 2008 г. этот символ объехал и все области Украины. «Негасимая свеча» закончила свой путь в Мемориале памяти жертв Голодомора, открытом в ноябре 2008 г. в Киеве, став одним из первых экспонатов. «33 минуты» – публичная акция, проведенная с июня по ноябрь 2008 г.: в публичных местах (на площадях или возле сохранившихся памятников и памятных знаков «деятелям тоталитарного режима») каждый выходной день в течение 33 минут вслух зачитывались имена и фамилии умерших от голода в 1932–1933 гг.

лиотеках, установка крестов, памятных знаков и курганов скорби, посадка калиновых гаев, создание мемориальных комплексов)[1].

Все это было дополнено уже упоминавшейся юридической легитимацией *Голодомора* путем принятия законов, характеризующих его как геноцид, и подготовкой проектов законов, запрещающих какие-либо другие публичные толкования этой трагедии.

Государство также финансировало публикации научных исследований по тематике голода 1932–1933 гг. через конкурсное бюджетное финансирование издательств и авторов – правда, здесь ожидаемого потока исследований не случилось: историков, готовых оперативно откликнуться на призывы «дать правдивую оценку трагедии прошлого», оказалось не так много[2]. В научно-познавательном смысле исследования, реализуемые в рамках «геноцидной» версии, оказались малопродуктивными: сложился некий стандарт, в котором вывод (голод 1932–1933 гг. – это геноцид украинской нации) предшествовал гипотезе / предположению. Согласно этому стандарту составлялись документальные сборники, фактически повторявшие друг друга, писались исследования, бесконечно повторяющие главный тезис и подбирающие под него фактографию.

Можно сказать, что период президентства В. Ющенко оказался решающим в закреплении *Голодомора* в качестве основополагающего исторического мифа, центральной точки опоры в конструировании

[1] Калиновый гай – более двух сотен кустов калины, высаженных депутатами парламента под руководством В. Ющенко в 2007 г. на склонах Днепра неподалеку от Киево-Печерской лавры. Там же в ноябре 2008 г. был открыт мемориальный комплекс «Мемориал памяти», центральным элементом которого является часовня-свеча высотой в 26 метров.

[2] Центральной фигурой в историографии *Голодомора* стал уже упомянутый ранее С.В. Кульчицкий, который начал заниматься темой еще в середине 1980-х годов. Его многочисленные труды, изданные как в Украине, так и за рубежом, воспринимаются исследователями как трансляция официальной позиции государства по *Голодомору*. Этот взгляд справедлив лишь отчасти, поскольку будучи апологетом «геноцидной» версии голодомора, С.В. Кульчицкий все-таки не поддерживал крайности официальной позиции президента В. Ющенко и части украинской диаспоры. В наиболее завершенной версии размышлений С.В. Кульчицкого указывается, что геноцид был направлен не против этнических украинцев, а против «граждан украинского государства» (существовавшего на тот момент). Заметим, что количество жертв в его подсчетах (3,5–4 млн.) также сильно отличается от цифр, которые так упорно отстаивал В. Ющенко.

национализированной украинской истории XX столетия. *Голодомор* стал серьезным идеологическим конкурентом советского мифа о «Великой Отечественной войне» и занял самую высокую позицию в иерархии национальной украинской мифологии.

Более того, *Голодомор* приобрел черты сакральности, гражданского культа, в результате чего какие-либо попытки рациональных дискуссий в общедоступном публичном пространстве стали невозможными, а политикам, претендующим на роль общенациональных лидеров, приходится признавать его именно как неприкосновенную в своей основе идеологическую модель.

Голодомор и В. Янукович

Историческая политика периода президентства В. Януковича во многом напоминает период правления Л. Кучмы. Сам В. Янукович, в отличие от своего предшественника В. Ющенко, старается избегать проблем идеологии и обращается к ним по мере необходимости, с чисто прагматическими целями. Два с половиной года правления В. Януковича характеризовались довольно бурными проявлениями общественных дискуссий по «вопросам истории» – от физических столкновений между сторонниками разных идеологических версий прошлого до скандалов, связанных с пересмотром содержания школьных учебников, от судебных решений о лишении звания Героя Украины С. Бандеры и Р. Шухевича до физического уничтожения памятника И. Сталину во дворе Запорожского областного комитета КПУ. При этом сам В. Янукович занимает позицию «над схваткой», изредка высказываясь в пользу «плюрализма мнений», в то время как «говорящие головы» из идеологической обоймы президентской Партии регионов и их союзники – коммунисты периодически будоражат общественное мнение инициативами, высказываниями и действиями, направленными на реставрацию советских исторических мифов и на «опровержение» мифов националистических[1].

[1] Что касается интересующей нас темы, то здесь безусловным чемпионом является представительница Луганской организации КПУ, которая в канун Дня памяти жертв Голодомора (27 ноября 2010 г.) сделала в открытом блоге такую запись: «Пока некоторые больные на голову голодоморцы будут свичкы в викна палыты и голодуваты в знак пошаны в померлых, мы собираемся нашей старой,

Голодомор к моменту вступления В. Януковича в должность президента прочно укоренился как один из опорных символов украинского конституирующего исторического мифа, сложились устойчивые коммеморативные практики, связанные с ним, стереотипные представления о нем, его публичные репрезентации стали частью сконструированной «исторической памяти» и официальных церемоний. Само слово «голодомор» вошло в язык официальных документов, законодательных актов и международных отношений.

Через два дня после инаугурации В. Януковича (28 февраля 2010 г.) с официального интернет-сайта президента исчезли баннеры про Голодомор. Это послужило поводом к обвинениям в адрес президента со стороны оппозиции. Однако вскоре соответствующие страницы в сокращенном виде были возобновлены [Пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні, Б. г.][1].

27 апреля 2010 г., выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, В. Янукович заявил, что «признавать Голодомор как факт геноцида против того или иного народа будет неправильно, несправедливо» [Янукович сказав… 2010]. Заявление было сделано за день до рассмотрения сессией доклада про голод 1932–1933 гг. и принятия резолюции, по поводу которой украинские участники сессии еще вели арьергардные бои с российскими оппонентами, добиваясь употребления термина «геноцид». Заявление В. Януковича устроило большинство делегаций (прежде всего, российскую) и вызвало возмущение части украинских парламентариев, представлявших украинскую национал-демократическую оппозицию.

Нежелание характеризовать Голодомор как геноцид не означало отказа от самой идеологемы. Отказ от «геноцидной» версии Голодомора был необходимым для В. Януковича символическим

дружной компанией и устраиваем пиршество – шашлык из свинины, замоченный мальчиковой половиной, они же занимаются напитками, девчоночья половина кудесничает на счет всяких оливье и пироженок с мороженкамы; будем вкусно есть, шутить и даже танцевать...» [На годовщину Голодомора Луганские коммунисты… 2010].

[1] Стоит обратить внимание на то обстоятельство, что на странице отсутствуют все указы В. Ющенко, посвященные голоду 1932–1933 гг. (а их было больше десяти).

жестом, снимавшим напряжение в одном из аспектов отношений с Россией. Все остальные компоненты соответствующего исторического мифа и связанных с ним идеологических практик остались нетронутыми.

Визит к Мемориалу памяти жертв Голодоморов в Украине, возведенному во времена В. Ющенко, стал частью протокольных мероприятий для лидеров иностранных держав наряду с возложением венков к Вечному огню и памятнику Неизвестному Солдату на Аллее славы (символу советских коммеморативных практик). В этом смысле символически показательным стал визит в Киев президента РФ Д. Медведева 17 мая 2010 г. – он посетил Мемориал памяти жертв Голодоморов в Украине, тот самый, на открытие которого он демонстративно отказался приехать два года назад… 26 ноября 2010 г. в День памяти жертв Голодомора на сайте президента появилось обращение, в котором В. Янукович назвал голод 1932–1933 гг. «Армагеддоном», выступил против спекуляций вокруг количества погибших и призвал говорить «правду и только правду» [Янукович, 2010]. На следующий день он в компании с премьер-министром Н. Азаровым принял участие в траурных мероприятиях у Мемориала памяти жертв Голодоморов в Украине. Правда, сам мемориал был «понижен в звании» – его передали из подчинения Института национальной памяти в ведение Министерства культуры. Заметим, что сама экспозиция и стандартный экскурсионный тур по мемориалу остались неизменными в идеологическом плане, если не считать того, что добавился сюжет о «праведниках Голодомора» (тех, кто пытался спасти голодающих и в результате пострадал сам).

Во время телевизионного моста 25 февраля 2011 г. «Разговор со страной» (мероприятие, скопированное с разработок российских политтехнологов), когда он в прямом эфире отвечал на вопросы жителей Украины, президент назвал Голодомор «геноцидом всех людей», упомянув Украину, Казахстан, Беларусь и Кубань. «...Это был геноцид по отношению к тому населению, которое от него пострадало, – заявил В. Янукович. – А пострадали не только украинцы. Оценку этому преступлению уже дала история – осуществила это власть, возглавленная Сталиным» [Янукович не заперечує… 2011].

24 ноября 2012 г. в День памяти жертв голодоморов В. Янукович выступил с обращением к «дорогим соотечественни-

кам», в котором напомнил о 80-летии начала трагедии, которая случилась «в Украине и других странах бывшего СССР», и призвал сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось. Предельно краткое обращение содержало стандартные ритуальные обороты о последствиях голода и жизнестойкости украинцев [Звернення Президента України в День пам'яті… 2012].

Таким образом, В. Янукович принял Голодомор и всю его базовую риторику как готовую идеологему, но при этом попытался нейтрализовать едва ли не ее центральную, опорную составляющую – идею о том, что Голодомор был геноцидом украинцев. Это никак не повлияло на мнение той части общества, для которой геноцидная версия голода 1932–1933 гг. уже навсегда стала важной частью базового исторического мифа, даже более того, позиция В. Януковича укрепила убежденность адептов Голодомора, поскольку в их представлениях нынешний президент является «промосковским».

Голодомор и международная политика

Наиболее ранняя попытка интернационализации проблемы голода 1932–1933 гг. приходится на середину 1930-х годов, когда политические и общественные организации украинской эмиграции и западноукраинских земель, отдельные деятели и организации Запада пытались привлечь внимание мира к тому, что происходит в Украине и организовать помощь голодающим[1]. Эти попытки были заблокированы правительственными структурами СССР, которые не признавали самого факта голода, а также государствами, не заинтересованными в ухудшении отношений с Советским Союзом, и наконец, советофилами из числа интеллектуалов, общественных и политических деятелей Запада.

«Второй раунд» попыток придать проблеме голода 1932–1933 гг. международную огласку приходится на вторую половину

[1] Эта тема освещалась в уже упоминавшемся докладе Конгрессу США и в некоторых научных исследованиях. Среди новейших изданий стоит упомянуть труд украинского исследователя Я. Папуги. Нарративная часть, построенная на разработке объемного массива архивных источников, является основательным описанием событий и фактов. Интерпретационная часть не дает ничего нового – она вполне укладывается в рамки канонической версии Голодомора [см..: Папуга, 2008].

1980-х годов. Его ход и результаты описаны выше: интенсивные усилия украинской диаспоры Северной Америки, согласованные контрмеры советских идеологических структур и спецслужб, начало публичных и научных дискуссий на Западе и экспорт этих дискуссий в «материковую» Украину. Проблема стала известной «широкой общественности» и превратилась в предмет исследования авторитетных ученых Запада. Именно за пределами СССР тема в виде готовых интерпретационных форм и объяснительных схем перешла границу, стала предметом научных и общественных дебатов, составляющей политико-идеологических практик внутри страны.

Третий этап приходится на 1990-е – начало 2000-х годов. Внутри этого промежутка можно выделить примерно три мало связанных между собой эпизода: достаточно вялую попытку интернационализировать проблему в начале 1990-х, в частности в 60-ю годовщину трагедии (1993); более активную попытку вынести вопрос на уровень международных организаций и институтов власти отдельных стран (ООН, законодательные органы США, Канады и Австралии) в начале 2000-х (70-я годовщина), и, наконец, самую масштабную международную кампанию 2007–2008 гг., которую возглавил лично президент Украины В. Ющенко, используя весь потенциал государства (Министерство иностранных дел, Служба безопасности Украины, архивные институты, государственные администрации) и возможности крупных организаций украинской диаспоры (Всемирный конгресс украинцев). Существенное отличие третьего этапа – наличие мощного агента продвижения темы на международном уровне – государства во главе с президентом В. Ющенко. В отличие от предыдущих попыток государство в лице соответствующих институтов могло не просто представлять официальную версию истории уничтожения голодом миллионов крестьян, но и лоббировать признание трагедии международным сообществом. Именно в этот период борьба за международное признание Голодомора с особым упором на его «геноцидной» версии превратилась в один из главных приоритетов международной политики украинского государства наряду с евроатлантической интеграцией.

Первая попытка интернационализации проблемы голода 1932–1933 гг. силами государства, которая пришлась на 60-ю годовщину трагедии, особых успехов не принесла. Украинская ди-

пломатия переживала период становления, перед ней стояли общие вопросы – не столько признание голода 1932–1933 гг., сколько признание Украины как таковой. Идея превратить трагедию 1932–1933 гг. в подобие Холокоста как своеобразного национального маркера еще не дошла до сознания представителей власти, а внутриполитическая и социально-экономическая ситуация исключала возможность каких-либо серьезных усилий в области политики памяти как внутри страны, так и за ее пределами. Президент Кравчук в указе от 19 февраля 1993 г. дал поручение Министерству иностранных дел Украины и Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО обратиться к ЮНЕСКО «с предложением о внесении 60-й годовщины Голодомора в Украине в Календарь годовщин выдающихся людей и исторических событий в области образования, науки, культуры и коммуникаций».

В 1993 г. на годовщину трагедии заявлениями, где голод 1932–1933 гг. назывался геноцидом, откликнулись парламент Эстонии и сенат Австралии. Скорее всего, важную роль в этих акциях сыграли украинские общины этих стран. В США, где еще не так давно (1988) был опубликован доклад Комиссии Конгресса, никак не отреагировали на годовщину – их дипломатические усилия в это время были сосредоточены, прежде всего, на удалении с территории Украины ядерного оружия и на обеспечении стабильности в регионе в свете обострения отношений между Украиной и Россией из-за проблемы Черноморского флота и Севастополя.

Значительно больший всплеск интереса к голоду 1932–1933 гг. наблюдался на следующую, 70-ю, «круглую» годовщину трагедии. В 2003 г. президент Л. Кучма и его сторонники в парламенте обратились к теме голода 1932–1933 гг. как возможности повышения международного престижа Украины и улучшения собственного имиджа внутри страны. Фактически именно в этом году была сделана первая серьезная попытка добиться признания голода 1932–1933 гг. в УССР актом геноцида на международном уровне, и именно тогда для этого были подключены дипломатические каналы. В июне 2003 г. сенат Канады специальной резолюцией призвал правительство своей страны признать *Голодомор* актом геноцида. В октябре 2003 г. сенат Австралии принял специальную резолюцию, в которой события 1932–1933 гг. признавались одним из самых страшных проявлений геноцида. В этом же месяце сенат Конгресса США обнародовал резолюцию по «геноцидному Голоду

в Украине». Подобную резолюцию приняла и Палата представителей: в преамбуле слово «геноцид» употреблялось, в резолютивной части его не было [H.RES. 356. Expressing the sense… 2003][1]. В ноябре этого же года к своим американским коллегам присоединились венгерские парламентарии, которые осудили геноцид «группы народов» в 1932–1933 гг. и выразили соболезнования родным и близким жертв голода.

Впрочем, наиболее резонансным в 2003 г. стало обращение к проблеме голода 1932–1933 гг. Организации Объединенных Наций. Несмотря на усилия украинских дипломатов, направленные на принятие отдельного решения (резолюции) о голоде 1932–1933 гг. в Украине, удалось договориться только относительно совместного заявления – статус этого документа был несравнимо ниже, хотя в целом и обнародование последнего можно было считать серьезным успехом – стоит отметить, что в тексте заявления содержался термин «голодомор». Заявление было отослано в Комитет по правам человека ООН 7 ноября 2003 г., оно не содержало слова «геноцид», украинская сторона удовлетворилась упоминанием термина «голодомор» [S. RES. 202. A resolution expressing… 2003]. По утверждениям украинских политиков, главным противником употребления слова «геноцид» в тексте заявления и главным инициатором понижения статуса документа была российская сторона. Тем не менее заявление подписали или объявили о присоединении к нему 36 государств – членов ООН, в том числе Россия (впоследствии количество государств, присоединившихся к этому документу, возросло до 64).

В 2004 г. был обнародован официальный документ Святого Престола «Компендиум социальной доктрины Церкви». В нем упоминается о геноциде украинской нации, который имел место в XX в. Речь шла не только о голоде 1932–1933 гг., но и о репрессиях.

В 2005 г. начался новый этап интернационализации Голодомора. Он был связан с интенсивными усилиями президента Украины В. Ющенко и непосредственно подчиненных ему структур, в частности Министерства иностранных дел Украины, в достиже-

[1] В этом году чуть раньше, в мае, в докладе судебного комитета Конгресса США, посвященном 15-й годовщине ратификации США Конвенции ООН 1948 г., и проекте соответствующей резолюции в перечне самых известных актов геноцида голод 1932–1933 гг. не упоминался.

нии международного признания Голодомора как геноцида. Акцент на необходимости именно такой квалификации трагедии можно объяснить многими причинами – от желания добиться особого международного статуса для Украины до беспрецедентного влияния украинской диаспоры на президента В. Ющенко[1]. Начало кампании совпадает с дебютом В. Ющенко как президента. Уже инаугурационная речь содержала упоминание о «голодоморе». Во всех последующих, самых разрекламированных официальных международных выступлениях первой половины 2005 г. президент В. Ющенко, который на то время воспринимался Западом едва ли не как мессия демократии на постсоветском пространстве, постоянно возвращался к теме Голодомора. Две первых «программных» речи – в Европарламенте (23 февраля 2005 г.) и на совместном заседании двух палат в Конгрессе США (6 апреля 2005 г.), содержали упоминания о Голодоморе как наиболее важном событии украинской истории XX в.

В октябре 2006 г. в указе о Дне памяти жертв Голодоморов и политических репрессий президент дал поручение Министерству иностранных дел «активизировать работу по признанию международным сообществом Голодомора 1932–1933 гг. в Украине как геноцида украинского народа и одной из величайших трагедий в истории человечества» [Закон України «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні», 2006] – раньше международный аспект в подобных указах не акцентировался.

В марте 2007 г. президент создал под своим персональным председательством «Координационный совет по подготовке мероприятий в связи с 75-й годовщиной Голодомора 1932–1933 гг. в Украине». В этот орган вошли исполняющий обязанности министра иностранных дел В. Огрызко, которому было суждено возглавить дипломатическую кампанию по международному признанию Голодомора, представитель Украины в Комиссии ООН по правам человека В. Василенко, четыре представителя Всемирного конгресса украинцев, один из них – гражданин Австралии С. Романов (глава Организации украинских националистов (бандеровцев)) возглавил Международный комитет Голодомора, который стал главным организатором и координатором усилий украинской диаспоры по интернационализации Голодомора.

[1] Международные акции осуществлялись под очевидным влиянием и при активном участии Всемирного конгресса украинцев (СКУ). Стоит обратить внимание и на ощутимое присутствие представителей украинских диаспорных организаций в созданных президентом временных органах по подготовке 75-й годовщины голода 1932–1933 гг., и на официальный и неофициальный уровень общения представителей диаспоры с высокопоставленными чиновниками. Обратим внимание на то, что в первом циркуляре Международного координационного комитета СКУ (МКК СКУ) в разделе, связанном с задачами МКК, первым пунктом значилось: «Вопросом о Голодоморе политизировать и украинизировать общество в диаспоре и в Украине» (подчеркнуто мной. – *Г.К.*) [см.: Міжнародний координаційний комітет… 2007, с. 3].

Уже на первом заседании Координационного совета В. Ющенко заявил: «...нашей целью я вижу мировое признание Голодомора геноцидом. Прежде всего, речь идет о принятии соответствующих резолюций или решений ООН, Европейского парламента, Европейского союза, ОБСЕ» [Курінна, 2007].

В МИД была создана специальная рабочая группа по организации мероприятий по международному признанию Голодомора. Понятно, что к сотрудничеству с диаспорой присоединился и секретариат президента. Какими были результаты усилий по интернационализации Голодомора? 24 ноября 2005 г. на официальную годовщину трагедии отреагировал сейм Литвы: трагедия 1932–1933 гг. была названа тщательно спланированным геноцидом украинского народа. 20 декабря этого же года подобную резолюцию принял парламент Грузии.

В марте 2006 г. сенат высшего законодательного органа Польши принял отдельное постановление о годовщине Великого Голода в Украине и выразил солидарность с усилиями Украины относительно признания его актом геноцида. 4 декабря этого же года Польским сеймом был принят отдельный документ, в котором осуждался тоталитарный режим ответственный за *Голодомор* – геноцид.

29 сентября 2006 г. Конгресс США принял специальную резолюцию о выделении участка земли в Вашингтоне под строительство памятника жертвам голода-геноцида 1932–1933 гг.

В течение 2007 г. с декларациями и резолюциями о признании Голодомора актом геноцида выступили парламенты Перу, Парагвая, Эквадора и Колумбии. Тогда же на годовщину голода 1932–1933 гг. откликнулись высшие законодательные органы Аргентины, Чили, Испании, Чехии, Словакии. В их резолюциях, постановлениях, обращениях выражалась солидарность с усилиями Украины по меж-

дународному признанию голода 1932–1933 гг. (употреблялся и термин «голодомор»), но слово «геноцид» отсутствовало.

В мае 2008 г. обе палаты парламента Канады приняли закон, который устанавливал День памяти жертв *Голодомора*, а сам голод квалифицировался как акт геноцида. В этом году накануне 75-й годовщины голода 1932–1933 гг. палата представителей австралийского парламента приняла заявление, в котором *Голодомор* назывался актом геноцида украинского народа – таким образом, законодатели Австралии сравнялись в количестве официальных заявлений и резолюций по теме со своими украинскими коллегами.

2007–2008 гг. можно считать периодом «умеренных успехов» украинской дипломатии в получении признания Голодомора на уровне международных организаций. С одной стороны, все основные международные организации (кроме ООН) приняли соответствующие резолюции, с другой – задача добиться нужных президенту формулировок о геноциде не была выполнена.

Нетрудно заметить, что именно с середины первого десятилетия 2000-х «вопросы истории» превращаются в одну из наиболее заметных проблем украинско-российских отношений, что совпало с их общим ухудшением (активизация «товарных войн», обострение проблемы Крыма, Севастополя и Черноморского флота, проблема цены на газ и т.п.).

Украинская внешняя политика во времена президентства В. Ющенко приобрела выразительную прозападную ориентацию, активизировались усилия по приближению к членству в НАТО и Евросоюзе. Российское высшее руководство тем временем перешло к значительно более агрессивным действиям по восстановлению экономического и политического доминирования на территории бывшего СССР. «Политика истории» превратилась в чрезвычайно конфликтную сферу отношений между двумя государствами – интересно, что именно внутри этих государств и именно в это время высшее руководство начало активно вмешиваться в процесс переписывания истории и давать историкам «ценные указания». И если в Украине речь шла об активизации процесса «национализации» истории и пересмотре советского периода в контексте этой «национализации», то в России – о восстановлении картины имперского и государственного величия, где советский период играл немаловажную роль – это не могло не привести к острому конфликту в оценках советского прошлого прежде всего на политическом уровне.

Развитие «имперско-советского» нарратива как части официальной политики истории и средства построения новой государственнической идеологии в нынешней России является важным средством идеологической легитимации системы власти, которая сложилась в начале 2000-х годов. Имперско-советская версия русской / российской истории является также очень важным основанием обеспечения мнимого или желаемого морально-политического единства страны, которая реально или потенциально может быть объектом центробежных тенденций. В этом случае любой положительный пример успешной национализации истории у соседей является вызовом. Внешнеполитические эскапады высшего российского руководства относительно «исторической политики» были и реакцией на инициативы некоторых лидеров посткоммунистических стран (в частности Польши и стран Балтии) в Европарламенте по организации «нового Нюрнберга» относительно сталинского режима: особое раздражение вызывали попытки поставить в один ряд Гитлера и Сталина, нацистский режим и сталинизм. Поскольку Сталин и его эпоха являются важной частью государственного мифа о «Великой Победе» и «Великой Отечественной войне», такие попытки воспринимались как посягательство на фундаментальные ценности.

Наконец, «имперско-советский» нарратив достаточно четко совпадает с массовыми настроениями в российском обществе, часть которого достаточно явно переживает острую ностальгию по историческому величию и роли мировой державы. При таких условиях позитивная переоценка исторического опыта СССР и соответствующее негативное отношение к тем, кто якобы посягает на «большую героическую историю» со стороны высших государственных учреждений, выглядит вполне естественной реакцией, которая усиливается личными вкусами и культурным уровнем тех, кто высказывается по этому поводу. Стоит помнить и о том, что «война за прошлое» между Россией и Украиной была составляющей более широкого конфликта, связанного с попытками украинского руководства выйти из-под геополитического влияния России.

В этом контексте усилия украинских дипломатических и высших государственных учреждений, направленные на интернационализацию Голодомора, прежде всего связанные с признанием голода 1932–1933 гг. геноцидом, т.е. тягчайшим международным преступлением, совершенным советским государством против

собственного населения, воспринимались и воспринимаются высшим российским руководством как идеологический и политический вызов.

Наряду с этими внутренними факторами стоит упомянуть и внешние. Современное российское руководство с его ностальгией по СССР (которую разделяет и значительная часть населения) восприняло усилия украинских властей по интернационализации Голодомора (с упором на «геноцидную» версию) как попытку получить особый международный статус (нация, наиболее пострадавшая во времена СССР), как попытку выступить против «общего исторического наследия», а также как шаг по дальнейшему отделению от России, попытку выхода из-под ее политического и культурного влияния, как антироссийскую акцию, направленную на дискредитацию России как наследницы СССР. Это последнее обстоятельство было особенно болезненным, учитывая, что как раз в упомянутый период наблюдались интенсивные действия российского высшего руководства, направленные, с одной стороны, на восстановление имиджа России как одного из мировых лидеров, с другой – на создание ее положительного образа в глазах Запада.

Особое раздражение российских чиновников и политиков всех уровней (которое разделяют подавляющее большинство общественных деятелей и ученых) вызывали и вызывают заявления украинских политиков (преимущественно «национал-демократического» и правого толка) об особой вине России перед Украиной с требованиями извинений, а в некоторых случаях – и с требованиями материальной компенсации за утраты, причиненные Советским Союзом. Весьма болезненно воспринимается и наличие этнически негативных стереотипов, антироссийских мотивов не только в высказываниях политиков, но и в исследованиях, которые претендуют на научный статус, в школьных учебниках и учебных пособиях, в разного рода визуальных презентациях Голодомора[1].

[1] В одном из научно-популярных изданий (тираж 3000 экземпляров) указывается, что среди пролетариев, «направленных в украинские села за хлебом», большинство составляли этнические русские – для «проведения насильственной коллективизации, раскулачивания, реквизиции продовольствия в Украине в период Голодомора применялись военные подразделения и другие силовые структуры, в состав которых входили преимущественно этнические русские» [см..: Смертю смерть подолали, 2003, с. 48]. В учебнике для 10 класса в разделе, посвященном коллективизации и голоду 1932–1933 гг., содержался такой пассаж: «Еще не рассеялся трупный запах в опустевших украинских домах, а из других республик СССР, особенно из России, уже направлялись эшелоны с переселенцами» [Турченко, 2002, с. 282]. В комментариях к фотоэкспозиции, которая помещена на стене Михайловского Златоверхого собора, возле которого стоит памятный знак жертвам Голодомора, содержатся прямые напоминания о том, что опустевшие в результате голода 1932–1933 гг. украинские села заполнялись переселенцами из России. (Заметим, что в тогдашней политике переселения в села, пострадавшие от голода, не было этнической направленности, и применялась она во всех регионах СССР.) Наконец, документально-публицистический фильм «Голодомор. Україна XX ст. Технологія геноциду» (2005), который используется в учебном процессе в средних общеобразовательных школах, содержит немало высказываний, контекст которых действительно можно охарактеризовать как русофобский.

Поскольку такие заявления звучали, прежде всего, из рядов сторонников президента Ющенко, их содержание охотно приписывали и ему самому. Несмотря на очевидную личную озабоченность проблемой Голодомора Ющенко, будучи президентом, лично не давал поводов для таких обвинений. Наоборот, он неоднократно в выступлениях и публичных заявлениях подчеркивал, что ни он, ни Украина как государство не выдвигают претензий к России. 24 ноября 2006 г. В. Ющенко в интервью российским средствам массовой информации прямо заявил, что Украина не обвиняет Россию в голоде 1932–1933 гг. «Речь не идет об адресном осуждении, – сказал он, – поскольку государства и режима, который стал причиной этой трагедии, на сегодня не существует. Украинский и российский народы являются жертвой этой трагедии» [В. Ющенко: Страны, виновной… 2006]. 8 июля 2008 г. во время визита в Австрию В. Ющенко на пресс-конференции снова подчеркнул, что Украина не обвиняет Россию в трагедии 1932–1933 гг. [Ющенко не считает Россию виновной… 2008]. Выступая на общих дебатах 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября 2008 г. он заявил, что стремление Украины почтить память жертв голода 1932–1933 гг. «не направлено против какого-либо народа или государства» [Ющенко, 2008]. Впрочем, подобно тому, как радикальные апологеты Голодомора готовы замечать только те факты и события, которые вписываются в их ви́дение, их не менее радикальные оппоненты с не меньшим рвением прибегали к методу выборочного чтения.

Стоит заметить, что хотя сам Ющенко никогда публично не высказывался так, как ему приписывают журналисты, работающие по канонам желтой прессы, он также никогда публично не комментировал и не осуждал упомянутых выше заявлений представителей собственной политической силы и ее союзников. Фактически возникает ситуация, которую нетрудно расценить как двойной стандарт, особенно в условиях жесткого идеологического противостояния, которое вышло на международный уровень[1].

Как уже упоминалось, в 2007–2008 гг. развернулась настоящая дипломатическая война между Украиной и Россией по поводу признания Голодомора актом геноцида[2] на уровне международных

[1] В этом смысле интересна реакция окружения Ющенко на одно место в интервью главы СБУ Наливайченко российской «Независимой газете» 15 июня 2009 г., где он отметил следующее: «Что касается третьей стороны – России или любого другого государства – о претензиях с нашей стороны речь не идет. Преступление было совершено на территории Украины, исполнители и организаторы будут официально установлены, но по рассекреченным документам известно, что это представители украинской власти, украинской Компартии и существовавших тогда на территории Украины карательных органов» [см.: Ивженко, 2009]. Представитель Украины в комитете ООН по правам человека В. Василенко прокомментировал это следующим образом: украинское руководство было лишь исполнителем приказов из Москвы, ответственность лежит на «сталинском режиме», и если Путин и Медведев отождествляют себя с ним – это «их проблема» [см..: Kościński, Serwetnyk, 2009]. Комментарии в российской прессе, разумеется, сводились в основном к одному – «в голодоморе виноваты сами украинцы»...

[2] Внешнеполитические споры сопровождались внутриполитической кампанией. В начале апреля 2008 г. нижняя палата Государственной думы РФ выступила с заявлением, в котором, с одной стороны, осуждалось пренебрежение советского режима к жизни людей, с другой – говорилось о том, что не существует доказательств того, что голод 1932–1933 гг. был актом геноцида против украинского народа [см..: Russian lawmakers reject… 2008]. Интересно, что одновременно в российской прессе и на интернет-сайтах распространялась короткая статья Александра Солженицына «Поссорить родные народы?» [Солженицын, 2008], в которой усилия украинского высшего руководства по признанию Голодомора геноцидом были названы «провокаторским вскриком», который зародился «в затхлых шовинистических умах, злобно настроенных против “москалей” и вознесся в высшие государственные круги нынешней Украины». По Российскому телевидению был показан фильм А. Денисова «Голодомор – 33. Невыученные уроки», в котором главный акцент был сделан на антироссийском смысле мифологии Голодомора (который присутствует прежде всего в контексте – и здесь авторы фильма ловко подобрали факты, правда, совсем «не заметив» той части украинского общества, которая критически относится к крайностям этой мифологии). На одном из популярных общественно-политических ток-шоу «К барьеру» состоялась дискуссия (20.11.2008) между российским публицистом Н. Сванидзе и украинским политологом В. Карасевым (входившим в окружение В. Ющенко), срежиссированая так, что украинский собеседник, который отстаивал официальный взгляд Киева на Голодомор, представлялся в комическом свете. Фактически все российские СМИ откровенно защищали официальную позицию высшего российского руководства о квалификации голода 1932–1933 гг. как общесоюзной трагедии с особым акцентом на том, что попытки официального Киева отстаивать украинскую, «геноцидную» версию трагедии аморальны и «сеют раздор между братскими народами».

[1] Заметим, что «спортивная» терминология – это цитирование слов постоянного представителя РФ при ООН В. Чуркина. Это – слова профессионального дипломата.

организаций. Украинское Министерство иностранных дел последовательно и упорно добивалось принятия соответствующих резолюций как на уровне отдельных стран, так и на уровне международных организаций. Российское внешнеполитическое ведомство не менее последовательно и упорно блокировало эти усилия. В результате украинской дипломатии удалось добиться признания Голодомора геноцидом на уровне высших законодательных органов 14 стран, но ни одна международная организация на это не решилась – в значительной степени из-за противодействия России.

Популярное в Украине интернет-издание «Украинская правда» дало статье о заявлении МИД России об отзыве делегацией Украины проекта резолюции о Голодоморе в Совете по правам человека ООН такой заголовок: «Россия празднует провал идеи по Голодомору в ООН» [Россия празднует провал затеи… 2008]. Политический обозреватель агентства РИА «Новости», комментируя следующую, также неудачную, попытку добиться хотя бы коллективного заявления Ассамблеи относительно голода 1932–1933 гг., написал: «От отчаяния украинские представители в ООН начали собирать подписи хотя бы под декларацией по этому вопросу, но и здесь проиграли Москве со счетом 160: 30» [Романов, 2008][1]. Спортивная терминология выдает не только общую атмосферу нездорового азарта с обеих сторон, но и наличие морального идиотизма у «игроков».

Апофеозом украинско-российского противостояния в деле интернационализации Голодомора можно считать отказ российского президента Д. Медведева посетить официальные торжества

по случаю 75-й годовщины голода 1932–1933 гг. в Киеве. Этому акту был придан характер показательной политической акции.

Российский президент не просто отказался, но и обнародовал «послание» к президенту В. Ющенко. Текст этого документа можно считать своеобразным компендиумом всех стандартных мантр российского МИД относительно общесоюзного характера трагедии и соответствующей жестко-скандальной риторики с употреблением выражений вроде «циничные и аморальные» и указаниями на то, что позиция высшего украинского руководства сеет раздор между братскими народами. Интересными местами «послания» можно считать упоминание попыток Украины войти в «подготовительный класс НАТО» наряду с ее попытками интернационализации Голодомора и довольно забавные попытки Д. Медведева научить В. Ющенко «настоящей» истории [Медведев, 2008] – в этом смысле президенты обеих стран (или скорее их советники) продемонстрировали одинаковый уровень компетентности в проблемах истории.

Стоит отметить, что российское высшее политическое руководство нашло поддержку своим действиям по блокированию интернационализации Голодомора-геноцида не только внутри собственного общества, но и за его пределами. В частности, во время кампании за международное признание Голодомора актом геноцида очень сдержанной позиции придерживались наиболее влиятельные страны Европы. Попытка добиться соответствующей резолюции во Франции закончилась неудачей. В Великобритании попытки представителей украинской диаспоры добиться от государственных учреждений и в парламенте каких-либо внятных формулировок относительно геноцида разбились о вежливый, но достаточно категорический отказ. Германия фактически проигнорировала все несмелые авансы украинской дипломатии по этому вопросу. Не было единства и среди стран посткоммунистического ареала. В Словакии проект декларации о признании голода 1932–1933 гг. геноцидом не прошел через парламент. Не откликнулись на призыв В. Ющенко к парламентам мира и другие новички Евросоюза – Болгария и Румыния.

Весьма показательной можно считать позицию Израиля и реакцию на нее высшего украинского руководства. Для последнего принципиально важным было добиться признания Голодомора геноцидом со стороны Израиля именно как страны, пример которой в значительной степени был использован в попытках интернационализировать Голодомор. В программе подготовки визита на высшем уровне в Израиль поднимался и вопрос о Голодоморе, в частности и о признании его актом геноцида. Израильская сторона энтузиазма не проявляла. Более чем прохладно воспринимались стандартные заявления В. Ющенко о количестве жертв Голодомора в 7–10 млн., в подтексте прочитывалось «соревнование жертв».

Несмотря на все это 14 ноября 2007 г., выступая в израильском кнессете, В. Ющенко призвал Израиль признать *Голодомор* актом геноцида [Ющенко призвал Израиль… 2007]. Израильская сторона первоначально ответила на эту инициативу украинского президента выразительным молчанием[1]. Впоследствии позицию Израиля достаточно четко выразила посол этого государства в Украине З. Калай-Латман [Зина Калай-Латман: Израиль не может… 2008][2]. «Израиль, – сказала посол, – признает актом геноцида то, что признано международным правом. А именно: геноцидом считается уничтожение по этнической принадлежности. Таким, в частности, был Холокост. Израиль не может признать *Голодомор* актом этнического геноцида. Вместе с тем он считает *Голодомор* величайшей трагедией украинского народа. Эта позиция была не раз высказана вашему руководству на самом высоком уровне. Позиция Израиля заключается также в том, что наша страна поддерживает те резолюции международных организаций, например ЮНЕСКО, в которых говорится, что, во-первых, трагедия Голодомора не должна повториться, во-вторых, она должна изучаться во всем мире» [там же].

Как видим, интенсивная и относительно успешная интернационализация Голодомора стала возможной лишь тогда, когда за

[1] Визит откладывался несколько раз. Историческая политика в исполнении В. Ющенко была одной из причин достаточно настороженного отношения израильского политикума к нему. Особое раздражение вызвали действия главы государства по чествованию ОУН – УПА и лидеров украинского националистического движения, имеющих в Израиле стойкую репутацию антисемитов и соучастников уничтожения евреев во время Второй мировой войны. Визит проходил в том же году, когда главнокомандующий УПА Р. Шухевич был посмертно удостоен звания Героя Украины.

[2] Достаточно красноречивая деталь: интервью с послом Израиля было посвящено вопросам внешней политики Израиля. Голода 1932–1933 гг. касался лишь один вопрос, однако редакция поставила ответ на этот вопрос в заголовок статьи.

дело взялось государство. В этом процессе достаточно четко выделяются две составляющие: признание голода 1932–1933 гг. как факта истории и определение отношения к этому факту, и признание Голодомора геноцидом украинской нации. С первой составляющей у украинской власти особых проблем не возникало – активная деятельность президента и дипломатов была в этом смысле успешной, удалось даже запечатлеть термин *Голодомор* в международных официальных документах и в известной степени упрочить его.

Однако этот успех требует как минимум одного комментария. Действительно, мировое сообщество, наконец, пусть и с большим опозданием узнало об одной из самых страшных трагедий прошлого века. Украина добилась заслуженного сочувствия и понимания. В этом смысле кампания 2006–2008 гг. действительно была беспрецедентным успехом, по крайней мере с точки зрения количественных результатов. Однако нельзя не заметить красноречивого молчания стран – «тяжеловесов» европейской политики: Великобритании, Германии, Франции, Италии. Западная Европа отделалась резолюциями наднациональных организаций.

Также нельзя не заметить и обратного эффекта: назойливое культивирование собственных страданий и попытки объяснить ими свои сегодняшние проблемы, избыток виктимности, презентация себя как извечной жертвы планетарного масштаба привели к несколько сомнительным результатам. Довольно специфическая международная репутация Украины (коррупция, постоянный беспорядок во власти и политическая нестабильность, социальные проблемы, нестабильная экономика, неровные отношения с соседями и т.д.) дополнилась не менее специфическим маркером – нации-жертвы, которая чрезмерно культивирует этот статус. Такой образ жертвы может вызвать сочувствие, но вряд ли будет способствовать уважению. Международному образу Украины крайне не хватает положительных черт, и избрание Голодомора чуть ли не самым главным и важнейшим историческим символом страны является довольно сомнительным решением[1].

Что касается второй составляющей – признания голода 1932–1933 гг. геноцидом – результаты еще более сомнительны.

[1] В начале 1990-х, когда Украина была неизвестна миру, достаточно было, находясь где-то на Западе, сказать «Чернобыль», чтобы идентифицировать место. Теперь такие шансы есть у слова «голодомор».

Нетрудно заметить, что во многих случаях такое решение принималось законодательными органами стран или отдельных административных единиц в результате лоббистских усилий местной украинской диаспоры. В других – они были следствием сугубо политических соображений и решений, связанных с вопросами текущей политики, как внутренней, так и внешней (особенно в посткоммунистических и постсоветских странах). Гуманитарная составляющая этих решений была скорее выгодным фоном, усиливающим аргументом, чем главным движущим фактором. Провал усилий украинской высшей власти и дипломатии о признании Голодомора геноцидом на уровне международных организаций, резкое обострение отношений с Россией можно отнести к очевидным минусам кампании 2006–2008 гг.

Можно достаточно уверенно утверждать, что так же, как и во внутренней политике, на уровне политики международной, идеология вытеснила из проблемы признания голода 1932–1933 гг. ее гуманитарную, нравственную составляющую, минимизировала ее. Трагический пафос одной из масштабных гуманитарных катастроф прошлого века был транслирован в банальную, до тошноты примитивную, порой просто отвратительную риторику политиков, «отечественной» и международной бюрократии. Обе стороны, и та, что боролась за международное признание голода 1932–1933 гг. геноцидом, и та, что оказывала этому сопротивление, достигли наивысшего уровня взаимного неприятия и такой степени азарта, что сам предмет спора уже не имел для них самостоятельного значения. Самодостаточным стал сам конфликт, процесс соревнования.

Голодомор стал достоянием международного сообщества – но способ решения проблемы и предварительные результаты усилий украинского государства оставляют слишком много вопросов как относительно выбора темы, которую пытались сделать едва ли не основным культурно-историческим маркером Украины на будущее, так и относительно способов и интеллектуального качества репрезентации этой темы.

Список литературы

Біленький С. Конференція про Голодомор в Торонто. – Toronto, 2007. – 7 с. – Режим доступа: http://www.utoronto.ca/jacyk/Holod%20ukr.doc (Дата посещения: 25.02.2009.)

В. Ющенко: Страны, виновной в голодоморе, не существует // РБК. – М., 2006. – 24 ноября. – Режим доступа: http://pda.top.rbc.ru/politics/24/11/2006/67223.shtml (Дата посещения: 02.12.2008.)

Василенко В. Голодомор 1932–1933 годов в Украине: Правовая оценка // Дзеркало тижня. – Київ, 2008. – 4–10 жовтня, № 37. – Режим доступа: http://gazeta.zn.ua/SOCIETY/golodomor_19321933_godov_v_ukraine_pravovaya_otsenka.html (Дата посещения: 12.04.2013); 18–24 жовтня, № 39. – Режим доступа: http://gazeta.zn.ua/SOCIETY/golodomor_19321933_godov_v_ukraine__pravovaya_otsenka.html (Дата посещения: 12.04.2013).

Визнання голодомору 1932–1933 років актом геноциду Українського народу // Офіційне Інтернет-представництво Президента України. – Київ, 2007. – Режим доступа: http://www.prezident.gov.ua/content/p_150_18.html (Дата посещения: 31.10.2007.)

Висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України».– [Б. г.].– Архив автора.

Голод 1932–1933 років на Україні: Очима істориків, мовою документів. – Київ: Політвидав України, 1990. – 605 с.

Громадянська позиція літератури і перебудова. Доповідь О.Г. Мусієнка на партійних зборах Київської організації СПУ // Літературна Україна. – Київ, 1988. – 18 лютого. – С. 4–5.

Данилов В. У колхозного начала // Советская Россия. – М., 1987. – 11 октября, № 235. – С. 4.

Закон України «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні» // Верховна Рада України. – Київ, 2006.–1 грудня. – Режим доступа: http://zakon.rada.gov.ua/laws/anot/376-16 (Дата посещения: 27.08.2007.)

Заява учасників IV Міжнародної наукової конференції «Єврейсько-більшовицький переворот 1917 р. як передумова червоного терору та українських Голодоморів» // Персонал плюс. – 2005. – № 48 (147), 30 листопада – 6 грудня. – Режим доступа: http://www.personal-plus.net/147/224.html (Дата посещения: 12.04.2013.)

Звернення до Українського народу учасників спеціального засідання Верховної Ради України щодо вшанування пам'яті жертв голодомору 1932–1933 років // Верховна Рада України. – Київ, 2003. – Режим доступа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=789%2D15 (Дата посещения: 20.10.2007.)

Звернення наукової громадськості до Президента України Віктора Ющенка про запровадження постійної календарної дати вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. в Україні // Офіційне представництво Президента України. – Київ, 2006. – Режим доступа: http://www.prezident.gov.ua/content/p_150_23.html (Дата посещение: 29.11.2006.)

Звернення Президента України в День пам'яті жертв голодоморів // Офіційне представництво Президента України. – Київ, 2012. – 24 листопада. – Режим доступа: http://www.president.gov.ua/news/26134.html (Дата посещения: 19.04.2013.)

Звернення Президента України до Українського народу з нагоди 75-ї річниці Голодомору 1932–1933 років (22 листопада 2008 р.) // Офіційне представництво Президента України. – Київ, 2008. – 22 листопада. – Режим доступа: http://www.president.gov.ua/news/12121.html (Дата посещения: 28.11.2008.)

Звернення Президента України Леоніда Кучми до українського народу у зв'язку з Днем пам'яті жертв Голодомору та політичних репресій // Офіційне представництво Президента України. – Київ, 2003. – 9 березня. – Режим доступа: http://www.president.gov.ua/content/golodomor75_15.html (Дата посещения: 20.12.2003.)

Зина Калай-Латман: Израиль не может признать Голодомор актом этнического геноцида // Зеркало недели. – Киев, 2008. – 26 сентября. – Режим доступа: http://gazeta.zn.ua/POLITICS/zina_kalay-klaytman_izrail_ne_mozhet_priznat_golodomor_aktom_etnicheskogo_genotsida.html (Дата посещения: 14.04.2013.)

Ивженко Т. ФСБ покинет Крым раньше, чем Черноморский флот // Независимая газета. – М., 2009. – № 117 (4749), 15 июня. – С. 6.

Кабінет міністрів України Постанова від 26 жовтня 1988 р. № 1696 «Про 65-ті роковини голодомору в Україні» // Верховна Рада України. – Київ,1998. – Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1696-98-п (Дата посещения: 12.04.2013.)

Кабінет міністрів України Постанова від 10 вересня 1993 р. № 718 «Про вшанування пам'яті жертв голодомору в Україні у 1932–1933 роках» // Верховна Рада України. – Київ,1993. – Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/718-93-п (Дата посещения: 12.04.2013.)

Касьянов Г. Украина 1990: Бои за историю // Новое литературное обозрение. – М., 2007. – № 83. – С. 76–93. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/2007/83/ka8.html (Дата посещения: 12.04.2013.)

Касьянов В.Г. Danse macabre: Голод 1932–1933 рр. у політиці, масовій свідомості та історіографії, (1980-ті – початок 2000-х років). – Київ: Наш час, 2010. – 271 с.

Коваленко Л.Б., Маняк В.А. 33-й: Голод: Народна книга-меморіал. – Київ: Радянський письменник, 1991. – 584 с.

Кошторис витрат, пов'язаних з проведенням Днів Скорботи і Пам'яті жертв голодомору в Україні 1932–1933 рр. – Архив автора, 1993.

Кульчицкий С.В. Почему он нас уничтожал? – Киев: Украинская пресс-группа, 2007. – 207 с.

Кульчицький С.В. Демографічні наслідки голоду-геноциду 1933 р. в Україні // Геноцид українського народу: Історична пам'ять та політико-правова оцінка: (Міжнародна науково-теоретична конференція, Київ, 25 листопада 2000 р.). – Київ; Нью Йорк: Вид-во М.П. Коць, 2003. – С. 20.

Кульчицький С.В. До оцінки становища в сільському господарстві УСРР у 1931–1933 рр. // Український історичний журнал. – Київ, 1988. – № 3. – С. 15–23.

Курінна Л. «Україна пам'ятає, світ визнає». Про Голодомор 1932–1933 рр. має знати кожен // Закон&Бізнес. – Київ, 2007. – № 12, 24–30 березня. – С. 3.

Леонід Кравчук (Президент України): Ми не маємо права знехтувати уроками минулого! // Голодомор 1932–1933 рр. в Україні: причини і наслідки. Міжнародна наукова конференція. Київ, 9–10 вересня 1993 р.: Матеріали. – Київ, 1995. – 199 с.

Литвин В. Украина: Политика, политики, власть. На фоне политического портрета Л. Кравчука. – Киев: Альтернативы, 1997. – 334 с.

Матеріал Інституту історії України НАН України «Голодомор 1932–1933 років – геноцид в Україні». – Архив автора. – 1993.

Медведев Д.А. Послание Президенту Украины В.А. Ющенко // Президент России. – М., 2008. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/text/greets/2008/11/209176.shtml# (Дата посещения: 20.11.2008.)

Международная комиссия по расследованию голода на Украине 1932–1933 годов. Итоговый отчет 1990 г. – Киев: УкрЦЭНДИСИ, 1992. – 192 с.

Мейс Дж. Геноцид в Україні – «доведено…» // День. – Київ, 2003.–22 листопада, № 212. – С. 4–5.

Міжнародний координаційний комітет для планування відзначення 75-ліття Голодомору в Україні 1932–33 рр. – 2007. – № 1. – 7 с. – Режим доступа: http://www.ukrainianworldcongress.org/Holodomor/Komitet_Holodomor/Newsletters/Newsletter_1.pdf (Дата посещения: 27.08.2007.)

На годовщину Голодомора Луганские коммунисты плясали и жарили шашлыки // Лисичанский городской портал. – 2010. – 27 ноября. – Режим доступа: http://www.lisichansk.in.ua/1069-na-godovshhinu-golodomora-luganskie-kommunisty-plyasali-i-zharili-shashlyki.html (Дата посещения: 16.04.2013.)

Пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні // Офіційне представництво Президента України. – Режим доступа: http://www.president.gov.ua/content/golodomor_75.html (Дата посещения: 19.04.2013.)

Папуга Я. Західна Україна і голодомор 1932–1933 років. Морально-політична і матеріальна допомога постраждалим. – Львів: Астролябія, 2008. – 248 с.

Парламентські слухання «Щодо вшанування пам'яті жертв голодомору 1932–1933 років» 12 лютого 2003 року / Ред.: Д.В. Табачник, О.О. Зінченко, Г.Й. Удовенко; Верховна Рада Укоаїни, Кабінет Міністрів України. – Київ, 2003. – 203 с.

Парламентські слухання щодо вшанування пам'яті жертв голодомору 1932–1933 років: (Стенографічний звіт) // Верховна Рада України. – Київ, 2003. – 12 лютого. – Режим доступа: http://lib.rada.gov.ua/static/LIBRARY/povni_text/parlament_sluhan/golodomor.html (Дата посещения: 12.04.2013.)

Під прапором Великого Жовтня курсом перебудови. Доповідь члена Політбюро ЦК КПРС, першого секретаря ЦК Компартії України В.В. Щербицького на урочистому засіданні, присвяченому 70-річчю встановлення Радянської влади на Україні 25 грудня 1987 року // Радянська Україна. – Київ, 1987. – 26 грудня. – С. 70–78.

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України» // Архив автора. – 2007. – С. 2.

Президент України вніс на розгляд парламенту Закон України «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні» // Офіційне Інтернет-представництво Президента України. – Київ, 2006. – Режим доступа: http://www.president.gov.ua/news/4504.html?PrintVersion (Дата посещения: 12.04.2013.)

Про заходи у зв'язку з 70-ми роковинами голодомору в Україні. Указ Президента України // Урядовий кур'єр. – Київ, 2002. – № 60, 29 березня. – С. 10.

Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відповідальності за публічне заперечення факту Голодомору 1932–1933 років, як геноциду українського народу) // Верховна Рада України. – Київ, 2008. – Режим

доступа: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=31473 (Дата посещения: 24.01.2008.)

Пропозиції щодо вшанування 60-х роковин голодомору в Україні. – Архив автора. – 1993.

Республіканська програма розвитку історичних досліджень, покращення вивчення і пропаганди історії Української РСР // Український історичний журнал. – Київ, 1990. – № 11. – С. 3–9. – Режим доступа: http://www.history.univ.kiev.ua/russia/hist-europa/files/vyp.3/Kulchitskiy-Doc.pdf (Дата посещения: 12.04.2013.)

Романов П. Страсти по голодомору // РИА Новости. – М., 2008. – 19 декабря. – Режим доступа: http://www.rian.ru/society/20081219/157635179.html (Дата посещения: 20.12.2008.)

Россия празднует провал затеи Украины по Голодомору в ООН // Украинская правда. – Киев, 2008. – 24 сентября. – Режим доступа: http://www.pravda.com.ua/rus/news/2008/09/24/4451191/ (Дата посещения: 26.09.2008.)

Смертю смерть подолали: Голодомор в Україні 1932–1933 / Авт. колектив: П.П. Панченко (кер.), М.М. Вівчарик, А.І. Голуб, М.А. Журба та ін. – Київ: Україна, 2003. – 348 с.

Солженицын А. Поссорить родные народы? // Известия. – М., 2008. – № 58(27583), 2 апреля. – С. 1.

Турченко Ф.Г. Новейшая история Украины. 10 класс: Учеб. для уч-ся 10 кл. общеобразовательных учеб. заведений / Пер. с укр. – Испр. и доп. изд. – Київ: Генеза, 2002. – Ч. 1: 1914–1939. – 368 с.

Указ Президента України «Про встановлення Дня пам'яті жертв голодоморів» від 26.11.1998 № 1310/98 // Верховна Рада України. – Київ,1998. – Режим доступа: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1310/98 (Дата посещения: 12.04.2013.)

Указ Президента України «Про вшанування жертв та постраждалих від голодоморів в Україні» // Верховна Рада України. – Київ, 2005. – Режим доступа: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1544/2005 (Дата посещения: 12.04.2013.)

Указ Президента України № 1087/2005 «Про додаткові заходи щодо увічнення пам'яті жертв політичних репресій та голодоморів в Україні» // Верховна Рада України. – Київ, 2005. – Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1087/2005 (Дата посещения: 12.04.2013.)

Указ Президента України № 431/2007 «Про заходи у зв'язку з 70-ми роковинами Великого терору – масових політичних репресій 1937–1938 років» // Офіційне Інтернет-представництво Президента України. – Київ, 2007. – Режим доступа: http://www.president.gov.ua/documents/6153.html (Дата посещения: 31.03.2008.)

Указ Президента України № 868/2006 «Про відзначення у 2006 році Дня пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій» // Офіційне представництво Президента України. – Київ, 2006. – Режим доступа: http://www.president.gov.ua/documents/5087.html (Дата посещения: 12.04.2013.)

Указ Президента України № 38/93 «Про заходи у зв'язку з 60-ми роковинами голодомору в Україні» // Голос України. – Київ, 1993. – № 52 (552), 20 березня. – Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/38/93 (Дата посещения: 26.05.2013.)

Ющенко В. Выступление Президента Украины Виктора Ющенко на общих дебатах 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН // Офіційне представництво Президента

України. – Київ, 2008. – 24 вересня. – Режим доступа: http://www.president.gov.ua/ru/news/11415.html (Дата посещения: 26.09.2008.)

Ющенко не считает Россию виновной в Голодоморе // ИнА «Українські Новини». – Киев, 2008. – 8 июля. – Режим доступа: http://for-ua.com/ukraine/2008/07/08/150200.html (Дата посещения: 07.08.2008.)

Ющенко перезавантажив матрицю // Українська правда. – Київ, 2007. – 25 квітня. – Режим доступа: http://www.pravda.com.ua/news/2007/4/25/58014.htm (Дата посещения: 14.04.2013.)

Ющенко призвал Израиль признать Голодомор в Украине актом геноцида // Информационное агентство «УНИАН». – Киев, 2007. – 14 ноября. – Режим доступа: http://www.unian.net/news/221701-yuschenko-prizval-izrail-priznat-golodomor-v-ukraine-aktom-genotsida.html (Дата посещения: 18.11.2007.)

Янукович В. Слово Президента України до народу в День Пам'яті жертв Голодомору // Офіційне представництво Президента України. – Київ, 2010. – 26 листопада. – Режим доступа: http://www.president.gov.ua/news/18809.html (Дата посещения: 19.04.2013.)

Янукович не заперечує, що Бандера – герой, а Голодомор – геноцид // Тиждень.ua. – Київ, 2011. – 25 лютого. – Режим доступа: http://tyzhden.ua/News/17736 (Дата посещения: 19.04.2013.)

Янукович сказав депутатам ПАСЕ, що Голодомор – не геноцид // УНІАН. – Київ, 2010. – 27 квітня. – Режим доступа: http://eunews.unian.net/ukr/detail/193461 (Дата посещения: 19.04.2013.)

Bourgignon E. Bringing the Past into the Present: Family Narratives of Holocaust, Exile and Diaspora. Memory in an amnesic world: Holocaust, exile, and the return of suppressed // Anthropological Quarterly. – Washington, DC, 2005. – Vol. 78, N 1. – P. 63–88.

Coplon J. In search of a Soviet Holocaust. A 55-year-old Famine feeds the right // Village Voice. – N.Y., 1988. – January 12. – Mode of access: http://msuweb.montclair.edu/~furrg/vv.html (Дата посещения: 19.04.2013.)

H.RES. 356. Expressing the sense of the House of Representatives regarding the man-made famine that occurred in Ukraine in 1932–1933. – 2003. – 20 October. – 4 p. – Mode of access: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-108hres356ih/pdf/BILLS-108hres356ih.pdf (Дата посещения: 26.05.2013.)

Hayden R.M. «Genocide denial» laws as secular heresy: A critical analysis with reference to Bosnia // Slavic review. – Urbana, 2008. – 67, N 2. – P. 384–407.

Hobbins A.J., Boyer D. Seeking historical truth: The International Commission of Inquiry into the 1932–1933 Famine in Ukraine // Dalhousie law journal. – Halifax, 2001. – Vol. 24. – P. 139–191.

Human rights questions: Human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms. Doc. A/C. 3/58/9. – 2003. – 2 p. – Mode of access: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/604/02/PDF/N0360402.pdf?OpenElement (Дата посещения: 20.08.2010.)

Investigation of the Ukrainian Famine, 1932–1933. Report to the Congress. Commission on the Ukrainian Famine. – Washington, 1988. – 524 p.

Joint Statement on the Great Famine of 1932–1933 in Ukraine (Holodomor) at the United Nations. – 2003. – Mode of access: http://www.president.gov.ua/en/content/golodomor75_10.html (Дата посещения: 26.05.2013.)

Kościński P., Serwetnyk T. Spór o wielki głód // Rzeczypospolita.–2009.–17 czerwca. – Mode of access: http://www.rp.pl/artykul/321092.html (Дата посещения: 28.06.2009.)

Rewriting history: How Ukrainian nationalists imposed their doctored history on our high-school students // Capital Region.–1988. – March. – P. 44–46.

Riabchuk M. Holodomor: The politics of memory and political infighting in contemporary Ukraine // Harriman review. – N.Y., 2008. – Vol. 16, N 2. – P. 3–9.

Russian lawmakers reject Ukraine's view on Stalin-era famine // RIA Novosti. – Moscow, 2008. – April 2. – Mode of access: http://www.en.rian.ru/world/20080402/102830217.html (Дата посещения: 19.04.2013.)

S. RES. 202. A resolution expressing the sense of the Senate regarding the genocidal Ukraine Famine of 1932–33. – 2003. – 28 July. – Mode of access: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-108sres202is/html/BILLS-108sres202is.htm (Дата посещения: 26.05.2013.)

Spiegel G.M. Memory and history: Liturgical time and historical time // History and theory. – Middletown, CT, 2002. – Vol. 41, N 2. – P. 149–162.

Tottle D. Fraud, famine and fascism: The Ukrainian genocide myth from Hitler to Harvard. –Toronto: Progress Books, 1987. – 167 p.

Д.А. Аманжолова

СОВЕТСКОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О СОВЕТСКОМ ВЕКЕ

В новых независимых государствах, возникших после распада СССР, развитие исторической науки и политическое использование прошлого имело как сходные черты, так и существенные особенности.

Почти везде проявилось стремление максимально удревнить историю этнической государственности, актуализировать забытые или запрещенные и создать новые мифологические конструкции и символы. Если одни историки ограничивались восстановлением хронологии событий и избегали каких-либо оценок, то другие легко сменили плюсы на минусы, избирательно и конъюнктурно используя открывшийся доступ к новым архивным документам и другим источникам. К этому зачастую провоцировала новая культура СМИ, заряженных на скандалы и сенсации, да и заказ от властей новорожденных государств. Особенно это было характерно для первого десятилетия постсоветской истории.

Существенно изменилась география научных контактов. Произошло быстрое расширение всевозможных форм и структур взаимодействия историков бывшего СССР с коллегами из «дальнего зарубежья». В Казахстане считается престижным приглашение докладчиков из-за рубежа на многочисленные конференции, получающие сразу статус международных. Россияне в таких случаях приезжают далеко не часто и главным образом из приграничных региональных вузов, академические ученые из Москвы и Санкт-Петербурга – весьма редкие гости, да и специалистов по

Казахстану среди них очень немного. Между тем историки из США, Японии, Турции, Германии и т.д. проявляют постоянный интерес к стране с уникальными природными богатствами, создавая отделения своих фондов и институтов, приезжая с лекциями и мастер-классами, приглашая отдельных казахских ученых в свои университеты, и т.п.

Революционная эпоха конца XX в. дала массу примеров интеллектуального радикализма в истолковании старых и большого числа вновь открывшихся фактов, документов и свидетельств. Наиболее очевиден эффект бумеранга, когда взамен тотального господства урезанного, догматизированного и плохо осмысленного марксизма восторжествовал дискурс явно устаревшей и непродуктивной тоталитарной школы советологии. М. Левин справедливо подчеркивает, что основными тенденциями такого подхода являются сужение исследовательского взгляда до фигур вождей и деятельности центральных властных учреждений как единственных реальных движущих сил Советского государства, отсутствие внимания к историческому контексту [Левин, 2008, с. 17].

Проблематика современной казахстанской историографии весьма разнообразна, при этом советский период занимает в ней существенное место, а его историописание особенно эмоционально. Заметен перекос в пользу первой половины прошлого века: от революции 1917 г. и Гражданской войны до Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Действительно, в это время произошли принципиальные изменения в судьбе казахов: впервые возникла современная государственность, территорию которой Казахстан унаследовал в 1991 г.; была создана невиданная дотоле индустриальная база, появились города и современная социально-культурная инфраструктура. Одновременно именно тогда казахи пережили ужас насильственного оседания и коллективизации; как и все народы СССР, в результате массовых репрессий потеряли лучшую часть национальной элиты.

Собственно советский период, да и современная государственность начались в 1920 г. с образованием Казахской АССР в составе РСФСР, когда были определены сохранившиеся по сей день границы республики. Но этот сюжет не привлекает ныне внимания казахских историков: безоговорочное предпочтение в развитии государственности отдано Средневековью и короткой истории Республики Казахстан. В то же время конкретно-исторические

сюжеты именно автономного этапа советского Казахстана и отдельных его регионов занимают в исследованиях самое большое место. Среди них – разные аспекты культурного [Сүндетұлы, 2008; Тілегенова, 2006] и социально-демографического [Алексеенко Н.В., Алексеенко А.Н., 2000; Сдыков, Козина, 2000; Сугралимова, 2006; Балыкова, 2007; Козина, 2007; Население Западно-Казахстанской области… 2009; Аман, 2009; Самаркин, 2010] развития, вопросы административно-территориального устройства и формирования органов власти [Базаров, 2006; Исаев, 2009].

Для подавляющего большинства работ характерны прямая привязка обоснования актуальности к непосредственным задачам современного Казахстана с обязательным цитированием главы государства Н.А. Назарбаева; ритуальное, с разной степенью остроты формулировок, обвинение идеологии и политики «административно-тоталитарного режима» в многочисленных проблемах казахского общества и почти в той же мере ставшие ритуальными пассажи по поводу борьбы за сохранение этнической самобытности [Сүндетұлы, 2006, б. 33; Балыкова, 2007, с. 28].

Ж.Б. Абылхожин – один из авторов учебного пособия «История Казахстана и Центральной Азии» – придерживается известной версии о городском характере революции в Казахстане. Русское крестьянство, считает он, революционизировалось под влиянием внешней силы – рабочих городов и солдат из крестьян во время Гражданской войны и военного коммунизма, тогда как национальная деревня – в годы силовых реформ. По сути, здесь косвенно как бы признается правомерность тезиса Ф.И. Голощекина о «малом Октябре» и «советизации аула», озвученного в 1920-е годы. В создании советской империи в ходе национально-государственного размежевания он усматривает единство интересов местной советской маргинальной номенклатуры, как манипулятора национализма, с интересами Центра [История Казахстана и Центральной Азии, 2001, с. 429, 430, 437, 440, 443–444; Джагфаров, 2005, с. 5–19]. Казахские историки отвергают закономерность поражения национальной идеи и установления власти большевиков в Казахстане, так как «социалистические идеалы Октября не находили отклика» в казахских массах, заинтересованных «в то время лишь в восстановлении национальной государственности» [Асылбеков, 2003, с. 97]. Если довод по поводу отсутствия социалистических идеалов

вполне правомерен, то уровень этнополитического развития казахов в начале прошлого века скорее искусственно возвышается.

Вообще, тема предвзятости «центра» по отношению к Казахстану и нежелания «центра» предоставить политическую независимость республике стала весьма важной в изложении ряда авторов. Довольно явственно прослеживается стремление представить дело таким образом, что большевистский центр заботился не о формировании в стране в целом единого социального организма, устроенного на новых основаниях, а только о том, как бы нанести возможно больший урон именно казахам[1]. В то же время отстаивается тезис о единстве и сплоченности, высоком социально-профессиональном уровне национальной элиты, якобы успешно противостоявшей «зловредному» центру с его унитаристской политикой. На деле узкий круг вовлеченных во власть во время революции казахов был далеко не монолитным в силу разного образования, политического опыта, религиозности, зависимости от жузовых и родовых, персональных и иных ориентиров, а также личных амбиций.

Очевидно стремление современных казахстанских ученых обособиться от традиций советской исторической школы и стать независимыми участниками процесса исторических исследований. М. Татимов, ученый-демограф, член национального совета по государственной политике, в 1995 г. заявил: «Нашу историю может написать только наша интеллигенция. Я думаю, что мы в скором времени немножко оторвемся от российской зависимости» [цит. по: Масанов, Савин, 2004; см. также: Концепция становления… 1995; Стенограмма научно-практической конференции… 1995].

[1] Так, Г.А. Алпыспаева в книге «Астана в Новое и Новейшее время» (Астана, 2008) и докторской диссертации «Акмола, Целиноград, Астана: исторический путь становления и развития» (Караганда, 2009) подчеркивает, что история строительства нынешней столицы РК была реализацией как имперских, колониальных планов до 1917 г., так и «советских политических проектов, никак не связанных с национальными традициями в градостроительстве» [кочевого народа. – *Д.А.*]. И хотя город к 1980-м годам стал промышленным, «организационным, экономическим и культурным центром региона с научно-образовательным комплексом», а каждый третий брак был смешанным, казахи составляли лишь 9,9% горожан вследствие «русификаторской политики советского режима». Между тем проект японского архитектора Астаны на основе «целого ряда методологических концепций» создателя столицы Н.А. Назарбаева «впервые» реализован «с учетом интересов казахского народа» [см.: Алпыспаева, 2009, с. 15–16, 35, 34, 36, 37].

Показательно, что исторические труды в РК создаются почти исключительно этническими казахами. А. Ремнев считал: «…даже получив государственный суверенитет, казахи продолжают ощущать себя (и им об этом настойчиво напоминают школьные и вузовские учебники, музеи, СМИ) в неясной ситуации непреодоленного “внутреннего колониализма”, а интеллектуалы активно задействуют для его описания “дискурс угнетенного”» [Ремнев, 2011, с. 181].

В результате важной чертой новейшей историографии стала своеобразная географическая «приватизация», когда бывшие советские историки, разделенные новыми государственными барьерами, соответственно с ними ограничили и регион исследования. Одновременно произошло и заметное изменение источниковой базы исследований: выросли масштабы привлечения документов из местных архивов, региональных изданий и периодики, прежде всего на национальных языках. С одной стороны, это существенно обогатило конкретно-историческую картину, воссоздаваемую историками революции. Такой подход позволил ввести в научный оборот ранее не принимавшиеся во внимание документы, «изнутри» представлявшие ход событий, локально-региональную специфику, настроения местных активистов общественно-политического процесса и масс. Кроме того, становится более полифоничным, объемным, разноплановым восприятие уже известных фактов и явлений, они дополнялись новыми нюансами, менялись акценты интерпретации. В то же время богатейшие возможности российских архивов, где по известным обстоятельствам оказались сосредоточены часто наиболее ценные и важные источники, в силу финансовых, организационных и иных причин стали изучаться и использоваться казахстанскими учеными позже, и к тому же весьма избирательно и ограниченно, в том числе из-за дороговизны командировок в столицы бывшей империи. Широкомасштабная публикация разнообразных исторических источников далеко не всегда сопровождается должной историографической проработкой.

Еще одна серьезная примета времени – мобилизованный лингвицизм (определение М.Н. Губогло), играющий неоднозначную роль не только в политике, но и в современной историографии и источниковедении. За более чем пять лет участия в диссертационном совете по историческим наукам одного из региональных вузов РК мне не однажды приходилось поддерживать диссертантов,

обвинявшихся отдельными членами совета в использовании русскоязычных источников или русского языка для написания исследования, хотя официально защита диссертаций в РК разрешалась на любом из двух – казахском или русском.

Важной чертой казахстанской историографии является также регионализация исследований, вполне отчетливо совпадающая с традиционными границами расселения и реже – административно-территориального деления казахского населения [см., например: Идресова, 2007; Қуаныш, 2007; Сулейменова, 2007]. Особенно это заметно на примере работ по социально-экономическим проблемам и истории городов [Есеркепов, 2003; Қырықбаева, 2000; Ескендиров, 2000; Ескендиров, 2006; Кузутбаева, 2001; Асылбекова, 2006, с. 79; Ерниязов, 2007; Журасова, 2007; Костанайская область… 2007; Бердіғожин, 2009; Шаукенов, 2009; Әбденов, 2010 и др.]. Охватывая большие временные рамки вплоть до начала 2000-х годов авторы приводят много примеров индустриального и социально-культурного развития Казахстана под неусыпным контролем Москвы, приводившим к изменению этнического состава населения и русификации «интеллектуальной и технической жизни» [Шаукенов, 2009, с. 18].

Как считает А.К. Бисенбаев, «первые шестьдесят лет интенсивных изменений начала XX века проистекали при активном приспособлении к ним практически двух поколений людей. Высокая адаптивная способность в немалой степени объясняется мобильностью сознания кочевника, способного активно приспосабливаться к изменяющейся среде обитания. В связи с этим сохранились традиции, обычаи и ценности, казалось, далеких эпох. Тем более что… буржуазное классовое сознание не проявилось в высокой степени и на ментальном уровне. Попытки коммунистической партии увидеть традиционные классы в кочевой среде привели к общенациональной трагедии. В Казахстане баи и султаны были носителями иных социальных функций, нежели кулаки и дворяне в России, не говоря уже о высших классах Западной Европы. Поэтому классовые отношения, даже социалистические, не смогли преодолеть связи первичного типа» [Бисенбаев, 2003, с. 97].

Заметно стремление показать неоднозначность последствий социалистических преобразований экономики, социальной и культурной сферы. К примеру, Восточный Казахстан стал крупнейшим центром цветной металлургии и пищевой промышленности обще-

союзного значения, но однобокая сырьевая ориентация и снижение доли казахов в социально-демографической структуре «крайне отрицательно сказались на уровне и качестве жизни населения». В годы Великой Отечественной войны более 250 тыс. человек самоотверженно работали в местной Трудовой армии, но были забыты, а в послевоенный период промышленный комплекс края оказался «оторван» от других регионов Казахстана, причем представители «европейских национальностей» доминировали как в городах, так и на селе. Культура стала инструментом внедрения «господствовавших политических и партийно-государственных ценностей для духовного укрепления и упрочения общественно-политического строя» [Ескендиров, 2006, с. 11, 29, 31, 27, 12].

Пожалуй, самыми популярными темами исторической литературы стали репрессии и голод в Казахстане. Освещение репрессивной политики сталинского режима главным образом сводится к реконструкции биографий казахских политических деятелей, ученых, творческой интеллигенции. Современная казахстанская библиография изобилует примерами персонификации исторического пространства, прежде всего за счет представителей казахской интеллигенции начала прошлого века [Акбаев, 1994; Сеитов, 1996; Нұрпейісов, 1996; Мамраева, 1997; Пірманов, 1997; Нурпеисов, 1998; Канафин, 1999; Асылбеков, 2000; Байтелесова, 2000; Ермеков, 2000; Мустафа Чокаев и большевизм, 2000; Забих, 2001; Кул-Мухаммед, 1995; Асылбеков, Сеитов, 2003; Тәж-Мұрат, 2003; Аяган, 2005; Идресова, 2007; 1937–2007. Тауқымет пен тағзым, 2007; Ахметова, Григорьев, Шойкин, 2008], наиболее зримо подкреплявших своими биографиями этнополитический романтизм и актуализированные признаки досоветской идентичности. Они активно используются для становления нового самосознания и патриотизма (номадизм, регионально-жузовая стратификация этноса, ислам).

Это и понятно – их биографии складывались в эпоху революционных потрясений и кардинальных перемен в жизни казахского общества и особенно зримо воплощают наиболее характерные черты того периода, который имеет слишком важные последствия и по сей день. Трагические финалы выдающихся национальных деятелей оправдывают этнографическую ностальгию и идеализированные стереотипы самопрезентации современных интеллектуалов и общественных активистов, подкрепляют чувства исторической обиды, гордости и в то же время закономерности современной го-

сударственной самостоятельности Казахстана. Настроения казахской интеллигенции – конструктора общественных настроений – отражают слова из предисловия писателя О. Жанайдарова к одному из документальных изданий: «Каждая из этих страниц буквально вопиет о безвинных пострадавших, об исторической и социальной несправедливости, о жестокостях ушедшего в прошлое сталинского режима, о несправедливостях, геноциде, допущенных властями по отношению к коренной нации» [Движение Алаш, 2011, с. 6]. Ежегодно 31 мая отмечается в Казахстане как день жертв политических репрессий.

В то же время нельзя не видеть, что лишь панегирики в их адрес уже не могут удовлетворить общественный и исследовательский интерес к проблеме, выходящей за рамки комплиментарных жизнеописаний и ставших общим местом терзаний и негодования по поводу ужасов сталинского репрессивного режима. В парадигме однозначного противостояния казахской элиты советской власти [Койгельдиев, 1995; Қойгелдиев, 2004; Koigeldiev, 2007; Садыкова, 2001; Кыдыралина, 2008 и др.], где первые целеустремленно и до конца боролись за национальную независимость, а вторая столь же последовательно подавляла всякую самостоятельность и уничтожала возможности для этнокультурного процветания, нет места ответам на некоторые неизбежно возникающие вопросы.

Зачем «старые» националы – бывшие алашординцы пошли на сотрудничество с коммунистами и даже вступали в ряды правящей партии? Были ли казахские руководители КАССР органичной частью партийно-советской номенклатуры или до поры до времени вполне искусно мимикрировали в ней, пытаясь изнутри «подточить» новый строй и провести собственную линию вопреки установкам центра? Почему столь ожесточенной была внутренняя борьба между казахскими деятелями, участвовавшими в управлении республикой на разных должностях и уровнях и оказавшимися совсем не сплоченными «в борьбе с режимом»? Была ли политика центра исключительно унитаристской?

Публикация нелицеприятных фактов о поведении некоторых признанных в советское время национальных героев в межгрупповой борьбе и в условиях репрессий подчас приводила к ожесточенным дебатам между историками и сторонниками «невинной чистоты» персонажа, а также его родственниками. Проблема внутриэлитных отношений остается весьма чувствительной, и отзвуки истории, по-

жалуй, слишком очевидно становятся злободневными, особенно если учесть, как внимательно казахское общество относится к родоплеменной идентификации социальных страт и их лидеров, сохраняя ее непубличный формат [Омарова, б. г.; Шибутов, 2012].

Пожалуй, лишь сын известного советского деятеля Ураза Джандосова решился на весьма интересный и серьезный анализ сложнейшей ситуации взаимодействия большевистской доктрины социализма с этнополитической культурой казахов. Он справедливо указывает на сомнительность доказательной базы материалов следствия по делам националов в качестве источников и неправомерность распространившегося в казахской историографии искусственного сближения идейных позиций деятелей движения Алаш и первой когорты казахов-большевиков, выступавших с критикой радикализма советских преобразований в республике (С. Ходжанов, С. Садвокасов, У. Джандосов). Следует отметить и важный вывод А. Джандосова: национальные компоненты политической позиции таких казахов-коммунистов, проявивших себя как социальные реформаторы, были увязаны с социалистической идеей как привлекательной формулой мирового общественного прогресса.

Не менее ценны и его указания на такие слабости казахстанской историографии советской истории, как отрыв в освещении конкретно-исторических сюжетов от общесоветского контекста политической борьбы и эволюции властного режима, сводимого к злодеяниям единственного «посыльного» из злонамеренного Центра – Ф.И. Голощекина; признание национальной доминанты обязательной методологической нормой историописания при «аллергии» на классовые принципы большевизма; устойчивость традиционных социальных взаимосвязей и отношений, «перекочевавших» в советскую систему управления из дореволюционной (наиболее яркий пример – аткаминеры и лжебельсенды[1]); поверхностное и прямолинейное толкование термина «советизация» лишь в увязке с известным голощекинским постулатом о казахском ауле; пренебрежение анализом роли и влияния социалистических идей в среде казахских национальных демократов. Джандосов считает, что уже в 1927 г. Сталин совершил поворот от ленинской национальной политики к русской национально-

[1] Аткаминер до 1917 г. – волостной правитель, бий, аульный старшина, 50-ник; лжебельсенды – лжеактивист.

государственной традиции с коммунизированной великодержавностью. Автор справедливо подчеркивает, что соединение этнического и классового в социализме национальных деятелей, выраженное в том числе в политической биографии У. Джандосова, остается малоизученной и весьма актуальной для историографии советского общества темой [Джандосов, 2010]. Практически не признаются факты компромиссов и тем более конструктивных совместных действий местных и центральных аппаратов при решении близких по целям, характеру и методам задач развития объективно единого социально-экономического и политического организма, сложившегося задолго до образования СССР.

Одной из самых активно обсуждаемых страниц советской истории является коллективизация и связанный с нею ужасный голод в Казахстане (Великий джут) [Татимов, 1989; Асылбеков, Галиев, 1991; Коллективизация сельского хозяйства… 1990; Абылхожин, Козыбаев, Татимов, 1989; Козыбаев, Абылхожин, Алдажуманов, 1992; Насильственная коллективизация… 1998; Алексеенко, 2000]. Комиссия, созданная в 1992 г. при Президиуме Верховного Совета Республики Казахстан, провела большую работу по исследованию обстоятельств и причин голода. Опубликованы многочисленные исследования на русском и казахском языках. В столице Казахстана Астане в июне 2012 г. открыт памятник жертвам массового голода в связи с 80-летием трагедии. Как указывают представители власти, вследствие голода, а также от различных инфекционных заболеваний в 1930-е годы погибли 2 580 000 казахов, 800 тыс. – эмигрировали в другие страны. Из проживавших в республике представителей других народов от голода умерли 11% украинцев, 6 – русских, 8 – узбеков, 13 – уйгуров, 10 – татар, 11% немцев [см.: Настало время… 2012].

Между тем трагичным был и голод начала 1920-х годов, когда, по данным известного казахстанского демографа А.Н. Алексеенко, потери казахского населения составили 414 тыс. человек (18,5% титульного этноса), а поголовья скота – 46,5%. А.М. Мамырханова указывает, что всего в 1921–1922 гг. население республики сократилось на 876 201 человека. Демограф М.Б. Татимов подсчитал, что со времени восстания 1916 г. вплоть до окончания массового голода в 1922 г. погибли 850 тыс. казахов и 200 тыс. бежали за пределы родины [Алексеенко, 1993; Мамырханова, 1996; Тәтімов, 1992; Сдыков, 1995]. Основными причинами этого голода в пяти губерниях респуб-

лики, охватившего более 2,3 млн. человек, называются экономические, природно-климатические и политические факторы. В то же время показано, что при слабости и молодости органов советской власти, крайней неразвитости инфраструктуры и межрегиональных связей, обострении политической борьбы все же была создана достаточно эффективная организация борьбы с голодом и его последствиями, управляемая из Центра и обеспечившая большую помощь властей РСФСР [Мусаев, 2005].

Коллективизация же обернулась насилием власти над многими народами СССР. «Но все же, надо согласиться, такой массовой гибели одного народа вследствие силовой политики государства, когда потери составляют почти 50% численности, пока не знает человеческая история. Демографы констатируют тот факт, что если бы в те годы не было массового голода, в настоящее время численность нашего народа могла бы составить 45–50 миллионов человек», – заявил в запросе к премьер-министру РК К. Масимову сенатор М. Бактиярулы 5 апреля 2012 г. Он предложил установить памятники жертвам массового голода во всех областных центрах страны [Форум История Казахстана, б. г.].

Как справедливо отмечает А.Н. Алексеенко, «события эти часто рассматриваются излишне эмоционально, иногда в угоду политической конъюнктуре, что вольно или невольно искажает истину». Констатируя разброс мнений казахстанских историков и демографов по поводу количества пострадавших от голода казахов, он отметил тенденцию к постоянному увеличению числа жертв и несуразности в подсчетах ряда авторов [Алексеенко, 2000]. В частности, Т. Омарбеков, отрицая правомерность термина «геноцид», называл цифру: от 1700 тыс. до 2200 тыс. казахов. С ним согласен и директор Архива Президента РК В. Шепель. М. Татимов настаивает на признании геноцида и считает, что погибло 2300 тыс. казахов и 200 тыс. представителей других национальностей. Его поддерживает главный редактор журнала «Простор» В. Михайлов, несколько раз издавший книгу «Великий джут» [Форум История Казахстана, б. г.; Шепель, 2010; Тәтімов, 1993; Губайдулин, 2009].

Алексеенко на основе собственных достаточно убедительных исследований доказывает: с учетом всех возможных поправок потери казахского населения составили 1840 тыс. человек, или 47,3% от численности этноса в 1930 г. [Алексеенко, 2000]. Не подаваться эмоциям и признать участие разных социальных и этнокультурных групп в политике репрессий предлагает и американский специалист по Казахстану М.Б. Олкотт, считающая, что голод унес от трети до половины казахов: «Бремя ответственности за реализацию политики коллективизации и последующий голод должно быть распределено среди многих из тех, кто служил партии, с самого высокого уровня до самого низкого. Все они в той или иной степени продолжали проводить политику, которая, как им было известно, приводила к значительным человеческим потерям от голода» [Р. Киндлер: К вопросу… 2012].

На Международной научной конференции «Голод в Казахстане: трагедия народа и уроки истории», прошедшей в Астане 31 мая и 1 июня 2012 г., директор Института истории государства Комитета науки МОН РК Б. Аяган отметил, что численность казахов в республике в 1926 г. составляла 3 628 000 человек. Следующая перепись 1939 г. показала, что республика потеряла 1 300 000 человек, т.е. около 36% всей численности. По подсчетам ученых, с 1929 по 1931 г. в Казахстане произошли 372 восстания, в которых участвовали более 80 тыс. человек. Голод продолжался примерно до 1938–1939 гг. – получения нового урожая и установления спокойствия в степи. Часть казахов, перекочевавших в Россию, тогда вернулись на родину. Аяган заявил: «Масштабы трагедии были столь чудовищны, что мы с полной моральной ответственностью можем обозначить ее как проявление политики геноцида. Такая констатация вытекает из строгих норм международного права, зафиксированных в Международной конвенции “О предупреждении преступления геноцида и наказаний за него”» [В Казахстане поднимают вопрос… 2012].

Издание трехтомника историков России, Казахстана и Белоруссии «Голод в СССР. 1929–1934 гг.» завершится в 2013 г., но аккумуляция материалов и данных по этой важной проблеме, безусловно, останется одним из важных направлений казахстанской историографии.

С голодом и социалистическими преобразованиями тесно связан вопрос о миграциях советского периода. Эта тематика стала отдельным направлением историографии РК [Асылбеков, Галиев, 1991; Галиев, 1997; Под грифом секретности… 1998; Депортированные в Казахстан народы… 1998; Дильманов, 2002; Миграция в Центральной Азии… 2005; Мендикулова, 2006; Игнатьева, 2006;

Марданова, 2007; Атантаева, 2008; Жангуттин, 2010 и др.]. Казахстанские историки изучают в том числе и историю концлагерей, разных групп ссыльных, оказавшихся по воле государства на территории республики [см., например: Михеева, 2007; Елеуханова, 2009]. При оценке миграционных процессов ученые обращают внимание на изменения в этническом составе населения Казахстана, региональный срез динамики миграций, решающую роль государства. Так, академик РК М.Х. Асылбеков считает: социально-политические кампании советской власти привели к тому, что казахи на своей исконной территории оказались в национальном меньшинстве. З.Ж. Марданова ссылку в Казахстан рассматривает в контексте «репрессивной и колонизационно-освоенческой политики советского государства, во многом наследованной от царской России». Как карательная мера по ходу реализации она планомерно приобретала новые качества спецколонизации, а территориальный потенциал Казахстана выдвинул его на ключевые позиции в репрессивно-освоенческой стратегии государства. Казахстан стал уникальной макрогеографической зоной, на территории которого пересекались и взаимодействовали все миграционные потоки. При этом с 1931 г. исходный административно-репрессивный фактор ссылки как составной части комплекса мероприятий по поддержанию тоталитарного режима по ходу ее реализации уступил экономическому приоритету. Средства, затраченные на принудительную миграцию, при ее иррациональном характере не оправдались [Асылбеков, Галиев, 1991; Марданова, 2007].

Г.М. Мендикулова, Б.Ж. Атантаева и Б.О. Жангуттин приводят массу новых статистических данных и систематизированные материалы о динамике, направленности, социально-демографических последствиях миграционных процессов, в том числе в советское время. Атантаева рассматривает различные типы миграции (в связи с голодом, неурожаем и джутом, коллективизацией, эмиграцией в Китай ссыльнопоселенцев в 1950-е годы, освоением целины, полиэтничной миграцией из Китая в начале 1960-х годов и др.) и анализирует меры советского государства по оказанию помощи в переезде и устройстве репатриантов на новом месте [Атантаева, 2008, с. 35].

Б.О. Жангуттин также усматривает преемственность колонизационной политики Российской империи и Советского государства, направленной на освоение ресурсов республики. Россия являлась центром, миграция из которого в значительной мере влияла на со-

циально-экономическое и демографическое развитие Казахстана. Им впервые проведен детальный анализ миграционных потоков славянского населения в Казахстан в 1930–1950-е годы; впервые в казахстанской историографии военный плен рассмотрен как форма миграций. Автор установил, к примеру, что в состав депортированных в 1940-е годы входили наряду с немцами, калмыками, народами Северного Кавказа и Крыма также и русские. На спецпоселении оставались поляки, в 1936 г. составлявшие 79,8% данного контингента. Значительной была численность «ОУНовцев» – 7235 человек (17,8%,). В 1954 г. 85% прибывших из Китая составили русские. Историк отмечает: славяне играли важную системообразующую, интегрирующую роль в обществе, в функционировании и развитии единого экономического комплекса, в образовании и т.д. К началу 1990-х годов постепенно обозначились новые тенденции: изменялась численность населения, повышался удельный вес количества казахов, рос их общеобразовательный уровень, обострялась ситуация на рынке труда. Распад СССР привел к резким изменениям в статусе славянского населения, в его «самочувствии» появляются дискомфортные черты. «Многие представители славян не ощущали себя полноправными гражданами в новых независимых государствах, испытывали тревогу за свои социально-экономические, национально-культурные права и интересы. В этом плане наша республика не оказалась исключением» [Жангуттин, 2010, с. 20–35]. В эти годы наметилась тенденция роста отрицательного сальдо миграции.

Весьма значительное место в казахстанской историографии занимают различные аспекты этнополитики, развития этнических групп, межэтнических коммуникаций, причем практически все этнические общности и группы, населяющие Казахстан даже с весьма далеких времен, определяются как диаспоры [Волкова, 1998, с. 93–104; Левковский, 2000, с. 203–206; Абуов, 2001, с. 77; Муканова-Хуршудян, Хуршудян, 2003, с. 216; Мулдахметова, 2001; Балтабаева, 2003; Ражепаева, 2008; Сарсенов, 2008; Ямшанова, 2009; Аманова, 2009]. В интерпретации этнополитики по отношению к казахам неизменным остается страдательный залог. Типичным образцом подобного рода работ являются труды Ж.У. Кыдыралиной, которые демонстрируют специфику современных этноидентификационных и социально-политических процессов в среде гуманитарной интеллигенции РК. Автор показала поэтапное развитие и эволюцию форм, событийную канву этнополитических и этно-

культурных конфликтов с властью социально активной части казахского общества, специфическое преломление общегосударственной практики подавления инакомыслия и этнокультурной самобытности в Казахстане в советское время. Важным достоинством ее работ является внимание к проблемам этнических меньшинств, конфессионального развития разных групп казахстанского общества в советский период.

Ж.У. Кыдыралина старается проследить качественную эволюцию этнического самосознания, прежде всего на примере казахской интеллигенции начала прошлого века, в том числе в проявлениях идеологии тюркского единства в эмигрантской среде. Она приводит сведения о дискуссиях по поводу методов и содержания модернизации в рамках создания мобилизационной экономики, о деятельности легальных и подпольных «националистических» организаций и групп в советском Казахстане. При этом попытки «правоверных коммунистов» из националов добиться адекватного специфическим условиям Казахстана баланса прав и полномочий с центром преподносятся как борьба за независимость. Реконструируя конкретно-историческую картину трансформации повседневной праздничной культуры, коренизации кадров, письменности, просвещения в рамках идеологии советского интернационализма, историк базируется на источниках из ранее закрытого архива КГБ СССР. Кыдыралина ввела в научный оборот данные спецсообщений о враждебных проявлениях со стороны лиц, высланных из Чечено-Ингушской АССР; «о настроениях, негативных процессах и автономистских проявлениях» со стороны советских немцев, в среде русского казачества, крымских татар, турков-месхетинцев; творческой уйгурской интеллигенции, ранее проживавшей в Китае; о «проявлениях политической активности немцев» в Целиноградской и Кокчетавской областях, о «состоянии пропаганды и внедрении прогрессивных традиций и обычаев в быт трудящихся», о религиозной обстановке, о мусульманских обрядах и праздниках в республике и т.д.

Как и другие казахские авторы работ по советскому периоду, она необоснованно увлеклась устаревшей концепцией западной «тоталитарной школы» советологии [Кыдыралина, 2007, 2008 a, 2008 b]. В итоге игнорируется более объективная и обоснованная концепция, убедительно реализуемая известными и весьма авторитетными учеными (Т. Мартин, Р. Суни, М. Левин, В. Тишков,

А. Миллер, С. Чешко и мн. др.), признающая сложную и немонологичную динамику основных парадигм и конкретного воплощения этнополитики в СССР на разных этапах ее реализации. У Кыдыралиной же получается, что тоталитаризм был единственной концептуальной основой функционирования советского общества и государства на протяжении всей их истории [Кыдыралина, 2008 a, с. 109].

Вряд ли этнические архетипы казахской культуры, отличающиеся замечательной пластичностью и адаптивностью, смогли бы сохраниться, несмотря на всевозможные модификации и перипетии национальной жизни, если бы власть использовала исключительно жестокие репрессии против этничности. Существо советской этнополитики было амбивалентно, она включала не только диктат и насилие, но и бюджетное, организационное и социально-культурное спонсорство, облеченное в коммунистическую идеологию. На деле складывался сложный комплекс противоборств и компромиссов между народами, их этническими активистами и властью в СССР, а сама патерналистски ориентированная власть успешно эксплуатировала фундаментальные основания и ценности народов – патриархальность, патриотизм, коллективизм, толерантность, терпение и т.д.

Если мы признаем общеизвестное положение о том, что без прошлого нет настоящего и будущего, то надо признать и истоки современного Казахстана в советской истории. Говоря о «колониальной политике советского имперского режима», историк в то же время пишет, что советская история стала «периодом окончательного формирования и роста многовекового национального самосознания», чему способствовали и национальное строительство, и создание «политической и территориальной идентичности» казахов, и политика коренизации, приведшая к складыванию интеллектуальной и политической элиты [Кыдыралина, 2008 a, с. 252–257].

Кыдыралина солидарна с известным казахским специалистом по истории движения Алаш М. Койгельдиевым, почти буквально повторяя за ним: «Казахский национализм был ответной реакцией на колониальную политику советского имперского режима. Он имел оборонительный, защитный характер» и «много-

гранные формы, контексты и смыслы: инстинктивный, духовный, естественный и т.д.» [Кыдыралина, 2008 b, с. 26][1].

К сожалению, за пределами внимания остается исключительно важная научная проблема – внутриэтнические процессы, связанные с трансформацией социальной структуры казахского общества. Как социальная и культурная модернизация повлияла на политико-правовую и этническую культуру, на динамику самосознания этноса? Насколько единым был народ или он «разрывался» советской внутренней политикой?[2]

Изменение проблематики исследований связано с популяризацией идей консолидации тюркского и мусульманского сообществ, усилением конфессионального фактора, изменением геополитических ориентиров молодых государств и выразилось в создании трудов по темам, ранее находившимся на периферии научных интересов. Интересные данные обобщаются и анализируются в трудах по истории конфессий и конфессиональной политики в КазССР [Султангалиева, 1998; Нургалиева, 2005; Мухтарова, 2007; Тимофеева, 2007; Тасмагамбетов, 2008]. По мнению А.М. Нургалиевой, антирелигиозная политика в Казахстане 1920–1930-х годов не отличалась своеобразием, укладываясь в рамки общегосударственной схемы, а репрессии не смогли подавить активизацию религиозных настроений среди мусульман, в том числе казахских [Нургалиева, 2005, с. 187–188, 192].

Г.Д. Мухтарова также считает, что в советской истории имели место не только «смиренное присутствие казахов-мусульман, но и их деятельная религиозная жизнь, активные и пассивные формы сопротивления антирелигиозным акциям, индивидуальные и коллективные религиозные практики». Однако историк гораздо более категорична в оценках советской политики в отношении ислама в Казахстане: религиозные организации власть считала экономическим конкурентом; пренебрегала конфессиональной самобытностью мусульманских народов; ислам находился в неравном положении с православием, поскольку считался вредным пережитком, а православие – частью русской культуры. Репрессии против духовенства и верующих, закрытие храмов, сознательное манипулирование историческим сознанием мусульман, политическое недоверие и систематическое подавление национальных духовно-культурных свобод, политических притязаний и гражданских инициатив мусульман, упущенные возможности творческого восприятия и учета исламской реальности – таковы характерные черты политики советского государства. При этом во все периоды советской истории ислам у казахов оставался устойчивой данностью, обнаруживая в кризисных ситуациях высокую жизнеспособность. Более того, по мнению Мухтаровой, процесс формирования советского атеистического общества закономерно привел к росту этнического самосознания мусульманских народов, что проявилось в 1980-е годы. Показывая и потери в религиозной культуре казахов за советский период (кризис нравственности, вера без должного знания), Мухтарова объясняет: государственно-религиозные отношения в СССР отражали цивилизационный конфликт. Казахский народ своим духовным опытом обеспечил «высокое совпадение результатов исторического развития с достижениями в мировом пространстве», а потому «роль ислама в советском казахском обществе была позитивной» [Мухтарова, 2007, с. 6, 248, 253–255].

Меньшее место в современной казахстанской историографии занимают изучение истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (здесь преобладает мемуарная и публицистическая литература) [На всех фронтах… 1995; Бырбаева, 1996; Иллюстрированная история Казахстана, 2005; Иллюстрированная история Казахстана, 2006; Муханбеткалиев, 2009; Могильницкий, 2010; Қарсыбаева, 2010], эволюции советской системы в 1950–1991 гг. на примере отдельных областей – экономики, культуры, науки и т.д. [Баймагамбетов, 2004; Сулейменова, 2007; Зуева, 2009; Турова, 2009; Байжумин, 2010]. Впрочем, принципиальная оценка советской системы распространяется и на этот период. Как считает С. Мажитов, тоталитарный режим послевоенного СССР отражал «имперский дух, идеология которого постаралась сделать все, чтобы потомки не могли узнать правду о своей национальной исто-

[1] У Койгельдиева находим: «Казахский национализм – это оборонительный национализм. Это защитная реакция против колонизаторской политики России» [цит. по: Кыдыралина, 2008 a, с. 252].

[2] Эти вопросы применительно к довоенному периоду на основе теории модернизации освещает Абылхожин Ж.Б. в упомянутом учебном пособии [Козыбаев, Абылхожин, 1992], а также в монографии «Традиционная структура Казахстана: Социально-экономические аспекты функционирования и трансформации» [Абылхожин, 1991]. Он же является автором соответствующего раздела в многотомной «Истории Казахстана» [История Казахстана с древнейших времен… 2010].

рии» [Мажитов, б. г.]. Практически нет исследований по проблемам развития политической ситуации в эти годы в КазССР.

Увы, «новации» в изучении Великой Отечественной войны не внушают оптимизма. В подготовленной Институтом истории и этнологии им. Ч.С. Валиханова НАН РК структуре нового 10-томного издания истории Казахстана в 13 книге 7 тома в разделе «Казахстан накануне и в период Второй мировой войны (1939–1945)» глава XVI названа: «Казахстан в советско-германской войне 1941–1945 гг.». Подобная трансформация в трактовке героического прошлого, остающегося важной нравственной ценностью, представляется весьма недальновидной для сохранения преемственности поколений, формирования консолидированного исторического сознания и памяти общества, самой исторической правды и героических подвигов казахстанцев ради Отечества в тылу и на фронте [Структура многотомника… 2012, с. 167].

Более всего не повезло «хрущёвскому» и особенно «брежневскому» периодам, а также последнему 10-летию СССР. Общую оценку этого времени можно найти в 4 томе «Истории Казахстана», где обращается внимание на «проблемы экстенсивного развития экономики республики как сырьевого придатка общесоюзного военно-промышленного комплекса, нанесшего непоправимый ущерб экологии» [История Казахстана с древнейших времен… 2010, с. 9].

Одно из активно обсуждавшихся в 2004 г. в РК событий поздней советской истории – освоение целины. Посвященный ей раздел «Истории Казахстана» можно считать резюмирующей частью дискуссии. Он написан Ж.Б. Абылхожиным, который считает «целинный маневр» средством реанимирования «входившей в состояние комы Системы», отодвинувшей агонию на долгие годы. Он обращает внимание на трудовой подвиг советского народа и казахстанцев, на использование целины как символа восприятия образа Казахстана, сознательно создаваемого руководством страны и республики. Главное же – советская модель экономического развития была глубоко иррациональной, а потому освоение целины оказалось экологически нерациональным, экономически нецелесообразным («вряд ли кто знает, какова действительная цена экономических издержек легендарных казахстанских миллиардов пудов хлеба»; обострились региональные противоречия в развитии производительных сил республики) и социально неэффективным, несмотря на создание «обширной социальной и производственной

инфраструктуры». Отмечен рост динамики интернационализации общественной жизни из-за сужения ареала функционирования казахского языка, объективной угрозы социокультурным и другим институтам системы жизнеобеспечения казахского этноса, что сказалось и на межнациональных отношениях. Раскрытие огромного потенциала целины автор связывает с реформаторскими устремлениями РК к рынку [История Казахстана с древнейших времен… 2010, с. 587–594].

Специфические повседневные практики и идентичности, которые сложились в советское время у населения независимо от религиозной и национальной принадлежности, сохраняют свою роль и по сей день [Абашин, 2011, с. 193–210]. Меж тем основными символами, формирующими образ советского прошлого через умножающиеся издания, фильмы, конференции, мемуары, книги и места памяти, школьные учебники и пр., становятся голод, террор и сталинская диктатура, война, экологический ущерб вследствие освоения целины и испытаний ядерного оружия под Семипалатинском.

По мнению Ремнева, «казахстанские историки продолжают плутать в четырех соснах колониализма, русификации, советизации и модернизации. Их рассуждения позволяют допустить, что советизация вызывала у казахов большее неприятие, чем русификация, что оставляет возможность признания плодотворности влияния русской культуры. Остающийся популярным цивилизационный подход ориентирован, прежде всего, на декларирование нереализованной в прошлом возможности казахского социума проложить свой путь в современность, а культивирование кочевых традиций и стремление таким образом вернуться к прежней исторической идентичности остаются иллюзорными, несмотря на важность сохранения азиатского наследия. Таким образом, постколониальные устремления казахских интеллектуалов оказались в известной мере переключенными на осмысление того влияния, которое оказал “имперский и советский колониализм” на казахов, на поиск способа преодолеть “колониальное прошлое” изнутри, независимо от того, было оно реальным или воображенным» [Ремнев, 2011, с. 184–185].

Преемственность в развитии общества, находившегося последовательно в составе Российской империи и СССР, объективно неизбежна, но признание этой очевидности совсем не обязательно должно вести к безоговорочно отрицательной оценке результатов

и последствий пребывания народа в огромном государстве, как это часто наблюдается в казахстанской историографии. Социологи установили, что молодежь Казахстана, а также Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, в основном позитивно воспринимает советский период истории, причем во многом историческое сознание воспроизводится в семье, а уж потом на него влияют внешние факторы [Исследовательский проект… 2009]. Как справедливо заметил С.З. Зиманов: «История СССР – наша история, еще не ставшая прошлым. Она наш вчерашний день, еще не успевший скрыться за горизонтом живой памяти. Во многом мы еще живем в ней и ощущаем свою временну́ю связь с нею. Как бы мы ни относились… к тому, что произошло за 70 лет Советской власти, – диктатура и репрессии, рост экономики, науки и образования, имперская политика и русификаторство – она останется, будет сказываться долгие годы на политике, на людях, на их делах» [Зиманов, 1998, с. 4].

Неоднократные встречи с казахстанскими историками и студентами, лекции и конференции, семинары и дискуссии подтверждают: все названные явления получают своеобразное преломление в толковании и «эксплуатации» прошлого в зависимости от возраста, образования, гражданской ответственности, социального статуса, культуры межэтнических коммуникаций людей. Дифференциация мнений относительно событий и персонажей советской истории объяснима. При этом и избирательная память переживших советскую историю старших поколений, и волнения не знавшей этого опыта молодежи по поводу призраков российской угрозы по поводу создания Таможенного союза актуализируют прежде всего те образы советскости, которые отражают современные озабоченности людей. Среди ценностей, ностальгически связываемых с СССР, как правило, присутствуют стабильность, предсказуемость, безопасность, социальная защищенность, коллективизм и уважение к труду, нравственное целомудрие приватных практик, интернационализм (толерантность), дружелюбие и открытость общения. Есть надежда, что эти базовые императивы сохранят свой непреходящий смысл как в повседневных практиках граждан РФ и РК, так и в интернациональных по своей природе и назначению научных исследованиях.

Список литературы

1937–2007. Тауқымет пен тағзым / Құраст. Б. Төлепберген. – Алматы: РИИЦ Азия, 2007. – 296 б. – Казах. яз.

Абашин С. Нации и постколониализм в Центральной Азии двадцать лет спустя: Переосмысливая категории анализа / практики // Ab Imperio. – Казань, 2011. – № 3. – С. 193–210.

Абуов Н. Тамырство крепче дружбы // Мысль. – Алматы, 2001. – № 7. – С. 77–79.

Абылхожин Ж.Б. Традиционная структура Казахстана: Социально-экономические аспекты функционирования и трансформации, 1920–1930 гг. – Алма-Ата: Ғылым, 1991. – 240 с.

Абылхожин Ж.Б., Козыбаев М.К., Татимов М.Б. Казахстанская трагедия // Вопросы истории. – М., 1989. – № 7. – С. 25–32.

Акбаев Ж. Жанша. Күнбатыс Алашорданың төрағасы Ж. Досмұхамедұлы туралы тарихи әңгіме. – Орал қаласы: [Б. и.], 1994. – 219 б. – Казах. яз.

Алексеенко А.Н. Население Казахстана в 1926–1939 годы // Компьютер и историческая демография: Сб. научных статей / Ред. В.Н. Владимиров. – Барнаул, 2000. – С. 9–26.

Алексеенко А.Н. Сельское население Казахстана в 1920–1990 гг. – Алматы: Ғылым, 1993. – 126 с.

Алексеенко Н.В., Алексеенко А.Н. Население Казахстана за сто лет (1897–1997 гг.). – Усть-Каменогорск: Полиграфия, 1999. – 157 с.

Алпыспаева Г.А. Акмола, Целиноград, Астана: Исторический путь становления и развития: Автореф. дис. … докт. ист. наук. – Караганда, 2009. –51 с.

Алпыспаева Г.А. Астана в Новое и Новейшее время / Под ред. Абжанова Х.М. – Астана: АО «Астана полиграфия», 2008. – 276 с.

Аман А.Б. Батыс Қазақстанның ауыл халқы: Тарихи-демографиялық аспект (XX ғасырдың 20–80 жылдары): Тарих ғылым. канд. ... автореферaты. – Орал, 2009. – 31 б. Казах. яз.

Аманова А.С. Социально-культурное развитие диаспор Северо-Восточного Казахстана в 1937–2005 гг. (на материалах Павлодарской области): Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Караганда, 2009. – 30 с.

Асылбеков М. Турар Рыскулов и Мухамеджан Тынышпаев на Турксибе // Мысль. – Алматы, 2000. – № 7. – С. 70–73.

Асылбеков М.Х. Алихан Букейхан – общественно-политический деятель и ученый. – Алматы: Оркениет, 2003. – 148 с.

Асылбеков М.Х., Галиев А.Б. Социально-демографические процессы в Казахстане, (1917–1980 гг.). – Алматы: Ғылым, 1991. – 191 с.

Асылбекова Ж.М. К вопросу о развитии национальных индустриальных кадров (1917–1939): Индустриализация в Казахстане // История Казахстана: Преподавание в школах и вузах. – Алматы, 2006. – № 3. – С. 79–85.

Атантаева Б.Ж. Казахстанско-китайские межгосударственные миграции в середине XIX – начале XXI в.: Автореф. дис. … докт. ист. наук. – Алматы, 2008. – 50 с.

Ахметова Л.С., Григорьев В.К., Шойкин Г.Н. Алихан Букейханов. Поиск ориентиров. Ахмет Байтурсынов. Главное – обретение государственности. Турар Рыскулов. Яркий политик советского Востока. – Астана: [Б. и.], 2008. – 160 с.

Аяган Б. Красные и черные: Материалы Гуверовского архива. – Алматы: Ќазаќ энциклопедиясы, 2005. – 240 с.

Базаров К.Т. Административно-территориальные реформы в Казахстане (на примере северного региона, 1920–1936 гг.): Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Уральск, 2006. – 27 с.

Байжумин Д.А. Вклад академика А.С. Сагинова в развитие образования, науки и производительных сил Центрального Казахстана: Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Караганда, 2010. – 27 с.

Баймагамбетов С.З. Социально-культурное развитие Республики Казахстан, (1980–2000 гг.): Исторический анализ: Автореф. дис. … докт. ист. наук. – Алматы, 2004. – 54 с.

Байтелесова Ж. Он был вождем интеллигенции. Роль А. Байтурсынова в формировании взглядов казахской интеллигенции начала XX века // Мысль. – Алматы, 2000. – № 10. – С. 70–73.

Балтабаева А.М. Культурное развитие этносов Восточного Казахстана в 1917–1940 годах (исторический аспект): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Алматы, 2003. – 25 с.

Балыкова А.М. Батыс Қазақстанның қала халқы: әлеуметтік-демографиялық аспектісі (1926–1989 жж.): Тарих ғылым. канд. ... авторефераты. – Орал, 2007.– 26 б. – Казах. яз.

Бердіғожин Л.Б. Қазақстанның мұнай-газ өндірісі саласындағы жұмысшы, инженер-техникалық кадрларының қалыптасуы және өсуі (1890–1990 жж.): Тарих ғылым. докт. ... авторефераты. – Орал, 2009. – 44 б. – Казах. яз.

Бисенбаев А.К. Другая Центральная Азия. – Алматы, 2003. – Режим доступа: http://www.kyrgyz.ru/?page=165 (Дата посещения: 19.01.13.)

Бырбаева Г.Б. Женщины Казахстана в годы Великой Отечественной войны (проблемы историографии): Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Алматы, 1996. – 25 с.

В Казахстане поднимают вопрос о «геноциде» – голоде 30-х годов. – 2012. – 4 июня. – Режим доступа: http://www.centrasia.ru/news.php?st=1338795480 (Дата посещения: 4.06.2012.)

Волкова Т.П. Взаимоотношения немецкого населения Казахстана и органов власти в конце 20-х – нач. 30-х годов // История немцев Центральной Азии: Материалы междунар. науч.-практ. конф. (г. Алматы, 10 окт. 1997 г.). – Алматы, 1998. – С. 93–104.

Галиев А. Этнодемографические и миграционные процессы в Казахстане в XX в. // Евразийское сообщество: Экономика, политика, безопасность. – 1997. – № 4. – С. 199–226.

Губайдулин О. Степной голодомор // Караван. – Алматы, 2009. – 9 января. – Режим доступа: http://www.caravan.kz/article/11344 (Дата посещения: 20.01.13.)

Движение Алаш: Сборник материалов судебных процессов над алашевцами: В 3 т. / Авторское изд. проф. Т.К. Журтбая; Министерство связи и информации Республики Казахстан. – Алматы: Ел-шежіре, 2011. – Т. 1: Документы, допросы и ответы. Синхронные переводы. Материалы судов. Конфискованные письма. – 428 с.

Депортированные в Казахстан народы: Время и судьбы / Сост. Г. Анес. – Алматы: Арыс-Казакстан, 1998. – 428 с.

Джагфаров Н.Р. Как это было: Зарождение режима личной, тоталитарной власти в стране, (1917–1921 гг.) // Политическая история Казахстана: Первая половина XX века: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. (29 окт. 2004 г.). – Алматы, 2005. – С. 5–19.

Джандосов А.У. Дихотомия «классового» и «национального» в реформаторской деятельности У.К. Джандосова: Историографические и теоретические аспекты (1925–1927 гг.) // У.К. Джандосов и особенности социокультурного развития Казахстана в 1918–1938 гг.: Материалы научной конференции (Алматы, 21 мая 2009 г.). – Алматы, 2010. – С. 56–132.

Дильманов С.Д. Исправительно-трудовые лагеря на территории Казахстана (30–50-е гг. XX в.): Дис. …докт. ист. наук. – Алматы, 2002. – 350 с.

Елеуханова С.В. История Карлага: Охрана, режим и условия содержания заключенных: Автореф. дисс. … канд. ист. наук. – Караганда, 2009. – 30 с.

Ермеков М.А. О роли государственного деятеля Алимхана Ермекова в становлении Казахстана // Саясат. – Алматы, 2000. – № 2–3. – С. 116–118.

Ерниязов Д.К. История транспортных связей Западного Казахстана, (1977–2003 гг.): Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Уральск, 2007. – 30 с.

Есеркепов А.К. Социально-экономическое развитие Западного Казахстана во второй половине XX века (на примере Актюбинской области): Дисс. … канд. ист. наук. – М., 2003. – 214 с.

Ескендиров М.Г. Силовая модернизация в Восточном Казахстане, (1926–1939 гг.) / Отв. ред. Е.Б. Садыков. – Семипалатинск: [Б. и.], 2000. – 209 с. – (М-во образования и науки РК).

Ескендиров М.Г. Социально-экономическое развитие Восточного Казахстана (вторая половина XIX – начало XXI в.): Автореф. дис. … докт. ист. наук. – Семипалатинск, 2006. – 54 с.

Әбденов А.Ж. Батыс Қазақстандағы мұнай тасымалы құбырларының қалыптасуы: тарих және бүгін (1920–2001 жж.): Тарих ғылым. канд. ... авторефераты. – Қарағанды, 2010. –25 б. – Казах. яз.

Жангуттин Б.О. Формирование славянского населения в Казахстане (численность, миграционный процесс в конце XIX–XX в.): Автореф. дис. … докт. ист. наук. – Алматы, 2010. – 50 с.

Журасова А.Ш. Орал қаласының тарихы: әлеуметтік-экономикалық және мәдени даму аспектілері (1946–2000 жж.): Тарих ғылым. канд. ... авторефераты. – Орал, 2007. – 26 б. – Казах. яз.

Забих Ш.А. Публицистическая и журналистская деятельность Алихана Букейханова: Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Алматы, 2002. – 29 с.

Зиманов С.З. Теория и практика автономизации в СССР. – Алматы: Жеті жарғы, 1998. – 144 с.

Зуева Л.И. Развитие школьного исторического образования Казахстана в контексте мировых тенденций обучения истории, 1985–2000 гг.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Караганда, 2009. – 28 с.

Игнатьева Л.Н. Роль миграции в формировании населения Казахстана: Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Барнаул, 2006. – 24 с.

Идресова Ү.Х. Бақытжан Қаратаевтын қоғамдық-саяси қызметі, (1860–1934 жж.): Т.ғ. к... автореферат. – Орал, 2007. – 28 б. – Казах. яз.

Идресова Ү.Х. Бақытжан Қаратаевтын қоғамдық-саяси қызметі (1860–1934 жж.): Тарих ғылым. канд… к. и.н. автореферат. – Орал, 2007. – 28 б. – Казах. яз.

Иллюстрированная история Казахстана. С древнейших времен до наших дней: в 4 т. / Автор-составитель О.К. Жанайдаров. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005. – Т. 3: Казахстан со второй половины XIX века до первой половины XX века. – 320 с.

Иллюстрированная история Казахстана. С древнейших времен до наших дней: в 4 т. / Ред. Б.Г. Аяган. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2006. – Т. 4. Казахстан со второй половины XX века и до наших дней. – 312 с.

Исаев Г.И. Становление и деятельность милиции Казахстана в 1917–1934 гг. Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Караганда, 2009. – 27 с.

Исследовательский проект «Восприятие молодежью новых независимых государств истории советского и постсоветского периодов», апрель-май 2009 года: Краткий аналитический отчет: Международное исследовательское агентство «Евразийский монитор». – М., 2009. – 52 с. – Режим доступа: http://www.eurasiamonitor.org/rus/files/163/file/090909.pdf (Дата посещения: 14.08.2012.)

История Казахстана и Центральной Азии: Учеб. пособие / Отв. ред. М.Х. Абусеитова, Н.Э. Масанов, А.М. Хазанов. – Алматы: Білім, 2001. – 620 с.

История Казахстана с древнейших времен до наших дней: В 5 т. / Ин-т истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, Ин-т археологии им. А.Х. Маргулана; Редкол.: М.К. Козыбаев (гл. ред.) и др. – Алматы: Атамұра, 2010. – Т. 4: Казахстан в советский период / Редкол. т.: Ж.Б. Абылхожин и др. – 768 с.

Канафин К.К. Райымжан Марсеков. Формирование мировоззрения. Общественно-политическая деятельность, (1879–1922 гг.): Дис. … канд. ист. наук. – Алматы, 1999. – 125 с. – Казах. яз.

Козина В.В. Демографическая история Казахстана (конец XIX – начало XXI в.): Учеб. пособие. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2007. – 130 с.

Козыбаев М.К., Абылхожин Ж.Б., Алдажуманов К.С. Коллективизация в Казахстане: трагедия крестьянства. – Алматы: [Б. и.], 1992. – 35 с.

Койгельдиев М. Алаш қозғалысы. – Алматы: Санат, 1995. – 368 б.

Коллективизация сельского хозяйства в республиках Средней Азии и Казахстане: Опыт и проблемы. – Алма-Ата: Гылым, 1990. – 199 с.

Концепция становления исторического сознания в Республике Казахстан // Казахстанская правда. – Алматы, 1995. – 25 июня. – 32 с.

Костанайская область: прошлое и настоящее: В 2 ч. / Под ред. И.К. Тернового. – Костанай: ОАО «Костанайский печатный двор», 2007. – 507 с.

Кузутбаева Б.К. Социально-экономическое развитие г. Актау (1959–2001 гг.): Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Алматы, 2001. – 29 с.

Кул-Мухаммед М. Жакып Акпаев. Патриот. Политик. Правовед: Политико-правовые взгляды Ж. Акпаева. – Алматы: Атамұра, 1995. – 240 с.

Кыдыралина Ж.У. Казахская интеллигенция и национальный вопрос (XX в.). – Астана: Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан, 2008 a. – 389 с.

Кыдыралина Ж.У. Становление и судьбы идей по национальному вопросу в Казахстане, (1917–1991 гг.): Исторический анализ: Автореф. дис. … докт. ист. наук. – Уральск, 2008 b. – 45 с.

Кыдыралина Ж.У. Этнос и религия в Казахстане: История и судьбы. – Астана: Елорда, 2007. – 224 с.

Қуаныш С.О. Каспий аймағындағы Бөкей Ордасы, Гурьев және Манғыстау уездері 1917 жылғы революциялық өзгерістер тұсында (салыстырмалы тарихи талдау): Тарих ғылым канд. ... авторефераты. – Орал, 2007. – 30 б. – Казах. яз.

Қарсыбаева Ж.А. 1941–1945 жалдардағы Ұлы Отан кезеңіндегі Қазақстан тарихының тарихнамасы, (1941–2010 жж.): Тарих ғылым. канд. ... авторефераты. – Қарағанды, 2010. – 25 б. – Казах. яз.

*Қойгелдиев М.*Ұлттық саяси элита қызметі мен тағдыры (XVIII–XX ғғ.) – Алматы: Жалын, 2004. – 400 б.

Қырықбаева Э.О. Семей қаласының тарихы: Әлеуметтік-экономикалық және мәдени аспектісі, (1946–1990 жж.): Тарих ғылымд. канд. … автореферет. – Алматы, 2000. – 32 б. – Казах. яз.

Левин М. Советский век / Пер. с англ. В. Новикова, Н. Копелянской. – М.: Европа, 2008. – 680 с.

Левковский А. Поляки в Казахстане // Үлгілі үйдің ұл-қызы = Народ – истинный воспитатель / Сост. А. Левковский. – Алматы: Санат, 2000. – С. 203–206.

Мажитов С. Кенесары Касымов и Ермухан Бекмаханов в контексте идеологической архитектоники тоталитаризма. – Режим доступа: http://www.iie.freenet.kz/indexnews.php?subaction=showfull&id=1113449133&archive=&start_from=&ucat=3& (Дата посещения: 04.08.2009.)

Мамраева А.К. Общественно-политическое развитие Казахстана начала XX века и Алихан Букейханов: Дис. … канд. ист. наук. – Алматы, 1997. – 177 с.

Мамырханова А.М. Казахское население между переписями 1897–1926 гг.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Алматы, 1996. – 32 с.

Марданова З.Ж. Государственная политика принудительных переселений в Казахстан в 20–30-е гг. XX в.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Алматы, 2007. – 24 с.

Масанов Н., Савин И. Россия в казахских учебниках истории // Мир истории. – 2004. – № 1. – Режим доступа: http://www.historia.ru/2004/01/masanov.htm (Дата посещения: 08.03.2006.)

Мендикулова Г.М. Казахская диаспора: История и современность. – Алматы: Всемирная ассоциация казахов, 2006. – 343 с.

Миграция в Центральной Азии: Проблемы и перспективы: Материалы междунар. конф. (Алматы, 30 ноября 2004 г.) / Ин-т мировой экономики и политики при фонде первого Президента РК; Представительство фонда им. Ф. Эберта в Казахстане. – Алматы: Дайк-Пресс, 2005. – 122 с.

Михеева Л.В. Иностранные военнопленные и интернированные в Ценральном Казахстане, (1941 – начало 50-х гг. XX века): Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Караганда, 2007. – 30 с.

Могильницкий В. Люди Победы. – Караганда: Гласир, 2010. – 219 с.

Муканова-Хуршудян Д., Хуршудян Э. Армяне в Казахстане: История и современность // Центральная Азия и Кавказ. – Стокгольм, 2001. – № 3. – С. 208–221.

Мулдахметова Ж.И. Динамика межэтнических процессов 20–30-х годов XX в. в Казахстане. История и историографические проблемы: Дис. … канд. ист. наук. – Алматы, 2001. – 129 с.

Мусаев Б.А. Голод в первой половине 20-х годов XX века в Казахстане: Исторический, социально-политический анализ: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Уральск, 2005. – 30 с.

Мустафа Чокаев и большевизм: Сб. ст. / Сост. С.Ж. Сапанов. – Алматы: Қазақ ун-ті, 2000. – Ч. 1. – 100 с.

Муханбеткалиев Х.С. Боевой путь и военно-теоретическое наследие Баурджана Момыш-улы: Исторический анализ: Автореф. дис. … докт. ист. наук. – Уральск, 2009. – 46 с.

Мухтарова Г.Д. Ислам в советском Казахстане. – Актобе: [Б. и.], 2007. – 192 с.

На всех фронтах: Казахстанцы в сражениях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / Под ред. Белан П.С. – Алматы: Ғылым, 1995. – 336 с.

Население Западно-Казахстанской области в 1989–2009 годах: Демографическая ситуация и тенденции развития / Отв. ред. М.Н. Сдыков. – Уральск, 2009. – 203 с.

Насильственная коллективизация и голод в Казахстане, 1931–1933 гг.: Сб. док-в и мат-в / Сост.: Алдажуманов К.С., Каиргалиев М.К., Осипов В.П., Романов Ю.И.; Редкол.: Козыбаев М.К. (гл. ред.) и др.; АН Респ. Казахстан. Ин-т истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, Арх. Президента Респ. Казахстан, Центр. гос. арх. Респ. Казахстан. – Алматы, 1998. – 263 с.

Настало время раскрыть истинную причину массового голода 1929–1932 годов – депутат Бактиярулы. – 2012. – 5 апреля. – Режим доступа: http://www.altyn-orda.kz/news/svezhie-novosti/nastalo-vremya-raskryt-istinnuyu-prichinu-massovogo-goloda-1929-1932-godov-deputat-baktiyaruly/ (Дата посещения: 8.04.2012.)

Нургалиева А.М. Очерки по истории ислама в Казахстане. – Алматы: Дайк-Пресс, 2005. – 218 с.

Нурпеисов К. Халел Досмухамедов: государственный деятель, ученый-энциклопедист, педагог // Мысль. – Алматы, 1998. – № 2. – С. 84–87.

Омарова А. Деловая элита Казахстана / FREEAS. Свободная Азия. – Режим доступа: http://freeas.org/?nid=6006 (Дата посещения: 20.01.13.)

Пірманов Ә.Б. Қазақ қоғамының жағдайы және ұлттық интеллигенция қалыптасуының алғы шарттары мен қызметінің бағыт-бағдарлары: Тарих ғылым канд.... автореф. – Алматы, 1997. – 26 б. – Казах. яз.

Под грифом секретности. Откочевки казахов в Китай в период коллективизации. Реэмиграция, 1928–1957 гг.: Сб. документов. – Усть-Каменогорск: ЦДНИ ВКО, 1998. – 100 с.

Р. Киндлер: К вопросу о причинах голодомора в Казахстане. – 2012. – 16 июля. – Режим доступа: http://www.centrasia.ru/news.php?st=1342507440 (Дата посещения: 17.07.2012.)

Ражепаева Ф.З. Татары Казахстана в 1970–1999 гг.: Историко-демографический аспект: Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Караганда, 2008. – 31 с.

Ремнев А. Колониальность, постколониальность и «историческая политика» в современном Казахстане // Ab Imperio. – Казань, 2011. – № 1. – С. 169–205.

Садыкова Б.И. Мустафа Чокай и тоталитарный режим большевиков, (20–30-е годы XX века) // Вестник КазГУ. Серия история. – Алматы: Қазақ университеті, 2001. – № 1. – С. 56–64.

Самаркин С.В. Социально-демографические процессы в Северном Казахстане в конце XIX – первой четверти XX века: Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Караганда, 2010. – 29 с.

Сарсенов А.С. Қазақстан ауыл-селосындағы интеллектуалдық әлеуеттің қалыптасуы мен этномәдени дамуының тарихи тәжірибесі, (1946–1991 жж.): Тарих ғылым. др-ры... авторефераты. – Орал, 2008. – 49 б. – Казах. яз.

Сдыков М., Козина В. Население Казахстана (конец XIX в. – 30-е годы XX в.). – Алматы: Оркениет, 2000. – Кн. 1. – 144 с.

Сдыков М.Н. Население Западного Казахстана: История формирования и развития, (1897–1989 гг.). – Алматы: Ғылым, 1995. – 220 с.

Сеитов Э.Т. Букейхан как историк и общественно-политический деятель: Автореф. дис… канд. ист. наук. – Алматы, 1996. – 28 с.

Стенограмма научно-практической конференции «Россия и Казахстан», 16–18 февраля 1995 г. – М.: Российский центр стратегических и международных исследований, 1995. – 123 с.

Структура многотомника «История Казахстана с древнейших времен до наших дней» // Отан тарихы. – Алматы, 2012. – № 3 (59). – С. 147–172.

Сугралимова Г.Б. Детская беспризорность в Казахстане. История, опыт решения проблемы, итоги, (1920–1940 гг.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Караганды, 2006. – 22 с.

Сулейменова Г.Ж. Развитие общеобразовательной школы Казахстана в 1980–1990-е годы: Исторический аспект: Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Актобе, 2007. – 24 с.

Сулейменова Д.Д. Батыс Алашорда тарихы – өлке тарихының құрамдас бөлігі. – Алматы: Арыс, 2007. – 136 б. – Казах. яз.

Султангалиева А.К. Ислам в Казахстане: История, этничность и общество. – Алматы: КИСИ, 1998. – 188 с.

Сүндетұлы К. Қазақстанның Батыс өлкесіндегі баспасөз тарихы, (1917–1940 жж.): Тарих ғылым. канд. ... авторефераты. – Атырау, 2008. – 30 б. – Казах. яз.

Тілегенова Л.Т. Қазақстандағы мәдени құрылыстың материалдық-техникалық базасының дамуы (1928–1941 жж.): сандық талдау тәжірибесі: Тарих ғылым. канд. ... авторефераты. – Қарағанды, 2006. – 24 б. – Казах. яз.

Тасмагамбетов А.С. История конфессий Казахстана в конце XVIII – начале XX в.: Распространение, организационное развитие и миссионерство (по материалам ислама и православия): Автореф. дис. … докт. ист. наук. – Уральск, 2008. – 40 с.

Татимов М.Б. Социальная обусловленность демографических процессов. – Алма-Ата: Наука, 1989. – 129 с.

Тәж-Мұрат М. Батыс Алаш-Орда. Биобиблиографиялық сөздік тәжірибесі. – Ақтөбе: А-Полиграфия, 2003. – 232 б. – Казах. яз.

Тәтімов М.Б. Қазақ әлемі. Қазақтың саны қанша. – Алматы: Атамұра, 1993. – 105 б. – Казах. яз.

Тәтімов М.Б. Халықнама немесе сан мен сана. Демографиялық ой толғаныстары. – Алматы: Жазушы, 1992. – 183 б. – Казах. яз.

Тимофеева Л.В. История русской православной церкви на территории Семиречья (втор. пол. XIX века – XX век): Автореф. дис. …канд. ист. наук. – Алматы, 2007. – 26 с.

Турова Л.П. История краеведческого движения в Восточном Казахстане в XX веке: Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Караганда, 2009. – 24 с.

Форум История Казахстана. – Режим доступа: http://history1997.forum24.ru/?1-10-0-00000022-000-0-0-1228552076 (Дата посещения: 17.08.2012.)

Халел Досмұхамедұлы және оның өмірі мен шығармашылығы / Нұрпейісов К., Құлкенов М., Хабижанов Б., Мектепов А.. – Алматы: [Б. и.], 1996. – 176 б. – Казах. яз.

Шаукенов Ж.А. Социально-экономическое и культурное развитие малых городов Казахстана (на примере г. Аркалыка 1956–2000 гг.): Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Уральск, 2009. – 31 с.

Шепель В. Великий голод в Казахстане в начале 30-х годов XX века // Литер. – Алматы, 2010. – 28 января. – Режим доступа: http://www.liter.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=1191&Itemid=4 (Дата посещения: 20.01.13.)

Шибутов М. Родовой дисбаланс в Астане вынудит региональную элиту идти на обострение. – 2012. – Режим доступа: http://www.centrasia.ru/disc.php?st=1344753900 (Дата посещения: 12.08.2012.)

Ямшанова О.А. История немецкой диаспоры Центрального Казахстана в XX в.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Караганда, 2009. – 30 с.

Koigeldiev M. The Alash movement and the Soviet government: A difference of positions // Empire, islam, and politics in Central Eurasia. – Sapporo, 2007. – N 14. – P. 153–184. – Mode of access: http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/coe21/publish/no14_ses/06_koigeldiev.pdf (Дата посещения: 20.01.13.)

СОВЕТСКИЙ ОПЫТ ГЛАЗАМИ ЗАПАДНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

А.А. Воронович

ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕТСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

После Первой мировой и Гражданской войн большевики унаследовали огромную многонациональную страну, разрушенную военными конфликтами, локальными этническими столкновениями, с подорванной экономикой и социальными отношениями. Когда революции в Германии и Венгрии были подавлены, стало очевидным, что в этой разоренной стране без внешней поддержки большевикам предстояло строить первое в мире социалистическое государство. Одна из ключевых проблем, с которой сталкивались большевики, заключалась в национальной пестроте управляемой территории. Ситуация усугублялась тем, что преимущественно русскоязычные большевики пользовались слабой поддержкой и воспринимались с недоверием национальными меньшинствами, которым были ближе другие политические силы. Большевистский подход к национальному вопросу уже давно привлекает внимание исследователей. Однако только в последние 10–15 лет благодаря открытию архивов стабильно появляются исследования историков, основанные на богатом архивном материале и освещающие разные стороны советской национальной политики.

Цель данной статьи – представить обзор литературы по советской национальной политике в 1920-х и 1930-х годах, выпущенной после 2000 г. Историография этой темы весьма обширна.

Полноценный обзор всех публикаций и рассматриваемых проблем выходит далеко за рамки статьи и заслуживает, скорее, отдельной монографии. Поэтому в этом обзоре я буду придерживаться двух ограничений. Прежде всего, я ограничусь только несколькими ключевыми вопросами, которые затрагиваются в историографии по советской национальной политике после 2000 г. Во-первых, это проблема преемственности между советской национальной политикой и политикой империи Романовых. Второй рассматриваемый вопрос касается механизмов принятия решений в сфере советской национальной политики на окраинах. Наконец, в последней части обзора я проанализирую проблему изменений (или же их отсутствие, как полагают некоторые авторы) в советской национальной политике в середине 1930-х годов.

Второе ограничение обзора связано с используемыми публикациями. В данном обзоре я буду, прежде всего, опираться на спор двух западных исследователей – Терри Мартина и Фрэнсин Хирш. По мере необходимости и для более широкой контекстуализации я буду привлекать и публикации других авторов. Тем не менее костяк этого обзора составит именно дискуссия Мартина и Хирш. Такое внимание к работам этих двух исследователей объясняется той ролью, которую эти книги играют для всех специалистов, интересующихся межвоенной советской национальной политикой. Фактически разногласия этих авторов разделили их читателей на два лагеря – тех, кто поддерживает Мартина, и тех, кому ближе подход Хирш. В первой части обзора я более подробно представлю этих авторов и их взгляды.

Несомненно, проблема межвоенной советской национальной политики не возникла в историографии только после 2000 г. Концепция сборника и задачи этого обзора не предполагают подробного разбора публикаций прошлого века. Тем не менее необходимо посвятить несколько слов западной историографии проблемы до 2000 г., для того чтобы было понятнее, на что опирались и с кем спорили обсуждаемые авторы в своих исследованиях и публикациях.

До начала 1990-х годов и развала СССР доминирующим направлением в исследовании советской национальной политики в западной историографии была тоталитарная школа советологии. Исследователи тоталитарной школы отмечали почти исключительно репрессивный характер советской власти в отношении

нацменьшинств. Пожалуй, наиболее емко, хоть и несколько радикально, суть взглядов исследователей тоталитарной школы отражена в названии книги Роберта Конквеста «Убийцы наций» [Conquest, 1970]. В какой-то мере такая популярность тоталитарного подхода к исследованию советской национальной политики связана с деятельностью диаспор народов, проживавших на территории СССР. Их представители за рубежом нередко посвящали публикации тем страданиям, которые испытывали их народы под властью большевиков и / или русских, и сопротивлению этой власти. Помимо этого, доминирование тоталитарной школы в исследованиях национального вопроса вплоть до 1990-х годов также связано с тем, что в этом направлении ревизионистская школа не бросила тоталитарной того вызова, что в других областях исследования советской истории. Ревизионисты в меньшей степени были заинтересованы в политической истории (и как следствие, истории национальной политики), чем в социальной.

Интерес исследователей к советской национальной политике и в целом к национальной проблеме в СССР значительно возрос в конце 1980-х и начале 1990-х годов и, что неудивительно, был обусловлен теми политическими событиями, что имели место на территории бывшего СССР в этот момент. Прежде всего, в данном контексте необходимо отметить протестные движения, которые нередко приобретали национальную окраску, развал Советского Союза по границам национальных республик, этнические конфликты и столкновения, и т.д. В этот период появляется немало публикаций по истории советской национальной политики и ее роли в конечном распаде Союза. Большинство этих работ были опубликованы политологами и социологами, которые подготовили быстрый анализ происходящих событий на злобу дня. Тем не менее несколько работ опубликовали в том числе и историки. Их необходимо упомянуть, так как они привнесли новую перспективу во взглядах на советскую национальную политику. В отличие от подходов тоталитарной школы, в первой половине 1990-х годов Рональд Суни [Suny, 1993] и Юрий Слёзкин [Slezkine, 1994][1] отметили ту роль, которую сыграла национальная политика большевиков в сохранении и даже поощрении «этнического партикуляризма». Впрочем, выводы этих авторов были

[1] См. также русский перевод [Слёзкин, 2001].

основаны на проницательных наблюдениях, а не на глубоком изучении архивного материала. Исследования же, основанные на архивном материале, появились преимущественно уже после 2000 г.

* * *

В своих публикациях профессор Гарвардского университета Терри Мартин в какой-то мере развивает идеи Суни и Слёзкина. Книга Мартина, изданная в 2001 г. (в русском переводе в 2011 г.) [Martin, 2001; Мартин, 2011], на данный момент наиболее значительная по своему размаху публикация по межвоенной советской национальной политике. В ней автор анализирует разработку, направления, развитие и изменения в советской национальной политике с 1923 по 1939 г., хотя в центре его внимания, прежде всего, находится период до середины 1930-х годов. Как отмечает Мартин, в эти годы основными направлениями советской национальной политики были создание национальных территорий для всех национальностей (вплоть до сельсоветов), продвижение местных элит и использование местных языков, государственная поддержка национальной культуры и экономическое выравнивание за счет привилегированного спонсирования национальных окраин [Martin, 2011, p. 9–15]. Официально эта политика была выдвинута на XII съезде РКП (б) в апреле 1923 г., хотя многие ее элементы уже применялись на практике до этого. Изначально она носила название «национализация», однако постепенно определение «коренизация» стало более популярным. На местах нередко национальная политика большевиков называлась по национальности, на которую она была направлена – например, «украинизация», «белорусизация» и т.д.

Одним из подспудных направлений и следствий коренизации было определенное ущемление интересов бывших «угнетателей», русских. В какой-то мере национальные интересы нацменьшинств удовлетворялись за счет русских. Именно факт, что в Советском Союзе с точки зрения национальной политики большевиков было выгодно быть представителем нацменьшинств, так как это хотя бы на локальном уровне открывало бóльшие перспективы, и побудил Терри Мартина определить Советский Союз как «империю позитивной дискриминации (affirmative action empire)».

С риторической точки зрения это проявлялось в постоянных атаках на «великорусский шовинизм». В административно-территориальном устройстве, например, это выражалось в том, что русские в отличие от других национальностей не имели своей национальной территории. РСФСР была не русской национальной республикой, а тем, что осталось после того как все другие национальности получили свою национальную территорию в виде советской республики или автономной единицы. По меткому замечанию Юрия Слёзкина, которое прижилось в историографии, Советский Союз представлял собой коммунальную квартиру, в которой у каждого нацменьшинства была своя комната, а русские жили в местах общего пользования (коридор, кухня и т.д.) [Slezkine, 1994, p. 443–444].

По мнению Терри Мартина, Советский Союз был первой в истории «империей позитивной дискриминации» в истории задолго до Индии, где политика позитивной дискриминации по отношению к национальным меньшинствам была введена только в 1951 г. и в меньших масштабах, чем в Советском Союзе [Martin, 2001, p. 18]. Таким образом, Мартин отмечает принципиальную новизну и беспрецедентность подхода большевиков к национальному вопросу и национальной политике в мировом масштабе. Собственно, на первый обозначенный в начале обзора вопрос о преемственности между империей Романовых и Советским Союзом в плане национальной политики его ответ также отрицательный. Терри Мартин отмечал, что и другие государства до Советского Союза в силу различных причин поддерживали культуру, язык и местные элиты национальных меньшинств, но только в советском случае это было сделано за счет титульной нации – русских. Более того, Ленин и Сталин считали, что проявления национализма меньшинств были во многом ответной реакцией на русский империализм. Поэтому они всячески старались избегать ассоциаций с политикой империи Романовых, преднамеренно разрабатывая советскую национальную политику, отличную от Российской империи. Необходимо заметить, что большевики упростили картину взаимоотношений империи Романовых и русских. Тем не менее статус русских как титульной нации в империи Романовых не подвергался сомнению, хотя как определить русских, их границы и, прежде всего, соотношение русских с великороссами, малороссами и белорусами оставалось в Российской империи под вопросом. Несмотря на это мне представляется правильной оценка Мартина о принципиальной

новизне советской национальной политики по сравнению с политикой Романовых, в первую очередь с точки зрения статуса русских. Проблематизировав позицию русских в раннем Советском Союзе, Мартин действительно смог подчеркнуть беспрецедентность национальной политики большевиков. В целом надо заметить, что исследование Мартина предстает в выигрышном свете благодаря вниманию, уделенному проблеме русских и их позиции в советской национальной политике 1920-х годов. Это позволяет автору предложить новый взгляд на развитие коренизации.

Альтернативную модель появления и развития советской национальной политики разработала в своей книге «Империя наций» Фрэнсин Хирш. Книга Хирш, изданная 2005 г. [Hirsch, 2005], как и работа Мартина, это доработанная диссертация. Однако в отличие от Мартина Хирш внесла более значительные изменения в аргументацию своей книги по сравнению с диссертацией. Это связано, прежде всего, с тем, что Хирш готовила свою книгу, уже имея в виду опубликованное исследование Мартина. Поэтому, желая предложить альтернативную модель, она выступила с резкой критикой, хотя и не открытой, выводов Мартина почти по всем пунктам. Любопытно, что при этом она всячески избегает упоминания Мартина непосредственно в основном тексте книги и использует часто безличные или общие предложения, упоминая его взгляды. О том, что Хирш при этом оспаривает выводы Мартина, читатель может понять только из нескольких сносок.

Разрабатывая альтернативную модель, Хирш исходит из отличного исходного материала исследования. В то время как у Мартина основной интерес вызывали внутрипартийные дискуссии большевиков (в первую очередь, московской верхушки) и их решения, в центре внимания Хирш работа советских этнографов и антропологов и их роль в разработке и применении советской национальной политики. Интерпретируя роль этнографического знания в политике большевиков, Хирш приходит к выводу, что последнюю следует определить не как «позитивную дискриминацию», но как «поддерживаемый государством эволюционизм (state-sponsored evolutionism)». В основе «поддерживаемого государством эволюционизма», по мнению Хирш, лежала попытка поддержать и ускорить эволюцию нацменьшинств по марксистской шкале исторического развития, трансформируя кланы и племена в национальности, а национальности в советские нации, которые в будущем должны

были объединиться в коммунистическом обществе [Hirsch, 2005, p. 7–9]. Хирш видит в такой логике советскую версию колонизаторской миссии, исходящей из марксистской идеологии и антропологической теории культурного эволюционизма того времени. Она также не считает, что большевикам принадлежит исключительное авторство в разработке концепции «поддерживаемого государством эволюционизма». Значительный вклад внесли советские этнографы и антропологи того времени, которые, используя свои теоретические знания и практические навыки, структурировали и предоставляли большевикам информацию о советских национальностях.

Помимо многих других спорных выводов, к некоторым из которых я вернусь чуть позже, Хирш не соглашается с Мартином в вопросе о преемственности между национальной политикой Романовых и большевиков. Одним из ключевых выводов Хирш является идея о том, что с точки зрения национальной политики между империей Романовых и Советским Союзом можно проследить определенную преемственность. При этом необходимо отметить, что Хирш не отрицает той новизны, что принесли большевики и, прежде всего, марксистско-ленинская идеология, которой она отводит важнейшую роль. Тем не менее, по мнению американской исследовательницы, некоторый континуитет существовал, и его можно проследить на двух уровнях.

Первый уровень – это уровень личностный и интеллектуальный. Дело в том, что советские этнографы и антропологи, чей вклад в разработку и проведение национальной политики отмечает Хирш, сформировались как специалисты еще в имперский период. Часто еще до революции будущие советские этнографы и антропологи занимали ключевые позиции в имперских академических, а иногда и прикладных учреждениях и институтах. Так, некоторые из них (например, знаменитый востоковед С.Ф. Ольденбург и будущий президент Географического общества СССР Л.С. Берг) участвовали в работе Комиссии по изучению естественных производительных сил России, которую сформировали в 1915 г. для помощи в военной мобилизации экономики империи. С точки зрения Хирш, после революции большевики испытывали необходимость в экспертных знаниях о многочисленных народах, ранее населявших империю Романовых и теперь оказавшихся под руководством большевиков. Поэтому большевики обратились за

помощью к экспертам – этнографам и антропологам. В свою очередь, эти специалисты, хоть и в редких случаях симпатизировавшие большевикам до революции, согласились участвовать в большевистском проекте, но, как отмечает Хирш, не отказались от многих концепций и теорий, воспринятых или сформированных ими до революции 1917 г. Собственно, для того чтобы подчеркнуть этот факт, а также преемственность между империей Романовых и Советским Союзом, Хирш настойчиво использует по отношению к этнографам и антропологам собирательное выражение «имперские эксперты», даже когда обсуждает их деятельность уже в советском контексте. В свою очередь, объединение усилий большевиков и «имперских экспертов» в целях управления многонациональным государством Хирш называет «революционным альянсом» [Hirsch, 2005, p. 21–61].

В целом с Хирш трудно не согласиться в том плане, что немало специалистов, сформировавшихся еще в имперское время, в той или иной мере также участвовали в деятельности советских институтов и учреждений. В условиях разрушенной войнами страны и учитывая размах преобразований, запланированных большевиками, советская власть часто нуждалась в экспертных знаниях и оценке по различным вопросам, не только связанным с этнографией и антропологией. Тем не менее в плане получения позиций в советской системе и участия в разработке и реализации политики большевиков не все было так просто и беспроблемно, как это описывает Хирш. В своей рецензии на книгу Хирш российский специалист по истории антропологии в империи Романовых Марина Могильнер отметила, что большевики не привлекали без разбору всех «имперских экспертов». Могильнер отмечает, что исследование Хирш страдает восприятием как большевиков, так и специалистов-этнографов в качестве монолитных групп [Могильнер, 2005, с. 542]. В свою очередь, как отмечает российский исследователь, более внимательный анализ интеллектуальных биографий «имперских этнографов» демонстрирует, что подавляющее большинство из тех, кто сумел сделать успешную карьеру при большевиках, до революции были специалистами народнической ориентации, с революционно-народническим прошлым и опытом ссылки. Таким образом, многие из них были интеллектуально близки к большевикам еще до революции. Это наблюдение позволяет Могильнер поставить под сомнение вывод Хирш о взаимном и добро-

вольном сотрудничестве экспертов и большевиков в «революционном альянсе», в котором этнографы играли почти равную роль с большевиками в разработке национальной политики [Могильнер, 2005, с. 545]. Таким образом, вывод Хирш о том, что «имперские эксперты» обеспечили определенную преемственность между имперской и советской политикой, привнеся концепции и теории, усвоенные до революции, оказывается неподкрепленным фактическим материалом.

Тем не менее в книге Хирш присутствует идея о преемственности между национальной политикой двух государств и на другом уровне. По мнению Хирш, сама возможность появления «революционного альянса» определялась общей верой большевиков и этнографов в принцип «научного управления», т.е. управления, основанного на объективном научном знании. В свою очередь, этот принцип был частью модернистского проекта. В какой-то мере схожий интерес к «научному управлению» просматривается и в империи Романовых, особенно во время войны. Контекстуализируя политику империи Романовых во время войны и советскую политику в рамках *modernity*, Хирш пытается вписать советский проект в общемировые тенденции управления империями, сформировавшиеся на основе модернистских принципов еще до войны. Собственно, роль «имперских экспертов» в данной модели – это роль ретрансляторов в советском проекте некоторых принципов модернистского управления империями, которые сложились в Европе и нередко применялись в империи Романовых. В свою очередь, большевики, чья идеология также опиралась на многие принципы *modernity*, восприняли от «имперских экспертов» и реализовали на практике идеи, сформулированные и / или опробованные другими империями, в том числе и империей Романовых.

Идеи Хирш имеют два основных интеллектуальных источника. На общем теоретическом уровне взгляды американской исследовательницы на роль научного знания в управлении современными государствами во многом опираются на идеи Мишеля Фуко. Французский философ в своих работах демонстрировал распространение в Европе идей о рациональном управлении государствами, основанном на научном знании. Во многом, опираясь на взгляды Фуко, такого рода идеи относят к принципам *modernity*, которая, в свою очередь, и позволяет объединить советскую политику с политикой других империй.

Помимо Фуко непосредственное влияние, уже в контексте советологии, на взгляды Хирш оказал знаменитый американский историк Стивен Коткин. Коткин в своей книге «Магнитная гора: Сталинизм как цивилизация», в которой описывается создание и развитие Магнитогорска, применил идеи Фуко к советскому контексту [Kotkin, 1997]. Собственно, книга Коткина даже посвящена знаменитому французскому философу. Опираясь на взгляды Фуко, Коткин попытался вписать советский эксперимент в более широкий контекст европейской *modernity*, что, в свою очередь, в своей области пытается сделать и Хирш. Хирш далеко не единственный специалист по советской национальной политике, пытающийся отыскать истоки советских техник управления многонациональным государством в дореволюционной эпохе при помощи концепта *modernity*. Так, французский специалист Жюльет Кадио начинает свой рассказ о роли статистиков, этнографов и демографов в учете и переписи населения и основанных на них практиках управления в 1860-х годах и протягивает до 1940 г. [Кадио, 2010]. Схожим образом Питер Холквист отслеживает истоки советских репрессий на основе выделенных категорий населения (в том числе и этнических) в военной статистике империи Романовых конца XIX и начала XX в. [Holquist, 1997; Holquist, 2001][1]. Прослеживая истоки советской политики в предреволюционном и отчасти даже предвоенном периоде, эти авторы фактически снижают роль Октябрьской революции и тех изменений, которые она принесла. В результате и Октябрьская революция, и большевики, и их имперские предшественники оказываются объединены под общим зонтом *modernity*. В какой-то мере это подталкивает и к идеям об изменении распространенной хронологии. Рядом с длинным XIX (1789–1914) и коротким XX (1914–1991) вв. Хобсбаума появляется образ длинного XX в., который зарождается в конце или даже середине XIX в. Однако, как мне представляется, сводя советскую национальную политику к развитию довоенных идей и принципов *modernity*, Хирш и в той или иной мере другие авторы упускают из виду тот факт, что межвоенный период представлял собой во многих смыслах другой контекст, на который наложили отпечаток Первая мировая война и, возможно, даже в большей степени в советском случае, Гражданская война. В данном смысле стоит упомянуть классическое определение Шейлы Фитцпатрик Гражданской войны как «формирующего опыта» для большевиков [Fitzpatrick, 1985]. Большевики действительно разделяли многие принципы *modernity*, как его понимает Хирш, но нельзя упускать из виду, что они управляли страной не только исходя из теоретических и идеологических принципов, но и в столкновении с суровой советской реальностью и новыми вызовами послевоенного мира.

[1] Обе статьи также доступны на русском [Холквист, 2001; Холквист, 2011].

Так как чуть выше я упомянул Стивена Коткина, то в качестве краткого отступления не лишним будет заметить, что спор Мартина и Хирш не сводится только к разногласиям двух исследователей на обсуждаемую проблему, а имеет под собой историографическую и институциональную подоплеку. Дело в том, что эти исследователи сформировались в противоборствующих историографических школах. Так, Терри Мартин защитил свою диссертацию в университете Чикаго под руководством одного из ведущих ревизионистов в советологии Шейлы Фитцпатрик, хотя Мартина и трудно назвать типичным представителем школы Фитцпатрик. В свою очередь, Хирш защитила свою диссертацию в Принстоне, где одним из ее руководителей был Стивен Коткин, который фактически является создателем школы советологии, которая отстаивает свою новизну по отношению к предыдущим подходам, в частности и ревизионистскому. На мой взгляд, степень различия между взглядами двух школ остается под вопросом. Тем не менее обе стороны воспринимают эти различия как весьма значительные, что и добавляет особенную остроту разногласиям Мартина и Хирш.

В целом подводя некий итог рассмотренным разногласиям Терри Мартина и Фрэнсин Хирш по вопросу преемственности национальной политики Романовых и большевиков, мне ближе позиция Терри Мартина. Прежде всего, это объясняется тем, что Мартин проблематизировал позицию и статус русских как титульной нации в Советском Союзе. В последнее время проблема национализма титульной группы в империях и его взаимоотношений с руководящей верхушкой и династиями становится весьма популярной и, как мне представляется, ее изучение приводит ко многим интересным и неожиданным выводам [Хоскинг, 2001; Хоскинг, 2012; Миллер, 2006; Limits of loyalty, 2007]. Книга Мартина в этом смысле также попадает в этот тренд, хотя и анализирует не классический пример империи. В свою очередь, в исследовании

Хирш проблема русских почти отсутствует. Она не проблематизирует этот вопрос, и это, на мой взгляд, не позволяет ей в полной мере оценить новаторство национальной политики большевиков. Моя же собственная работа с архивными источниками убедила меня, что в советской национальной политике существовала проблема русских. Это можно отследить в партийных дискуссиях, особенно в национальных республиках, а также в том недовольстве, которое вызывала национальная политика большевиков у самих русских и у тех партийных деятелей, которые считали, что она постоянно ущемляет интересы русских как главной опоры советской власти.

* * *

Вторая проблема в исследованиях советской национальной политики, которой я коснусь в этом обзоре, связана с механизмами принятия решений при проведении коренизации в национальных административных образованиях Советского Союза. В центре внимания в этой части обзора будет вопрос степени централизации проведения советской национальной политики и возможной роли и влияния местных акторов в развитии «позитивной дискриминации» либо «поддерживаемого государством эволюционизма». Этот вопрос особенно важен, поскольку до недавних пор в публикациях доминировал централизованный, «сверху вниз» взгляд на советскую национальную политику. Действительно, большевики в начале 1920-х годов в результате острых внутрипартийных дискуссий разработали административное устройство, основанное на создании национальных административных единиц и, как следствие, предполагавшее определенную административную автономию. В какой-то мере такое административное решение противоречило жестко централистским взглядам большевистских лидеров. Тем не менее, как верно отмечает российско-немецкий историк Виктор Дённингхаус, такая административная децентрализация часто компенсировалась жесткой централизацией посредством партийных структур большевиков [Дённингхаус, 2011, с. 45–46, 49–50].

Партия действительно часто играла централизующую роль в процессе принятия решений в Советском Союзе. Однако сфера национальной политики в какой-то мере отдавалась под контроль местным властям. Как заметили оба главных героя данного обзора,

большевики нуждались в специалистах по советским национальностям, которые были хорошо знакомы с местным контекстом, культурой и языком. И Мартин, и Хирш ставили одной из своих целей релятивизацию доминировавшего централизованного взгляда на советскую национальную политику. У Мартина, впрочем, такой подход менее выражен. Анализируя природу советской бюрократии, Мартин отмечает ту роль, которую местные акторы играли в интерпретации часто противоречивых сигналов центра[1]. Однако в своей книге Мартин не всегда рассматривает этот процесс в полной мере. Интерпретации политики местных акторов, а также их возможное влияние на позиции центра нередко остаются слабо освещенными. Это можно объяснить двумя факторами. Так, Мартин видел своей задачей построение новой общей модели для интерпретации советской национальной политики. В результате его описание опирается на обобщения, и основное внимание он уделяет Москве, которая в действительности была центром принятия решений. Такой акцент на Москву можно объяснить и природой использованных Мартином источников, которые преимущественно были из московских архивов и отражали позиции центральных властных структур.

Хирш, в свою очередь, значительно более открыто критикует централизаторский нарратив о советской национальной политике. В целом это неудивительно, если принять во внимание ее другие аргументы и сам объект ее исследования. Анализируя вклад этнографов в советскую национальную политику, Хирш, несомненно, попыталась очертить какое-то поле деятельности, где герои ее повествования имели определенную свободу и возможность влиять на государственную политику. Для нее децентрализация принятия решений также принципиально важна в свете отмеченного выше восприятия «имперских экспертов» в качестве ретрансляторов «имперских технологий власти» и принципов modernity. В жестко централизованной модели у ее экспертов почти не осталось бы рычагов влияния на государственную политику. Мне представляется, что Хирш абсолютно верно стремится к демонстрации вклада местных акторов в развитие советской национальной политики. Однако она неудачно выбирает самих акторов (т.е. этнографов), на примере которых она и хочет продемонстрировать децентрализацию.

[1] Эти идеи также выражены в ранней небольшой заметке [Martin, 1999].

На мой взгляд, более успешно вклад местных акторов в советскую национальную политику можно показать на примере деятельности местных национальных отделений партий. Например, Хирш уделяет целую главу определению границ советских национальных территорий в середине 1920-х годов [Hirsch, 2005, p. 145–186]. На их примере она пытается продемонстрировать вклад этнографического знания и производящих его специалистов в формирование административных границ советских республик. Тем не менее более внимательное рассмотрение этих случаев как раз демонстрирует минимальную роль этнографов в этих процессах. Инициатива по изменению границ национальных территориальных единиц исходила не от этнографов. Иногда такие процессы инициировала Москва, как, например, в случае с Белорусской ССР, чья территория была увеличена примерно вдвое. В большинстве же случаев инициаторами были местные партийные активисты, непосредственно работающие в обкомах в приграничных районах либо же на уровне центральных республиканских структур. Хорошим примером в данном случае могут служить украинские большевики, которые в контексте коренизации увидели возможность поживиться приграничными с УССР территориями РСФСР, на которых, по их мнению, проживали преимущественно украинцы, и послали соответствующую заявку в Москву. Собственно, и решения по таких заявкам, а иногда и требованиям, принимались при минимальном непосредственном вмешательстве этнографов. В процессе решения споров по проведению внутренних административных границ этнографов, действительно, нередко привлекали для сбора и предоставления этнографического и лингвистического материала. Однако окончательное решение принималось в результате переговоров между центральными и местными партийными деятелями. Показательно, что, например, при обсуждении вопроса о формировании и границах Молдавской АССР в 1924 г. главным специалистом по местной лингвистической и этнографической ситуации на левобережье Днестра выступал М.В. Фрунзе, который стал экспертом не в силу своих каких-то профессиональных этнографических знаний, а по причине своего бессарабского происхождения (по отцу), партийных позиций и авторитета.

На мой взгляд, наиболее многогранную картину процесса принятия решений в сфере советской национальной политики можно продемонстрировать, если не воспринимать партию в качестве некоего монолита. На местах, в национальных административных единицах часто сразу несколько групп выступали с разными взглядами на текущую ситуацию, направления и перспективы советской национальной политики. Различные интерпретации и понимание целей коренизации в национальных республиках нередко даже заставали врасплох московские власти, которые противоборствующие местные акторы втягивали в качестве судьи в свои споры. Показательна ситуация в Средней Азии. Там в середине 1920-х годов Москва инициировала национально-территориальное размежевание, прежде всего Туркестанской АССР. В результате московские властные структуры оказались завалены требованиями, петициями и письмами от местных партийных активистов, обычно подкрепленными какими-то свидетельствами поддержки со стороны населения. Местные акторы требовали присоединения той или иной территории к своей национальной единице, защиты прав представителей своей национальности, которые оказались меньшинствами на территориях других национальных республик, и т.д. В некоторых случаях появлялись даже группы, которые требовали создания собственной национальной единицы, хотя изначально претендентами на нее не рассматривались. Особенную головную боль вызывала у московских руководителей проблема Ташкента, лакомого кусочка, на который претендовали и узбеки, и казахи, чьи интересы московские власти не хотели ущемлять[1]. Необходимо также добавить, что и московские власти не всегда выступали одним голосом (особенно в 1920-е годы), что еще более усложняло картину.

В современных исследованиях уже начинают появляться наблюдения о различных местных группах и той роли, которую их разногласия могли играть во взаимоотношениях с Москвой и при принятии политических решений. Так, немецкий историк Йорг Баберовски проследил существование фракционности в партийных структурах Советского Азербайджана и, кроме того, подчеркнул роль местных акторов в процессе принятия решений [см., например: Баберовски, 2011, с. 461–481]. Наблюдения Баберовски особенно интересны также с той точки зрения, что он анализирует политику большевиков в своего рода неототалитарных рамках, а

[1] О национально-территориальном размежевании в Советской Средней Азии [см.: Haugen, 2003, p. 180–210].

советскую национальную политику считает «варварской» версией цивилизаторской миссии империи Романовых. Выводы весьма спорные, но тот факт, что несмотря на это немецкий историк не рассматривает партию большевиков в качестве жестко централизованного монолита, очень любопытен.

На мой взгляд, наиболее удачно преимущества исследования местных партийных споров и роли центра в них показало исследование Андреаса Фрингса, в котором он анализирует принятие решения о латинизации алфавитов советских тюркских народов [Frings, 2009]. Фрингс показал, как азербайджанская фракция, выступавшая за латинский алфавит, при помощи умелого лавирования и переговоров сумела преодолеть сопротивление татарских коммунистов, продвигавших принятие реформированного арабского шрифта. Москва при этом выступала в качестве стороннего и малоактивного наблюдателя. Выводы Фрингса, возможно, слишком резкие, однако его работа показывает перспективы такого подхода и внимательного отношения к многоголосью советского строительства. Однако в полной мере оценить пестроту мнений на местном уровне можно, прежде всего, опираясь на местные источники и документы из местных архивов.

* * *

Последняя историографическая проблема, которую я освещу в этом обзоре, связана с вопросом об изменениях в советской национальной политике в середине 1930-х годов. Этот вопрос тоже в какой-то мере навеян дискуссией между Мартином и Хирш. В свою очередь, его можно подразделить на два более частных вопроса. Во-первых, имели ли место какие-то серьезные кардинальные изменения в национальной политике большевиков в середине 1930-х годов? Во-вторых, если изменения действительно произошли, то каков был их характер?

По мнению Мартина, в середине 1930-х годов имели место кардинальные изменения в советской национальной политике. Собственно принцип «позитивной дискриминации» в отношении нацменьшинств почти перестал действовать. При этом официально коренизация не была отменена. Хотя и с меньшей интенсивностью, но большевики продолжали применять коренизацию в национальных административных единицах. В то же время само

количество национальных территориальных единиц начало значительно сокращаться. Многие автономии, прежде всего низших уровней, были упразднены. В результате коренизация применялась к тем национальностям, которые смогли сохранить национальные автономии или республики. Главным изменением в советской национальной политике середины 1930-х годов, которое и подорвало основы «империи позитивной дискриминации», стала реабилитация русских в общесоветских масштабах [Martin, 2001, p. 394–431]. Прежде всего, это была символическая реабилитация: постепенное официальное признание статуса русских как государствообразующей группы, «первых среди равных»; реабилитация русских классиков литературы, культурных и исторических героев, знаменитых ученых и деятелей культуры [Epic revisionism, 2006]. Например, преданный небытию образ Александра Невского был реабилитирован во второй половине 1930-х годов. Кульминацией реабилитации стал знаменитый фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», выпущенный в 1938 г.[1] В целом реабилитированная русская культура не только должна была служить основой советской русской культуры, но и в какой-то мере быть достоянием всех народов СССР и формировать основу общей советской культуры.

Как и по многим другим принципиальным наблюдениям, Фрэнсин Хирш не соглашается с Мартином в интерпретации событий середины 1930-х годов. По мнению Хирш, никаких принципиальных изменений в советской национальной политике не произошло. Сокращение количества национальных территорий и национальностей, которые извлекали выгоду из политики поддержки государством культурного и языкового развития, Хирш считает просто очередным этапом внедрения логики «поддерживаемого государством эволюционизма». Так как в долгосрочной перспективе «поддерживаемый государством эволюционизм» должен был привести к объединению всех социалистических наций в единое целое, то в 1930-х годах произошла попытка акселерации этого процесса, а не возвращение к каким-то былым ценностям, как считает Мартин [Hirsch, 2005, p. 9]. Количество возможных опций для идентификации национальности было со-

[1] О «свержении», а затем реабилитации образа Невского в Советском Союзе [см.: Шенк, 2007, с. 237–394].

кращено. Те народы, которые выпали из сокращенного списка национальностей, должны были ассимилироваться в те, которые там еще остались. Как я уже отмечал ранее, одним из главных недостатков исследования Хирш стало ее игнорирование русского вопроса в Советском Союзе. Мне кажется, это одна из ключевых проблем советской национальной политики, и в этом я согласен со Слёзкиным и Мартином. Игнорирование русского вопроса и приводит Хирш к тому, что она не замечает изменений в советской национальной политике в середине 1930-х годов, так как основная суть изменений заключалась в изменении символического положения русских.

В свою очередь, другой американский исследователь Дэвид Бранденбергер интерпретирует советскую национальную политику 1930-х годов схоже с Терри Мартином, хотя он анализирует в своей книге вопрос начиная с 1931 г. [Brandenberger, 2002; Бранденбергер, 2009]. Он также видит в 1930-х годах возвращение к русским традиционным ценностям и культуре. Взгляды обоих авторов в какой-то мере находятся под влиянием и следуют ставшей классической интерпретации русского эмигранта-социолога Николая Тимашева. В своей знаменитой книге 1946 г. «The Great Retreat» (обычно переводится как «Великое отступление», хотя, возможно, «откат» более точно отразит смысл, вложенный автором) Тимашев утверждал, что в 1930-х большевистское руководство сознательно отказалось от социалистических ценностей и вернулось к традиционным дореволюционным ценностям, таким как патриотизм, семья, русский национализм и т.д. [Timasheff, 1972]. Далее Тимашев ожидал, что Советский Союз постепенно вернется на траекторию развития, с которой он свернул во время революции и постепенно разовьется в сторону рыночной экономики и демократии. Тимашев оказался не лучшим пророком, но его интерпретация 1930-х годов как времени «великого отступления» прижилась в историографии. Терри Мартин пользуется этой метафорой, хотя и отмечает, что он не согласен с ее экономическими и социальными измерениями и применяет только в отношении реабилитации русских, русских традиций и культуры.

Как мне представляется, Мартин и Бранденбергер, следуя за Тимашевым, неверно расставляют некоторые акценты, интерпретируя изменения в советской национальной политике 1930-х годов. Как отметил американский социолог сербского происхождения Велько Вуячич, в данном случае приходится не просто говорить об

инкорпорации элементов традиционной русской культуры и русских культурных и исторических фигур. В большей степени стоит говорить об использовании этих символов в качестве привлекательной и знакомой этикетки и попытке наполнить их новым смыслом, соответствующим интересам большевистского руководства [Vujacic, 2007, p. 178–179].

* * *

В представленном обзоре я попытался рассмотреть некоторые любопытные проблемы, которые обсуждаются в западной историографии по межвоенной советской национальной политике. Далеко не все ключевые проблемы попали в этот обзор. Так, например, дискуссию о факторах, приведших к введению коренизации, и всех тех соображениях, на которых она строилась, я преднамеренно оставил за рамками этого обзора. Дискуссия по этому вопросу очень масштабна и заслуживает отдельного рассмотрения. То же касается и публикаций, представленных в тексте. Они, несомненно, намного шире и богаче, чем несколько упомянутых идей и дискуссий, и несмотря на некоторые критические замечания заслуживают пристального внимания, как в ансамбле, так и сами по себе.

Впрочем, даже такое выборочное рассмотрение историографических проблем демонстрирует, что в исследованиях советской национальной политики есть еще немало возможностей для новых исследований. На мой взгляд, наибольшей перспективой обладают проекты, основанные на местных архивах, которые смогут отразить разнообразие интерпретаций советской национальной политики. Это, как мне кажется, позволит не только лучше разобраться в проблеме советской национальной политики, но и откроет пути к лучшему пониманию советского проекта в целом.

Также необходимо упомянуть еще одну малоисследованную область в советской истории – советскую национальную политику после 1945 г. Несомненно, исследования по этому вопросу публикуются, но пока в основном на местном уровне. Эта проблема все еще ожидает попыток более масштабных концептуализаций и дискуссий, какие уже есть, как показано в обзоре, в отношении межвоенного периода. В этом есть необходимость также, поскольку слишком часто исследователи бросают мостик через послевоенный период и почти напрямую связывают события конца 1980-х и начала 1990-х годов с

последствиями советской национальной политики в 1920-х и 1930-х годах. Связь между событиями 1920-х и 1930-х годов и периодом распада СССР, конечно, существует, но без детального анализа процессов послевоенного периода наше понимание этой связи будет ближе к политическим лозунгам, чем историческому анализу.

Список литературы

Баберовски Й. Враг есть везде. Сталинизм на Кавказе. – М.: РОССПЭН: Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2011. – 658 с.

Бранденбергер Д. Национал-большевизм. Сталинская массовая культура и формирование русского национального самосознания, 1931–1956. – СПб.: ДНК, 2009. – 416 с.

Деннингхаус В. В тени «Большого брата». Западные национальные меньшинства в СССР, 1917–1938 гг. – М.: РОССПЭН: Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2011. – 744 с.

Кадио Ж. Лаборатория империи. Россия // СССР, 1860–1940. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – 336 с.

Мартин Т. Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в СССР, 1923–1939. – М.: РОССПЭН: Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2011. – 664 с.

Миллер А. Империя Романовых и национализм. – М.: Новое литературное обозрение, 2006. – 248 с.

Могильнер М. Рецензия на: *Hirsch F.* Empire of nations. Ethnographic knowledge and the making of the Soviet Union. – Ithaca; L.: Cornell univ. press, 2005. – 367 p. // Ab Imperio. – Казань, 2005. – № 3. – С. 538–554.

Слёзкин Ю. СССР как коммунальная квартира, или Каким образом социалистическое государство поощряло этническую обособленность // Американская русистика. Вехи историографии последних лет. Советский период: Антология / Дэвид-Фокс М. (ред.). – Самара: Самарский ун-т, 2001. – С. 329–370.

Холквист П. «Осведомление – это Альфа и Омега нашей работы». Надзор за настроениями населения в годы большевистского режима и его общеевропейский контекст // Американская русистика. Вехи историографии последних лет. Советский период: Антология / Дэвид-Фокс М. (ред.). – Самара: Самарский университет, 2001. – С. 45–93.

Холквист П. Вычислить, изъять и истребить: Статистика и политика населения в последние годы царской империи и в Советской России // Государство наций. Империя и национальное строительство в эпоху Ленина и Сталина / Суни Р.Г., Мартин Т. (ред.). – М.: РОССПЭН: Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2011. – С. 139–179.

Хоскинг Дж. Правители и жертвы. Русские в Советском Союзе. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – 544 с.

Хоскинг Дж. Россия: Народ и империя, (1552–1917). – Смоленск: Русич, 2001. – 512 с.

Шенк Ф.Б. Александр Невский в русской культурной памяти. – М.: Новое литературное обозрение, 2007. – 624 с.

Brandenberger D. National bolshevism: Stalinist mass culture and the formation of modern Russian national identity, 1931–1956. – Cambridge, MA: Harvard univ. press, 2002. – 400 p.

Conquest R. The nation killers: the Soviet deportation of nationalities. – L.: Macmillan, 1970. – 222 p.

Epic revisionism: Russian history and literature as Stalinist propaganda / K.F.M. Platt, D. Brandenberger. – Madison: Univ. of Wisconsin press, 2006. – 372 p.

Fitzpatrick S. The Civil War as formative experience // Bolshevik culture / Gleason A., Kenez P., Stites R. (eds.). – Bloomington: Indiana univ. press, 1985 – P. 57–76.

Frings A. Playing Moscow off against Kazan: Azerbaijan maneuvering to latinization in the Soviet Union // Ab Imperio. – Казань, 2009. – № 4. – С. 249–266.

Haugen A. The establishment of national republics in Soviet Central Asia. – Basingstoke, Hampshire; N.Y.: Palgrave Macmillan, 2003. – 256 p.

Hirsch F. Empire of nations: Ethnographic knowledge & the making of the Soviet Union. – Ithaca: Cornell univ. press, 2005. – 392 p.

Holquist P. «Information is the alpha and omega of our work»: Bolshevik surveillance in its pan-european context // The journal of modern history. – Chicago, 1997. – Vol. 69, N 3. – P. 415–450.

Holquist P. To count, to extract, and to exterminate: Population statistics and population politics in late imperial and Soviet Russia // A state of nations: Empire and nation-making in the age of Lenin and Stalin / Suny R.G., Martin T. (eds.). – N.Y.: Oxford univ. press, 2002. – P. 111–144.

Kotkin S. Magnetic mountain: Stalinism as a civilization. – Berkeley: Univ. of California press, 1997. – 728 p.

Martin T. Interpreting the new archival signals: Nationalities policy and the nature of the Soviet bureaucracy // Cahiers du monde russe. – Paris, 1999. – Vol. 40, N 1/2. – P. 113–124.

Martin T. The affirmative action empire: Nations and nationalism in the Soviet Union, 1923–1939. – Ithaca: Cornell univ. press, 2001. – 528 p.

Slezkine Y. The USSR as a communal apartment, or how a socialist state promoted ethnic particularism // Slavic review. – Urbana-Champaign, 1994. – Vol. 53, N 2. – P. 414–452.

Suny R.G. The revenge of the past: Nationalism, revolution, and the collapse of the Soviet Union. – Stanford, Calif.: Stanford univ. press, 1993. – 200 p.

The limits of loyalty: Imperial symbolism, popular allegiances, and state patriotism in the late Habsburg monarchy / L. Cole, D.L. Unowsky (eds.). – N.Y.: Berghahn Books, 2007. – 256 p.

Timasheff N.S. The great retreat: The growth and decline of communism in Russia. – N.Y.: Arno Press, 1972 [1946]. – 470 p.

Vujacic V. Stalinism and Russian nationalism: A reconceptualization // Post-Soviet affairs. – Columbia, 2007. – Vol. 23, N 2. – P. 156–183.

С.И. Жук

СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО И КУЛЬТУРА ВРЕМЁН «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»: НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ НА РУБЕЖЕ СТОЛЕТИЙ

В период «холодной войны» (1945–1991) – политического, экономического и идеологического противостояния СССР и капиталистического Запада, особенно до 1980-х годов, советское общество обычно представлялось одномерным, монолитным и достаточно предсказуемым учеными-обществоведами с обеих сторон идеологических баррикад – как советологами на Западе, так и специалистами по научному коммунизму и истории КПСС в Советском Союзе. Несмотря на господство различных теоретических моделей для интерпретации: концепции тоталитаризма / модернизации на Западе и ортодоксального марксизма-ленинизма в СССР, исследования советского общества на капиталистическом Западе и на социалистическом Востоке объясняли основные тенденции в развитии этого общества очень похоже, подчеркивая главным образом политические, экономические и идеологические моменты в скучной неизменной стабильности советской цивилизации. В течение 1970-х и 1980-х годов внезапный взлет «ревизионистской» школы в западной историографии советской истории, особенно в связи с публикацией блестящих исследований Шейлы Фицпатрик, Стивена Коэна, Леопольда Хеймсона и других западных ученых, привел к тому, что в научный оборот западной советологии были введены не только совершенно новые данные из советских архивов, но и свежие идеи и теории новой социальной и новой культурной истории. Совершенно новое поколение западных исследо-

вателей, таких, как Ричард Стайтс, Вера Данэм, Лора Энгельстейн, Шейла Фицпатрик, Джеффри Брукс и Денис Янгблад заменили одномерную традиционную интерпретацию истории советского общества многобразием различных культурных практик, которые они обнаружили в повседневной жизни советских людей. Всё это привело к изменению самого характера советологии и впоследствии к огромной популярности исследований культуры среди как западных, так и постсоветских историков[1].

Внезапный взлет западной ревизионистской историографии совпал и стимулировался событиями перестройки и последовавшим распадом Советского Союза в 1991 г. В это время новые архивные документы были открыты для исследователей в СССР и постсоветских государствах. Многие бывшие советские историки могли теперь достаточно свободно выезжать за границу и использовать финансовую поддержку, свежую литературу и новые теоретические подходы и исследовательские методологии различных западных исследовательских центров. Именно в это время и установились уникальные по своему характеру научный диалог и интенсивное сотрудничество между западными и бывшими советскими учеными. Многие представители талантливой советской интеллигенции, такие, как Сергей Плохий (с образованием советского историка Украины и украинского казачества), Юрий Слёзкин (с образованием советского лингвиста, специалиста по португальскому языку), Ирина Паперно (бывшая советская филолог, связанная с университетом Тарту), Дмитрий Шлапенток (получивший образование историка Франции в МГУ), Алексей Юрчак (советский радиоинженер и продюсер ленинградских рок-групп «Странные игры» и «АВИА»), Андрей Знаменский (советский историк американских индейцев), Владислав Зубок (советский специалист по политологии США) и я (советский исследователь ран-

[1] О ревизионизме в американской советологии [см.: Engerman, 2009, p. 9, 286, 294, 305–308]. О новой популярности исследований культуры и о взаимных влияниях западных и прежних советских ученых [Engelstein, 2001]. Советские историки пережили также сильное влияние такого харизматического историка-медиевиста, как Арон Гуревич, который популяризировал идеи французского исторического журнала «Анналы» среди советских читателей [Markwick, 2006; Introduction: Why cultural studies, 1998]. О ревизионизме в историографии США и роли новой социальной истории и новой культурной истории [Жук, 1992 b, с. 172–177; Жук, 1994, с. 175–178; Жук, 1995 a, с. 208–222; Жук, 1995 b, с. 162–166].

ней истории США), покинули свои постсоветские страны и стали западными исследователями, и теперь преподают курсы советологии / русистики, российской, советской и постсоветской истории в университетах США. Все эти явления и культурные практики способствовали расширению и изменению характера западной советологии, которая сегодня становится реальным международным феноменом [Engelstein, 2001, p. 389]. Особенно это сказалось на западных исследованиях советского общества периода «холодной войны». Наиболее интересными и инновационными из них являются работы, посвященные истории культурного потребления, средств массовой информации и советской молодежи.

Культурное потребление, эпистемологическая революция в западной историографии и дискурс

В течение 1980-х и 1990-х годов британские культурологические исследования так называемого культурного потребления (потребление предметов культуры) и идентичности человека оказали значительное влияние на характер международной советологии. Согласно одному из пионеров культурологии (исследований культуры) в Великобритании Джону Стоури, «очень важно включить понятие культурного потребления в научное обсуждение природы идентичности, поскольку идентичности людей всегда формируются их повседневными актами взаимодействия в процессе различных форм потребления» [Storey, 1999, p. 135, 136]. Мэден Сэрап отметил: «Наши идентичности являются частью того, что мы потребляем. Или сказать по-другому, то, что мы потребляем, и то, как мы потребляем, говорит в значительной мере о том, кто мы есть, кем мы хотим быть, и как другие люди видят нас. Культурное потребление, возможно, есть один из самых важных способов того, как мы выказываем наши представления о нашем собственном Я. Это, конечно, вовсе не означает, что мы являемся тем, что мы потребляем, или то, что практики нашего культурного потребления определяют наше общественное бытие; но это значит, что то, что мы потребляем, обеспечивает нас сценарием, согласно которому мы разворачиваем и представляем разными способами драму того, чем мы на самом деле являемся» [Sarup, 1996, p. 105, 125]. По мнению британских ученых, «человеческое Я никогда не является ни сугубо продуктом какой-то внешней символической системы,

ни каким-то фиксированным понятием, которое индивидуум может сразу же и непосредственно осознать, а скорее это человеческое Я есть своеобразный символический проект, который индивидуум активно строит из символических материалов, доступных ему или ей, материалов, вплетаемых этим индивидуумом в связный рассказ о том, кем он или она является, в нарратив собственной идентичности» [Thompson, 1995, p. 207, 210; Storey, 1999, p. 135, 136, 147]. В то же время Саймон Фрит почеркивал, что потребление книг, музыки и кинофильмов «создает человеческий смысл идентичности посредством непосредственного опыта, предлагаемого подобным потреблением человеческому телу, времени и социальному общению, опыта, который позволяет людям находить себе место в этих воображаемых нарративах предметов культуры». Или как Джон Б. Томсон объяснил, «это те нарративы, которые люди будут изменять в течение времени по мере того, как они привлекают все более новые символические материалы, переживают новый опыт и постепенно меняют свою идентичность в процессе своей жизненной траектории» [Frith, 1996, p. 122,124; Thompson, 1995, p. 210].

Под влиянием этих идей исследователей культуры в 1990-е годы появились работы «новой» культурологии, которые сосредоточили свое внимание на эффектах глобализации, на том, как потребление продуктов западной культуры, особенно поп-музыки и кино, влияет на локальные идентичности, в том числе на пограничье западного мира и в незападных странах[1]. Продукты массовой культуры Запада становились важнейшим фактором в формировании местной идентичности. Как отметили социологи музыки, «присваивая формы зарубежной популярной музыки и преобразуя их в свой отечественный продукт массовой культуры, потребители этой культуры одновременно создавали способы своего существования в контексте их повседневного местного окружения» [Bennett, 2000, p. 198]. Потребление иностранных культурных продуктов было (и все еще остается) процессом выборочного заимствования и присвоения, перевода и включения их в местный куль-

[1] О глобализации и потреблении западной популярной музыки в различных регионах мира [см.: Manuel,1988; Music at the margins, 1991; Zuberi, 2001; Global pop, local language, 2003; Elteren, 1994]. О подключении культурного потребления к идеологии во времена «холодной войны» [см.: Poiger, 2000]. Сравните [Fenemore, 2007].

турный контекст[1]. Эти идеи повлияли в конечном счете на создание новой британской школы российско-советских культурных исследований, представители которой, такие, как Хилари Пилкингтон и Катриона Келли, начали исследовать взаимодействие глобализации, культурного потребления и местной молодежной культуры в советской и постсоветской России [Pilkington, 1996, p. 368–385]. Наиболее важной идеей для советской культурологии стала роль местного культурного контекста, в который потребление иностранных культурных продуктов инкорпорировалось и принимало различные формы. Другой концепцией, заимствованной из социологии культуры, была идея ***культурной фиксации***. По мнению социолога Томаса Кушмана, ограниченное количество источников иностранных культурных практик всегда производит «интенсивную идеализацию» ранее доступных форм подобных практик, особенно в обществах с сильными идеологическими ограничениями и контролем. Как объяснил сам Кушман, в советском закрытом обществе литература, музыка и кино, первоначально достигшие местных потребителей и представлявшие существенные, но ограниченные количественно образцы своего жанра, «становились своеобразными моделями и центральными объектами», на которых все последующие культурные практики будут основываться [Cushman, 1995, p. 43]. Продукты западной массовой культуры стали средоточием ***культурной фиксации*** для советской молодежи, которая значительно преувеличивала культурное значение этих продуктов.

Еще в начале 1990-х годов американский исследователь из Джорджтаунского университета Ричард Стайтс стал первым историком, написавшим самую полную и до сих пор читаемую в англоязычных странах историю популярной культуры и развлечений в России / Советском Союзе после 1900 г. до распада СССР. Он описывает в этой книге различные формы популярной культуры и средства массовой информации, включая музыку, кино, радио, телевидение, эстраду, цирк и всевозможную популярную литературу – от детективов до научной фантастики. Стайтс включил описание различных форм культурных практик, известных позже с подачи теретиков культурологии как «культурное потребление»,

[1] Потребление иностранных товаров и услуг «всегда происходит в условиях местных обстоятельств и всегда деформировано ими» [см.: Elteren, 1994, p. 4, 18].

в свою книгу, которая стала первой серьезной (и до сих пор востребованной) попыткой анализа популярной культуры и повседневной жизни советского общества времен «холодной войны» [Stites, 1992, p. 98–203]. Затем бывшая советская эмигрантка из Ленинграда, Светлана Боим, попыталась представить (достаточно неудачно) свое собственное «импрессионистское» ви́дение культурного потребления в ее родном городе детства после распада Советского Союза [Boym, 1994]. Чего не хватало в этих первых попытках исследования культурных практик, так это общей теоретической основы для исследования «культурной» истории советского общества периода «холодной войны».

Эпистемологическая революция в западной историографии

Расцвет так называемых «новых» социальной и культурной истории в Великобритании и США к 1990-м годам создал своеобразную концептуальную базу для новых подходов в изучении человеческого общества. Все это было связано с так называемой эпистемологической революцией в западной историографии. Начавшееся в 60-е годы движение «новых левых», молодежи, цветных и т.п., направленное против социально-политического истеблишмента Запада, против традиционных культурных ценностей, заставило историков пересмотреть привычное представление об истории. Этому способствовало и появление новых тенденций в общественных науках, что вело к осознанию исторической ограниченности господствоваших прежде концепций науки. Так, еще в 1962 г. американец Томас Кун представил все развитие научного знания как переход от «нормальной» науки к «научной» революции. Так, если «нормальная» наука развивается в пределах одной парадигмы (по Куну, это «признаннные всеми научные достижения, которые в пределах определенного времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений»), то «научная» революция означает замену старой парадигмы новой, без чего немыслимо современное развитие знания [Кун, 1977, с. 11]. Параллельно с теорией Куна в 60–70-е годы среди историков распространяются идеи француза Мишеля Фуко об эпистемах и речевом дискурсе. Эпистема, согласно Фуко, – это определенный простор знания, сеть отношений между «словами» и «вещами», на

основе которой строятся присущие той или иной эпохе коды восприятия, коды практики и познания, рождаются отдельные идеи и концепции. Выразителем исторически и социально определяемой эпистемы становится дискурс (сущностный способ отражения, выражения эпистемы, концептуальный язык определенного общества) [Фуко, 1977; Engelstein, 1993, с. 338–353]. А историография теперь воспринимается как смена эпистем и дискурсов. В интерпретации М. Фуко возрождается структурализм в его новой постструктуралистской форме: речевые структуры детерминируют поведение и всю жизнь людей. В европейской интеллектуальной истории Фуко выделяет три эпистемы: Возрождение, классический рационализм и современность. Согласно этим эпистемам изменяется и дискурсивная практика: в период Ренессанса речь выступает как вещь среди вещей, потом – как трансцендентный способ выражения мыслей, а сегодня речь полностью самостоятельна и структурирует всю нашу жизнь. Фуко впервые в западной историографии связал понятие власти через дискурсивную практику с определенным простором знания, что потом дало возможность «левым» интеллектуалам критиковать культурную политику «буржуазного правительства как эксплуататорскую и лицемерную» [Mayfield, Thorne, 1992, p. 165–188].

В англо-американской науке аналогичные идеи в области политической истории декларировали Кв. Скиннер и Дж. Покок, применившие на историческом материале теорию речевого акта, согласно которой действие речи приравнивается к социальному действию, а посредством речевого акта историк может определить глубинные интенциональные (связанные с намерением) структуры действующих лиц в истории [The return of Grand Theory… 1985, p. 1–20; Pocock, 1985, p. 4–32]. Толкование исторического текста, попытки найти истинное намерение автора текста вынуждали Скиннера и его сторонников обращаться к проблемам герменевтики. Выяснилось, что согласно Х. Гадамеру, современный историк не может даже мысленно переселиться в изучаемую им эпоху, не может влезть в шкуру автора исследуемого им текста. Понимание историками интенций прошлого происходит в контексте и традициях их современности, их времени, что делает невозможным адекватное отражение событий прошлого. Во-вторых, исследуемый исторический текст также находится в контексте определенной историографической и источниковедческой традиции (мы никогда

не выясним исторические традиции, в которых был написан текст), в контексте исторически сложившейся традиции интерпретации, которая выросла вокруг текста со времени его возникновения [Гадамер, 1990; Gadamer, 1984, p. 56–62].

Своеобразная духовная революция 60-х годов в жизни западного мира возродила интерес к неортодоксальному марксизму. Невозможно понять формирование и эволюцию «новой» исторической науки на Западе, игнорируя значение марксизма и других леворадикальных теорий в этом процессе. По мнению непосредственных участников этого процесса, только благодаря движению «новых левых», леворадикальному (с неомарксистской ориентацией) движению интеллектуальной молодежи Запада 60–70-х годов «новая» (прежде всего, культурная) история сложилась окончательно. Леворадикальные историки (включая и молодую тогда Шейлу Фицпатрик, будущего «ревизиониста» в англо-американской советологии) представляли новое поколение исследователей, как правило, еще не интегрированных в систему «научного истеблишмента» по причине возраста (большинство из них были совсем молодыми людьми), пола (много среди них было женщин), расы (негров и «цветных»), этнорелигиозного происхождения (скажем, в США среди «левых» преобладали не англосаксы протестанты, а евреи). Такая социокультурная оппозиционность сказалась и на выборе тем и методов исследования, главным образом нетрадиционных и леворадикальных [Zuckerman, 1993, p. 9; Isserman, 1989, p. 990–1010]. Благодаря именно «новым левым» усиливается интерес к демократически ориентированным социологическим концепциям и методам исследования общества. В США и Англии стали популярными сюжеты и научные подходы историков французского журнала «Анналы», которые изучали народ, «молчаливое большинство» в истории, менталитет (мировосприятие) различных социальных групп. В советской и постсоветской историографии с подачи медиевистов, таких, как А.Я. Гуревич, Ю.Л. Бессмертный, и их многочисленных последователей было принято значительно преувеличивать влияние «анналистов» на развитие современной западной исторической науки [Жук, 1992 а].

Действительно, новая культурная история США и Англии в 60–70-е годы во многом находилась под влиянием «Анналов». Но при этом не нужно забывать о традиционном влиянии на англо-американскую историографию XIX–XX вв. и французской соци-

альной истории О. Тьерри, Ж. Мишле и А. Пиренна, которая наряду с государственно-правовыми подходами немецкой историографии заложила основы своеобразия англо-американской социальной и культурной истории. Многие исследователи рассматривают увлечение «Анналами» как результат традиционного заимствования и методологической моды в историографии Запада. Большинство американских историков подчеркивают опосредствованный характер влияния «Анналов» в исторической науке США, к примеру, через восприятие идей Э. Дюркгейма, Макса Вебера или структурно-функциональной социологии Талькотта Парсонса. Многие англо-американские историки обращают внимание на ограниченность исследовательских приемов историков «Анналов», которые сводят все многообразие развития человечества к истории повседневности, быта и т.п. [Bailyn, 1982, p. 1–24; Degler, 1987, p. 1–12].

Сегодня школа «Анналов» фактически утратила позиции лидера даже у себя на родине, во Франции. В наше время леворадикальные историки, забыв об «Анналах», сами уже играют своеобразных «стимуляторов идей», вызывая разнообразные споры и дискуссии, предлагая необычные методы и ви́дение истории. Достаточно напомнить о популярности среди историков современности такой уже неомарксисткой концепции, как теория Антонио Грамши о «культурной гегемонии», идей Э.П. Томпсона о «моральной экономике», Э. Хобсбаума об «ошибочной традиции» и Мишеля Фуко об эпистемах и дискурсе. Но в отличие от концепций ортодоксального марксизма, сфера интересов «новых левых» уже не экономика, а **культура** трудящихся масс, отношения между **властью** и **культурой** [Gutman, 1987, p. 3–69; Roseberry, 1989, p. 55–59, 198–202].

Как правило, появление новых парадигм и дискурсов в западной историографии 60–70-х годов называют «эпистемологической революцией»[1]. Эта «революция» сопровождалась не только отказом от «буржуазной культуры», но и отказом от всякого «консенсуса» в науке, т.е. отрицанием общих (холистских), объединяющих разрозненные факты теорий. «Эпистемологическая революция» привела к смещению акцентов в интерпретации событий прошлого, дроблению предмета истории, полидисциплинарности

[1] См. об этом подробнее: [Novick, 1980].

самого исторического исследования. Всё это потребовало от историков не только умелой демонстрации и объяснения новых фактов, обнаруженных ими в исторических источниках, но и строго логического, выверенного эмпирически доказательства истинности приводимых фактов. Так и родилась «новая», «научная» история.

Большое влияние в становлении западной «новой» культурной истории в 60–80-е годы сыграли методы и подходы современных социологии и антропологии, позволявших историкам исследовать историю человека через призму его мировосприятия и посредством анализа его культурных практик. Одним из важнейших влияний, которое испытала в 70-е годы англо-американская культурная история, было воздействие британской социальной антропологии, «антропологической социологии», или как еще ее называют, антропологии социальной организации и социальных структур, начало которой положила образованная еще в 1964 г. «Кембриджская группа по истории народонаселения и социальных структур» (Э. Ригли, Р. Скофилд, П. Ласлетт и др.). Такой социоструктурный, историко-демографический метод исследования получил распространение не только на Британских островах, но и в США. Благодаря работам кембриджских и принстонских исследователей социальных структур были уточнены многие исторические данные (размеры семьи и церковного прихода в тюдоровской Англии, параметры естественного прироста и иммиграции накануне промышленного переворота и т.п.). Но этим историкам не хватало исследования внутреннего мира человека прошлого, воссоздания связи между его мировидением и поведением (что уже пытались делать во Франции такие ученые, как Ж. Дюби, Ф. Ариес, Ж. Ле Гофф и др.) [Жук, 1992 b, с. 175].

Выход из положения подсказала так называемая культурная («символическая») антропология. Американский антрополог Клиффорд Гирц предложил в 70-е годы, основываясь на идеях Макса Вебера, рассматривать культуру как «полагание смысла», как совокупность значащих для человека общественных символов. Гирц пишет: «Полагая вместе с Максом Вебером, что человек – это животное, повешенное в сети значений, которые он сам создает, я рассматриваю культуру как эту самую сеть; а анализ ее, исходя из этого, не будет уже экспериментальной наукой в поисках закона, а будет наукой интерпретации в поисках содержания» [Geertz, 1973, p. 5]. Гирц, Виктор Тернер и другие этнографы 70-х годов создали

«семиотическую концепцию культуры», которая объясняет культурные практики как «организованную систему значимых символов» [Geertz, 1973, p. 5]. Согласно Гирцу, все люди зависят от этих символов, которые играют роль «контрольных механизмов, культурных программ, определяющих их поведение». В культуре подобные символы служат, чтобы синтезировать этос людей – тонус, характер и качество их жизни – картинку мира, в которую они вмещают то, что их окружает, их основополагающие идеи мироздания [Geertz, 1973, p. 44, 46, 89]. Именно благодаря символической антропологии с 70-х годов интерес исследователей постепенно акцентируется на менталитете, этосе людей прошлого, иерархии их духовных ценностей и моральных норм [Novick, 1980, p. 587].

Символическая антропология Гирца обострила внимание англо-американских историков к теоретическому наследию Макса Вебера (1864–1920), немецкого историка и социолога, ставшего актуальным после блестящих переводов и интерпретаций его трудов Талькоттом Парсонсом еще в 30–60-е годы. Согласно Веберу, всем людям присущи: 1) «осознание» окружающего их мира в виде определенных исторически изменяющихся «систем значений»; 2) связанная с этим внутренняя необходимость определения своего отношения к миру через эти «системы значений», которые проявляются в сфере культуры как **системы ценностей** общества. Люди как бы реконструируют в своем сознании (порой в неотрефлектированной форме) окружающую их реальность, а созданные ими воображаемые модели этой реальности, своеобразные «картинки мира», уже в конечном итоге определяют поведение людей. Вебер противопоставляет экономическому редукционизму вульгарного марксизма концепцию этоса (своеобразного стиля жизни, общей направленности культуры, иерархии ценностей различных социальных групп), который отражает экономические реалии, но опосредованно, через мировосприятие, мироощущение людей. В противовес «всеобщему экономическому импульсу» либеральных теорий или «производительным силам» исторического материализма Вебер в центр внимания исследователя-историка поставил **человека**. Культура в его видении – это система символов, посредством которых человек придает значение («полагает смысл») своему собственному опыту (как бы «легитимирует» его, обращаясь к общепринятым в данном обществе ценностям) [Жук, 1992 b, с. 172].

В исследовании системы ценностей Вебер, по мнению Джойс Эпплби, старейшего представителя «новой» истории в США, создал модель для изучения сознания и связал через иерархию ценностей культуру и поведение людей. Общество нельзя исследовать в отрыве от его культуры. Следуя за Вебером, англо-американские «новые» культурные историки концентрируют внимание на том, что человеческое существо – это «системообразующее и символопроизводящее создание» [Appleby, 1984, p. 292–294][1]. Они исследуют реальное развитие социальных, значащих для его носителей, систем, изучают, как символы и ценности взаимодействуют с обычаями и институтами общества. В подобной интерпретации прошлое исследуется как иная культура, а чтобы изучить это общество, нужно понять средства выражения, используемые его представителями.

Общее направление развития «новой», «научной» истории – это движение от «рассказывающей» (нарративной, импрессионистской) к «проблеморазрешающей» (сциентистской) истории. Но этот путь был обречен на неудачу с самого начала. Уже опыт первых «новых» историков еще довоенного поколения, основателей «Анналов», свидетельствовал о бесперспективности попыток обойтись без нарратива в истории. «История-проблема» предполагает приоритет объяснения, интерпретаций перед нарративом, рассказом о прошедших событиях. Если же мы внимательно посмотрим известные работы «анналистов» (а не отдельные теоретические декларации Марка Блока или Люсьена Февра), то, к своему удивлению, обнаружим в них слишком много нарратива и совсем мало интерпретаций. Многие западные исследователи культурной и интеллектуальной истории (в том числе и сами «анналисты») на примере знаменитого труда Фернана Броделя «Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II» опровергают тезис Февра об «истории-проблеме», ибо книга продолжателя дела основателей журнала «Анналы» является ярким примером талантливо написанной, но все-таки **нарративной** истории, т.е. «**истории-повествования**» [Kellner, 1979, p. 197–222; Kinser, 1981, p. 63–105].

«Новые» историки представляли обнаруженные ими факты не просто как свидетельство прошлого, но как аргумент опреде-

[1] Ср. с попыткой обобщить развитие «новой» истории [Telling the truth about history, 1994].

ленной конструкции мысли. Теперь от историка требовалось не столько **утверждение** истинности найденных фактов, сколько **доказательство** их истинности при помощи строгих логических процедур и эмпирических (в том числе и клиометрических) методов. Дискурс исторического исследования при этом меняется: вместо **утверждения** чего-либо постоянно стремятся **доказать** что-то. Такая переориентация дискурса абсолютизирует мыслительный инструментарий историка, где последний уже не просто задает вопросы источнику, а полностью его преобразовывает в соответствии с той или иной моделью доказательства [Derrida, 1988, p. 14–22; Rosenau, 1992].

Все это привело к распространению среди западных историков 80-х годов постструктуралистских (деконструкционных) подходов французского философа Ж. Деррида, который всю историю превращает в «читаемый текст», а нарративный источник – в набор произвольно выбираемых оппозиций, когда не важна путаница между «означенным» и «означающим», а главное требование для историка – доказывая, избегать «логоцентризма». Несмотря на отдельные положительные примеры применения постструктуралистских подходов в анализе текстов у Д. Ля Капра, П. Де Мана, Х. Уайта и других представителей «новой» истории, в целом увлечение постструктурализмом в работе с нарративом ведет к откровенному произволу со стороны исследователя. Деструкционизм (разрушение при помощи языковых структур традиционной цельности / целостности прошлого) вначале в литературной критике США, а затем и в интеллектуальной истории усилил субъективизм и релятивизм, почеркивая произвольно оцениваемую **многозначимость** значений, смысла и т.п. [Derrida, 1967; LaCarpa, 1985, p. 9, 17; White, 1975, p. 427–428; Norris, 1982, p. 108–115].

Самое удивительное – это то, что при постоянной критике постструктурализма в истории идеи Ж. Деррида и М. Фуко попрежнему пользуются успехом у определенной группы историков, которые принадлежали к поколению «новых левых» 60-х годов. По нашим подсчетам, в англо-американской историографии 90-х годов почти все последователи Фуко и Деррида – это или бывшие «левые» историки, увлекавшиеся в свое время марксизмом и фрейдизмом, участвовавшие в оппозиционных политических движениях, или молодые исследователи, следующие своеобразной интеллектуальной «оппозиционной моде» в силу своего возраста (90% из них до 35 лет), пола (более 70% из них – женщины) и / или

расового / этноконфессионального происхождения (более 85% из них не англосаксы – евреи, афроамериканцы и др.) Новые методы и подходы для этих историков стали поначалу своеобразным вариантом интеллектуального эпатажа ими существующего академического истеблишмента, частью которого эти исследователи сами же и являются. По нашему мнению, постструктурализм в истории предстает как совокупность сциентистских средств самолюбования, самоудовлетворения историков; как способ интеллектуального протеста не только против консервативного характера самой исторической науки, но и против ограниченности средств «проникновения» исследователем в исторический источник [Ankersmit, 1989, p. 137–153; Zagorin, 1990, p. 265–274; Watts, 1991, p. 625–660; The American Quarterly forum… 1992, p. 439–462].

Антропология дискурса

К концу 90-х годов XX в. в результате длительной эпистемологической революции символическая антропология, интерпретирующая культуру как систему символов, и постмодернистские теории Фуко и Деррида о дискурсах и эпистемах стали своеобразной теоретической основой для расцвета культурологических исследований в западной советологии. И наиболее популярными становятся в этих исследованиях концепции культурного потребления и культурных практик, позволявших сравнивать два различных проявления одной и той же эпистемы современности / модерности – капитализма и социализма[1]. Пионерами в употреблении этих концепций в исследовании социализма периода «холодной войны» стали англо-американские антропологи, такие, как Кэтерин Вердеры [Verdery, 1991; Szemere, 2001].

Многие идеи этих исследователей культурных практик эпохи социализма основывались также на концепциях французских философов Пьера Бурдье и Мишеля де Серто, которые продолжали дискурсивные традиции М. Фуко. Согласно Мишелю де Серто, в современных социальных системах, таких как общества капитализма и социализма, «знание и символы, навязываемые извне, становятся объектами, манипулируемыми людьми их использующи-

[1] Ср. как используются при этом различные подходы Вебера / Гирца и Фуко [Engelstein, 1993; Kharkhordin, 1999; Zhuk, 2004; Krylova, 2010; Etkind, 2011].

ми, которые их не производят». В интерпретации Мишеля де Серто зачастую эти люди (называемые им «практикующие производство знаний») в повседневной жизни искажают и трансформируют культурные практики и символику, навязываемые им извне, по-иному – не отрицая их совсем и не изменяя их совершенно (хотя и это иногда случается). Практикующие производство знаний «как бы переводили в плоскость метафор основные элементы доминирующего интеллектуального порядка: они заставляли функционировать этот порядок в другом регистре. Это позволяло им оставаться иными в пределах господствующей системы, которую они ассимилировали, но которая в свою очередь их также ассимилировала, но только внешне. В результате они отклонялись от норм этой системы, все время оставаясь в ней» [Certeau, 1989, p. 31].

Эти идеи в сочетании со старой концепцией советского российского исследователя Михаила Бахтина об **авторитетном слове** (или **авторитарном дискурсе**, согласно современной антропологии) повлияли на современные исследования о теориях и практиках зрелого социализма, о дискурсивных практиках и формировании идентичности в постсталинском советском обществе, особенно работы Алексея Юрчака начала XXI в.[1] Алексей Юрчак, некогда советский физик и продюсер рок-групп из Ленинграда, получивший образование антрополога в американском вузе, стал первым англо-американским исследователем, который использовал все эти идеи для изучения советского общества в период постсталинского социализма. Юрчак исследует «внутренние сдвиги, происходящие в советской системе позднего социализма на уровне дискурса, идеологии и знания, которые стали очевидны только много позднее, когда эта система рухнула» [Yurchak, 2005, p. 32]. Согласно Юрчаку, «по мнению Бахтина, авторитарный дискурс складывается вокруг строгих внешних идей или догм... и занимает особое положение в

[1] Ср. с особо популярным в США изданием Бахтина [Bakhtin, 1994, p. 342–343; Yurchak, 2005]. См. также работы западных исследователей, которые используют подобные подходы [Gerovitch, 2004; Lovell, 2000; Fürst, 2010]. Тезис о роли авторитарного дискурса и акцент на а-историчные дискурсивные практики, который очевиден в исследовании антрополога Юрчака, стал объектом серьезной критики со стороны историков. См., к примеру: Шейла Фицпатрик [Fitzpatrick, 2006, p. 18–20], Андрей Козовой [Kozovoï, 2007, p. 767–769], и Кевин Плетт и Бенджамин Натенс [Плетт, Натенс, 2010, с. 167–184], и по-английски их статью [Platt, Nathans, 2011, p. 301–323].

дискурсивном режиме периода», в то время как «все другие типы дискурса группируются вокруг него» [Yurchak, 2005, p. 14]. Таким авторитарным дискурсом для советских людей была идеология марксизма-ленинизма, основанная на интерпретации Сталина. По мнению Юрчака, после хрущёвской десталинизации коммунистическая идеология в советском обществе претерпела так называемый «перформативный сдвиг» (изменение в форме подачи этой идеологии), когда сталинский авторитарный дискурс утратил свою значимость и превратился в простой ритуал для многих советских людей, которые старались существовать вне этого идеологического дискурса начиная с 1950-х годов. Юрчак использует в основном этнографический материал из своего родного города, Ленинграда / Санкт-Петербурга, чтобы показать, как различные формы культурного производства и потребления периода позднего социализма повлияли на советскую молодежь, включая комсомольских активистов и чиновников. По мнению Юрчака, «рок-н-ролльная культура» становится частью «неофициальных дискурсов и практик позднего социализма». Возражая авторам, подобным Томасу Кушману, которые настаивают на контркультурном характере рок-музыки в Советском Союзе, Юрчак уверждает, что неофициальные практики (прослушивание и исполнение рок-музыки) «предполагали не столько противостояние, сопротивление, или оппозицию государственной власти, сколько простое избегание ее и попытку создания символически значащего пространства и идентичности вне ее. Подобное избегание включало и пассивный конформизм перед этой государственной властью, притворную поддержку ее, игнорирование ее идеологических моментов и одновременную вовлеченность в совершенно несовместимые (с идеологией социализма) практики и действия за спиной официальной власти» [Yurchak, 2005, p. 36–76]. Так антропологические исследования начала века предложили популярную теоретическую базу для изучения советской культуры и общества периода «холодной войны».

Воображаемый Запад и советское послевоенное поколение

Согласно Алексею Юрчаку, массовое поклонение продуктам западной популярной культуры стало наиболее важным элементом культурного потребления в закрытом социалистическом обществе

после Сталина. Юрчак особенно фокусирует свое внимание на специальном культурном и дискурсивном явлении, известном среди западных обществоведов под названием «воображаемый Запад»[1]. По его мнению, «воображаемый Запад» – это «местная придуманная ментальная конструкция, основанная на формах знания и эстетике, ассоциируемой с "Западом", но не обязательно связанная с каким-либо "реальным" Западом, конструкция, которая приводит к де-территориализации (отстраненности) мира повседневного социализма изнутри» [Yurchak, 2005, p. 34–35, 161–162][2]. Юрчак отрицает конфронтационный / контркультурный характер «воображаемого Запада» в советском культурном потреблении. Он предлагает консенсусное / конформистское объяснение этой метафоры. Используя идеи российского культурного критика Татьяны Чередниченко, Юрчак пытается показать как западная музыка (часть «воображаемого Запада») влияла на «формирование идентичности целого поколения», так называемого последнего советского поколения [Чередниченко, 1994]. В то же время он игнорирует проблемы национальной и региональной идентичности, которые формировались в процессе потребления продуктов западной культуры в различных местностях Советского Союза. Юрчак отбрасывает какие-либо связи между советскими диссидентами и идеей Запада, которая играла важную роль среди правозащитников в СССР. В своем объяснении Юрчак преувеличивает роль дискурсивных практик. При подобной интерпретации визуальные элементы, особенно западное кино, теряют каую-либо роль влияния на идеологический дискурс и местную идентичность советских потребителей. Главная проблема с исследованием Юрчака – это его попытка делать общие заключения обо всем советском обществе, используя только материал из одного советского (далеко не типичного) города Ленинграда. Более того, большинство информации для своего исследования он получил из интервью образованной элиты этого города, лояльных представителей советского среднего и высшего классов, конформистской советской интеллигенции Ленинграда. Он полностью игнорирует рабочую молодежь, основ-

[1] О том, как разные ученые использовали эту метафору до Юрчака [см.: Lewis, 1968, p. 57; English, 2000, p. 22].

[2] Он начинает генеалогию этой метафоры с идей Мишеля Фуко [Foucault, 1998, p. 312].

ных потребителей рок-музыки и приключенческих кинофильмов в советском обществе. Другая проблема в работе Юрчака – это его некритический подход к интервью. Он брал интервью в очень трудный период перехода российского общества к стадии постсоветского капитализма (1994–1998). Многие из тех, кого интервьюировал Юрчак, стремились идеализировать или преувеличить свой «социалистический опыт» без каких-то конфликтов по контрасту с грубой реальностью «бандитского капитализма» в ельцинскую эпоху. Зачастую используя свой анализ «актов речи», Юрчак воспринимает информацию интервьюируемых дословно, некритично, без проверки современных архивных материалов[1]. В итоге Юрчак объясняет советское общество периода позднего социализма как общество, лишенное каких-то серьезных социальных проблем или конфликтов. Такие важные проблемы, как вовлечение советских чиновников в активность черного рынка, русификация, молодежные криминальные формирования крупных промышленных городов, проявление повседневной религиозности, национализм и антисемитизм полностью игнорируются в исследовании Юрчака. Юрчак не учитывает значение вмешательства КГБ и милиции в культурное потребление позднего социализма, которое особенно чувствовалось в провинциальных городах, где проживало большинство советской молодежи[2].

Идеи Юрчака повлияли на новые исследования истории послевоенного советского общества, особенно истории советской молодежи. Одна из недавних книг о послевоенной советской молодежи, называемой «последним сталинским поколением», также демонстрирует очевидное следование идеям и подходам Юрчака. Но в противовес Юрчаку ее автор, Джулиан Фюрст, использовала не только материал столичных советских городов Ленинграда и Москвы, но и документы из различных российских и украинских региональных архивов, создав при этом живую картину культурного потребления и различных культурных практик среди разных групп (от рабочей молодежи до «стиляг» и комсомольских активи-

[1] О его методах [см.: Yurchak, 2005, p. 29–33].

[2] Даже список запрещенных рок-групп, который Юрчак приводит в своей книге, происходит из провинциального украинского города Николаева [Yurchak, 2005, p. 214–215]. Источник основного же материала для автора – Ленинград / Санкт-Петербург.

стов) советских молодых людей в течение конца 1940-х и начала 1950-х годов. В определенной степени она представила богатый фактический материал о жизни советской молодежи периода позднего сталинизма, основываясь на работах российских исследователей, таких, как Елена Зубкова, и используя новые концепции западной культурологии. И опять, в противоположность Юрчаку, Фюрст убедительно доказывает, что корни либерализации и массовой вестернизации послевоенного советского общества следует искать в периоде позднего сталинизма, а не во время хрущёвской оттепели [Fürst, 2010, p. 25, 100, 103, 297, 301, 362][1]. Стараясь избегать чрезмерной концептуализации антрополога Юрчака, историк Владислав Зубок посвятил свое интересное исследование послевоенной советской интеллигенции, которую он называет «детьми Живаго». И опять же, в противовес Юрчаку, Зубок демонстрирует, насколько важна была роль Великой Отечественной войны для формирования менталитета и мировосприятия советской интеллигенции [Zubok, 2009][2]. Подавляющее большинство современных западных исследований, используя концепции символической антропологии и различные идеи о дискурсивных практиках, включая работы того же Зубока, Фюрст, Льюиса Зигельбаума, Мириам Добсон, Стивена Биттнера, Стивена Ловелла, Бенджамена Тромли и Глеба Цыпурского, подчеркивают роль послевоенного периода в формировании советского общества и его культуры, отвергают упрощенную интерпретацию хрущёвской эпохи как революционной предтечи перестройки и предлагают более нюансированное изображение позднего социализма, нежели анализ «речевых актов», предлагаемых Юрчаком [Zubok, 2009; Fürst, 2010; Siegelbaum, 2008; Dobson, 2009; Bittner, 2008; Lovell, 2010; Tromly, 2009 a; Tromly, 2009 b; Tsipursky, 2010; Tsipursky, 2008].

«Холодная война» и эра Брежнева

Леонид Брежнев сменил Хрущёва в качестве генерального секретаря ЦК КПСС в октябре 1964 г. Его правление (1964–1982)

[1] См. американское издание [Zubkova, 1998]. Ср. [Dobson, 2009; Ewing, 2010].

[2] Зубок здесь обыгрывает скандальную популярность легендарного романа Пастернака, пришедшуюся на время формирования советской послевоенной интеллигенции. Этот его проект вырос из предыдущей книги [Zubok, 2007].

открыло новую главу в «социалистическом потреблении» в СССР[1]. Брежнев был первым советским руководителем, который всенародно объявил и затем включил в официальные партийные документы идею «активного социалистического потребления» как часть официальной социальной политики коммунистической партии и советского государства. В противоположность Сталину и Хрущёву, которые всегда акцентировали внимание на приоритетном развитии тяжелой промышленности в экономических планах страны, Брежнев подчеркивал, что производство предметов массового потребления должно быть главной целью всей советской экономики. Впервые в официальных документах КПСС, при обсуждении девятой «пятилетки» на 24-м съезде партии, Брежнев ввел фразу о необходимости всемерного удовлетворения потребностей советских людей за счет повышения роста производства предметов массового потребления и сферы услуг. Со времен Брежнева «советский консьюмеризм» стал частью концепции «развитого социализма», введенной советскими идологами в официальный оборот еще в 1967 г. Все съезды КПСС под руководством Брежнева подчеркивали приоритет сферы потребления и услуг для удовлетворения «потребностей советских граждан»[2]. В действительности советская экономическая система не удовлетворяла возрастающих потребностей советских людей, и зачастую черный рынок и система блата компенсировали недостатки в обеспечении продуктами и услугами[3].

В течение 1960-х и 1970-х годов советские идеологи акцентируют внимание на формах досуга и культурного потребления в советском обществе. Согласно идеологическим требованиям развитого социализма социалистическое потребление отличалось от

[1] Первая научная постсоветская биография Брежнева была опубликована в серии «Жизнь замечательных людей» [Млечин, 2008]. О советском культурном потреблении во времена Сталина [Осокина, 1998; Kelly, Volkov, 1998; Лебина, 1999; Fitzpatrick, 1999; Gronow, 2003, p. 69–86]. О туризме и потреблении при Сталине [см.: Gorsuch, 2003, p. 760–785]. О «сталинской культуре как особом советском варианте современной массовой культуры» [см.: Hoffmann, 2003, p. 10], о массовом потреблении [см.: Hoffmann, 2003, p. 118–145].

[2] Популярные в США тексты для изучения брежневской эпохи [Brezhnev, 1971, p. 12–53; Brezhnev, 1976, p. 99; Брежнев, 1972, с. 24, 124, 235]. О потреблении и развитом социализме [см.: Бутенко, 1972, с. 48–58; Millar, 1985, p. 694–706].

[3] См. первую работу об этом на английском [Ledeneva, 1998].

капиталистического потребительства и исключало понятия личной выгоды и накопления богатства. Советские идеологи старались сочетать традиционные цели сталинских времен о «рациональном потреблении» и «рациональном использовании досуга» с новыми требованиями теории «развитого социализма»[1]. Как утверждает британский социолог Хилари Пилкингтон, эта теория стремилась «доказать различия в культурных формах социалистической и капиталистической версии современности. В то время как обе общественные системы акцентировали внимание на более высоких уровнях жизни и развитии отраслей промышленности, ориентированных на потребителей, советское общество отличалось от капиталистического прежде всего рациональным потреблением, а не дешевым потребительством» [Pilkington, 1996, p. 373].

Несмотря на то что западные советологи публиковали много работ о советской политике, экономике и культуре времен «холодной войны», эпоха Брежнева по-прежнему игнорируется историками. Современная западная историография включает общие обзоры «мифологий» повседневной жизни в советской России от Ленина до Горбачёва, написанные Светланой Боим и Ниной Тумаркин, в которых «брежневский период» упоминается лишь вскользь как время «застоя и реакции» [Boym, 1994; Tumarkin, 1994; Tumarkin, 1997][2]. Фредерик Старр, Тимоти Рыбак и Ричард Стайтс также отвели специальные главы «эре застоя» в своих книгах об истории развлечения и музыки в России и Восточной Европе[3]. Некоторые

[1] О сталинских установках и подходах к проблемам досуга [см.: Gorsuch, 2003, p. 781; Kelly, Volkov, 1998, p. 293].

[2] Правда, в разговоре со мной Дональд Рэйли, профессор российской истории из университета Северной Каролины, признался, что он начал писать историческую биографию Брежнева.

[3] Лучшие работы о потреблении поп-музыки в СССР исследуют в основном производство этой музыки местными рок-группами, в основном из столичных советских городов [Starr, 1985, p. 289–315]; а также [Troitsky, 1987; Ryback, 1991, p. 50–65, 102–114, 149–166, 211–222; Stites, 1992, p. 148–177; Rocking the state… 1994]. Последний сборник содержит две статьи о Белоруссии и Украине [Survilla, 1994, p. 219–242; Bahry, 1994, p. 243–296]. К сожалению, основной материал этих статей посвящен периоду после 1985 г. Основные западные работы исследуют только ситуацию в Москве и Ленинграде [Cushman, 2004; Urban, Evdokimov, 2004; McMichael, 2005, p. 664–684; Yurchak, 2005; Shiraev, Zubok, 2000, p. 19–21, Richmond, 2003, p. 11–13, 205–209]. Ср. со сборником о советской молодежи [Soviet youth culture, 1989] и исследованием о социалистических дворцах культуры [White, 1990]. См. также западную книгу о советской эстраде [MacFadyen, 2001].

исследователи, такие как Эллен П. Микиевич, Энн Уайт, Дмитрий и Владимир Шлапентохи, Денис Янгблад и Судха Раджагопалан посвятили несколько глав своих исследований и проблемам потребления кино во времена Брежнева [Mickiewicz, 1981; White, 1990; Shlapentokh D., Shlapentokh V., 1993; Youngblood, 2007; Shaw, Youngblood, 2010][1]. Историки книжного потребления анализировали парадоксы «читательской революции» в советском обществе после Сталина [Lovell, 2010]. После распада СССР все больше исследователей начали писать о «национальном вопросе» в СССР в период развитого социализма [Fowkes, 2002, p. 68–89; Simon, 1991; Yitzhak, 1998]. Несколько историков, особенно Энн Горзуч и Андрей Козовой, начали исследовать проблемы туризма в брежневскую эру [Долженко, 1988, с. 150][2]. Многие западные ученые отметили массовую идеализацию советскими людьми такого феномена как «воображаемый Запад», особенно в период позднего социализма[3]. Тем не менее большинство западных историков продолжают игнорировать историю брежневской эпохи, предпочитая изучать «сталинский террор» или «хрущёвскую оттепель» вместо скучного «периода застоя».

Такое игнорирование этого периода западными исследователями связано с преобладающим стереотипом в современном обществоведении, что период правления Брежнева маловажен для понимания советской истории[4]. Недавно некоторые британские историки, в частности Бэйкон, отметили, что одна из главных при-

[1] О популярности индийских фильмов среди советских любителей кино после Сталина [см.: Rajagopalan, 2006, p. 83–100; Rajagopalan, 2009].

[2] Ср. [Shaw, 1999, p. 137–140]. О туризме и советских профсоюзах [см.: Ruble, 1981]. О туризме в социалистических странах в различные времена см. статьи из интересной коллекции под редакцией Д. Кенкер и Э. Горзуч [Qualls, 2006, p. 163–185; Noack, 2006, p. 281–304]. Ср. с новой книгой А. Госач [Gorsuch, 2011] и различными публикациями Козового на французском и английском, особенно его статью [Kozovoi, 2011].

[3] Среди многих работ об этом феномене [см.: Friedberg, 1977; Friedberg, 1985; Mickiewicz, 1988, p. 32–34; Shlapentokh, 1989, p. 139–152; Shlapentokh, 1990, p. 120–121, 123–125, 150, 225–226; English, 2000].

[4] См. интересный анализ постсоветских социологических исследований в России, посвященных проблемам «Homo Soveticus» в исторической антропологии позднего социализма [Гудков, 2007, с. 398–436].

чин игнорирования брежневской эпохи современными учеными – это результат «реформационного дискурса того политического проекта, известного как перестройка и начатого советским лидером Михаилом Горбачёвым», который объявил брежневские годы правления «эрой застоя». К сожалению, этот дискурс стал «преобладающей моделью для концептуализации периода почти двух десятилетий правления Брежнева. Коллеги Бэйкона считают это неправильным объяснением, поскольку Брежнев «привнес беспрецедентную стабильность в советскую систему, под его руководством происходил подъем жизненного уровня советских людей, он консолидировал положение СССР как мировой супердержавы и играл важную роль в предупреждении мирового ядерного конфликта, который, по мнению обозревателей, реально угрожал человечеству в годы его правления. Он до сих пор является самым популярным политическим лидером СССР / России в XX веке» [Brezhnev reconsidered, 2002, p. 1, 4, 19].

Только сравнительно недавно отдельные историки попытались исследовать детально социальную и культурную историю повседневной жизни в брежневскую эру. Фактически моя книга, опубликованная в 2010 г., и стала первым историческим исследованием (на любом языке), посвященным повседневной жизни советской городской молодежи во времена Брежнева. Этот мой научный проект 20-летней давности начался с дискуссий в Днепропетровском дворце ученых в 1989 г., в период создания так называемой Советской ассоциации молодых историков времен перестройки, когда молодые и не очень, историки, такие, как Юрий Мыцык, Виталий Подгаецкий, Евгений Чернов и Сергей Плохий, начали обсуждать различные нетрадиционные проекты написания истории. Именно тогда-то я и задумал проект о диалоге западной (прежде всего американской) и славянской культур и политических традиций со времен Реформации и колонизации Северной Америки до наших дней. В 1990 г. я и начал этот проект, задуманный как историческая трилогия. Первая книга этой трилогии задумывалась как сравнительная история западной религиозной традиции в колонизации Северной Америки и южной Украины и России [Zhuk, 2004]. Вторая часть посвящалась истории восприятия западной массовой культуры молодежью советского «закрытого» общества

на примере секретного «закрытого» города Днепропетровска времен Брежнева[1]. Последняя, третья, часть этого проекта задумывалась как социальная и культурная история американистики в России и Украине со времен Сталина до наших дней, т.е. как исследование своеобразной модели вестернизации элиты советского и постсоветского общества[2]. Единая идея всего проекта – это взаимоотношения западной и восточно-славянской культурных традиций от времен Российской империи до наших дней. Эта идея позволяла мне использовать новые исторические документы, в том числе и источники устной истории, и новые теоретические подходы, основанные на концепциях символической антропологии и англо-американской «новой» историографии.

Используя свою подготовку в Институте всеобщей истории АН СССР как советский американист, я решил применить популярные среди моих американских коллег в 80-е годы методы устной истории, такие, как интервью непосредственных участников событий. Так, в течение 90-х годов я взял интервью более чем у ста людей, которые жили в период Брежнева, собрал интересные личные дневники, отражавшие различные аспекты жизни интеллигентов и рабочих с конца 60-х до начала 80-х годов. Используя свой многолетний опыт ведущего советской студенческой дискотеки, я также накопил интересный материал, собранный среди своих коллег, о роли западной массовой культуры в формировании вкусов и интересов людей, выросших во времена Брежнева. В 1997 г. я вынужден был вместе с семьей перебраться из Украины в США, где начал новую академическую карьеру, поступил в аспирантуру в университет Джонса Гопкинса и защитил на основе своего первого проекта новую диссертацию о влиянии западных религиозных традиций на крестьян Юга имперской России. Эта диссертация была опубликована в 2004 г. в виде книги, что способствовало началу моей преподавательской карьеры в американском вузе.

Начав преподавать советскую историю в вузе США, я сразу же вспомнил о второй части моего научного проекта, над которым я работал еще в советской Украине. Я столкнулся с тем, что большинство книг, которые американцы используют для преподавания

[1] Она тоже опубликовна в США [Zhuk, 2010 b].

[2] Новая книга будет опубликована в США под названием: «People's diplomacy: History of American studies and national politics in Russia and Ukraine after Stalin».

советской истории, посвящены преимущественно только двум темам – насилию русской революции и Гражданской войны и террору сталинизма. Либерализация советского режима и его эволюция во времена Хрущёва и Брежнева представлена слабо или вовсе отсутствует в учебной литературе. Более того, основной материал, предлагаемый американским студентам их американскими преподавателями, базируется на исследованиях преимущественно только двух столичных советских городов – Москвы и Ленинграда, где американские исследователи традиционно предпочитали (и предпочитают это делать и сейчас) проводить свои исследования вдали от бытовых неудобств советской провинции. Столкнувшись с подобной ситуацией, я решил использовать свой собственный текст для преподавания истории брежневской эры в американском университете. В противовес исследованиям столичных советских городов, открытых для иностранцев, я использовал материалы своего (еще перестроечного) исследования повседневной жизни Днепропетровска, типичного советского провинциального промышленного города, который был закрыт для иностранцев с 1959 по 1987 г. из-за нахождения в нем Южно-машиностроительного завода, крупнейшего в мире производителя ракетных (в том числе и для космических носителей) двигателей, историю которого можно было бы использовать как своеобразную модель всего закрытого советского общества. Более того, история этого города, связанного с влиянием клана Брежнева и других днепропетровских политиков в советские и постсоветские времена (от 53 до 80% украинских политиков были выходцами из Днепропетровска), позволяла мне связать изучение локального советского социума с общесоюзными проблемами.

Используя документы местных, а также центральных украинских и российских архивов, личные дневники, современную периодику и более чем сто интервью в качестве источников для своего исследования, я написал историю культурного потребления в Днепропетровске времен Брежнева, концентрируя свое внимание на потреблении книг, кино и популярной музыки. Главный фокус моего исследования – это продукты западной массовой культуры и их восприятие советскими потребителями, прежде всего молодежью. Большинство книг, кинофильмов и музыки, популярных среди советских потребителей провинциальных городов, таких как Днепропетровск, были, прежде всего, продуктами западной бур-

жуазной культуры (только в середине 70-х годов более 90% музыкальной продукции на городских танцплощадках и более 80% всей кинопродукции на киноэкранах города происходили из капиталистического Запада). Исследуя три разные стадии потребления продуктов западной культуры на фоне трех массовых музыкальных увлечений советской молодежи: 1) 60-е годы – период «битломании», хиппи и бит-музыки; 2) начало 70-х – пик популярности британской хард-рок и глэм-рок музыки, влияние разрядки международной напряженности; 3) дискотечное движение конца 70-х – начала 80-х годов и преследование панк-рока и хеви-метал – я демонстрирую как различные формы культурного потребления – от украинских исторических романов до рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда» – воздействуют на советских потребителей и способствуют формированию различных региональных, национальных и даже религиозных идентичностей. В противовес Юрчаку, который подчеркивает консенсусный, бесконфликтный характер потребления предметов западной поп-культуры преимущественно образованной советской элитой, я показываю разные формы культурных конфликтов брежневской эпохи, культурный протест рабочей молодежи, русификацию местной национальной культуры и рост противостояния советской периферии культурному центру (Москве). Анализируя феномен «диско-мафии» (связи комсомольских и советских аппаратчиков с черным рынком и энтузиастами западной поп-музыки и кино), я исследую истоки постсоветского предпринимательства (девять из десяти «бизнесов» Восточной Украины выросли на базе этих связей) среди таких представителей постсоветской элиты Украины, как Юлия Тимошенко и Сергей Тигипко [Zhuk, 2010 b][1].

Всё больше западных историков, большинство которых по происхождению – из стран бывшего советского блока, используя результаты эпистемологической революции западной историографии и новые материалы, в том числе и источники устной истории, изучают сегодня брежневскую эпоху. Многообещающим является новое исследование британского историка (родом из советской Белоруссии) Натальи Чернышовой. Изучая бытовое потребление

[1] См. также другие мои публикации на эту тему [Zhuk, 2008 b; Zhuk, 2008 a; Zhuk, 2009 b; Zhuk 2009 a; Жук, 2009 a; Жук, 2009 b; Zhuk, 2010 a; Zhuk, 2011 b; Zhuk, 2011 a; Zhuk, 2011 c].

во времена Брежнева, она демонстрирует, как городские советские потребители разбирались в технологических деталях новых товаров и стремились изучать новые тенденции в производстве товаров массового потребления, изучая материалы советских периодических изданий; как они становились независимыми в их решениях по поводу выбора разных технологий и разновидностей товаров, напоминая в своем поведении типичных западных потребителей. Она использует пример кухонных и кулинарных бытовых механизмов для иллюстрации роста советского «потребительства». Несмотря на относительную изолированность от Запада и строительство социалистического образа жизни, СССР после Сталина переживал социальные перемены, которые не были уникальными или специфическими для социалистического общества. Особенно заметны эти изменения в сфере потребления. С точки зрения уровня жизни ситуация изменилась к лучшему со времен Хрущёва, но брежневская эпоха стала настоящим бумом индивидуального потребления, что привело к важным социальным и культурным последствиям. Чернышова также исследует потребление горожанами технологических товаров, таких как стиральные машины, холодильники, телевизоры. Она убедительно доказывает, что процессы, происходившие в советской городской среде во времена Брежнева, характеризовались целым рядом параллелей с западной культурой потребления. Чернышова демонстрирует продуктивность смещения в исследованиях акцента с провалов социалистического производства товаров народного потребления на исследование культуры потребления в разных, пусть даже антагонистических политических и экономических системах. Она справедливо полагает, что такое исследование позволит представить более полный и нюансированный портрет жизни в эпоху развитого социализма, чем всем известные анекдоты про очереди и дефицит в СССР[1].

К сожалению, подавляющее большинство современных западных исследований о постсталинском социализме в Советском Союзе по-прежнему основывается на материале двух самых вестернизированных «открытых» столичных советских городов, Москвы и

[1] После защиты своей диссертации в Великобритании Чернышова подготовила ее текст к публикации в США. Среди ее недавних публикаций см. статью, подготовленную для редактированного мною форума о «закрытом» советском обществе периода развитого социализма [Chernyshova, 2011, p. 188–219, 220].

Ленинграда, которые всегда были открыты непосредственным западным влияниям через иностранных туристов и журналистов [Boym, 1994; Pilkington, 1994][1]. В результате подобного подхода история культурного потребления, средств массовой информации и молодежи в «закрытых» советских провинциальных городах и поселках, где подавляющее количество этой самой молодежи проживало, исчезает из научного анализа. Трудно делать далеко идущие обобщения обо всем советском обществе (как это делают Боим, Юрчак и другие), фокусируясь на материале далеко не самых типичных советских городов – Москвы и Ленинграда[2]. Только сравнительно недавно новое исследование Кейт Браун о режимных закрытых городах стратегического назначения, устная история выпускников средней школы в Саратове в интерпретации Дональда Рэйли, социальная история Байкало-Амурской магистрали в изложении Кристофера Уарда, анализ Карла Куэллса городской культуры Севастополя, книга Пола Стронски о Ташкенте и интересное исследование Уильяма Риша о советском Львове изменили традиционное внимание западных историков к Москве и Ленинграду[3]. Традиции исследования советских закрытых городов продолжает Екатерина Емельянцева, еще один эмигрант из советского Ленинграда, преподающая советскую историю в Великобритании и пополнившая группу англо-американских историков, изучающих культурное потребление в брежневскую эпоху. Исследуя поведенческие стратегии советских граждан – жителей закрытого города Северодвинска, выпускавшего подводные лодки стратегического назначения, Емельянцева предлагает рассматривать брежневский этап в истории Советского Союза как период «гибкого социализма». В своем исследовании она выявляет модусы артикуляции личных интересов в поле потребительских практик и в свете контролирующих функций государственных органов. Емельянцева

[1] О социологии потребления рок-музыки в Ленинграде [см.: Cushman, 1995; Yurchak, 2006].

[2] Недавние постсоветские исследования молодежи добавили материал о Самаре и Ульяновске [Looking West? 2002; Омельченко, 2004].

[3] Среди недавних публикаций Кейт Браун см. статью, подготовленную для редактированного мною форума о «закрытом» советском обществе периода развитого социализма [Brown, 2011]. См. также: [Russia's sputnik generation, 2006] и недавнюю книгу Ролей, где он сравнивает жизнь выпускников Москвы и Саратова [Raleigh, 2011; Ward, 2009; Qualls, 2009; Stronski, 2010; Risch, 2011].

исследует черный рынок и фарцовку среди студентов втуза и рабочих Севмаша; личные контакты с иностранцами и сотрудниками КГБ; досуг и неформальные личные связи. Она убедительно демонстрирует, что в Северодвинске динамику «гибкого социализма» определяла специфическая конфигурация государственных структур, материальных преимуществ, связанных с закрытым статусом города, и неформальных социальных связей. Сложившийся там модус вивенди между индивидуумами, группами и государством опирался в значительной степени именно на функционирование личных связей. На этой модели основывалась и внутренняя стабильность северодвинского сообщества, которая смягчала идеологические и пространственные ограничения и нейтрализовывала конфликты[1].

Что интересно, все эти новые авторы, от Кейт Браун до Уильяма Риша и Емельянцевой, главным в их исследовании делают различные культурные практики и их символическое значение, сочетая тем самым теоретические подходы символической антропологии и теории дискурса. В той или иной степени все они освещают то, как различные формы культурного потребления различных групп советского населения отражали развитие советских медиа (средств массовой информации) – от кино до радио и телевидения.

Средства массового распространения культурного потребления в СССР

Попытка наиболее полного анализа советских медиа (средств масовой информации) после Сталина была осуществлена новым поколением англо-американских историков, которые уже испытали на себе влияние постсоветской культурологии. Так, Кристин Рот-Ай, представитель этого поколения, посвятила свое исследование трем наиболее важным формам советских медиа – кино, радио и телевидению. Хотя много хороших работ было уже написано о каждой из этих форм медиа, Рот-Ай предлагает интересный исследовательский эксперимент, объединив все три формы в одной книге, сосредоточив свой интерес на периоде 1950–1960-х

[1] См. ее статью, подготовленную для редактированного мною форума о «закрытом» советском обществе периода развитого социализма [Emeliantseva, 2011, p. 238–258, 258–259].

и начала 70-х годов. Она изучает культурные практики советской бюрократии, технологии, социальные связи и повседневные стратегии советских потребителей этих средств массовой информации [Roth-Ey, 2011, p. 12][1]. Главная тема ее книги – постоянная бюрократизация и регулирование всей советской визуальной культуры и радио в постсталинский период.

Рот-Ай демонстрирует, как Советский Союз стал настоящей медийной империей после Сталина. СССР был «пропагандистским государством»: культура в советском контексте всегда была делом воспитания, подготовки, мотивации и мобилизации советских граждан для строительства социализма. Различные медийные формы играли роль средств в этом процессе, главная цель которого была облагораживать каждого и противостоять «дешевой» массовой культуре, ассоциируемой с капиталистическим Западом; а потребление социалистического искусства предполагало дальнейшее достижение цели морального воспитания и массовой политической мобилизации всего населения СССР.

Изучая кино как хронологически первую массовую форму советских медиа, Рот-Ай отметила такое важное противоречие в советской киноиндустрии, как «ее прямая зависимость от кассового успеха и рыночных правил». С одной стороны, советский кинематограф являлся формой антикоммерческого искусства, но с другой стороны, его развитие определялось способностью привлекать массового зрителя и создавать доходы государству. В итоге успех киноиндустрии «приводил к смешению границ между искусством и коммерцией, средством самовыражения и интереса прибыли, службой обществу и государственным бюджетом». По подсчетам Рот-Ай, в СССР в течение 60-х годов продажа билетов в кино ежегодно приносила прибыль около 1 млрд. руб., из которых государство получало более 440 млн. руб. «чистой прибыли» [Roth-Ey, 2011, p. 27][2].

Такое понятие коммерческого успеха в советской киноиндустрии привело к ее индустриализации и покупке иностранных фильмов, которые приносили все больше прибыли. Советские чиновники учитывали то, что каждый вложенный в покупку

[1] Ср. с первой книгой об истории русских комиксов [Alaniz, 2010].

[2] Ср. со старой литературой о советской киноиндустрии [Mickiewicz, 1981, p. 73–88; Shlapentokh D., Shlapetokh V., 1993, p. 147–175; Lawton, 1992, p. 7–51; Faraday, 2000, p. 87–109; Youngblood, 2007; Woll, 2000; Rajagopalan, 2009].

заграничного фильма 1 руб. приносил прибыль 5 руб., а коммерческие западные фильмы – 20 руб. Советское министерство культуры начало закупать большое количество кинофильмов за рубежом – от 63 в 1955 г. до 113 в 1958 г., с планами закупки более 150 в 1960 г. Согласно цифрам, которые Рот-Ай нашла в материале Валерия Головского и Судхи Раджагопалан, с 1954 по 1991 г. СССР импортировал 206 фильмов из Индии, 41 из США и 38 из Франции. В 1960 г. каждый фильм из западных стран привлекал более 500 тыс. зрителей в Москве, в то время как советское кино интересовало 357 тыс. зрителей, фильмы из советского блока – 133 тыс. человек [Roth-Ey, 2011, p. 36; Golovskoy, Rimberg, 1986].

Согласно моему собственному исследованию советской киноиндустрии в период Брежнева только за один 1973 год *Совэкспортфильм* закупил более 150 художественных кинофильмов из 70 стран. За время разрядки международной напряженности количество закупки иностранных фильмов росло с каждым годом. В итоге эти зарубежные фильмы играли бóльшую роль в вестернизации советского общества, чем западные литература и музыка. Если в 1966 г. почти 60% всего кино на экранах советской Украины было иностранного происхождения, и 50% из них представляли капиталистический Запад, то через 10 лет, в 1975 г., уже почти 90% были зарубежными фильмами, и почти 80% – западного происхождения, в 1981 г. более 95% всей кинопродукции было иноземным, и 90% этого кино представляли западный кинематограф. Более 90% всего западного кино происходило из Западной Европы и менее 10% – из США. Согласно личным дневникам советских школьников из Восточной Украины в 70-е годы каждый из них смотрел от двух до трех кинофильмов в неделю. Во время школьных каникул они смотрели шесть-семь фильмов в неделю, 90% этих фильмов были западноевропейского происхождения [Zhuk, 2010 b, p. 125, 126, 166; Zhuk, 2011 c].

Радио и телевидение прошли через подобный опыт, как и советская киноиндустрия после Сталина, и эти обе медийные формы так и не смогли предложить возвышенных форм советской культуры и стали вместо этого главными средствами массового развлечения. Рот-Ай убедительно демонстрирует, как советское радио проиграло идеологическое и культурное соревнование с западным радио еще в 1950–1960-е годы. Парадокс заключался в том, что введение новых радиотехнологий, и в первую очередь переносных транзисторных радиоприемников, создало уникальную возможность для советских радиолюбителей услышать западные радиопередачи, которые звучали более привлекательно и современно, чем советские. В течение 50-х годов транзисторное радио в СССР привело к замене коллективного радиопрослушивания индивидуальным и к утрате государственного контроля за тем, что слушали советские люди [Roth-Ey, 2011, p. 138]. Глушение «иностранных голосов» не помогало, так как оно порой действовало даже на собственное радиовещание. Да и время было потеряно – в 1968 г. более половины советских городских жителей регулярно слушали зарубежное радио по своим транзисторным приемникам. В борьбе с западным радио советская администрация вынуждена была заимствовать отдельные формы радиовещания западных радиостанций. Так, в 1964 г., заимствуя западный радиоформат и стиль, советское радио начало вещание новой радиостанции *Маяк* с круглосуточной программой, представленной в формате пяти минут новостей и 25-минутной развлекательной программы каждые полчаса эфирного времени.

К сожалению, в своем описании эксперимента с этой радиостанцией Рот-Ай, как и многие другие западные исследователи, игнорирует интересную и достаточно хорошо известную советским историкам радиоисторию радиожурналиста Виктора Татарского, пришедшего на радиостанцию *Маяк* в 1967 г. и создавшего наиболее популярные радиопередачи в истории советского радиовещания, которые повлияли на вкусы и культурные предпочтения миллионов советских радиослушателей. В 1967 г. он создал свою первую радиопередачу *Встречи с песней*, которая популяризировала советскую эстрадную песню. А уже с 1968 по 1975 г. московский *Маяк* выпускает в эфир совершенно новую музыкальную радиопередачу Татарского и журналиста Григория Либергаля под названием *Запишите на ваши магнитофоны*. Татарский включал в эту программу наиболее популярные песни западной (в основном рок-) музыки. Обычно ему отводилось только 25 минут для передачи. Иногда ему удавалось быть в эфире по часу каждое воскресенье. Советская публика любила музыку Татарского и его оригинальные, с юмором, комментарии. Администрация радио пыталась несколько раз закрыть его передачу. После 1976 г. Татарский перешел на другие московские радиостанции, где посвятил свои передачи джазу и советской эстраде. Вместе с центральной советской

радиостанцией *Юность* Виктор Татарский и молодые радиожурналисты, такие как Екатерина Тарханова, Владимир Познер и Игорь Фесуненко, организовали две новые радиопередачи *На всех широтах* и *Музыкальный глобус*. Эти передачи освещали различные темы популярной музыки, включая джаз и рок-н-ролл, и они стали важным источником информации о западной поп-музыке для миллионов советских меломанов [Zhuk, 2010 b, p. 90, 97, 246][1].

Наиболее интересная часть книги Рот-Ай – это ее главы о советском телевидении. Используя мемуарную литературу как основной источник, она демонстрирует революционные усилия советских инженеров, организующих телевизионное вещание в течение 1950-х годов, когда СССР стал четвертым в мире государством по количеству индивидуальных телевизоров после США, Канады и Великобритании. К 1970 г. 70% советского населения имели доступ к телевидению (с 35 млн. телевизоров), к 1985 г. – уже 93% (с 90 млн. телевизоров). Телевизор становится наиболее желаемым объектом советского потребления. Для советских идеологов телевидение стало символом современности. Они представляли телевидение как «фундаментальный элемент современного стиля жизни и как символ мощи советской науки, которая способна воссоздавать этот стиль жизни и объединять людей всего СССР» [Roth-Ey, 2011, p. 210, 212][2].

Первая стадия в развитии советского телевидения включала создание «живого эфира» со многими смелыми экспериментами, проводимыми местными энтузиастами этого нового средства массовой информации. Рот-Ай подробно описывает создание таких транслирующихся «живьем» телепередач, как *Голубой огонек*, *Кинопанорама* и КВН – *Клуб веселых и находчивых*, которые стали наиболее оригинальными и популярными передачами на советском телевидении в 1960–1970-е годы. Но в то же время Рот-Ай отмечает усиливающуюся централизацию и русификацию телевизионной индустрии и телевещания, которые привели к полной замене «живого эфира» трансляцией заранее записанных телепередач к 1970 г. [Roth-Ey, 2011, p. 212]. Согласно ей, советские

[1] См., как западные средства массовой информации писали о Татарском [Melodiya uses radio program as promotion, 1972].

[2] Ср. с первой западной монографией о советском телевидении [Mickiewicz, 1981].

телевизионщики-профессионалы рассматривали всю культуру как механизм морального воспитания и политической мобилизации, а советских телезрителей как «объект постоянного перевоспитывания». Но телезрители игнорировали эти идеологические требования и передачи возвышенного культурного содержания, такие как трансляция балета или оперы. Они превращались в пассивных потребителей «легкого» телевизионного развлечения, которые предпочитали смотреть кино, нежели некую «культурно возвышенную» передачу. В итоге наиболее популярным среди советских телезрителей в течение всех 70-х годов был показ советских приключенческих телесериалов, таких как *Семнадцать мгновений весны* и *Адъютант его превосходительства* [Roth-Ey, 2011, p. 224]. Но в то же время Рот-Ай игнорирует другую популярную группу телесериалов – кинофильмы из социалистических стран. Это были приключенческие фильмы из Польши *Ставка больше, чем жизнь* и сериалы для детей: польский *Четыре танкиста и собака* и венгерский исторический сериал *Капитан Тенкеш*. Несмотря на ряд досадных ошибок в общем, Рот-Ай правильно характеризует СССР к началу 70-х годов как «сугубо внутреннюю домашнюю империю на двух уровнях своего развития: всесоюзная информационно-транслируемая империя телеэфира, управляемого из Москвы, и империя бытовой повседневности, основанная на десятках миллионов домашних телевизоров, которые объединялись вокруг общих телевизионных образов и сюжетов» [Roth-Ey, 2011, p. 281]. Традиции изучения советского телевидения продолжает сегодня еще одна молодая англо-американская исследовательница. Кристин Эванс, ученица Юрия Слёзкина из университета Калифорнии в Беркли, исследует социальную и культурную историю советского телевидения вплоть до 80-х годов. В ее исследовании визуальная культура и культурные практики просмотра и обсуждения телевизионных передач структурируют всю повседневную жизнь брежневской эпохи. Да и в постсоветской России телевидение по-прежнему является наиболее важным средством массовой информации, более популярным, чем комиксы, радио, кино и Интернет. А традиции советского телевидения по-прежнему определяют главные формы телевизионной культуры и сегодня во всем постсоветском информационном пространстве[1].

[1] Она работает сейчас над книгой «From truth to time: A history of Soviet

Современные западные исследования культурных практик и культурного потребления в СССР периода «холодной войны» являются серьезным вкладом в «новую» культурную историю современной России и СССР. Хотя многие из этих исследований упоминают вестернизацию советской и российской культуры, все они игнорируют наиболее важный хронологический период советской истории, который и привел к массовой вестернизации культурной жизни в СССР при Брежневе. Это период разрядки международной напряженности (называемый détente в западной историографии), период 1970-х годов, особенно время между 1972 и 1979 гг. Именно в этот период советская администрация приобрела первые официальные лицензии на выпуск грампластинок с записями западной популярной музыки; дискоклубы официально разрешались для поощрения новых форм досуга; в СССР появились первые издания западных комиксов; новые западные фильмы массово демонстрировались в советских кинотеатрах; советское телевидение впервые транслировало концерты западных поп-звезд, некоторые из них даже выступали в концертных залах Москвы, а западная музыка стала регулярно включаться в официальные радио- и телепрограммы, такие как *Международная панорама* и *Весёлые ребята*. В 1976 г. *Мелодия*, советская фирма грамзаписи, подписала первую в историии СССР официальную лицензию с голландской фирмой OLD ARK на выпуск музыкального альбома голландской рок-группы «Teach-In». Ранним утром 1 января 1975 г. советское Центральное телевидение неожиданно для всех допустило трансляцию необычно длинного концерта с участием известных звезд западной поп-музыки. Список этих звезд включал наибиолее популярные имена, звучащие на советских дискотеках, такие как ABBA, Boney M, Dowley Family, Donny Osmond, Silver Convention, Joe Dassen, Amanda Lear, Smokey и Baccarat. Начиная с 11 января 1977 г. советское телевидение организовало регулярную трансляцию телепередачи «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», которая включала музыку известных западных рок- и диско-музыкантов. Вплоть до перестройки эта передача была единственным источником видеоинформации о западной поп-музыке для миллионов советских любителей рока и диско. В течение 1970-х годов советское телевидение организовало ряд эстрадных программ, в

television, 1957–1982» [см. также: Evans, 2010; Evans, 2011].

которых советские ВИА и эстрадные певцы исполняли различные западные «хиты». Так, «Телевизонные бенефисы» известных советских киноактрис – Ларисы Голубкиной (1975) и Людмилы Гурченко (1978) – и телевизионное шоу Евгения Гинзбурга «Волшебный фонарь» (1976) предлагали достаточно профессиональное исполнение арий из британской рок-оперы *Иисус Христос – Суперзвезда*, а также песни из альбомов «Битлз» и Пола Маккартни различными ВИА, такими как *Весёлые ребята* из Москвы и *Поющие гитары* из Ленинграда [Zhuk, 2010 b, p. 239, 240; Раззаков, 2009, с. 7–260, 76, 96–97, 109–110].

***

Несмотря на отмеченные мною упущения и ошибки в целом западная историография после своей эпистемологической революции и инкорпорирования не только новых подходов и источников, но и исследователей из бывшего советского пространства продемонстрировала новые идеи и интерпретации в изучении советского общества и культуры времен «холодной войны». Как видим, культурное потребление и различные медийные формы, особенно телевидение, стали наиболее влиятельными моментами повседневной жизни во время «холодной войны». А советские традиции этого культурного потребления и советские культурные практики и образцы вестернизации по-прежнему игрют важную роль в постсоветских России и Украине. Современные исследования западных историков советской культуры и общества являются серьезным напоминаием всем нам, насколько важны медийные формы, такие как телевидение, и культурное потребление для нашего понимания нынешнего развития постсоветского общества и культуры. Современные исследования о культурном потреблении в СССР времен «холодной войны» вскрывают также полный провал советских идеологов в их усилиях защитить советское общество от «идеологического загрязнения» в период конфронтации «холодной войны» между «капиталистическим Западом» и «гуманным социализмом». В то же время эти исследования убедительно демонстрируют, как вкусы и практики, связанные с потреблением продуктов западной популярной культуры, создают новые ценности и потребности культурного потребления, которые постепенно транс-

формировали и заменили традиционные советские ценности и коммунистические идеологические практики.

Список литературы

Брежнев Л.И. Ленинским курсом. Речи и статьи. – М.: Политиздат, 1972. – Т. 3. – 535 с.

Бутенко А. О развитом социалистическом обществе // Коммунист. – М., 1972. – № 6. – С. 48–58.

Виктор Татарский: «”Встрече с песней” рейтинги не нужны». – М., 2009. – 1 ноября. – Режим доступа: http://www.radioportal.ru/articles/5005/viktor-tatarskii-vstreche-s-pesnei-reitingi-ne-nuzhny (Дата посещения: 18.03.13.)

Гадамер Х. Истина и метод: Основы философской герменевтики / Пер. с нем.; Общ. ред. и вступ. ст. Б.Н. Бессонова. – М.: Прогресс, 1988. – 704 с.

Гудков Л.Д. Перерождения советского человека (Об одном исследовательском проекте Левада-центра) // Одиссей: Человек в истории. 2007. – М.: Наука, 2007. – С. 398–436.

Долженко Г.П. История туризма в дореволюционной России и СССР. – Ростов н/Д: Изд. Рост. ун-та, 1988. – 150 с.

Жук С.И. Одномерна ли история? // Вопросы истории. – М., 1992 a. – № 8–9. – С. 186–188.

Жук С.И. «Битва за культуру» в закритому місті совєтської України в період пізнього соціалізму, 1959–1984 рр. // Cxid/Zaxid: Історико-культуролгічниі збірник. – Харкіv: JTD “XTMT,” 2009 a. – Випуск 13–14, N 13–14. – С. 54–79.

Жук С.И. «Эффект зеркала» (журнал «Уильям энд Мэри Куотерли» и американская историография 1940–1990-х гг.) // Американский ежегодник. 1994. – М.: Наука, 1995 a. – С. 208–222.

Жук С.И. Заметки о современной американской историографии // Вопросы истории. – М., 1995 b. – № 10. – С. 162–166.

Жук С.И. Запад в советском «закрытом» городе: Чужое кино, идеология и проблемы культурной идентификации на Украине в эпоху Брежнева (1964–1982) // Новое литературное обозрение. – М., 2009 b. – № 100, декабрь. – С. 548–565.

Жук С.И. Макс Вебер и социальная история // Вопросы истории. – М., 1992 b. – № 2–3. – С. 172–177.

Жук С.И. Современная историография ранней Америки: Путь к историческому синтезу // Вопросы истории. – М., 1994. – № 2. – С. 175–178.

Кун Т. Структура научных революций / Пер. с англ. И.З. Налетова; Общ. ред. и послес. С.Р. Микулинского и Л.А. Марковой. – 2 изд.– М.: Прогресс, 1975. – 300 с.

Лебина Н.Б. Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии 1920–1930-х годов. – СПб.: Журнал «Нева»: Издательско-торговый дом «Летний Сад», 1999. – 320 с.

Млечин Л.М. Брежнев. – М.: Молодая гвардия, 2008. – 624 с. – (Серия «Жизнь замечательных людей»).

Омельченко Е. Молодежь: Открытый вопрос. – Ульяновск: Изд-во Симбирская книга, 2004. – 184 с.

Осокина Е. За фасадом «сталинского изобилия». Распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации, 1927–1941. – М: РОССПЭН, 1998. – 271 с.

Плетт К., Натенс Б. Социалистическая по форме, неопределенная по содержанию: Позднесоветская культура и книга Алексея Юрчака «Все было навечно, пока не кончилось» // Новое литературное обозрение. – М., 2010. – № 101. – С. 167–184.

Раззаков Ф.И. Гибель советского ТВ: Тайны телевидения от Сталина до Горбачёва, 1930–1991. – М.: Эксмо, 2009. – 524 с.

Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Пер. Н. Автономовой и В. Визгина. – М.: Прогресс, 1977. – 488 с.

Чередниченко Т. Типология советской массовой культуры. Между «Брежневым» и «Пугачёвой». – М.: РИК Культура, 1994. – 256 с.

Alaniz J. Komiks: Comic art in Russia. – Jackson, Mississippi: Univ. press of Mississippi, 2010. – 269 p.

Ankersmit F. Historiography and postmodernism // History and theory. – Middletown, CT: Wesleyan univ., 1989. – Vol. 28. – P. 137–153.

Appleby J. Value and society // Colonial British America: Essays in the new history of the early modern era / Ed. by J. Greene, J. Pole. – Baltimore: Johns Hopkins univ. press, 1984. – P. 292–294.

Appleby J., Hunt L., Jacob M. Telling the truth about history. – N.Y.: Norton, 1994. – 322 p.

Bahry R. Rock culture and rock music in Ukraine // Rocking the state: Rock music and politics in Eastern Europe and Russia / Ed. by S.P. Ramet. – Boulder: Westview press, 1994. – P. 243–296.

Bailyn B. The challenge of modern historiography // American historical review. – Bloomington, 1982. – Vol. 87. – P. 1–24.

Bakhtin M. The dialogical imagination: Four essays / Ed. by M. Holquist. – Austin: Univ. of Texas press, 1994. – 443 p.

Bennett A. Popular music and youth culture: Music, identity and place. – Houndmills; Basingstoke; Hampshire; N.Y.: Palgrave, 2000. – 223 p.

Bittner S.V. The many lives of Khrushchev’s thaw: Experience and memory in Moscow’s Arbat. – Ithaca, N.Y.: Cornell univ. press, 2008. – 235 p.

Boym S. Common places: Mythologies of everyday life in Russia. – Cambridge, Mass.: Harvard univ. press, 1994. – 356 p.

Brezhnev L.I. Report to the 24 th Congress of the CPSU. – M.: Progress, 1971. – 124 p.

Brezhnev L.I. Report to the 25 th Congress of the CPSU. – M.: Progress, 1976. – 111 p.

Brezhnev reconsidered / Ed. by E. Bacon, M. Sandle. – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2002. – 233 p.

Brown K. The closed nuclear city and Big Brother®: Made in America // Ab Imperio. – Казань, 2011. – № 2. – P. 159–187.

Brudny Y.M. Reinventing Russia: Russian nationalism and the Soviet state, 1953–1991. – Cambridge, MA: Harvard univ. press, 1998. – 352 p.
Certeau M. de. The practice of everyday life / Translated by S. Rendall. – Berkeley, Calif.: Univ. of California press, 1988. – 229 p.
Chernyshova N. Consuming technology in a closed society: Household appliances in Soviet urban homes of the Brezhnev era // Ab Imperio. – Казань, 2011. – № 2. – P. 188–220.
Cushman T. Notes from underground: Rock music counterculture in Russia. – N.Y.: State univ. of New York press, 1995. – 403 p.
Degler C. In Pursuit of an American Dream // American historical review. – Bloomington, 1987. – Vol. 92. – P. 1–12.
Derrida J. De la Grammatologie. – Paris: Édtions de Minuit, 1967. – 448 p.
Derrida J. Signeponge. – Paris: Seuil, 1988. – 125 p.
Dobson M. Khrushchev's cold summer: Gulag returnees, crime, and the fate of reform after Stalin. – Ithaca: Cornell univ. press, 2009. – 264 p.
Elteren M. van. Imagining America: Dutch youth and its sense of place. – Tilburg, Netherlands: Tilburg univ. press, 1994. – 297 p.
Emeliantseva E. The Privilege of Seclusion: Consumption Strategies in the Closed City of Severodvinsk // Ab Imperio. – Казань, 2011. – № 2. – P. 238–259.
Engelstein L. Combined underdevelopment: Discipline and law in imperial and soviet Russia // American historical review. – Bloomington, 1993. – Vol. 98. – P. 338–353.
Engelstein L. Culture, culture everywhere: Interpretations of modern Russia, across the 1991 divide // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history. – Baltimore, 2001. – Vol. 2, N 2. – P. 363–393.
Engerman D.C. Know your enemy: The rise and fall of America's Soviet experts. – N.Y.; Oxford: Oxford univ. press, 2009. – 459 p.
English R. Russia and the idea of the West: Gorbachev, intellectuals, and the end of the Cold War. – N.Y.: Columbia univ. press, 2000. – 401 p.
Etkind A. Internal colonization: Russia's imperial experience. – N.Y.: Polity Press, 2011. – 289 p.
Evans C.E. Song of the year and Soviet mass culture in the 1970 s // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history. – Bloomington, 2011. – Vol. 12, N 3. – P. 617–645.
Evans C.E. A «Panorama of time»: The chronotopics of Programma Vremia // Ab Imperio. – Казань, 2010. – № 2. – P. 121–149.
Ewing E.T. Separate schools: Gender, policy, and practice in postwar Soviet education. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2010. – 300 p.
Faraday G. Revolt of the filmmakers: The struggle for artistic autonomy and the fall of the Soviet film industry. – Univ. Park, Pa.: Pennsylavania state univ. press, 2000. – 252 p.
Fenemore M. Sex, thugs and rock 'n' roll: Teenage rebels in Cold-War East Germany. – N.Y.: Berghahn Books, 2007. – 277 p.
Fitzpatrick S. Everyday Stalinism: Ordinary life in extraordinary times: Soviet Russia in the 1930 s. – N.Y.: Oxford univ. press, 1999. – 288 p.
Fitzpatrick S. Normal people // London review of books. – L., 2006. – Vol. 28, N 10. – P. 18–20.

Foucault M. Aesthetics, method, and epistemology / Ed. by J. Faubion. – N.Y.: New Press, 1998. – 486 p.
Fowkes B. The national question in the Soviet Union under Leonid Brezhnev: Policy and response // Brezhnev reconsidered / Ed. by E. Bacon, M. Sandle. – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2002. – P. 68–89.
Friedberg M. A decade of euphoria: Western literature in post-Stalin Russia, 1954–64. – Bloomington: Indiana univ. press, 1977. – 371 p.
Friedberg M. Russian Culture in the 1980 s. – Washington, D.C.: Georgetown univ.: Center for Strategic and International Studies, 1985. – 88 p.
Frith S. Music and identity // Questions of cultural identity / Ed. by S. Hall, P. du Gay. – L.: Sage, 1996. – 198 p.
Fürst J. Stalin's last generation: Soviet post-war youth and the emergence of mature socialism. – N.Y.: Oxford univ. press, 2010. – 391 p.
Gadamer H. Lob der Theorie. – Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1984. – 175 S.
Geertz C. Interpretation of Cultures: Selected essays. – N.Y.: Basic Books, 1973. – 470 p.
Gerovitch S. From newspeak to cyberspeak: A history of Soviet cybernetics. – Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2004. – 378 p.
Global pop, local language / Ed. by H.M. Berger, M.T. Carroll. – Jackson: Univ. press of Mississippi, 2003. – 352 p.
Golovskoy V.S., Rimberg J. Behind the Soviet screen: The motion-picture industry in the USSR 1972–1982. – Ann Arbor: Ardis, 1986. – 144 p.
Gorsuch A. All this is your world: Soviet tourism at home and abroad after Stalin. – N.Y.: Oxford univ. press, 2011. – 222 p.
Gorsuch A.E. «There's no place like home»: Soviet tourism in late socialism // Slavic review. – Urbana, 2003. – Vol. 62, N 4. – P. 760–785.
Gronow J. Caviar with champagne: Common luxury and the ideals of the good life in Stalin's Russia. – Oxford: Berg, 2003. – 196 p.
Gutman H. Power and culture // Essays on the American working class / Ed. by I. Berlin. – N.Y., 1987. – P. 3–69.
Hoffmann D.L. Stalinist values: The cultural norms of Soviet modernity, 1917–1941. – Ithaca: Cornell univ. press, 2003. – 247 p.
Introduction: Why cultural studies / Kelly C., Pilkington H., Shepherd D., Volkov V. // Russian cultural studies: an introduction / Ed. by C. Kelly, D. Shepherd. – N.Y., Oxford: Oxford univ. press, 1998. – P. 1–17.
Isserman M. The not-so-dark and bloody ground: New works on the 1960 s // Bloomington, Indiana: Indiana univ., 1989. – Vol. 94. – P. 990–1010.
Kellner H. Disorderly conduct: Braudel's mediterranean satire: (A review of reviews) // History and theory. – Middletown, CT: Wesleyan univ., 1979. – Vol. 18. – P. 197–222.
Kelly C., Volkov V. Directed desires. Kulturnost' and consumption // Constructing Russian culture in the age of revolution, 1881–1940 / Ed. by C. Kelly, D. Shepherd. – Oxford, N.Y.: Oxford univ. press, 1998. – P. 293–313.
Kharkhordin O. The collective and the individual in Russia: A study of practices. – Berkeley: Univ. of California press, 1999. – 406 p.
Kinser S. Annaliste' paradigm? The geohistorical structuralism of Fernand Braudel // American historical review. – Bloomington, 1981. – Vol. 86. – P. 63–105.

Kozovoi A. Eye to eye with the «Main enemy»: Soviet youth travel to the United States // Ab Imperio. – Казань, 2011. – № 2. – С. 221–236.
Kozovoï A. Alexei Yurchak, everything was forever, until it was no more // Cahiers du Monde russe. – Paris, 2007. – Is. 48/4. – P. 767–769.
Krylova A. Soviet women in combat: A history of violence on the Eastern Front. – N.Y.: Cambridge univ. press, 2010. – 320 p.
LaCarpa D. History and criticism. – Ithaca, N.Y.: Cornell univ. press, 1985. – 145 p.
Lawton A. Kinoglasnost: Soviet cinema in our time. – N.Y.: Cambridge univ. press, 1992. – 288 p.
Ledeneva A.V. Russia's economy of favours: Blat, networking and informal exchange. – N.Y.: Cambridge univ. press, 1998. – 235 p.
Lewis G.K. The growth of the modern West Indies. – N.Y.: Monthly Review Press, 1968. – 506 p.
Looking West? Cultural globalization and Russian youth cultures / H. Pilkington, E. Omel'chenko et al. – Univ. Park, Pa.: Pennsylvania state univ. press, 2002. – 300 p.
Lovell S. The Russian reading revolution: Print culture in the Soviet and post-Soviet eras. – N.Y.: St. Martin's press, 2000. – 215 p.
Lovell S. The shadow of war; Russia and the USSR, 1941 to the present. – Chichester, West Sussex, U.K.; Malden, Mass.: Wiley-Blackwell, 2010. – 370 p.
MacFadyen D. Red stars: Personality and the Soviet popular song, 1955–1991. – Montreal: McGill-Queen's univ. press, 2001. – 319 p.
Manuel P. Popular music of the non-western world: An introductory survey. – N.Y.: Oxford univ. press, 1988. – 287 p.
Markwick R.D. Cultural history under Khrushchev and Brezhnev: From social psychology to mentalities // The Russian review. – Lawrence, KS, 2007. – Vol. 65, N 2. – P. 283–301.
Mayfield D., Thorne S. Social history and its discontents: G.S. Jones and the politics of language // Social history. – Oxford, 1992. – Vol. 17. – P. 165–188.
McMichael P. «After all, you're a rock and roll star (at least, that's what they say)»: Roksi and the creation of the Soviet rock musician // The Slavonic and East European review. – L., 2005. – Vol. 83, N 4. – P. 664–684.
Melodiya uses radio program as promotion // Billboard. – L.A., Calif., 1972. – February 19, Vol. 84, N 8. – P. 61.
Mickiewicz E. Split signals: Television and politics in the Soviet Union. – N.Y.: Oxford univ. press, 1988. – 286 p.
Mickiewicz E.P. Media and the Russian public. – N.Y.: Praeger Publishers, 1981. – 156 p.
Millar J.R. The little deal: Brezhnev's contribution to acquisitive socialism // Slavic review. – Urbana, 1985. – Vol. 44, N 4. – P. 694–706.
Music at the margins: Popular music and global cultural diversity / Ed. by D. Campbell Robinson et al. – L.: Sage Publications, 1991. – 312 p.
Noack C. Coping with the tourist: Planned and «Wild» mass tourism on the Soviet Black Sea coast // Turizm: The Russian and East European tourist under capitalism and socialism / Ed. by A.S. Gorsuch, D.P. Koenker. – Ithaca: Cornell univ. press, 2006. – P. 281–304.
Norris Ch. Deconstruction: Theory and practice. – L.: Methuen, 1982. – 157 p.

Novick P. That noble dream: The «objectivity question» and the American historical profession. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1980. – 648 p.
Pilkington H. «The future is ours»: Youth culture in Russia, 1953 to the present // Gender, generation and identity in contemporary Russia / Ed. by H. Pilkington. – L.; N.Y.: Routledge, 1996. – P. 189–237.
Pilkington H. Russia's youth and its culture: A nation's constructors and constructed. – L.: Routledge, 1994. – 358 p.
Platt K., Nathans B. Socialist in form, indererminate in content: The ins and outs of late Soviet culture // Ab Imperio. – Казань, 2011. – № 2. – С. 301–323.
Pocock J.G.A. Virtue, commerce, and history: Essays on political thought and history, chiefly in the eighteenth century. – Cambridge, N.Y.: Cambridge univ. press, 1985. – 321 p.
Poiger U.G. Jazz, rock, and rebels: Cold war politics and American culture in a divided Germany. – Berkeley, Calif.: Univ. of California press, 2000. – 333 p.
Qualls K.D. «Where each stone is history»: Travel guides in Sevastopol after World War II // Turizm: The Russian and East European tourist under capitalism and socialism / Ed. by A.S. Gorsuch, D.P. Koenker. – Ithaca: Cornell univ. press, 2006. – P. 163–185.
Qualls K.D. From ruins to reconstruction: Urban identity in Soviet Sevastopol after World War II. – Ithaca, N.Y.: Cornell univ. press, 2009. – 214 p.
Rajagopalan S. Emblematic of the Thaw: Hindi films in Soviet cinemas // South Asian popular culture. – L., 2006. – Vol. 4, Is. 2. – P. 83–100.
Rajagopalan S. Indian films in Soviet cinemas: The culture of movie-going after Stalin. – Bloomington: Indiana univ. press, 2009. – 241 p.
Raleigh D.J. Soviet baby boomers: An oral history of Russia's Cold War generation. – N.Y.: Oxford univ. press, 2011. – 420 p.
Richmond Y. Cultural exchange and the Cold War: Raising the iron curtain. – Univ. Park: Pennsylvania state univ. press, 2003. – 249 p.
Risch W.J. The Ukrainian West: Culture and the fate of empire in Soviet Lviv. – Cambridge, Mass.: Harvard univ. press, 2011. – 360 p.
Rocking the state: Rock music and politics in Eastern Europe and Russia / Ed. by S.P. Ramet. – Boulder: Westview Press, 1994. – 317 p.
Roseberry W. Anthropologies and histories: Essays in culture, history, and political economy. – New Brunswick: Rutgers univ. press, 1989. – 278 p.
Rosenau P. Post-modernism and the social sciences: Insights, inroads, and intrusions. – Princeton, N.J.: Princeton univ. press, 1992. – 229 p.
Roth-Ey K. Moscow prime time: How the Soviet Union built the media empire that lost the cultural Cold War. – Ithaca: Cornell univ. press, 2011. – 315 p.
Ruble B. Soviet trade unions: Their development in the 1970 s. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1981. – 190 p.
Russia's sputnik generation: Soviet ba0by boomers talk about their lives / Trans. and ed. by D.J. Raleigh. – Bloomington: Indiana univ. press, 2006. – 299 p.
Ryback T.W. Rock around the Bloc: A history of rock music in Eastern Europe and the Soviet Union. – N.Y.: Oxford univ. press, 1991. – 272 p.
Sarup M., Raja T. Identity, culture and the postmodern world. – Edinburgh: Edinburgh univ. press, 1996. – 192 p.

Shaw D.J.B. The Soviet Union // Tourism and economic development in Eastern Europe and the Soviet Union / Ed. by D.R. Hall. – L.: Belhaven Press, 1999. – P. 137–140.
Shaw T., Youngblood D. Cinematic Cold War: The American and Soviet struggle for hearts and minds. – Lawrence: Univ. press of Kansas, 2010. – 301 p.
Shiraev E., Zubok V. Anti-Americanism in Russia: From Stalin to Putin. – N.Y.: Palgrave, 2000. – 182 p.
Shlapentokh D., Shlapentokh V. Soviet cinematography, 1918–1991: Ideological conflict and social reality. – N.Y.: Aldine de Gruyter, 1993. – 278 p.
Shlapentokh V. Public and private life of the Soviet people: Changing values in post-Stalin Russia. – N.Y.: Oxford univ. press, 1989. – 281 p.
Shlapentokh V. Soviet intellectuals and political power: The post-Stalin era. – Princeton, NJ: Princeton univ. press, 1990. – 330 p.
Siegelbaum L.H. Cars for comrades: The life of the Soviet automobile. – Ithaca, N.Y.: Cornell univ. press, 2008. – 309 p.
Simon G. Nationalism and policy toward the nationalities in the Soviet Union: From totalitarian dictatorship to post-Stalinist society / Trans. by K. Forster, O. Forster. – Boulder: Westview Press, 1991. – 483 p.
Soviet youth culture / Ed. by J. Riordan. – Bloomington, Ind.: Indiana univ. press, 1989. – 148 p.
Starr S.F. Red and hot: The fate of jazz in the Soviet Union 1917–1980. – N.Y.: Limelight Editions, 1985. – 368 p.
Steinholt Y.B. Rock in the reservation: Songs from the Leningrad Rock Club, 1981–86. – N.Y.: Mass Media Music Scholars' Press, 2004. – 230 p.
Stites R. Russian popular culture: Entertainment and society since 1900. – Cambridge, N.Y.: Cambridge univ. press, 1992. – 269 p.
Storey J. Cultural consumption and everyday life. – L.: Arnold, 1999. – 191 p.
Stronski P. Tashkent: Forging a Soviet city, 1930–1966. – Pittsburgh, Pa.: Univ. of Pittsburgh press, 2010. – 350 p.
Survilla M.P. Rock music in Belarus // Rocking the state: Rock music and politics in Eastern Europe and Russia / Ed. by S.P. Ramet. – Boulder: Westview Press, 1994. – P. 219–242.
Szemere A. Up from the underground: The culture of rock music in postsocialist Hungary. – University Park, PA: Pennsylvania state univ. press, 2001. – 253 p.
The American Quarterly forum on S. Watts' «Idiocy…» // American Quarterly. – Baltimore, 1992. – Vol. 44. – P. 439–462.
The return of Grand Theory in the human sciences / Ed. by Q. Skinner. – Cambridge, N.Y.: Cambridge univ. press, 1985. – 215 p.
Thompson J.B. The media and modernity: A social theory of the media. – Stanford, CA: Stanford univ. press, 1995. – 314 p.
Troitsky A. Back in the USSR: The true story of rock in Russia. – L.: Omnibus Press, 1987. – 154 p.
Tromly B. An unlikely national revival: Soviet higher learning and the Ukrainian «sixtiers», 1953–65 // The Russian review. – Lawrence, KS, 2009 a. – Vol. 68, N 4. – P. 607–622.

Tromly B. Soviet patriotism and its discontents among higher education students in Khrushchev-era Russia and Ukraine // Nationalities papers. – L., 2009 b. – Vol. 37, N 3. – P. 299–326.
Tsipursky G. «As a citizen, I cannot ignore these facts»: Whistleblowing in the Khrushchev era // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. – München, 2010. – March, 58.1. – P. 52–69.
Tsipursky G. Citizenship, deviance, and identity: Soviet youth newspapers as agents of social control in the Thaw-era leisure campaign // Cahiers du Monde russe. – Paris, 2008. – October-december, Is. 49(4). – P. 629–49.
Tumarkin N. Lenin Lives!: The Lenin cult in Soviet Russia. – Cambridge, Mass.: Harvard univ. press, 1997. – 315 p.
Tumarkin N. The living & the dead: The rise and fall of the cult of World War II in Russia. – N.Y.: Basic Books, 1994. – 242 p.
Urban M., Evdokimov A. Russia gets the blues: Music, culture, and community in unsettled times. – Ithaca, N.Y.: Cornell univ. press, 2004. – 179 p.
Verdery K. National ideology under socialism: Identity and cultural politics in Ceaușescu's Romania. – Berkeley: Univ. of California press, 1991. – 406 p.
Ward C.J. Brezhnev's folly: The building of BAM and late Soviet socialism. – Pittsburgh, Pa.: Univ. of Pittsburgh press, 2009. – 218 p.
Watts S. The idiocy of American studies: Poststructuralism, language, and politics in the age of self-fulfillment // American Quarterly. – Baltimore, 1991. – Vol. 43. – P. 625–660.
White A. De-Stalinization and the house of culture: Declining state control over leisure in the USSR, Poland and Hungary, 1953–89. – L.: Routledge, 1990. – 195 p.
White H. Metahistory: The historical imagination in nineteenth-century Europe. – Baltimore: Johns Hopkins univ. press, 1975. – 448 p.
Woll J. Real images: Soviet cinema and the thaw. – L.: I.B. Tauris; N.Y.: St. Martins Press, 2000. – 267 p.
Youngblood D.J. Russian war films: On the cinema front, 1914–2005. – Lawrence: Univ. of Kansas press, 2007. – 319 p.
Yurchak A. Everything was forever, until it was no more: The last Soviet generation. – Princeton, NJ: Princeton univ. press, 2006. – 331.
Zagorin P. Historiography and Postmodernism: Reconsiderations // History and theory. – 1990. – Vol. 29. – P. 265–274.
Zhuk S.I. «Fascist music from the West»: Anti-rock campaigns, problems of national identity and human rights in the «closed city» of Soviet Ukraine, 1975–1984 // Popular music and human rights. – L.: Ashgate, 2011 a. Vol. 2: World music / Ed. by I. Peddie. – P. 147–160.
Zhuk S.I. «National cultural elements» and advertising the international tourism in the Soviet tourist agencies during the Brezhnev era, 1964–1984 // Sprawy Narodowościowe. – Warsaw-Poznan, 2010 a. – N 36. – P. 7–25.
Zhuk S.I. Book consumption and reading practices in Soviet Dniepropetrovsk during the Brezhnev era // Ab Imperio. – Казань, 2009 a. – № 3. – P. 207–243.
Zhuk S.I. Building the Ukrainian identity through cultural consumption in the «closed» city of Soviet Ukraine: Dnipropetrovs'k KGB files and «transgressions» of everyday

life during late socialism, 1959–1985 // Nationalisms today / Ed. by T. Kamusella, K. Jaskulowski. – Oxford: Peter Lang, 2009 b. – P. 227–256.

Zhuk S.I. Closing and opening Soviet society (Introduction to the Forum «Closed city, closed economy, closed society: The utopian normalization of autarky») // Ab Imperio. – Казань, 2011 b. – № 2. – P. 123–158.

Zhuk S.I. Popular culture, identity and Soviet youth in Dniepropetrovsk, 1959–1984 // The Carl Beck Papers in Russian and East European Studies. – Pittsburgh, PA: the University of Pittsburgh Press, 2008 a. – N 1906. – 72 p.

Zhuk S.I. Religion, «westernization», and youth in the «closed city» of Soviet Ukraine, 1964–84 // The Russian review. – Lawrence, KS, 2008 b. – Vol. 67, N 4. – P. 661–679.

Zhuk S.I. Rock and roll in the rocket city: The west, identity, and ideology in Soviet Dniepropetrovsk, 1960–1985. – Baltimore, MD: The Johns Hopkins univ. press; Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press, 2010 b. – 440 p.

Zhuk S.I. Russia's lost reformation: Peasants, millennialism and radical sects in southern Russia and Ukraine, 1830–1917. – Baltimore, MD: The Johns Hopkins univ.: Woodrow Wilson center press, 2004. – 457 p.

Zhuk S.I. The closed soviet society and the West: Consumption of the western cultural products, youth and identity in Soviet Ukraine during the 1970 s // The crisis of socialist modernity: The Soviet Union and Yugoslavia in the 1970 s / Ed. by M.-J. Calic, S. Dabringhaus, D. Neutatz, J. Obertreis: Freiburg Institute for Advanced Studies. – Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2011 c. – P. 87–117.

Zuberi N. Sounds English: Transnational popular music. – Urbana, Il.: Univ. of Illinois press, 2001. – 276 p.

Zubkova E. Russia after the War: Hopes, illusions, and disappointments, 1945–1957 / Trans. and ed. by H. Ragdale. – Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 1998. – 238 p.

Zubok V.M. A failed empire: The Soviet Union in the Cold War from Stalin to Gorbachev. – Chapel Hill: Univ. of North Carolina press, 2007. – 467 p.

Zubok V.M. Zhivago's children: The last Russian intelligentsia. – Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard univ. press, 2009. – 453 p.

Zuckerman M. Almost chosen people. Oblique biographies in the American Grain. – Berkeley, CA: Univ. of California press, 1993. – 315 p.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И АННОТАЦИИ / KEYWORDS AND ABSTRACTS

Д.В. Ефременко
Нормальная катастрофа: Еще раз об исторических развилках 1980–1990-х годов

В статье рассматривается динамика социальных и политических процессов периода горбачёвской перестройки. Была ли обречена советская система? Несомненно, да, если принять во внимание наличие целого ряда «встроенных» в нее механизмов саморазрушения, ее ригидную иерархическую организацию, насилие и устрашение как основные методы ее создания и функционирования. Была ли эта система и вместе с ней Советский Союз обречена на гибель в 1991 г.? Очевидно, нет, если бы действия политического руководства не вызвали системные сбои и запуск механизмов саморазрушения. Преодоление исторических развилок периода горбачёвской перестройки прошло таким образом, что и «китайский вариант» трансформации системы, и возможность сохранения Союза в усеченном виде оказались упущенными.

Ключевые слова: перестройка; распад Советского Союза; системная катастрофа; исторические развилки; М.С. Горбачёв.

D.V. Efremenko
Normal catastrophe: Once again on the historical crossroads of the 1980–1990s

The article considers the dynamics of the social and political processes in the times of Gorbachev's perestroika. Was the Soviet system doomed? Undoubtedly yes, if one takes into account the presence in it of a number of «built-in» self-destruction mechanisms, its rigid hierarchical organization, violence and intimidation as the primary

methods of its creation and functioning. Was the system and the Soviet Union together with it doomed to downfall in 1991? Apparently not, if the actions of the political leadership had not caused system fails and the starting of self-destruction mechanisms. The bifurcation points were passed in the period of Gorbachev's perestroika in such a way that both «the Chinese version» of the system transformation and the opportunity to preserve the Union in an abridged form were missed.

Keywords: perestroika; the collapse of the Soviet Union; a system catastrophe; historical crossroads; Mikhail Gorbachev.

Р.А. Мнацаканян
Взгляд на век XX из века XXI

В статье сделана попытка осмыслить некоторые аспекты деятельности советского экологического и природоохранного движения конца 80-х годов на основе личных воспоминаний автора. Проведены параллели с сегодняшним днем, сделан вывод, что несмотря на долгий путь и большой накопленный опыт в решении природоохранных проблем нынешние российские власти перечеркнули многие достижения той эпохи, и во многом нынешняя природоохранная деятельность является «повторением пройденного».

Ключевые слова: Советский Союз; научно-технический прогресс; экологическое движение.

R.A. Mnatsakanian
A look at the XX century from the XXI century

Author tries to reflect on certain aspects of public nature protection activities of the late 1980 s. Making parallels with contemporary situation in Russia author comes to the conclusion that authorities have rejected many positive examples of public environmental activities and relevant experience of the past, therefore now in many cases it is necessary to «start from scratch» again.

Keywords: Soviet Union; scientific and technical progress; environmental movement.

Л.А. Кацва
Советский Союз в школьных учебниках истории XXI в.

Автор считает, что современные российские учебники в подавляющем большинстве не содержат ни фальсификаций и искажений исторической правды, ни каких-либо крайне радикальных и тем более экстремистских оценок. Особую осторожность авторы проявляют в изложении вопросов внешней политики. Различаются учебники преимущественно методическими подходами и степенью подробности изложения материала. Проблема большинства учебников, по мнению автора, кроется в чрезмерной лаконичности и недостаточном внимании к ряду острых проблем отечественной истории.

Ключевые слова: школьные учебники; XX век; СССР; фальсификация.

L.A. Katsva
The Soviet Union in history schoolbooks XXI century

The author considers that the most of modern Russian schoolbooks don't contain falsification and distortion of historical truth or any radical and extreme estimates. In particular the authors show caution in the presentation of foreign policy issues. Textbooks differ mainly in methodological approaches and levels of detailed presentation. The problem of the most schoolbooks is in the excessive brevity and the lack of attention to a number of critical problems of national history.

Keywords: schoolbooks; XX century; USSR; falsification.

М.Д. Суслов
Прошлое и будущее в историческом воображении современной Русской православной церкви

В статье анализируются взгляды Патриарха Кирилла (Гундяева) и его окружения на историю России XX в. и прослеживаются господствующие метафоры и риторические структуры, относящиеся к восприятию исторического времени. В центре исследования находятся такие темы, как историософия мессианства, теология апостасии и возрождения, различия между славянофильской темпоральной моделью «множественных цивилизаций» и моделью «множественных модерностей», характерной для религиозного

фундаментализма. В итоге делается вывод о том, может ли историософия Кирилла предложить новый «большой идеологический проект» для постсоветского пространства, основанный на всеобъемлющем объяснении прошлого, настоящего и будущего.

Ключевые слова: Русская православная церковь; Патриарх Кирилл; мессианство; славянофильство; фундаментализм; апостасия; «Святая Русь».

M.D. Suslov
The past and the future in the historical imagination of the modern Russian Orthodox Church

This article discusses views of Patriarch Kirill (Gundiaev) and his fellow Church intellectuals on the Russian history of the 20 th century. The study focuses on the dominant metaphors and rhetorical patterns which structure Kirill's interpretation of history along the lines of religious Messianism and theology of apostasy and subsequent redemption. Oscillating between the Slavophile temporal model of 'multiple civilizations' and the fundamentalist model of 'multiple modernities', Kirill struggles to offer a post-communist ideological meta-narrative which would provide explanations for the past, guidelines for the present and insights into the future.

Keywords: Russian Orthodox Church; Patriarch Kirill; Messianism; Slavophilism; fundamentalism; apostasy; «Holy Rus».

О.Ю. Малинова
Политическое использование символа Великой Отечественной войны в постсоветской России: Эволюция дискурса властвующей элиты

На основе изучения риторики президентов РФ, публичных выступлений политиков, занимавших ключевые позиции в федеральной исполнительной власти, а также публикаций «Российской газеты» прослеживается эволюция практики политического использования символа Великой Отечественной войны властвующей политической элитой в 1990–2010-х годах. Анализируются новые способы репрезентации памяти о войне, изобретения новых символов, а также новации в официальной риторике. Показано, что в 2000-х годах символ Великой Отечественной войны приобретает

новые смысловые функции, связанные с артикуляцией ключевых тем «дискурса о нации» и «великой державе».

Ключевые слова: Великая Отечественная война; национальная идентичность; Б.Н. Ельцин; В.В. Путин; Д.А. Медведев; память о войне; миф.

O.Y. Malinova
The political usage of the symbol of the Great Patriotic War in Post-Soviet Russia: Evolution of the ruling elite discourse

Analyzing the rhetoric of the leading Russian politicians, this article reconstructs the evolution of political appropriation of the symbol of Great Patriotic War by the ruling elite in 1990 s–2000 s. It looks at new ways of representation of the memory of war, invention of the new symbols and innovations in official rhetoric. The article shows that the symbol of the war acquires new functions, connected to the topics of «Nation» and «Great Power».

Keywords: The Great Patriotic War; national identity; Boris Yeltsin; Vladimir Putin; Dmitry Medvedev; the memory of the war; the myth.

О.Б. Леонтьева
В чем же истинный либерализм? Российский либерализм рубежа XIX–XX вв. в зеркале отечественной историографии начала XXI в.

Как показывает автор статьи, предметом острых дискуссий в современной историографии являются такие проблемы истории российского либерализма, как его генеалогия, время формирования, социальная база, а также политическая стратегия российских либералов в начале XX в. Ряд исследований, появившихся в начале XXI в., направлен на критическую проверку историографических мифов, унаследованных от советской исторической науки, исторической мысли русского зарубежья или историографии 1990-х годов. Важной особенностью историографии начала XXI в. можно считать также актуализацию истории российского либерализма, попытки вписать его историю в контекст современных политических баталий.

Ключевые слова: либерализм в России начала XX в.; историография российского либерализма.

O.B. Leontieva
«What is the true liberalism?»
(Russian liberalism of the late 19 th – the early 20 th centuries reflected in the Russian historiography at the beginning of the 21 st century)

The author claims that in the contemporary Russian historiography heated discussions have erupted around such issues as the formation and genealogy of Russian liberalism, its social basis, and political strategy of Russian liberals at the beginning of the 20 th century. Some researches published at the beginning of the 21 st century are aimed to carry out critical verification of historiographic myths inherited from the Soviet historical studies, the historical thought of «Russia Abroad», the historiography of 1990 s. The efforts to fit the history of Russian liberalism into the context of current political battles can be also seen as an important feature of the contemporary Russian historiography.

Keywords: Russian liberalism at the turn of 19–20 th centuries; historiography of Russian liberalism.

А.В. Мазаник
«Культурный поворот»
и российская историческая урбанистика

Данная статья рассматривает развитие российской исторической урбанистики в контексте «культурного поворота» в гуманитарных науках. Автор утверждает, что в последние десятилетия изучение российского модерного города идет в направлениях, во многом схожих с «новой культурной историей», что вызвано не столько прямым влиянием западной историографии, сколько общей сменой исследовательской парадигмы и обращением к работам петербургской школы краеведения и московско-тартуской семиотической школы.

Ключевые слова: историческая урбанистика; городская история; культурный поворот; новая культурная история; город.

A.V. Mazanik
«Cultural turn» and the Russian historical urban studies

This article considers the development of Russian urban history in the context of the «cultural turn» in humanities. The author argues

that the study of modern Russian cities in the last decades demonstrates tendencies similar to the «new cultural history», although formed not so much under the direct influence of Western historiography but rather because of the general shift of research paradigm and references to the works of the St. Petersburg local history school and the Tartu-Moscow semiotic school.

Keywords: historical urbanism; urban history; cultural turn; the new cultural history of the city.

Р. Чепайтене
Восприятие советской эпохи в современной Литве

В статье исследуются изменения отношения к советской эпохе в независимой Литовской Республике. В контексте современной политики памяти ставятся вопросы о причинах, формах и результатах этих изменений. Уделяется внимание анализу социокультурных обстоятельств становления нового национального исторического нарратива и разным подходам к советской тематике в трудах профессиональных историков и публицистов. В статье приводится обзор основных течений литовской советологии, сложившейся в течение последних 20 лет, и выявляются те ее сюжеты и темы, которые вызвали наиболее живой интерес как со стороны специалистов, так и общественности. В тексте также представлен опыт Литвы в сфере музеефикации советского прошлого и кратко описаны основные музейные институции, работающие в этом направлении.

Ключевые слова: советская эпоха; Литва; (де)советизация; люстрация; историография; политика памяти; советское наследие; музеи; «советское» в кино, литературе и в театре.

R. Cepaitiene
Perception of the Soviet period in contemporary Lithuania

The article deals with the changing attitudes towards the Soviet period in the independent Lithuania’s Republic. In the context of today's politics of memory questions about the reasons, forms, and results of those changes are analyzed. The collapse of the Soviet Union gave the opportunity to start ideologically independent research, primarily trying to cover those gaps of historical knowledge, which were the most relevant in the 1990’s, at the beginning of the independence. This arti-

cle also provides an overview of the main trends of the Soviet Studies in Lithuania, which had developed over the last twenty years, and identified those of its subjects and themes that had caused the lively interest of professionals and the society. The text also presents the experience of Lithuania in the process of museum presentation of the Soviet past and outlines the main museum institutions working in this direction.

Keywords: Soviet era; Lithuania; (de)Sovietization; lustration; historiography; the politics of memory; the Soviet heritage; museums; «Soviet» in cinema; literature and theater.

Г.В. Касьянов
Историческая политика в Украине и Голодомор

Статья посвящена исторической политике в Украине в 1980–1990-е годы. В качестве примера представлен Голодомор – комплекс стереотипных представлений и канонических дискурсивных практик, описывающих и интерпретирующих конкретное историческое событие: голод 1932–1933 гг. в Украинской ССР. Рассмотрена роль украинской диаспоры и государственных институтов в конструировании Голодомора, показаны различные способы инструментализации истории в интересах конкурирующих политических групп, освещены некоторые международные аспекты «борьбы за прошлое».

Ключевые слова: историческая политика; голод 1932–1933 гг.; Украина; Голодомор.

G.V. Kasyanov
The politics of history and the Holodomor in Ukraine

The article deals with the politics of history in Ukraine in 1980 s – 2000 s. The Holodomor – a set of stereotypes and canonical discourses that describe and interpret real historical event: the Great Famine of 1932–1933 in the Ukrainian SSR – is taken as a major object of analysis. The role of Ukrainian diaspora and of the Ukrainian state institutions in constructing and promoting the Holodomor, different forms of use and abuse of history for political purposes, certain international aspects of the combat over the past are also presented.

Keywords: politics of history; famine 1932–1933; Ukraine; Holodomor.

Д.А. Аманжолова
Советское притяжение:
Историческая литература Республики Казахстан
о советском веке

Автор выделяет тематические блоки современной казахстанской историографии советского периода, обращая внимание на основные достижения и акценты в интерпретации ключевых событий, процессов и персонажей. Высказывается мнение о недостаточном внимании историков РК к советской истории республики во второй половине XX в., проблемах и противоречиях «национализации» исторического знания.

Ключевые слова: советская история; историография; Казахстан.

D.A. Amanzholova
The Soviet attraction:
Historical literature of republic Kazakhstan about Soviet century

The author analyzes the main tendencies and features of the development of Post-Soviet Kazakhstan historiography dedicated to Soviet history. Foreground topics of the research made by Kazakhstan historians have been defined. Misinterpretation of events and characters related to Soviet past is shown to be linked with socio-political, ethnocultural and civil fundamental functioning of scientific community and realities of modern Kazakhstan.

Keywords: Soviet history; historiography; Kazakhstan.

А.А. Воронович
Противоречивые истории советского
многонационального государства:
Некоторые проблемы советской национальной политики
в современной зарубежной историографии

В последние 10–15 лет в западной историографии появилось немало исследований советской национальной политики. На основе дискуссии Терри Мартина и Фрэнсин Хирш в обзоре рассматриваются такие историографические проблемы, как вопрос преемственности между советской национальной политикой и политикой империи Романовых, проблема механизмов принятия решений в сфере

советской национальной политики на окраинах и вопрос изменений в советской национальной политике в середине 1930-х годов.

Ключевые слова: Ф. Хирш; Т. Мартин; СССР; национальная политика; коренизация.

A.A. Voronovich
Conflicting stories of the Soviet multinational state: Some problems of Soviet nationality policy in modern historiography abroad

In the last 10–15 years a number of publications on the interwar Soviet nationality policy. Basing upon the discussion between Terry Martin and Francine Hirsch the review analyzes the following historiographical issues: the problem of the continuity between the Soviet nationality policies and the politics of the Romanov Empire, the question of the mechanisms of the decision-making in the sphere of the nationality policies on the peripheries, and the problem of the changes in the Soviet nationality policies in the mid-1930 s.

Keywords: F. Hirsch; T. Martin; the Soviet Union; national policy; indigenization.

С.И. Жук
Советское общество и культура времен «холодной войны»: Новые тенденции в современной западной историографии на рубеже столетий

Данная статья – это попытка историографического анализа современных западных исследований советского общества и культуры времен «холодной войны». Главное внимание уделяется взаимному и плодотворному влиянию отечественной советской историографической традиции и «ревизионистского» направления западной советологии. Исследуя роль «эпистемологической революции» в западной историографии 1970–1980-х годов на формирование «новой культурной» истории в изучении советского общества, автор демонстрирует смещение исследовательских интересов от изучения социальных групп к исследованию их культурных практик и антропологии дискурса.

Ключевые слова: историография; «холодная война»; эпистемологическая революция; культурные практики и культурное потребление; антропология дискурса; западная поп-культура; радио; телевидение и кино.

S.I. Zhuk
Soviet society and culture of the Cold War: New trends in modern Western historiography at the turn of the centuries

This article is an attempt of the historiographical analysis of the recent western scholarship about the Soviet society and culture during the Cold War. It focuses on the mutual and productive influence between the Soviet tradition of history writing and «the revisionist school» of Soviet Studies in the West. By exploring a role of the epistemological revolution in the western history writing during the 1970 s and the 1980 s and its influences on the «new cultural» history in the studies of Soviet society, an author demonstrate a shift of the research interests from an analysis of social groups to their cultural practices and anthropology of discourse.

Keywords: historiography; the Cold War; revolution of epitemology; cultural practices and cultural consumption; anthropology discourse; Western pop culture; radio; television and cinema.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Аманжолова Дина Ахметжановна – доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой общественных наук Института туризма и гостеприимства (филиал Российского государственного университета туризма и сервиса), e-mail: amanzholova19@mail.ru

Воронович Александр Александрович – магистр истории, аспирант Центрально-Европейского унивеситета (Будапешт), e-mail: alex.voronovici@gmail.com

Ефременко Дмитрий Валерьевич – доктор политических наук, руководитель Центра социальных научно-информационных исследований ИНИОН РАН, e-mail: efdv@mail.ru

Жук Сергей Иванович – PhD, доктор исторических наук, профессор кафедры русской и восточноевропейской истории университета Болла (штат Индиана, США), e-mail: sizhuk@bsu.edu

Касьянов Георгий Владимирович – доктор исторических наук, профессор, завотделом новейшей истории и политики Института истории Украины Национальной академии наук Украины, e-mail: coffee_cup_2007@hotmail.com

Кацва Леонид Александрович – историк, автор учебников и пособий по истории России, учитель гимназии № 1543 г. Москвы, почетный работник народного образования, e-mail: Katsva-la@yandex.ru

Леонтьева Ольга Борисовна – доктор исторических наук, профессор кафедры российской истории Самарского государственного университета, e-mail: oleontieva@yandex.ru

Мазаник Анна Владимировна – аспирант Центрально-Европейского университета (Будапешт), e-mail: anya.mazanik@gmail.com

Малинова Ольга Юрьевна – доктор философских наук, главный научный сотрудник ИНИОН РАН, e-mail: omalinova@mail.ru

Миллер Алексей Ильич – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН, e-mail: millera2006@yandex.ru

Мнацаканян Рубен Артемович – кандидат географических наук, профессор, в 1999–2010 гг. декан факультета экологии и экологической политики Центрально-Европейского университета в Будапеште, e-mail: mnatsaka@ceu.hu

Суслов Михаил Донатович – PhD, кандидат исторических наук, исследователь Упсальского центра по изучению России и Евразии (Швеция), e-mail: md.suslov@gmail.com

Чепайтене Раса (Čepaitienė Rasa) – PhD, старший научный сотрудник Института истории Литвы (Вильнюс), доцент Вильнюсского университета, e-mail: Rasa.Cepaitiene@if.vu.lt

ПРОШЛЫЙ ВЕК

Вып. 1

Главный редактор –
доктор исторических наук **Миллер** Алексей Ильич

Адрес редколлегии: 117997, г. Москва, Нахимовский проспект 51/21.
ИНИОН РАН. Отдел политической науки.
E-mail: politnauka@inion.ru

Оформление обложки И.А. Михеев
Дизайн Л.А. Можаева
Компьютерная верстка Л.Н. Синякова
Корректор М.П. Крыжановская

Гигиеническое заключение
№ 77.99.6.953. П. 5008.8.99 от 23.08.1999 г.
Подписано к печати 18/IX – 2013 г. Формат 60 x84/16
Бум. офсетная № 1. Печать офсетная Свободная цена
Усл. печ. л. 28,0 Уч.-изд. л. 25,0
Тираж 300 экз. Заказ № 129

Институт научной информации по общественным наукам РАН,
Нахимовский проспект, д. 51/21, Москва, В-418, ГСП-7, 117997
Отдел маркетинга и распространения информационных изданий
Тел. / Факс: (499) 120-45-14
E-mail: inion@bk.ru
E-mail: ani-2000@list.ru
(по вопросам распространения изданий)

Отпечатано в ИНИОН РАН
Нахимовский проспект, д. 51/21,
Москва, В-418, ГСП-7, 117997
042(02) 9